

6

ISSN 0206-8680

КИНОСЦЕНАРИИ

1990

ИЗДАЕТСЯ
С 1973 ГОДА

КИНОСЦЕНАРИИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Сценарии

- 3 *Я. Пужицкий*
ВЕЛИКИЙ ШУ (часть I)
- 27 *Н. Аллахвердова*
ЧЕСНОК, ЛУК И ПЕРЕЦ
- 56 *П. Луцик, А. Саморядов*
ДЮБА-ДЮБА (часть II)
- 84 *Ю. Арабов*
КРУГ ВТОРОЙ
- 107 *В. Ивченко*
ДЖИНН

Мемуары

- 128 *И. Вайсфельд*
КЕМСКИЕ НОВЕЛЛЫ
- 143 *А. Чечулин*
**ЗАПИСКИ КОНФОРМИСТА,
НЕ ДОЖИВШЕГО ДО ПЕНСИИ (продолжение)**

Точка зрения

- 170 *В. Черных*
О сценариях и сценаристах
- 179 *В. Машуков*
«Страна-подросток»
- 187 *А. Романенко*
Десять дней без вранья
- 191 **Наши авторы**
- 192 **Содержание журнала «Киносценарии» за 1990 год**

6

1990

ГОСКИНО СССР
СОЮЗ
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ
СССР
МОСКВА 1990

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ:

- А. Алиев. «Билет в Красный театр,
или Смерть гробокопателя»**
Я. Пужицкий. «Великий Шу» (части II, III)
Л. Рошаль «Поцелуй вождя, или Гимнастика для челюсти»
Б. Бертоллучи «Последнее танго в Париже»
**А. Чечулин «Записки конформиста,
не дожившего до пенсии» (окончание)**

Главный редактор Е. ГРИГОРЬЕВ
Редакционная коллегия:
О. АГИШЕВ, Ю. АРАБОВ, Е. ГАБРИЛОВИЧ,
В. ГОЛОВАНОВ, О. ГОРБАЧЕВА, А. ЛОКТЕВ (зам. главного редактора),
Б. МЕТАЛЬНИКОВ, В. СОЛОВЬЕВ, В. СЫТИН,
В. ТРУНИН, В. ЧЕРНЫХ

Ответственный секретарь Н. РЮРИКОВА

Технический редактор Л. МАРКОВА

Корректор Е. ПЫЛАЕВА

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

© «Киносценарии»

Сдано в набор 28.08.90. Подписано к печати 23.10.90.
Формат 70×100 1/16. Усл. печ. л. 15,6+0,32. Уч.-изд. л. 24,192.
Усл. кр.-отт. 16,24. Печать офсетная. Бумага типогр. «Сыктывкар»
Гарн. таймс. Тираж 60 250 экз. Заказ № 1788. Цена 1 р. 20 к.
Всесоюзное творческо-производственное объединение «Киноцентр»
123376, Москва, Дружинниковская ул., 15. Тел. 205-30-01
Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., 12
Телефон 299-47-74

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат
Государственного комитета СССР по печати
142300, г. Чехов Московской области

Ян
ПУЖИЦКИЙ

ВЕЛИКИЙ ШУ

Wielki Szu

Киноповесть

I

Вся жизнь Петра прошла в отелях класса «люкс» и роскошных ресторанах. Впервые его куснуло, когда ему было уже за пятьдесят. Дверь тюремной камеры захлопнулась за ним на пять лет. Настало время поразмыслить. Тысячу восемьсот двадцать пять дней Петр искал свою ошибку и не нашел, потому что ошибок он не делал никогда. И лишь в самый последний день перед выходом он понял, что тюремная камера и номер в гостинице — это всего-навсего различные формы той же самой структуры и переход из одной формы в другую не зависит от человеческой воли и разума, а следовательно, ошибка, даже если она и была, не могла играть решающей роли в развитии событий. Тем не менее он потерпел крах, потому что за пятьдесят два года внимательного изучения жизни он так и не познал мира, в котором жил.

Петр Грынч уверовал в свою миссию в тот роковой день, когда гостиничные интерьеры превратились для него в темную и унылую камеру. А то, что в последние годы страсти поостыли, а восторги поугасли, он относил за счет времени, которое способно сгладить остроту любого удовольствия и лишить его всякой привлекательности. Он садился к столику, потому что был богом игры. Садился и выигрывал. Выигрывал по привычке, с усталым сожалением разглядывая своих наивных противников, едва вкусивших сладость первого прикосновения к тайне и не-

терпеливо стремившихся познать радость победы. Он обыгрывал их, потому что он был Шу. Великий Шу. Он только исполнял свое предназначение.

Годы, проведенные в тюрьме, научили его покорности и смирению по отношению к жизни, которую он получил в дар и которую прожил, как хотел и умел, то есть по высшему классу.

Шу не смог найти ошибки в своей взрослой жизни. Возможно, эту ошибку он совершил когда-то раньше, но знать об этом ему было не дано. Он был дитя правого берега Вислы, и у него не было прошлого в том обыденном смысле, в котором это понятие употребляется. В его памяти не осталось ни одного конкретного образа из детства. Все оно слилось в его восприятии в единый клубок различных настроений, отголосков улицы, каких-то теней, серых будней и тревожной, угнетающей темноты. Его детством были прибрежные заросли. Там он учился жизни, там из него должен был вырасти еще один примитивный ловкач — по-варшавски «цваняк», — высший смысл жизни для которого в том, чтобы загнать, например, какому-нибудь приезжему болвану колонну короля Зигмунта. К этому все шло, на этом Петр воспитывался, однако варшавским «цваняком» он не стал. Он стал Великим Шу, богом игры, богом обмана. Произошло это случайно и так же случайно, на самом закате, когда, казалось, выгорело уже все, судьба дала ему возможность еще раз оглянуться на

свою молодость. После тюрьмы надежда еще была. Он не хотел многого, он хотел только покоя.

Петр Грынич — Великий Шу — до сих пор ни разу в жизни не ездил поездом. Простых людей он видел лишь на расстоянии, чаще всего через окно гостиницы, ресторана или такси. И вот он уже несколько часов находился среди них, в духоте и грязи поезда. Он всматривался в усталые, поблекшие лица, сгорбленные от жизненных тягот фигуры, бесцветные глаза. Поначалу эти бедные люди представлялись ему созданиями, лишенными души, не способными испытывать нормальные человеческие переживания, существующими инстинктивно, без каких бы то ни было духовных запросов и потребностей, ограничивающихся удовлетворением лишь самого необходимого, что позволяет выжить. Но вскоре он понял, что первое впечатление было обманчивым и что все эти люди не только влачат жалкое существование, но и способны мыслить и чувствовать. Толчком к этому послужила девушка.

Петр стоял в самом конце вокзального перрона у расписания и ждал своего поезда. К вечеру небо заволочло тучами, стал накрапывать мелкий дождичек. Погода настроила его на задумчивый лад. Он ощущал только одно — опустошительную усталость. На привокзальной площади стояли такси, каждая из этих машин могла за несколько часов отвезти его на край света. Но все, что Петр делал в жизни, он делал всерьез. Так и сейчас. Он решил порвать с прошлым, и ничто не могло заставить его изменить свое решение. Он перестал функционировать как высококласный компьютер, даже в свободные минуты просчитывающий бесчисленное множество все новых и новых раскладов и вариантов и прикидывающий содержащиеся в них возможности. Теперь он мог позволить своим мыслям течь лениво, нецеленаправленно, почти беспомощно, глазам — смотреть просто так, без всякой конкретной пользы или цели. Он размышлял о поисках человека во времени и пространстве и пришел к выводу, что любая дорога ведет к концу, к пропасти. Ему вдруг сделалось жабко, он пожегся и решил, что в здании вокзала будет намного теплее. Усталые пассажиры на лавках тупо и измученно смотрели друг на друга. В углу зала ожиданий группа молодежи пела грустную песенку о цветке, цветущем лишь раз. Он даже испытал мимолетное желание присоединиться к ним, но тут же иронически усмехнулся над собой и прошел несколько шагов дальше, — вслед ему грянула следующая песня, крикливая, пьяно-разухабистая. Петр вздохнул — он чуть было не обманулся.

Через застекленную дверь ресторана он увидел девушку. Она сидела за накрытым белой скатертью столиком и обеими руками держала перед собой на высоте губ стакан чая. Петра привлек ее взгляд: девушка мечтательно смотрела перед собой и улыбалась.

Петр вошел и сел за соседний столик, попросил официанта принести чай, взял стакан обеими руками и поднес к губам точно так же, как это делала девушка, затем бросил взгляд в ее сторону. Девушка смотрела прямо ему в глаза, теперь ее мягкая, задумчивая улыбка предназначалась ему. В первую секунду он еще сомневался, но в лице девушки тут же нашел подтверждение. Да, они радовались вместе, в унисон. Петр застыл, в зале все внезапно стихло. Это было состояние, знакомое по далекому-далекому детству, — блаженный, разлитый по всему телу покой. Прошла целая вечность, а может быть, и несколько секунд, как он вдруг услышал:

— Можно? — перед ним стоял молодой человек в белом форменном кителе и держал в руках счет.

— Что? — непонимающе спросил Петр, еще не очнувшись от наваждения.

— Ваш счет.

— Да, да, разумеется, — он полез в боковой карман.

Когда он окончательно очнулся и открыл глаза, девушка сидела уже в другой позе, повернувшись к нему в профиль, и маленькими глотками пила чай; лицо ее стало обычным, обыкновенным, одухотворенность исчезла, черты лица заострились. Эта девушка не имела уже ничего общего с той. Петр раздраженно, с неприязнью посмотрел на официанта. Тот вопросительно вскинул брови. «Скотина!» — ругнулся про себя Петр. В ответ по губам официанта скользнула злорадно-насмешливая улыбка. Девушка встала из-за столика, легко вскинула на плечо довольно большой рюкзак и вышла. Никакого знака для него не было, она его просто-напросто не видела.

Петр взглядом проводил ее до двери. Высокая, с хорошей фигурой и... заурядная. Девушка исчезла. Петр еще раз вздохнул. С ним происходило что-то странное, а ведь впереди еще была поездка.

Голос в репродукторе невнятно пробормотал о прибытии поезда. Он вышел на перрон.

— Едем? — подмигнул ему какой-то податый мужичок.

Петр кивнул.

— Потому что ведь сами же знаете... — продолжал бубнить тот.

Петр не отвечал, но своим молчанием как бы позволял мужику быть рядом — его голос помогал хоть немного разогнать все нарастающую тревогу. Они пошли вдоль вагонов.

— Может, в этот?

— Можно... — кивнул Петр.

Они поднялись в вагон, мужчина распахнул дверь первого же купе.

— О, есть места! — весело заорал он.

Петр вошел в купе и замер. У окна сидела девушка. Она взглянула на них и вновь уткнулась в книгу. Несколько выбитый этой неожиданной встречей из равновесия, он решил положиться на судьбу: будь как будет.

Напротив сидела старушка и поглядывала на Петра и его пьяного приятеля с любопытством и явным желанием завязать разговор.

— Куда, бабуся, едем? — с ходу поинтересовался попутчик Петра.

— Я-то? Так на похороны,— охотно запищала старушка.

— Ох ты! — опешил тот.— В семье кто-нибудь?

— Приятельница моя. Воспитывались вместе. А завтра будут ее похороны,— докладывала словоохотливая старушеница.

— И сколько же вам лет? — продолжал допрашивать тот.

Бабушка задумалась.

— Да я уж немного подзабыла, сколько точно-то. Но, дай бог памяти, вроде бы восемьдесят и восемь.

— Ну тогда уж и не жалко,— важно кивнул головой мужик.

Поезд тронулся. Петр украдкой взглянул на девушку. Та почувствовала его взгляд и воспринимательно захлопала ресницами.

— Смотрите там особенно-то не перепейтесь,— наставительно продолжал попутчик.— А то ведь как бывает, упьются и давай за здоровье покойника тосты поднимать.

— Нет, нет,— всплеснула руками старушка.— Я не пью. Мне доктор не велел. Сказал, или пить, или жить. Вот как. Так что я уж хочу еще немножко пожить.

— Это-то конечно,— философски согласился мужик.— Только скучно без водки.

— Оно конечно,— повторила за ним старушка.

— А я вот домой, на крестины. Целый чемодан водки везу. Была бы посуда, могли бы бутылочку того, откупорить. А? Да вот нет стакана, зараза! Вечно человеку чего-то да не хватает.

Колеса мерно постукивали. Мужик стал расспрашивать бабушку о любовных похождениях и грехах молодости. Та рассказывала хоть и с некоторым смущением, но бойко, охотно, притворно конфузясь, когда собеседник начинал комментировать наиболее пикантные подробности. Петр заснул.

Все ключи по-прежнему подходили ко всем замкам, что он посчитал хорошим предзнаменованием. На ощупь прошел по темному коридору и оказался в спальне. В свете уличного фонаря он узнавал знакомые контуры

мебели. За эти годы здесь ничего не изменилось, даже пропитавший весь дом запах сада остался прежним. За раскрытым окном поблескивали крыши теплиц.

Он ступал по мягкому ковру, привычно минуя кресла, столик и мраморную фигуру Венеры, осторожно отодвинул прозрачную занавеску, отделявшую собственно спальню от остальной части комнаты, и увидел на постели одинокую спящую фигуру.

Петр сделал шаг назад и опустился в кресло. Все было даже лучше, чем он мог предполагать.

Внезапно за его спиной зажглась ночная лампа. Мгновение стояла полная тишина, нарушаемая лишь быстрым и прерывистым дыханием Терезы.

— Кто там? — услышал он ее испуганный голос.

Не ответил, чувствуя, как настороженно она вслушивается в тишину. Шелест шелка, сброшенного на голое тело,— Тереза села на кровати.

Петр закурил сигарету.

— Это ты? — недоуменно и недоверчиво протянула она.

Он повернул голову в ее сторону, этой возможности он ждал пять лет. Она была все той же — женщиной, которую он создал сам и для себя. Назвать ее прекрасной было бы нельзя. Где-то там, в уголках губ, в овале щек, в быстром, остром взгляде таилась вульгарность, даже плебейство. Вытравить это из нее оказалось невозможным, но замечал это и знал об этом только он. Ему были известны все тайны ее лица. Вся она, все ее тело было предметом старательной заботы и ухода, дорогая косметика, регулярная гимнастика и плавание сделали из него предмет роскоши, деликатес.

Испуг Терезы сменился искренним удивлением.

— Зачем ты пришел?!

Прежде чем она это произнесла, он уже знал, что она не вскрикнет от радости, не бросится ему на шею, не обнимет.

— К тебе,— Петр постарался сказать это как можно более мягко и тепло.

— Ко мне?

Он кивнул.

— Ну домой.

Тереза подошла к туалетному столику и вынула из пачки сигарету. Петр невольно еще раз увидел под прозрачным пеньюаром роскошные формы все еще молодого тела. Тереза глубоко затаилась. Видно было, что она приводит в порядок свои мысли.

— Домой? — переспросила она с иронией.

— Ну да. Это же мой дом, правда?

Ее взгляд был холодным, неподвижным, неприступным. Она готовилась к этому разговору сотни раз.

— Это был твой дом. Пять лет назад.

— Но ведь ничего же не изменилось, — спокойно произнес Петр.

— Ничего не изменилось? — она резко повернулась к выходящему в сад окну. — Я изменилась.

— Выглядишь ты прекрасно.

— Спасибо.

— Если бы ты только могла поверить. С прошлым покончено. Я стал совершенно другим человеком.

Если бы она услышала эти слова пять лет назад!..

— Ты? Ты не можешь измениться.

— Все, что я говорю, правда.

— Перестань. Ты сейчас похож на пьяницу, который... — она не докончила.

— Я не похож на пьяницу, — он говорил тихо, медленно и убедительно. — У меня было пять лет, чтобы обо всем подумать. Я завязал.

Она слушала, призывая на помощь воспоминания, в которых не было ни одного аргумента в его пользу.

— Возможно, ты действительно сейчас так думаешь. Тебе может казаться, что ты изменился, что теперь ты совсем другой, но если даже это и так, то другими стали и этот дом, и этот сад...

— Я обратил внимание, как хорошо разросся кустарник.

— Разросся? Сам? А парники и теплицы тоже сами выросли? Да вообще все это, — она кивнула в сторону окна. — Все это само по себе, в ожидании тебя, да?

На ее тщательно ухоженном лице появились агрессия, злость. Он все явственнее видел обыкновенную вульгарную бабу, которую он еще девушкой вытащил с самого дна, буквально подобрал на помойке.

— Я все это вижу и ценю. Я всегда в тебя верил, — произнес он, стараясь как можно более деликатно напомнить ей, что как бы то ни было, всем этим она обязана ему. Тереза, однако, не замечала или не хотела замечать никаких намеков.

— Верил?! Ты верил, что твоя идиоточка будет спокойненько ждать тебя пять лет, думать только о тебе, твоих делах и интересах и, как гимназисточка, одна спать в своей постельке, считая дни, когда же ты вновь появишься?!

Эта вскользь сказанная фраза о спанье. Сказанная нарочно, чтобы сделать ему больно. Его это нисколько не задело, не кольнуло, но он сделал так, что на ее лице мелькнуло удовлетворение. С минуту он молчал, чтобы она убедилась — удар достиг цели.

— Честно говоря, я именно в это верил.

Сраженная наивной искренностью его признания, она смягчилась, агрессивность на лице сменилась неким подобием сочувствия.

— Дурачок ты старый. При всем твоим умом и ловкостью ты все-таки какой-то глупый.

И всегда был таким, даже когда я тебя боготворила. Ты в самом деле верил, что оставишь на пять лет молодую, красивую и богатую телку с записанным на нее огромным домом, не попадающим под конфискацию, пойдешь, отсидишь себе, потом как ни в чем не бывало вернешься и все будет по-прежнему? Ты действительно в это верил?

Петр очень старался, чтобы его вид вызывал только жалость.

— Тебе нужна старая, добрая и верная жена. А я ни старая, ни верная, ни добрая. Sorry.

Она продолжала свой монолог, не отрывая глаз от темноты ночного сада.

— Но ведь именно такой ты меня всегда и хотел. Твоя школа. Такой ты меня вылепил сам. Только я не хочу выглядывать в твоих глазах свиньей. Я подумала о том, что будет, когда ты вернешься. — Она деловой походкой подошла к столику и достала визитку. — На, здесь адрес и телефон Мачея Гоффмана. Это мой адвокат. Он выплатит тебе половину стоимости дома, сада и теплиц, даже тех, которые я поставила без тебя. Для начала тебе должно хватить. Ты же способный.

Петр взял визитную карточку, повертел в руках, вздохнул. Впервые за время разговора Тереза улыбнулась ему, дружески, даже приветливо. Ни следов угрызений совести, ни недавнего гнева. Петр вздохнул еще раз, кивнул.

Она обеими руками откинула назад пушистые волосы, в этом жесте были и облегчение и радость: с самым неприятным покончено, теперь можно расслабиться.

Петр пригладил короткий ежик на голове.

— Я в самом деле завязал.

Тереза посмотрела на него с укором: зачем опять возвращаться к тому, с чем они только что покончили?

— До следующего турне?

Петр посмотрел ей в глаза.

— Ты сыграла по крупной и... и прекрасно выглядишь.

Тереза расплылась в довольной, разбойничьей улыбке, но тут же посерьезнела.

— Спасибо. К сожалению, не могу сказать то же самое о тебе. — Она пристально посмотрела на его «боксерскую» прическу. — Подрезали тебе крылышки. — Но тут же ободряюще подмигнула. — Хотя тебе это все ни о чем. Ты еще погуляешь. Я в тебя верю. Желаю удачи.

Она подняла вверх большой палец. Такой она и осталась в его памяти.

Когда он проснулся, его попутчика в купе уже не было. Поезд стоял на какой-то маленькой станции. И хотя было темно, он увидел, что в него пристально вглядывается

старушка. Ее взгляд был таким, что Петр вздрогнул и почувствовал тревогу. «Неужели я разговаривал во сне?» — пришло ему в голову.

— Вам что-то страшное снилось? — осторожно спросила старушка, не отрывая от него глаз.

— Не знаю. Не помню, — пожав плечами, он подумал, что собственную беспомощность необходимо во всех случаях скрывать от посторонних.

— Тяжелый у вас был сон, — покачала головой бабуся. — Странно, что вы ничего не помните. У вас, наверное, неприятности. Такие сны всегда снятся человеку, когда у него неприятности. Уж я-то знаю.

Петр не ответил. Что она могла знать о его неприятностях?

Он посмотрел в сторону девушки. Та спала, вытянувшись на лавке, головой к нему. Задравшийся темный свитерок обнажал полосу тела. В нем не промелькнуло даже и тени желания. Он с сентиментальной грустью посмотрел на разметавшиеся по лавке белокурые волосы. Девушка открыла глаза, глубоко вздохнула, встала, поправила прическу. Поезд медленно тронулся.

— Два с половиной часа стояли, — запримечала старушка. — Ужас просто. Может быть, пути размыло?

Девушка стала расчесывать свои длинные светлые волосы, взглянула на Петра и тихо произнесла:

— Даже не знаю... Вы мне всю ночь снились. Почему-то.

— Я?! — ужаснулся Петр. — Да я уже староват, чтобы вам сниться.

Девушка улыбнулась, но ничего не ответила. Вышла в коридор и прислонилась к окну. Петр поборолся с собой, но за ней не последовал.

В полдень он сидел на деревянной лавке довоенного вагона третьего класса, ту-по уставившись в нацарапанную гвоздем надпись на стене: «Йолька — курва!»

Рядом с ним двое мальчишек школьного возраста, лет двенадцати-тринадцати, играли в покер. Первый, Херувимчик, как он мысленно его назвал, играл в карты, как в нечто запретное, но безусловно притягательное, честное и благородное. Вероятно, видел какой-нибудь американский фильм, где в покер играли «настоящие мужчины». Второй, Петр окрестил его Лисенком, беспечно шнырял быстрыми глазками. Он уже кое-что постиг, во всяком случае знал больше Херувимчика.

Он наблюдал их недолго, собственные мысли завладели им, он отвернулся и задумался. Поезд раскоцегарился, набрал ходу, небольшие станции мелькали в окне все чаще. Примет же цивилизации в виде свалок строи-

тельного мусора на последнем отрезке пути, Рогув — Лютынъ, подалось на глаза все меньше и меньше. Было впечатление, что на этом кусочке земли протяженностью километров тридцать время приостановило свой бег. Одноколейке, по которой пыхтел паровозик, наверняка уже было лет под сто, да и допотопному локомотиву немногим меньше. Люди, думалось ему, жили здесь в тиши и покое и тридцать и пятьдесят лет назад. Но он ошибался.

Во время ночной поездки он уверял себя, что у него есть все шансы стать обычным человеком, таким, как все. Он ощущал в себе способность к взаимопониманию с простыми людьми, проникновению в их заботы и проблемы. Ничего больше от жизни он и не хотел.

— Ну что, фортуна повернулась своей широкой... — Лисенок произнес это с ледящим спокойствием, явно подражая опытным игрокам в покер.

На лице Херувимчика видна была отчаянная внутренняя борьба. Лисенок демонстративно выстукивал пальцами ритм, который должен был подхлестнуть противника принять решение. Так и случилось. Херувимчик достал из кармана двадцатизловую* бумажку и небрежно швырнул на столик.

— Посмотрим, чья шире, — произнес он решительно.

— Играем?! — радостно удивился Лисенок и взял в руки колоду. — Сколько карт?

— Три, — блестя глазами, выдохнул Херувимчик.

Лисенок самым примитивнейшим образом жулил. Свои карты он стал менять в тот момент, когда противник с выступившим на щеках румянцем напряженно рассматривал три только что прикупленные карты. Колоду он держал на ладони так высоко, что без труда вытащил снизу туза. Сидевший напротив Херувимчик ничего не заметил, зато Петру со стороны было видно все. Лисенок вдруг ощутил какое-то беспокойство и воровато зыркнул на незнакомца. Грынич смотрел перед собой пустым, отсутствующим взглядом. Лисенок подавил вздох облегчения и открыл свои пять карт.

— Главное в покере — ничего не бояться, — к нему вернулась уверенность бывалого картежника. — Чтобы выиграть, нужно рисковать. Риск — благородное дело. Кто не рискует, не пьет шампанское. Двадцатку под тебя, играешь?

— Будь другом, ты же знаешь, у меня больше нет денег.

— В покере нет друзей, — услышал в от-

* В 70-е годы, когда происходит действие, курс золотого по отношению к рублю равнялся 15:1. (Здесь и далее прим. переводчика.)

вет Херувимчик, беспомощно посмотрел на свои часы и снял их с руки.

За окном замелькали отдельные домики. Грынич встал и подошел к окну.

— Сейчас мы заканчиваем, одну минуточку,— бросил Лисенок.

Петр в ответ кивнул, привстал на цыпочки, доставая с верхней полки свой саквояж, и, чтобы было сподручнее, на секунду оперся рукой о столик.

— Если проиграешь, выкупаешь завтра? — уточнил Лисенок, глядя на часы.

Херувимчик обреченно кивнул и выложил свои карты на стол.

— Ого-го! — с деланным удивлением завопил Лисенок. — «Фу!» на дамах! Неплохо. Только мой тебе совет: не верь бабам — обманут. У меня тоже «фул», только на тузах...

Вдруг в глазах поверженного Херувимчика вспыхнул радостный блеск. Он посмотрел на разложенные на столике карты, затем на соперника и, ни слова не говоря, сгреб обеими руками деньги и пододвинул к себе. Ничего не понимающий Лисенок, почувствовав недоброе, тоже взглянул на раскрытые карты и обмер. У него было три туза, две восьмерки и еще дама пик. Всего шесть карт, а не пять.

— Как же это так... — пролепетал он.

— Сам сдавал,— наставительно произнес блондинчик и добавил: — Бабам и в самом деле верить не следует. Особенно брюнеткам! — он кивнул на даму пик.

Петр Грынич вышел в коридор. Лисенок все еще оторопело смотрел на карты. Петр с удовлетворением отметил, что совершил добрый поступок: надуть обманщика — не грех, а удовольствие. И тут же понял, что всю жизнь только тем и занимался, что надувал кандидатов в обманщики. Теперь он будет жить иначе.

Он вышел из поезда ровно в полдень. Узенький перрон станции дышал жаром. В раскаленном, залитом летним солнцем городке импозантный, чуть седоватый мужчина в безукоризненном костюме выглядел пришельцем из иного мира. Это можно было предвидеть, но Петр об этом не подумал. Оставалось лишь надеяться, что его непозволительная инакость не вызовет чрезмерного любопытства или неприязни. В дополнение он решил быть предельно вежливым и любезным с каждым из местных, с кем придется перекинуться хотя бы словечком.

Петр опустил саквояж на землю и осмотрелся. Рядом оказалась урна, куда он аккуратно бросил окурки. Здание станции было деревянным, с ним явно диссонировали некогда помпезные, а теперь все пооблупившиеся резные колонны. Дежурный по стан-

ции приветливой улыбкой встречал и провожал пассажиров. От людей веяло покоем и доброжелательностью. Да, на последней тупиковой станции старой узкоколейки царил идиллия.

В нескольких шагах от Петра разыгрывалась драматическая сцена прощания. Вероятнее всего, это была супружеская пара, обоим было лет по двадцать с небольшим. Она уезжала надолго, о чем свидетельствовали два тяжелых, набитых чемодана, которые молодой человек секунду назад еле втащил в вагон. С виду юная особа была из столичной интеллигенции, волею судеб заброшенная в провинциальный городок. Было заметно, как он ей осточертел, поэтому перспектива вырваться из него, пусть даже не навсегда, радовала ее чрезвычайно. Трагикомичность же ситуации заключалась в том, что при этом необходимо было расстаться с горячо любимым мужем. Сознание того, что он, бедняжка, останется без ее опеки и ласки, вызывало на искрящихся счастьем глазах невольные слезы. Она промокала их платочком, стараясь не смазать тщательно и со вкусом сделанный макияж, и прерывающимся голосом давала последние наставления: «Не забудь поливать цветы!» Парень же в своей громкой прощальной речи оперировал такими категориями, как любовь, разлука, тоска и отчаяние.

Проходя мимо них, Петр попытался просчитать, сколько в этих пламенных и страстных излияниях игры, а сколько подлинного чувства. Девушка, однако, была хороша, и он поймал себя на мысли, что даже если все, что они оба изображали, было не более чем общепринятая ложь по правилам бонтона, он был бы не против хоть ненадолго оказаться на месте молодого человека. Ни одна из женщин, которых знал он, не способна была сыграть такую роль. А может, подумал он, он все усложнил и на самом деле горечь их прощания была искренней.

Петр вошел в буфет и прополоскал горло минеральной водой. Несколько унылых личностей, склонившихся над кружками с пивом, прошли по нему мутными глазами. Петр старался ни с одним из них не встретиться взглядом. Он знал, как трудно зацепить человека, смотрящего в сторону. Петр отвернулся к окну и замер. Через стекло на него смотрели полные ненависти глаза Лисенка. Вот так. Не успел он сойти с поезда, как у него уже появился враг. Лисенок еще несколько секунд не мигая смотрел на него, как будто хотел лучше запомнить, потом отклеился от окна и исчез.

Петр вышел на привокзальную площадь. В самом центре, посреди лопающегося от жары асфальта, сиротливо торчала пыльная клумба с анютиными глазками. У входа в вокзал стояла черная «волга»-такси, однако

водителя на месте не было. На противоположной стороне площади стояли еще три машины с распахнутыми дверцами. Немного поразмыслив, Петр решил идти пешком. Но едва он сделал пару шагов, как услышал за спиной:

— Может быть, подвезти? — Около него притормозила эта самая «волга».

За рулем сидел молодой человек, только что отправивший жену на поезде.

— Да, пожалуйста, — согласился Петр.

Спустя двадцать четыре часа после приезда в Лютынь Петр сидел на веранде своего номера в гостинице и анализировал ситуацию. Все его планы полетели к черту, а сам он оказался в самом центре новой игры. Вновь он вынужден был превратиться в компьютер, бесстрастно калькулирующий и холодно рассчитывающий возможные варианты. Хотя нет — в нынешней ситуации было нечто новое, а точнее говоря, давно забытое. Это было чувство. И этим чувством была ненависть. Самое странное было то, что возникло оно практически без всякого повода. Никогда прежде он не позволял себе в подобных ситуациях ненавидеть. Непривычное и щекочущее нервы состояние.

И уж совсем непривычной была гостиница. В большом обшарпанном номере по стенам стояли четыре металлических кровати, столик с металлическими ножками, раковина с текущим краном, четыре жестких стула и перекошенный шкаф. Первым его порывом было немедленно уйти из этого номера и из этой гостиницы, но он вспомнил, что другой в городке нет. Поездка по железной дороге вымотала его настолько, что он разделся и залез под одеяло.

Петр спал часа два. Разбудили его громкие голоса, доносившиеся снизу. Он вспомнил, что прямо под его комнатой находится ресторан. О сне можно было уже не мечтать. Петр полежал еще немного. Он давно не чувствовал себя так плохо. В висках стучали молоточки, в горле першило от курева. Он оглядел покрашенные белой краской стены. Он снова был в гостинице, значит, снова в структуре. Приехать в эту глухомань, чтобы пожить вот в такой гостинице? Петр хотел дом. Он проехал всю Польшу, чтобы купить этот дом, а получается, чтобы вновь оказаться втянутым в игру. Он чувствовал, что не выиграет, он не мог выиграть, потому что впервые захотел получить что-то без игры. Без игры он не получит ничего, а то, что интересовало его больше всего, не получит, даже если примет в ней участие.

Он хотел уехать, но и это ему не удалось.

В полдень на площади перед гостиницей появилась черная «волга» и остановилась на пустующей стоянке такси.

Жара превращала людей в полусонных, очумелых мух. Ни на какую выгодную поездку в двенадцать часов дня таксист рассчитывать не мог, но тем не менее он заглушил мотор, широко распахнул переднюю дверь, улегся на сиденье и тотчас же задремал. По другую сторону площади перед входом в кафе-кондитерскую дремал на стуле молодой бугай в белом фартуке. Мир и покой в царстве сна и лени были лишь видимостью. Все указывало на то, что Петр Грынич оказался в западне. В гостинице был только один, парадный, вход, черного хода не было. Бугай перед кондитерской отнюдь не дремал. Грынич готов был поспорить на что угодно, что служащий кондитерской внимательно следит за каждым его шагом, каждым движением. И водитель такси приехал на площадь не за тем, чтобы выспаться. Петр уже почти физически ощущал, как стервятники начинают кружить вокруг него своей танец.

Он сидел на веранде около двух часов и машинально передвигал фигуры на шахматной доске. Петр любил шахматы, но сейчас его интересовал не разбор партии. Он работал. Выставив себя под перекрестный огонь взглядов, он позволял противникам наслаждаться своей абсолютной беззащитностью.

Теперь Петр точно знал, что он не хочет жить в этом городке. Но прежде всего следовало убедиться, действительно ли он оказался в ловушке. Часы на костеле пробили двенадцать, и Петр решил, что настало время сделать следующий шаг.

Без четверти двенадцать Юрек Гамблерский подъехал на своей черной «волге» к стоянке такси на площади. Договоренность была на пять часов вечера, но больше высидеть дома он не мог. Прежде чем переступить порог дома, он помолился и попросил Господа помочь ему сегодня, поскольку сегодня могли произойти события огромной важности. Впервые в жизни у него появился шанс сыграть по крупной. Он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза, стараясь унять внезапную дрожь в руках. Такие деньги!

Когда этот тип сел в его такси и назвал адрес: улица Польна, дом 16, он уже знал, в чем дело. Дом, прилегающий к участку местного кондитера Микуна, выставленный на аукцион. Его владелец, бывший председатель кооператива «Вперед к благополучию!», поскользнулся на «гнилом» огурчике. Огурчиками, председателем и его домом вплотную занялась прокуратура. По городку моментально разнеслась весть, что в аукционе примет участие Микун, двое крестьян из-под Лютыня и кто-то из Варшавы. И вот этот кто-то сидел в его машине. Немного отъехав от вокзала, Юрек взглянул на пассажира в зеркальце и как бы нехотя бросил:

— Но этот дом еще не отделан...

Сидевший сзади мужчина вскинул брови:

— Откуда вы знаете? Откуда вы знаете, зачем я сюда приехал?

— Здесь все про все знают. Только у вас с этим будут большие осложнения.

— Почему?

— Этот дом хочет купить Микун. Для своей дочки. А Микун здесь может все.

Он притормозил как раз перед кафе-кондитерской Микуну.

— Вот его хозяйство, видите? На туристах выходит неплохой бизнес.

Приезжий критическим взглядом оценил витрину и пожал плечами:

— Скромненько.

— Скромненько?! Вот вы с ним поближе столкнетесь, увидите, как у него все скромненько.

На Польной Микун загонял в гараж свой «мерседес». Приезжий попросил остановиться и вылез, Юрек остался за рулем. О чем они говорили, он не слышал, но когда варшавянин и кондитер разошлись, было ясно, что они не договорились. Приезжий вернулся и сел на свое место в такси, а несколько поблудневший Микун медленно направился к дому.

Юрек очень не любил Микуну. Когда-то много лет назад — он знал об этом только по рассказам — его отец, прозванный в городе Старым Гамблером, процветал и был второй после ксендза личностью в Лютыне. У него был кабак на площади. Потом все рухнуло. Отец умер в тюрьме, а Юрека с братом воспитали чужие люди. Сегодня такой личностью в городе стал Микун. Он занял место, которое должен был унаследовать Юрек.

— Так как, покупаете? — поинтересовался он по пути к гостиницу.

— Не знаю, — равнодушно зевнул приезжий. — Завтра на аукционе посмотрим.

Юрек хмыкнул.

— Что вы веселитесь? — спросил мужчина.

— Да ведь у нас в городе все с ума сойдут от радости, если кто-нибудь утрет Микуну нос. Только это, наверное, невозможно. Он тут не так давно врезался по пьянке в дерево. С ним его приятель в машине сидел, так тот насмерть. И знаете, что Микун сделал?! Усадил мертвого за руль, а сам на его место. Дал, говорит, приятелю порулить. Так что вы думаете?! Ничего ему не было. Как с гуся вода.

— А может, все на самом деле было так, как он говорит. Откуда вы знаете, что там действительно произошло?

— Здесь все все знают.

— Истины не знает никто, — поставил точку приезжий.

Какое-то время они ехали молча.

— И как вас из Варшавы сюда занесло? — покачал головой Юрек.

— Все зависит от того, кто чего ищет, — веско произнес мужчина.

— Да чего же тут можно искать?! — ахнул Юрек. — Ну что тут можно найти?! Вот это дело, — он шелкнул себя по горлу, — замужние да разведенки, которые не прочь потихоньку перепихнуться, и карты. Все. Больше здесь ничего нет. Даже и искать нечего.

Пассажир не ответил. «Волга» въехала на мощенную булыжником площадь и остановилась перед гостиницей.

— Это дело, тихие давалки и карты, — с тоской повторил Юрек и увидел в зеркальце, что варшавский щеголь собирается расслабиться. Достал портмоне, раскрыл, оба отделения были набиты толстенными пачками банкнот по тысяче злотых. Юрек встрепенулся. — А вы... играете?

Пассажир скривился в презрительной гримасе:

— Карты?! Азартные игры... нет, это что-то ужасное. Нет.

Юрек моментально потерял к нему всякий интерес, взглянул на счетчик:

— Сорок семь злотых.

Мужчина протянул ему сотню, поблагодарил за сдачу и исчез в дверях гостиницы.

На этом все могло и закончиться, но Юреку некуда было себя деть. Жена уехала, корешей-таксистов он вчера раздел так, что играть с ним по новой они сядут не скоро, пассажиров не предвидится. Он покрутился по городу и вновь подъехал к гостинице. В администрации работала Агнешка, разведенка с буйным прошлым, недавно вернувшаяся в родные пенаты после почти десятилетних поисков счастья в большом мире. Тридцать лет, складенькая, хотя красотой и не блещет. Однако красиво подведенные зеленые глаза выдавали, что она знает о мужчинах все. И извлекает из этих знаний пользу. Мужики липли к ней, как осы на сладкое, но окончательным успехом похвалиться не мог никто. От немилосердной скуки Юрек решил попробовать, хотя на многое не рассчитывал.

В маленькой гостинице Агнешка была и администратором, и портье, и дежурной по этажу, и продавщицей в киоске с сувенирами, где также продавались сигареты, открытки, карты и прочая ерунда. Юрек купил пачку дорогих сигарет «Кармен» и стал клепать Агнешку. Та поначалу принимала его заходы весьма благосклонно, но когда он, войдя во вкус, уселся рядом и запустил глаза в соблазнительное декольте, слегка отодвинулась, насмешливо взглянула на него и с иронией спросила:

— Что, жена уехала?

Юрек молча проглотил издевку, пустил

колечко дыма и поинтересовался новым постояльцем. С Агнешки спала игривость, она посерьезнела и даже погрустнела, как будто вопрос задел ее за живое.

— Ах, так тебя вот что интересует...

В ее голосе слышалось явное разочарование, и Юрек подумал, что шансы у него есть, но разговора о приезде не прекратил. Агнешка официально и сухо отрезала, что не имеет права разглашать служебную тайну. Юрек положил ей руку на колено, она вспыхнула, треснула его по рукам книжкой и, стараясь скрыть выступивший на щеках румянец, скороговоркой сообщила:

— В документах написано: профессия — свободная. Может быть, писатель?

Юрек смотрел на нее в упор с улыбкой победителя. Он прекрасно знал, что означает такой румянец. Как-то в его машине один турист забыл газету, в которой Юрек от нечего делать вычитал, что румянец на лице женщины вовсе не означает девичью стыдливость, а как раз наоборот — сексуальное возбуждение и полную готовность.

— Наверное, писатель,— протянул он, всем своим видом давая понять, что приезжий его чрезвычайно интересует, а сам в это время обдумывал план дальнейших действий. Ресторан закрывается в десять, значит, к делу можно приступать где-нибудь в одиннадцать. По всем расчетам в это время ему никто не должен помешать совершить то, чем ни один кавалер в городе не мог похвастаться.— Даже наверняка писатель,— он выразительно посмотрел ей в глаза.— Приехал искать тему для будущей книги.

И тут Юрек остолбенел. Распахнулась дверь бильярдной, и из нее вывалилась теплая компания: Микун, варшавянин и с ними Коженъ, новый председатель кооператива «Вперед к благополучию!». Микун кивнул ему, Юрек тут же подскочил.

— Покеришко намечается? — он растянул рот в услужливой улыбке.

— Ха-ха-ха,— добродушно заржал Стефан Микун.— Зачем нам покер, нам и четырех дам хватит*. А у тебя только покер в голове, а?

— А что тут такого? — наивно округлил глаза Юрек, переминаясь с ноги на ногу. Микун еще ни разу не допускал его к игре в своих компаниях. Он и на этот раз даже не подумал пригласить Юрека.

— Подъедешь ко мне за нашим гостем в двенадцать,— приказал он, как школьнику.— В двенадцать? — он склонился к приезжему.

— Это, пожалуй, слишком поздно,— неуверенно возразил тот.

— В двенадцать,— Микун заговорщицки подмигнул Юреку.

Компания медленно удалялась, до Юрека долетели обрывки разговора:

— Вы себе не представляете, как этот парень рвется сыграть. Но пока свои способности он демонстрирует друзьям таксистам.

— А вы сыграйте с ним,— бросил варшавянин.

— Зачем мне это нужно?! Я от него ничего не хочу, а кроме того, его жена преподает у моей дочери. Выпускной класс... Так что хлопот не оберешься.

Было слышно, как распахиваются дверцы «мерседеса», и вновь голос обладателя свободной профессии:

— Извините, что я даю советы, но мы как-никак несколько выпивши...

— И что? — не понял Микун.

— По-моему, правильнее было бы поехать на такси.

— Да вы что?! — ночную тишину разорвал громкий смех Микуна.— Я здесь живу двадцать лет! Садитесь смело!

Зарычал мотор, и машина отъехала.

Юрек с печальной миной вернулся к Агнешке. Она сделала вид, что не заметила его унижений, и с преувеличенным вниманием стала изучать книгу регистрации клиентов.

Он еще раз взглянул на витрину киоска, увидел две лежащие сверху колоды, и тут его осенило.

— Дай-ка мне эти карты,— прошептал он.

Агнешка удивленно вскинула брови.

— Я их еще уделаю! — глаза Юрека сияли.— Ох, что я с ними сотворю!.

Это было произнесено с такой страстью, что Агнешка ни слова не говоря достала обе колоды и презрительно бросила на небольшой прилавочек. Юрек не обратил внимания на эту бестактность.

— Я им устрою,— повторил он, как маньяк.

Примчавшись домой, Юрек переоделся во все темное, а затем вернулся к пустующей вилле проворовавшего председателя кооператива, граничащей с домом Микуна. Через минуту он уже был на балконе второго этажа. Они играли в охотничьей гостиной Микуна, той самой, куда он так стремился попасть в качестве полноправного партнера по столу. Юрек не знал, как будет развиваться события дальше, но теперь-то уж он был уверен, что скоро пробьет и его час. Нужно было только очень точно выбрать момент.

Присмотревшись повнимательнее к играющим, он, к своему величайшему удивлению, вдруг понял, что они играют не в покер, а в самое что ни на есть плебейское очко. На кону посреди стола лежало несколько бумажек по тысяче злотых. Микун банковал. У Коженя, вероятно, был перебор, потому что он бросил карты. Микун повернулся в сторону гостя. Сдал ему карту. Тот открыл.

* Имеются в виду комбинации в покере.

Это был туз пик. Приезжий секунду подумал и потянулся за бумажкой. Он явно собирался играть на все. И тут Юрек увидел то, ради чего он сюда залез: Микун сделал «этажерку», то есть попросту говоря передернул карту. Указательным пальцем, которым он должен был сдать следующую карту, он отработанным движением выдернул снизу другую, заготовленную.

Юрек увидел то, что ожидал. Оставаться на балконе дальше было опасно. Осторожно спустившись вниз, он вернулся домой, снова переоделся, затем достал обе взятые у Агнешки колоды и безопасной бритвой нанес на «рубашку» едва заметные насечки. Около двенадцати он не торопясь подъехал к дому Микун. Теперь этот старый прохода не отвертится. Он заставит его играть. Один на один. Без всяких «этажерок». Честно. На судьбу. Кому как выпадет. Только его, Юрека, картами.

Но когда ровно в двенадцать он, удивившись, что входная дверь не заперта, вошел в дом Микун и поднялся на второй этаж в охотничью гостиную, то остановился в дверях как вкопанный.

Хозяин дома стоял у распахнутого бара и пил коньяк из большого граненого стакана. Кожень с выпученными глазами сидел у стола и наблюдал за неторопливыми движениями незнакомца, спокойно собиравшего в большой целлофановый пакет разбросанные по столу деньги. Юрек уже немало повидал за свою жизнь, но такой кучи денег — толстенные пачки тысячезлотовых банкнот — не видел никогда. Приезжий мужчина что-то говорил, но смысл его слов дошел до Юрека не сразу.

— Совершенно не понимаю, как это случилось... Уверяю вас, что я не хотел... Нелепость какая-то...

«Издевается мужик или он действительно лопух?» — пронеслось в голове у Юрека.

Микун одним дыхом допил коньяк, его красное, возбужденное лицо стало бледнеть.

— Надеюсь, вы понимаете, что должны предоставить нам возможность реванша? — было видно, что ему стоит немалых усилий сдерживать себя.

— Само собой разумеется, — кивнул мужчина.

— Когда?

— Я к вашим услугам, — сказал он и встал.

— Тогда завтра в пять у меня. Договорились?

— Хорошо.

В тот момент, когда представитель свободной профессии прошел уже в дверь мимо совершенно опупевшего Юрека, Микун не удержался и бросил ему вслед:

— Можно надеяться, что вы не попытаетесь покинуть нас, не попрощавшись?

Столичный гость дернулся, но хорошие манеры и воспитание взяли свое. Он лишь обернулся, подчеркнуто вежливо поклонился и надел шляпу.

Все планы Юрека Гамблерского рухнули. Он ставил на Микун, был уверен в нем, однако Микун проигрался в пух. Тем не менее мысль продолжала работать. Они еще не дошли до машины, как Юрек уже кое-что скомбинировал.

— Вот вы и выиграли дом, — начал он издалека.

Приезжий потер лицо руками.

— Дом? — переспросил он удивленно.

— Ну конечно, — Юрек показал на пакет, лежавший на коленях пассажира. — Такие деньжищи... На них-то можно купить дом?..

Тот почему-то вздохнул и отрешенно сказал:

— Я тоже так думал.

— Что?

— Что за деньги можно купить дом.

— Так в чем же дело? — заволновался

Юрек. — Вы и так собирались принять участие в аукционе, а уж сейчас-то... О-го-го! У вас преимущество в несколько сот тысяч, если я не ошибаюсь.

— Аукцион отменен. Точнее, перенесен. На неопределенный срок.

— А-а. Это новый председатель поработал, Кожень. Ну и подумайшь! Купите дом в другом месте.

Мужчина взглянул на Юрека так, как будто он по молодости нес полную ахинею и человека постарше поражает его наивность. Юрек, однако, точно знал, что если в машине и сидит кто-то наивный, то это уж только не он. Они подъезжали к гостинице, и Юрек сменил тему.

— В покер играли? — на голубом глазу полюбопытствовал он.

— Нет, в очко. Я не играю в покер.

— Это вы им так сказали? — Юрек продолжал демонстрировать актерские способности. — Понимаю. Я понимаю, почему вы им так сказали. Их было двое, а вы один. В покер у вас с ними не было никаких шансов. Правильно?

Пассажир взглянул на Юрека с усмешкой, в которой сквозило несомненное признание его пронизательности.

Машина остановилась перед гостиницей.

— А ведь вы сказали, что карты — это азарт и вообще что-то ужасное, — не удержался Юрек.

Варшавянин положил на сиденье купюру в тысячу злотых.

— Я сказал это потому, что так оно и есть, — он посмотрел на Юрека. — Итак, завтра в пять?

— Вот я бы с вами сыграл... — мечтательно протянул Юрек.

Элегантный мужчина кивнул головой и повторил:

— Завтра в пять.

Двумя пальцами, как бы брезгуя, он поднял тяжелый целлофановый пакет и зашагал к гостинице.

Юрек еще какое-то время сидел не двигаясь. Он ясно сознавал, что стоит всего в полушаге от огромных денег, которых честным трудом не заработаешь за всю жизнь, но которые каким-то невероятным фортелем судьбы оказались в руках то ли ловкача, то ли дурачка из Варшавы.

Свет в холле гостиницы погас, и Юрек вдруг вспомнил про свои успехи у Агнешки. После столь насыщенного дня он решил устроить себе секс-вечер. «Волгу» он загнал в тупичок за гостиницей. Дальше все пошло неожиданно легко. Агнешка высунулась из дверей, тогда он резко рванул ручку на себя, обхватил ее за талию и губами всосался в открытую шею. Барахтание было недолгим, Агнешка обмякла почти сразу.

— Увидит кто-нибудь,— испуганно шепнула она. Юрек вздохнул с триумфальным облегчением.

Агнешка была ненасытна.

Когда же наконец оба они без сил распластались на широком диване ее дежурки, он решил, что момент упускать нельзя. Встал, зажег ночник, достал из кармана куртки две запечатанные колоды и положил их на столик прямо перед Агнешкой, лежавшей, закатив глаза в потолок.

— Продай их этому пижону. Ну из Варшавы,— ласково произнес он.

— Да у меня в киоске еще карты есть,— томно пропела Агнешка, думая явно о другом.

— Ты можешь сделать это для меня?! Продай ему вот эти колоды.

Агнешка приподнялась и внимательно посмотрела на Юрека, отрезвев от бурных любовных упражнений.

— Чего-нибудь в этом роде я и ожидала. Так вот зачем я тебе нужна? Только за этим?

Юрек покачал головой.

— Не надо считать меня свиньей. Я этого не заслужил. Буду с тобой совершенно откровенным. Больше всего на свете я люблю две вещи. То, чем мы занимались сейчас с тобой, и то, что я хочу сделать с этим пижоном. Таковы мои жизненные планы на ближайшее будущее.

Агнешка сверкнула глазами.

— На глупенького он не похож. Такой симпатичный мужчина... А какой элегантный...

— Да уж, конечно, не фраер. А как он раздел Коженя с Микуном — пальчики оближешь! Но это все до поры до времени, пока до меня не дошел. Смотри,— он достал из кармана еще одну, распечатанную колоду

карт и разложил ее веером перед Агнешкой.— Смотри сама. Можешь хоть лупу взять и, если что-нибудь заметишь, я сдаюсь.

Она механически перебирала карты, но думала явно о чем-то своем.

— Втянешь ты меня в это дело. Я ведь мою работу потерять.

— Ты с ума сошла! При чем здесь ты?! Я все беру на себя. Ты только продашь две совершенно новые, запечатанные колоды. Договорились?

— Хорошо,— согласилась Агнешка.— Сделаю. А теперь иди. Скоро совсем светло будет.

Юрек вернулся домой, но, несмотря на усталость, долго не мог заснуть. Он перелбрал все доступные ему варианты, как усадить столичную штучку за столик для игры. Но так ничего и не придумал...

Он проспал до десяти утра. Без четверти двенадцать приехал на площадь, поставил машину, выключил мотор и стал ждать. Совершенно бессознательно, интуитивно он выбрал, вероятно, лучший из всех возможных вариантов: положиться на судьбу.

Часы на костеле пробили двенадцать, и тут на лестнице гостиницы появился этот самый фронт-элегант. Юрек потянулся, разгоняя остатки сна, достал из «бардачка» колоду карт и стал тасовать, упражняя руку. В голове была абсолютная пустота, но сердцем он чувствовал, что сейчас что-то должно произойти.

Спускаясь по лестнице, Петр остановился и повернул лицо к солнцу. Наслаждаясь бесплатной лаской, он вспомнил, что испытывал прежде, вступая в новое дело. Еще десять лет назад под маской полнейшего равнодушия он где-то там внутри ощущал прилив божественного тепла. Сейчас он вслушивался в себя, ища это тепло, и не находил. Им владело только одно, неиспытанное и неведомое прежде чувство — ненависть. Тепло было только внешним, ощущаемым лишь подставленной солнцу щекой.

Он надел шляпу и спустился. Парень выскочил из машины, перекинул обе руки через дверцу и, тасуя карты, с плутовской улыбкой спросил:

— Может, подвезти?

Петр Грынич добродушно хмыкнул. Сейчас он выглядел человеком, не способным отказать никому.

— Ну хорошо,— в его тоне мелькнула необходимая снисходительность.— Приходите в мой номер через час.

Юрек не мог поверить своему счастью и что-то залепетал.

— Спокойней. Жду вас через час.

Юрек с сияющим лицом предложил:

— Так я куплю карты. В гостинице в киоске как раз есть.

— Не беспокойтесь, я сам куплю,— мягко парировал Грынч.

Юрек щелкнул пальцами.

— Тогда полечу домой. За деньгами.

Петр Грынч тем временем направился в писчебумажный магазин, где купил пачку бумаги для пишущей машинки и обычную пластмассовую линейку, после чего прогулочным шагом миновал известную кондитерскую и вернулся в гостиницу. В своем номере он засучил рукава рубашки и принялся за работу.

Микун не понравился ему с первого же взгляда. Таких самодовольных, маленьких, толстеньких и богатеньких глистов он давил всю жизнь. Дом, соседствующий с владениями Микунa, его тоже разочаровал, и он решил его просто-напросто не покупать — зачем же по доброй воле жить там, где противно? «Как безнадежно выглядит пустое жилье, еще не ставшее ничьим домом»,— философски отметил он про себя и вдруг услышал за спиной:

— Сколько вы хотите?— Кондитер не считал нужным соблюсти даже элементарные формы приличия.

— Сколько я хочу?— недоуменно переспросил Грынч.

— Да-да. Вот именно. Сколько?

Петр спокойно разглядывал налитое злобой лицо, по которому бегали живые и хищные мышинные глазки.

— Простите, не понимаю.

— Нечего тут из себя изображать! Я вас по-польски спрашиваю: сколько вы хотите?

Грынч наслаждался грубостью и невыдержанностью этой свиньи.

— Я, простите, ничего не хочу. Я приехал сюда купить этот дом, потому что был объявлен аукцион. Что я могу от вас хотеть?

Микун внимательно посмотрел ему в глаза и внезапно успокоился.

— Хорошо, хорошо. Сейчас объясню. Правление кооператива назначило за дом начальную цену триста двадцать тысяч. Во время аукциона она несколько поднимется. Я вам предлагаю двадцать «кусков», чтобы вы перестали этим интересоваться.

Петр пожал плечами.

— Мне не нужны ваши деньги. Я приехал купить дом. Я еще подумаю, но если он мне понравится и я решусь, то буду на равных со всеми правах участвовать в аукционе,— он произнес это и простоудушно и убедительно.

Микун вздохнул как человек, которому приходится разжевывать и объяснять какие-то очевидные вещи.

— Давайте начистоту. Этот дом покупаю я. Я его покупаю для своей дочери. Вы здесь человек посторонний, и шансов у вас никаких. Теперь понятно?

Грынч недоуменно покрутил головой, показывая, что он не вполне понимает собеседника.

Микун тихо чертыхнулся, достал из кармана пачку денег, отсчитал двадцать бумажек, зло покосился на Грынча и добавил еще пять, после чего резким движением засунул их в карман его пиджака.

— И завтра вы мне мешать не будете,— добавил он.

Совершенно ошеломленный вульгарным жестом кондитера, Грынч сделал шаг назад, вынул из кармана деньги и посмотрел на них с непередаваемой грустью.

— Деньги как тень бегут за нами, в то время как мы бежим от них,— произнес он так, как будто читал со сцены монолог Гамлета.

Микун бросил на него быстрый подозрительный взгляд.

— Что? Что-что?

— Нет, ничего. Это я так. Мне не нужны ваши деньги. Я приехал сюда, чтобы истратить деньги, а не заработать.

— А выходит так, что заработаете. Это же еще лучше!— упорствовал Микун.

Петр протянул ему пачку.

Лицо Микунa налилось кровью.

— Повторяю, что вы здесь посторонний, чужой. И шансов у вас никаких. Такова жизнь. Играл Понимаете?!

— Вы называете это игрой? Какой игрой? При чем здесь игра?! Речь ведь идет только о покупке дома,— Грынч был очень серьезен.

Микун ничего не понимал.

Петр еще раз протянул ему деньги, но кондитер отвернулся. Он пожал плечами и разжал пальцы, сделал при этом брезгливую мину, как будто держал в руках что-то грязное. Бумажки посыпались на землю. Уходя, он не дал себе труда обернуться, будучи и так уверенным, что Микун подбирает их, кляня при этом все на свете.

Петр вернулся в гостиницу и попросил у администратора расписание поездов. Ему захотелось как можно быстрее уехать отсюда. Все равно куда. Структура оказалась гораздо более гибкой и всеобъемлющей, чем ему представлялось. Она безотказно действовала и здесь, на краю света, где обрывались железнодорожные пути и откуда дальше не вела уже ни одна дорога. Дежурная молча протянула ему расписание. Ежедневно в городишко прибывали два поезда. Тот, которым он сюда приехал, двенадцатичасовой, и второй, прибывающий в пять вечера. Здесь была конечная станция и отсюда поезда шли обратно. До отправления второго, вечернего, поезда у него было около часа.

Девушка посмотрела в окно на совершенно пустую площадь:

— Сюда к нам лучше всего на машине. Туда и обратно. Поезда-то, как улитки, ползают. Вообще-то у нас туристов много бывает. Сейчас вот только что-то никого нет...

Петр кивнул, как бы благодаря за информацию.

— Я все-таки поездом.

— Ой! — спохватилась девушка. — Ведь расчетный час уже начался!

— Ничего, я заплачу до завтрашнего дня.

В этот момент дверь холла распахнулась и вслед за Микунем в гостиницу вошел какой-то невысокого роста человечек, семенявший за владельцем кондитерской, как собачонка за хозяином. Они остановились перед Грыничем, и Микун с наигранным восторгом и удивлением закричал:

— Вот удача! Как хорошо, что мы вас встретили! Посмотрите, тут кое-что, по-моему, должно вас заинтересовать.

Он вынул из внутреннего кармана пиджака конверт и с преувеличенно низким поклоном протянул его Грыничу. Потом кивнул в сторону своего спутника, и они скрылись за дверью бильярдной.

Петр вскрыл конверт. Внутри лежало типографским способом отпечатанное объявление: «Садовый кооператив “Вперед к благополучию!” извещает все заинтересованные организации и частных лиц о том, что ввиду инспекции комиссии по строительству и архитектуре аукцион по продаже дома по улице Польной, 16, отменяется. О новых сроках аукциона все заинтересованные стороны будут проинформированы дополнительно. Председатель кооператива — Франчишек Коженъ».

Он хотел спокойно уехать и получил пинка под зад.

— Если вы свои вещи сейчас заберете, то я счет за завтра выписывать не буду, — проявила трогательную заботу девушка.

Но он ее не слышал. То, что с ним сейчас творилось, не имело ничего общего с принципами, которых всю жизнь придерживался Великий Шу. Как оказалось, в нем еще жил варшавский парнишка с правого берега Вислы, носивший в кармане нож с выскакивающим лезвием. Шу, Великий Шу и бровью бы не повел. Он бы попросту не заметил копошенья этих муравьев вокруг себя, в крайнем случае иронически рассмеялся бы. Но паренек из зарослей стиснул зубы, и сердце его залила ненависть. Ножа у него давно уже не было, но оружие страшной, тысячекратно большей силы всегда было с ним. Мальчишка-сорванец и божественный Шу слились воедино. Мальчишка тут же бросился бы за ними в бильярдную, и не было бы на свете силы, которая могла бы спасти провинциального кондитера. Великий Шу сделал девушке глазки, широко улыбнулся и объявил:

— Я, пожалуй, останусь до завтра.

Бросил в мусорную корзину смятое объявление и вошел в бильярдную.

Приятель Микун, Франчишек Коженъ, из игры вышел быстро и уселся в кресле, поставив рядом с собой бутылку коньяка и наблюдая за соперничеством на бильярдном столе.

Бильярд, однако, был лишь интермедией между тем, что произошло до сих пор, и тем, что должно было случиться. Ненависть отнюдь не ослепила Шу, наоборот — дисциплинировала, заставила мыслить спокойно и точно, как в лучшие годы, превратила в безошибочно считающий компьютер, которому были доступны, кажется, все тайны человеческой психики. Этот компьютер моментально зафиксировал первую слабость местного мафиозо — мелочность, а затем и вторую, более существенную, — жадность. В процессе игры аппетит Микуня все возрастал, и Петру Грыничу оставалось лишь деликатно стимулировать этот процесс.

— Семерку в угол, — объявил Микун.

Шар остановился перед лузой, затем упал, как будто сдунутый порывом ветра. Кондитер восторженно закатил глаза.

— И вы хотите у меня выиграть?! Здесь?!

Шу натер мелом конец кия, с абсолютной достоверностью изобразил, как он нервничает, после чего почти дрожащей рукой ударил.

— Кикс! — радостно прокомментировал Микун.

Грынич со злостью отставил кий в сторону и подошел к Коженю, который услужливо налил ему рюмку коньяку. Махнул ее залпом.

— Игра еще не окончена, — бросил он Микуну.

Тот закивал от восторга.

— Так, может быть, удвоим ставки? — двойной подбородок нетерпеливо задергался.

— Охотно, — с энтузиазмом согласился Грынич.

Потом они еще дважды повышали ставки.

Бильярдная закрывалась в восемь. Микун подсчитал пункты. Он выиграл пять тысяч с лишним.

— Нехорошо так обыгрывать гостя, — реюмировал он, пряча деньги в бумажник.

Грынич лишь вздохнул и покосился на задремавшего председателя, рядом с которым стояла пустая бутылка.

— Бывает. — На варшавского гостя было жалко смотреть.

Микун изучающе взглядылся в него.

— А если бы я вам предложил более мужскую игру?

Ради этого как бы между прочим брошенного вопроса он несколько часов потел на бильярде.

— Шахматы? — заинтересовался приезжий.

— Нет,— покачал головой Микун.— Покер. Настоящий покер.

— Я не умею,— угас гость и грустно развел руками, но, видя на лице кондитера явное разочарование, тут же добавил: — В очко я когда-то играл... В очко... Мальчишкой... В двадцать одно.

Микун потупил глаза, чтобы не расхохотаться, но тут же взял себя в руки.

— Очко?! Двадцать одно?! Очень хорошая игра. Мужская! — заржал он, затем обернулся и крикнул: — Франчишек, вставай! За работу!

Вилла Микуну очень напоминала ту, которая выставлялась на аукцион, но оборудована была с вызывающей для социалистического строя роскошью. Для игры предназначалась охотничья гостиная, посреди которой стоял огромный дубовый стол, по стенам — диван и три кресла. Два деревянных бара-близнецка отличались друг от друга лишь тем, что в одном были легкие алкогольные напитки: вина, ликеры и аперитивы, в другом — виски, водки и коньяки. Над диваном висели невероятных размеров лосиные рога, на ветвях которых сидели чучела различных птиц. Главным же декоративным элементом гостиной были рога оленей, развешанные по всем стенам. Из них также были сделаны ножки кресел, дивана и баров. В углу зала стояли охотничьи ружья: винтовка с оптическим прицелом, винчестер и три двустволки.

Очко — детская игра. Банкир по очереди разыгрывает партии с каждым из играющих. У кого количество очков окажется ближе к двадцати одному, тот и выиграл. Нельзя только набирать больше двадцати одного — сразу проигрываешь. Двадцать два и более — перебор. При равенстве очков выигрывает тот, кто держит банк. Банкуют по очереди. Вот и все.

Сначала, как водится, ставки были небольшими — происходил своего рода ритуал знакомства. Петр решил позволить игре течь своим чередом, то есть абсолютно стихийно, до тех пор, пока это будет возможно. Пусть пока все решает случай. Единственное, чего он опасался, как бы этот самый случай не выбрал его на этот раз своим баловнем: если весь вечер ему будет идти карта и вообще везти, то это может не только вызвать подозрения, но и лишить его возможности нанести решающий удар. И еще он интуитивно понимал, что парень-таксист в дальнейшем может быть ему чрезвычайно полезным.

Игра шла с переменным успехом. Банковали все по очереди, но никому не удалось довести игру до «стука», когда банкир забирает весь кон. Где-то через час после начала игры банк надолго оказался у Микуну и кон стал молниеносно расти. Петр уже стал подумывать, не пора ли «призвать» на помощь судьбу, как вдруг заметил какую-то неесте-

ственность в движениях и положении указательного пальца правой руки, которой кондитер давал карты из колоды. Он задумался, что бы это могло значить, стараясь при этом не подать виду, что он что-то заметил, и тем самым не спугнуть манипулятора. И тут он чуть не расхохотался: указательным пальцем Микун делал «этажерку». До него это дошло не сразу лишь потому, что профессионалы исполняли этот номер технически безукоризненно, используя средний палец или мизинец левой руки, в которой была колода, так что сидящий напротив партнер не мог ничего заметить. Техника Микуну была на уровне школьника, едва познавшего, что такое карты, скажем, Лисенка. Вот эта-то гениальная в своей наглости простота и сбила его с толку.

В кону было пятьдесят тысяч, и Микун объявил «стук». Петр получил от него карту, открыл — это был туз пик. Он понял: Микун хотел подтолкнуть его сыграть на все, поэтому и сдал ему туза. А он, собственно говоря, не видел причин, чтобы не исполнить тайного желания банкира. Достал бумажник, отсчитал пятьдесят тысяч.

— Я, наверное, сошел с ума,— он покачал головой.— Но я иду на все.

Микун удовлетворенно кивнул и дал ему вторую карту. Петр сложил ее с тузом пик, затем раскрыл. Микун и Кожень напряженно вглядывались в него. Петр Грынич состроил мину «полнейшее удивление наивного человека» и, чуть заикаясь, выдохнул:

— Не знаю, как это случилось, но сейчас вы мне дали две карты...

— Как это две?! — не стесняясь заорал Микун.

— Я не знаю как,— тоже волнуясь, прошептал Петр и выложил на стол три карты. Микун врос в кресло. Затем посмотрел на Коженя, как бы ища у него поддержки, но тот только покачал головой.

— Ты виноват,— вынес он приговор.— Ошибка при сдаче всегда наказывается. Так что или ты проиграл, или ты доставишь банк и вы играете снова.

Микун со злостью швырнул карты на стол.

— Не проиграл! Не проиграл! У меня просто карты слиплись! Хорошо, я доставлю банк, но играть будем новой колодой.

Теперь банковал Грынич, остальное было игрой кошки с мышкой. Петр давал Микуну выигрывать незначительные суммы, стараясь всячески разнообразить игру. Помимо всего прочего эта забава имела целью выяснить финансовые возможности кондитера. Кожень в расчет не принимается. Петр держал его в игре, поскольку тот своим присутствием и дурацким поведением расплывал внимание Микуну.

К одиннадцати часам Микун проигрывал двести сорок тысяч. Тут он «зациклился»,

боясь проиграть еще больше, и стал идти на тысячу, максимум две. Наступил самый трудный момент игры. Нужно было дать возможность созреть в его голове мысли, что лежащую на столе кучу денег можно в любой момент отыграть. Грынич спокойно ждал, пока соперник на это взойдет.

Внезапно Кожень рискнул сыграть на десять тысяч и выиграл. Тут Микун сломался. Это было заметно по его лицу, то бледному, то багровому. И вот он не выдержал.

— Почему вы не объявляете «стук»? — злобно спросил он.

Петр как бы опешил. Задумался.

— Такая гора денег... Как-то нехорошо было бы обыграть хозяина...

До Микуна дошли и ирония и намек, он закусил губу и ничего не ответил. Кожень выиграл еще раз. Микун закипал. Грынич пригладил свои коротко остриженные волосы.

— Ну что ж. Уже двенадцать часов. Поздно. И раз вы настаиваете, я объявляю «стук».

— Секундочку, — вскочил Микун. Он выдвинул ящик стола и достал еще одну колоду карт. — Такой «стук» надо разыграть новыми!

— Совершенно справедливо, — согласился Грынич, тасуя карты.

Первым на линию огня вышел Кожень. Перед ним лежало двадцать пять тысяч, а поскольку это была последняя партия и последняя возможность отыгаться, он рискнул поставить пятнадцать тысяч и проиграл.

Грынич повернулся к Микуну. Дал ему одну карту и одну отложил себе.

На лице Микуна была вся гамма оттенков внутренней борьбы с самим собой — перед ним лежал банк, в котором было более двухсот пятидесяти тысяч. Их можно было отыграть только сейчас. И шансы были неплохие, потому что Грынич сдал ему туза.

— Сколько на кону? — нервно уточнил процветающий бизнесмен.

Петр склонил голову и мысленно подсчитал:

— Двести семьдесят тысяч.

— Свою карту, — все еще не решившись, потребовал Микун.

Грынич открыл. У него был бубновый король.

Микун еще раз повертел в руках своего туза, взглянул на короля бубей и сплюнул через левое плечо. Он решился. Мгновением Кожень быстрый взгляд, чтобы тот проследил за картами, Микун вышел из гостиной в другую комнату и тут же вернулся с целлофановым пакетом в руках, набитым пачками банкнот. Он стал выкладывать их на стол, громко считая:

— Сто... двести... двести пятьдесят. Иду на все. Карту.

— Минуточку, — остановил его Грынич. — Если вы выиграете, в банке останется двадцать тысяч.

Микун скрипнул зубами и схватил деньги, лежащие перед председателем кооператива.

— Здесь только десять тысяч, — пискнул Кожень.

Микун бросил эти деньги на кон и объявил: — Десять тысяч останется вам, дорогой гость.

— Если вы выиграете, — простодушно подтвердил Грынич и дал ему карту.

Толстые руки кондитера схватили ее и поднесли к самым глазам. Обвислые щеки дернулись в непроизвольной улыбке.

— Себе.

Грынич взял карту и положил рядом со своим королем. Второй картой была десятка. Всего четырнадцать. Он изобразил на своем лице мину «долгое раздумье» и отложил колоду в сторону.

— Четырнадцать, — сказал он громко и махнул рукой. — Все, хватит, а то некрасиво было бы обыграть хозяина.

Микун молчал. Грынич смотрел на него в упор широко раскрытыми глазами.

— Я проиграл? — спросил он наконец.

На лбу кондитера выступили капельки пота.

— Проиграл? — спросил он еще раз.

Микун швырнул карты на стол и заорал, почему-то обращаясь к Коженю:

— А у меня тринадцать! — после чего подскочил к бару и налил себе полный стакан коньяка. На мгновение его взгляд задержался на поблескивавших стволами ружьях, как будто в этом было спасение.

Грынич взял пакет и стал неторопливо складывать в него деньги. Взгляд, брошенный в угол, где стояли ружья, он заметил.

— Совершенно не понимаю, как это случилось... Уверяю вас, что я не хотел... Нелепость какая-то... — растерянно бормотал он.

И в этот момент он услышал за своей спиной голос таксиста. Грынич еле сдержал вздох облегчения. Безумный замысел Микуна стал нереальным, хотя с проигрышем он, разумеется, не согласился и потребовал рванша. Грынич обещал.

Все это было прошлой ночью. Сегодня они условились встретиться в пять вечера. Он понимал, что какой-то сюрприз к этой встрече кондитер подготовит, а если его заготовки окажутся неудачными, может схватиться за оружие. Самым разумным выходом из создавшейся ситуации было бы расстаться «по-английски», не прощаясь, то есть потихоньку уехать. Но это означало бы, что он струсил, убежал. Петр Грынич — Великий Шу так поступить не мог. Кто виноват, что обстоятельства вынудили его вновь стать Великим Шу?

Часы на костеле пробили час дня, и тут раздался стук в дверь.

— Одну минуточку! — крикнул он и убрал все со стола, а клочки нарезанной бумаги выбросил в корзину. Целлофановый пакет с деньгами он небрежно швырнул на кровать, выложил на стол две колоды карт, купленные в гостиничном киоске, и рядом с ними — отдельное издание работы Иммануила Канта «Критика чистого разума».

После чего распахнул дверь.

— Пожалуйста, Юрек, заходите.

Юрек Гамблерский неуверенно вошел и осмотрелся.

— Вы держите это вот так?! — он вытаращил глаза на лежащий на кровати пакет.

Грынич пожал плечами.

— А где мне их держать? Да вы садитесь.

Юрек присел. Перед ним лежали карты. Только вот те ли? Он старался это как-нибудь незаметно определить.

— Что вас там так заинтересовало? — спросил Грынич, доставая из шкафа свой пиджак.

Юрек покраснел, как школьник, пойманный учителем во время прогула уроков, но тут же нашелся.

— Кант! — сказал он с глуповатой улыбкой.

— Кант! — подтвердил Грынич. — Иммануил Кант, великий отшельник. Знаете, у меня однажды оказалось очень много свободного времени и я часто его читал и перечитывал. Это был настоящий мудрец. Вы о нем такого же мнения?

— Да-да, — неопределенно буркнул Юрек и кивнул на карты: — Вот этими будем играть?

Грынич подошел к кровати, достал из пакета пачку денег и положил перед собой.

— Как бы все не проиграть, — пояснил он с опаской.

— Хо-хо-хо! — грохнул Юрек, ловко тасуя карты.

На этот раз Петр Грынич никого из себя не изображал. Парень ему был нужен, поэтому обыграть его следовало быстро и безжалостно.

На столе лежала «пулька» в несколько десятков тысяч. У Юрека же остались лишь жалкие бумажки. Сдавал Грынич. Молодой любитель покера купил две карты и получил комбинацию «фул макс» — три туза и два короля. Петр прикупил три карты.

Юрек пододвинул к «пулке» остатки своих денег и с надеждой посмотрел на партнера. Тот хмыкнул:

— Вы же понимаете, Юрек, что я мог бы дать под вас еще столько же не вскрывая и вам бы нечем было продолжить игру.

Юрек похолодел.

— Но я этого, разумеется, не сделаю. Я только вас проверю.

Юрек с облегчением разложил свою «картинную галерею»:

— Фул макс!

Однако Грынич взглянул на эту красоту как-то уж совсем равнодушно и наставительно произнес:

— Не везет вам сегодня, Юрек. Не ваш день.

Юрек тупо уставился в четыре раскрытые семерки.

Не прошло и четверти часа, а он уже проиграл все. Приезжий складывал выигранные пачки, ему же оставалось только поблагодарить и уйти. Больше делать было нечего. Но он продолжал сидеть как в столбняке, не понимая, что же произошло. Если бы пятнадцать минут назад ему кто-то сказал, что, войдя сюда, он тут же все проиграет, Юрек поднял бы его на смех. И тем не менее он проиграл. Проиграл, хотя они играли им же самим помеченными картами.

Грынич разложил в руке веером пять бумажек по тысяче злотых, как пять карт.

— Ты хоть знаешь, почему ты проиграл? Юрек засопел и пожал плечами.

— Везло вам. Карта шла.

— Нет. Ты проиграл, потому что играл вот в это, — он пошелестел купюрами.

— Мы в покер играли, — промямлил Юрек.

— Я — да. Я играл в покер. А ты играл в деньги. Вот они тебя и ослепили.

— В покер играют на деньги, — мрачно возразил Юрек.

— И на деньги тоже, — согласился Грынич. — Но прежде всего играют в карты. Сначала нужно выиграть в карты, тогда можно выиграть и деньги.

— Так это то же самое.

Грынич презрительно покачал головой и шлепнул по столу толстой пачкой.

— Вот почему ты проиграл.

— Я проиграл потому, что вам везло! — раздраженно крикнул Юрек.

— Везло? Но ведь можно и сделать так, чтобы везло. Покер — это искусство обмана. Мы играли на равных: ты обманывал, я обманывал. Выиграл тот, кто делал это лучше.

— Я обманывал? — Юрек задохнулся от негодования.

Грынич расслабился в улыбке. Взял со стола карты и поднес их к глазам.

— Помеченные бритвой карты хороши для твоих таксистов. Но уже Микун набил бы тебе за это морду.

Юрек съезжился, как побитая собачонка.

— Вы все знали, — прошептал он.

— Если бы ты играл в карты, ты бы заметил, что я знаю.

Юрек, понурившись, постоял еще немного и шагнул к двери.

— Подожди! — Грынич двинул по столу сторону Юрека пачку денег — все, что тот проиграл. — Забирай!

Юрек постоял, переминаясь с ноги на ногу, потом неуверенно, боком подошел к столу и протянул руку, будто собирался украсть в храме святыню.

— Бери, бери. А потом я тебе покажу, может быть, как организовать счастье.

Юрек схватил деньги. Чувство унижения сменилось застилавшей глаза яростью. Он почти на ощупь нашел дверную ручку и рванул на себя.

— К пяти. Не забудь,— бросил вдогонку Грынич.

Юрек обернулся, хотел что-то сказать, но душившие слезы помешали. Он с силой хлопнул дверь.

Грынич удовлетворенно усмехнулся, взял целлофановый пакет и вернулся к прерванной работе. В его распоряжении оставалось три часа.

В пятнадцать тридцать Микун сидел в своем «мерседесе» на привокзальной площади в ожидании скорого поезда из Вроцлава, прибывающего в Рогув. Этим поездом должен был приехать его знакомый из Варшавы, профессиональный шулер по кличке Граф. Некий идиотизм ситуации заключался в том, что у Микуну не было абсолютной уверенности, что его варшавский гость — мошенник.

Сразу же после игры Франчишек успокаивал его:

— Да новичок он. Даже в покер играть не умеет. А с картами всегда так. Карта, она новичков любит.

Микун прикладывал к разгоряченному лицу мокрое полотенце.

— Жулик он!

— Дилетант,— настаивал Коженъ.

— Жулик!

— Новичок! — продолжал упорствовать председатель.— И что же ты теперь собираешься делать?

— Вернуть деньги! Не подарю же я ему пол-лимона!

— Да-а... Но как?

Микун знал как. Он тут же заказал срочный разговор с Варшавой. Ему повезло — Графа он застал дома. Тот выслушал и согласился приехать. Решено было, что утренним самолетом он прилетит во Вроцлав, а оттуда — скорым поездом до Рогува, где его будет ждать Микун.

Сидя в машине, Микун лихорадочно соображал, прикидывал. А что если залетный варшавянин все-таки не мошенник? Ведь бывает же, что новичкам прет карта! Тогда все это мероприятие вдвойне глупо, ибо Граф потребовал за услуги сто «кусков» аванса и десять процентов от выигрыша. Ну насчет десяти процентов еще можно поторгаться, а сто тысяч надо выплатить сразу. Он уте-

шал себя тем, что в худшем случае вернет хотя бы четыреста тысяч. Но у незнакомца бумажник тоже набит... Граф наверняка растрясет его, так что еще не все потеряно...

Он жил в этом городе двадцать лет, знал здесь абсолютно всех и с каждым мог договориться о любом деле так, чтобы обе стороны остались довольны. Жизнь в городке текла по накатанным рельсам. Выставленный на аукцион дом принадлежал ему, и ни у кого в городке на этот счет не было да и не могло быть сомнений. И вот появляется этот столичный хрен — наверняка партийный взяточник, коммунистический функционер, иначе откуда у человека могут быть такие деньги! — который в соответствии с новымветрием хочет вложить их в недвижимость. Микун ничего против этой моды не имел, но не мог же он позволить, чтобы годами складывавшаяся иерархия в один миг была разрушена.

Этот тип хотел увести у него из-под носа дом, да и вообще доставил немало хлопот, за что должен быть наказан. Пришлось поговорить с нотариусом. Конечно, не бесплатно. Затем уладить все с архитектором в Рогуве, который обнаружил какой-то мухлеж в документации. Это тоже стоило. После чего уговорить нового председателя кооператива Франчишека Коженя отменить аукцион.

Новый председатель придавал огромное значение соблюдению всех норм приличия, и ему нельзя было так вот по-простому сунуть в лапу. Оба они считали себя людьми культурными и цивилизованными. Поэтому Микун пригласил Коженю на бильярд, намереваясь проиграть председателю тысяч десять, от силы пятнадцать и таким благопристойным образом выразить свою благодарность.

В холле гостиницы он встретил этого типа и не смог отказать себе в удовольствии подковырнуть его и показать тем самым, кто в городе хозяин: сунул ему объявление об отмене аукциона. Весь столичный лоск с него сразу слетел. Он явился за ними в бильярдную. За игрой Микун ему прямо сказал: «Вы что, хотели у меня выиграть? Здесь?!» Варшавянин пролепетал что-то типа того, что игра, мол, еще не окончена.

Микун вздернул его на пять «кусков», но этого было мало. Ему хотелось доказать незнакомцу, что в этом городе может выигрывать только он. Во что угодно. Он предложил карты. Приезжий согласился только на очко. Микуну это было на руку. В очко он был мастер. И все-таки он проиграл. Кульминационным был момент, когда он сдавал и у него слиплись карты. А потом счастье от него отвернулось. Он проиграл все, что мог проиграть, а в последней партии еще столько же. Его терзала мысль, как это все

могло случиться. Во всех случаях жизни он никогда не терял самообладания и всегда трезво оценивал сложившуюся ситуацию. Но той ночью он потерял разум. Он позвонил Графу, чтобы быть уверенным: все деньги будут возвращены.

По радио передали сообщение о прибытии вrocławского поезда. Микун поспешил на перрон встречать своего спасителя.

Граф был высоким, импозантным мужчиной с несколькими претенциозными манерами, которым, вероятно, и был обязан своим прозвищем. Даже здесь, на провинциальной железнодорожной станции, он двигался с подчеркнутой грациозностью и резко выделялся в разношерстной толпе пассажиров. На нем был клубный, вишневого цвета пиджак, темно-синяя сорочка, светлые брюки в широкую полоску и безукоризненно начищенные туфли. Костюм дополнялся бежевым шейным платком, завязанным с немслимой фантазией.

У Графа было довольно красивое мужественное лицо, и, глядя на него, Микун подумал, что со своей внешностью героя-любовника ему скорее следовало стать сутенером, а не шулером, раз уж у него такие склонности к темным делишкам.

— Привет, привет! — еще издали закричал Граф, демонстрируя два ряда великолепных зубов, которые с недавнего времени стали предметом его особой гордости.

Микун с кислой миной пожал протянутую ему ладонь.

— Кто посмел обидеть моего старого доброго знакомого?! — продолжал улыбаться Граф.

— Да есть тут один, — махнул рукой Микун. — Карта перла невероятно. Счастливым вечер был у клиента.

Улыбка Графа стала совершенно ослепительной:

— Дорогой друг! О каком счастье можно говорить да еще применительно к картам?! Микун вздохнул и жестом пригласил его в машину. Времени было достаточно, чтобы рассказать о событиях минувшей ночи.

Без десяти пять Петр стоял на ступеньках гостиничной лестницы. Площадь была пуста. Если он все-таки переборщил, то ситуация явно менялась. Без таксиста Юрека дело, в котором тому отводилась немаловажная роль, теряло свой смысл, более того, становилось просто опасным. Тут размышления Петра Грынича были прерваны: из боковой улочки на площадь на огромной скорости влетела черная «волга» и, скрежеща тормозами, остановилась перед входом в гостиницу. Дверца машины услужливо распахнулась. Грынич усмехнулся и виртуозно приставил.

Без десяти пять Петр стоял на ступеньках гостиничной лестницы. Площадь была пуста. Если он все-таки переборщил, то ситуация явно менялась. Без таксиста Юрека дело, в котором тому отводилась немаловажная роль, теряло свой смысл, более того, становилось просто опасным. Тут размышления Петра Грынича были прерваны: из боковой улочки на площадь на огромной скорости влетела черная «волга» и, скрежеща тормозами, остановилась перед входом в гостиницу. Дверца машины услужливо распахнулась. Грынич усмехнулся и виртуозно приставил.

— Езжайте помедленнее, — сказал он. — Я вам хочу кое-что предложить.

В охотничьей гостиной председатель Кожень стоял у окна и наблюдал за улицей. Микун отсчитывал Графу деньги. Делал он это с тяжелым сердцем, поскольку, как каждый бизнесмен, переплачивать не любил. Помощь Графа же стоила исключительно дорого. Закончив считать на слове «сто», Микун с надеждой посмотрел на шулера.

— Он должен выйти отсюда голым!

Граф мягко улыбнулся.

— Не надо преувеличивать, друг мой, на одежду я с ним играть не буду.

— Если у него останется только его костюмчик, получишь премию.

— Прекрасно! Я всегда предпочитал аккордную оплату труда.

— Едет! — закричал от окна председатель.

Микун понесся вниз к входной двери. Граф сложил толстую пачку денег пополам и сунул во внутренний карман пиджака.

— У вас очень мало времени, чтобы обдумать ответ, — закончил Грынич, нажимая на кнопку звонка перед входной дверью виллы Микуну.

— Да вы что! Чего тут обдумывать! Ясное дело — согласен! — Юрек Гамблерский потер ладони.

— Я так и думал, — спокойно кивнул Петр.

Дверь распахнулась.

— Прошу! Прошу! — радостно приветствовал их Микун, от избытка эмоций забыв даже указать таксисту на его место и склонив перед ним в поклоне голову, как будто Юрек был столь же долгожданным гостем. Вся троица поднялась в гостиную.

— Вы извините, но я позволил себе пригласить к нашему столику своего старого доброго знакомого, так как наш председатель вчера проигрался до нитки, — на ходу сообщил Микун.

Сидевший спиной к двери Граф приподнялся, чтобы поздороваться с прибывшими, и тут его полная достоинства и значительности поза совершенно переменялась, как если бы кто-то изнутри переломил его пополам. Он согнулся, широко вытаращил глаза и раскрыл рот. Живой марсианин или воскресший динозавр произвели бы на него меньшее впечатление.

— Шу, — еле выдавил он из себя. — Великий Шу!.. — и уставился на незнакомца влюбленным, обожающим взглядом, как настоящие ценители наслаждаются шедеврами искусства. Эта встреча могла означать лишь то, что Шу вернулся к своей профессии. С нескрываемой иронией Граф посмотрел

на Микуна и вновь продолжал любоваться Грыничем.

— Ты здесь?!..

Грынич тоже был весьма удивлен, встретив Денеля по прозвищу Граф в этом доме, но вида не подал. Значит, вот какой сюрприз готовил ему Микун — его тайным оружием был Денель.

— Старый идиот! — презрительно, без всякого почтения бросил в сторону Микуна Граф. — Где ты откопал себе такого партнера по картам?!

Ничего не понимающий Микун переводил испуганный взгляд с одного на другого и громко сопел.

— Я тебя спрашиваю: где ты его откопал?! — в его голосе слышалась откровенная издевка.

Микун побагровел.

— Я же говорил, что это жулик! — И как бы в свое оправдание добавил: — А еще выдавал себя за писателя.

— Простите, — с достоинством произнес Шу. — Я ни одному человеку в этом городе не говорил, что я писатель. А вот если вы интересуетесь у гостиничного администратора паспортными данными приезжих и делаете из этого неправильные выводы, то я здесь ни при чем.

— Кто бы мог подумать, что тебя можно встретить в такой дыре?! Как ты попал в этот Мордоплюйск?! — в каждом слове Графа звучала подчеркнутая лояльность к тому, кто вовсе не был писателем.

Но Грынич пропустил вопрос мимо ушей.

— Так что, — повернулся он к Микуну, — играем?

Кондитер взглянул на Графа, который в ответ только весело расхохотался:

— Нет, мой дорогой. На этот раз ничего не выйдет. У него нельзя выиграть.

— А мои деньги?!

Денель равнодушно пожал плечами. Затем вынул сложенную пополам пачку денег, отсчитал десять купюр, а остальное бросил на стол рядом с Микуну.

— Нет?! — взревел глава лютынской мафии.

— Нет, — спокойно отрезал Граф.

До Микуна наконец дошло. Он побледнел, его маленькие глаза тревожно и испуганно забегали. Он сделал шаг назад и опустился в кресло. Было такое впечатление, что ему стало плохо. Но тут он вскочил, расхохотался вдруг каким-то диким смехом, вытащил из-под стола приготовленное ружье и нацелил его на Грынича.

— Жулик! — с угрозой прорычал он. — Бандюга!

В гостиной наступила напряженная тишина.

— Юрек! Забери у него портфель.

Юрек передернул плечами и отвернулся,

как будто все сказанное относилось не к нему. Граф смотрел на Микуна с недоумением.

— Не делай этого! Не надо! — закричал Кожень.

В приступе ярости кондитер мог совершить любое безумство. Это Кожень знал. И уж чего ему совсем не хотелось, так это стать свидетелем событий, попадающих в газетную рубрику «Уголовная хроника». Так ведь и место председателя можно потерять. Он подошел к Грыничу с гримасой, обозначающей извиняющуюся улыбку, и взял у него из рук «дипломат». Шу отпустил ручку портфеля, не отрывая взгляда от обезумевшего хозяина.

— Не делай этого, — тихо приказал Граф.

— Раскрой.

Кожень послушно вынул из «дипломата» целлофановый пакет и высыпал на стол пять толстых пачек, каждая по сто тысяч. Пустой портфель он протянул владельцу.

— А теперь вали отсюда! — Микун указал ружьем на дверь.

Грынич бросил на него холодно-презрительный взгляд, в котором было и еще что-то, что Микун не успел или не способен был уловить, затем надел шляпу и вышел. Юрек за ним.

Микун и его знакомые молча слушали звуки удаляющихся шагов. Хлопнула входная дверь.

— Ну что? Удалось?! — кондитер потрепал Коженя по плечу и сгреб рассыпанные по столу пачки денег. — Все и вернули!

Он выглядел триумфатором — отложил ружье на соседнее кресло, взял бутылку коньяка и наполнил рюмки.

— Бандюга, — подытожил Микун.

Граф стоял у окна и смотрел на отъезжающую «волгу». Все происшедшее казалось ему неправдоподобным: Петр Грынич, Великий Шу, на его глазах так легко позволил отнять свой выигранный!

— Я ничего не понимаю, — сказал он громко. — Это же Великий Шу. Он недавно вышел, даже волосы еще не отросли. Знал бы ты, какие люди крутились вокруг него, какие игры ему сватали и обставляли и о каких деньгах шла речь! Причем нередко он и отказывался! И ты хочешь сказать, что он играл с тобой ради этого говна?! — Граф кивнул на пачки денег.

— Он хотел у меня выиграть. Не удалось! — упивался Микун.

— Если Шу хочет, он выиграет всегда, — продолжал недоуменно цедить Граф. Он на минуту глубоко задумался и вдруг, подойдя к столу, расхохотался. Микун смотрел на него с удивлением, которое постепенно сменялось безграничной яростью.

Граф держал в руках распечатанную пачку, где настоящими были только две банкноты — верхняя и нижняя, остальное — нарезанная бумага для пишущей машинки.

— Да, ты прав,— лицо Графа вновь сделалось задумчивым и серьезным.— Он хотел у тебя выиграть. Только ты неправильно ставишь логическое ударение: он хотел выиграть почему-то именно у тебя.

Микун, не слушая его, потрошил остальные пакки. «Куклы!» Он зашелся в яростной дрожи. Он вспомнил его прощальный взгляд и понял, что он означал: нескрываемую издевательскую насмешку.

— За ним! — рванулся Микун, увлекая за собой несчастного председателя кооператива.

Черная «волга» въехала на привокзальную площадь и остановилась на стоянке. В машине с распахнутой дверцей трое таксистов играли в карты.

— Карту не спугну? — весело крикнул Юрек.

Сидевший за рулем «фиата» мужчина с простым деревенским лицом сплюнул через раскрытое окно.

— Я с тобой больше не играю,— прогудел он.

— Куда ты денешься! — беззаботно рассмехался Юрек.

Петр взглянул на часы.

— Спокойно, успеем.— Юрек нажал на газ, и машина подлетела к зданию вокзала.

Грынич вбежал в кассовый зал. На счастье, очереди у окошка не было.

— Один до Щецина, пожалуйста. В первом классе,— он демонстративно нервничал, всем своим видом показывая, как он спешит.

Кассир неторопливо исполнил все формальности, связанные с продажей билета.

— От станции Вроцлав — скорым,— извещил он, отрывая наконец билет и протягивая его Грыничу.

Петр почти вырвал его из рук кассира и, не дожидаясь сдачи, выбежал на перрон. Поезд уже был готов к отправлению. Он вскочил в вагон и еще раз окинул взглядом небольшую станцию. Все здесь было, как и вчера. Улыбающийся дежурный любезно кланялся пассажирам. Но Петр уже знал, что кроется за этой идиллией. Он в очередной раз обманулся.

Петр захлопнул дверь в вагон и ключом, каким обычно пользуются проводники, отпер дверь с противоположной стороны, спрыгнул на пути, в несколько прыжков пересек их, пролез в дыру в бетонном заборе и оказался на глухой улочке, где его ждала «волга» Юрека Гамблерского.

Поезд тронулся, обнажая перрон и здание вокзала. Дежурный что-то любезно объяснял старушке.

И тут на перрон влетели Микун и Францишек Кожень. Поезд был уже далеко. Тяжелое пыхтение локомотива стало уже почти неслышным.

Взмыленные искатели справедливости подбежали к дежурному и, судя по жестам, стали описывать ему Грынича. Тот внимательно выслушал, важно кивнул и указал рукой в направлении, в котором скрылся поезд. Кондитер смотрел на опустевшее железнодорожное полотно, сжав кулаки. По его грозному и решительному выражению лица можно было понять, что от своего замысла он не отказался. Молча постояв, он схватил председателя кооператива за руку и потянул за собой, как капризного ребенка.

Во дворе перед домом Юрек Гамблерский копался в своей «волге». Услышав характерный звук приближающегося мотора, он еще глубже влез под капот. Рядом остановился голубой «мерседес».

— Где он? — спросил Микун через опущенное стекло.

— Так я его на вокзал отвез, он через час уже будет в Рогуже,— Юрек удивленно таращил глаза на короля города.

— Все в порядке,— буркнул Микун, давая «мерседесу» задний ход.

— А что случилось-то? — крикнул вдогонку Юрек.

— Ничего. Забыл попрощаться.

«Мерседес» рванул с места и тут же исчез за соседними домами. Юрек тщательно вытер тряпкой руки и захлопнул капот. После этого, пару раз оглянувшись, он поднялся в свою квартиру.

Петр Грынич уже долго рассматривал ее, не решаясь даже внутренне, для себя, дать хоть какую-то оценку этому полунинтеллигентскому провинциальному гнездышку — он понятия не имел, как живет так называемый среднестатистический поляк. На подоконниках, всевозможных полочках и лешках стояли горшочки с цветами, что придавало квартире вид весьма своеобразный. Все остальное было стандартным, штампованным, безликим: натертая до блеска горка с хрусталем, стол, четыре кресла, совершенно неподходящие к остальной мебели псевдоантикварное трюмо и вполне современная, широкая разборная тахта, на которой валялась неубранная смятая постель. И все же в этой убогой и безкусной квартире было какое-то тепло, некий особый аромат. Возможно, его создавали цветы, а может быть, едва заметные во всех мелочах следы прикосновения женской руки.

Юрек кашлянул в ладонь и оповестил:

— Уехали.

Петр с грустью посмотрел на него и неуверенно произнес:

— Уютно здесь у вас... Симпатиченько...

Молодой человек взорвался:

— Уютно?! Вы у Микунa хату видели?

Да вы вот и сами хотели домик приобрести...

И после этого вы мне смеете говорить, что здесь «симпатиченько»?!

Петр смутился.

— Ну, ну. Извините, пожалуйста, я вовсе не хотел вас обидеть. Мне просто вспомнилось мудрое изречение: «Не решетка делает тюрьму тюрьмой». Очень точно. А если перефразировать, то это будет звучать примерно так: «Не каждая хата это дом».

У Юрека не было никакого желания вдаваться в подобные дискуссии.

— Да что вы все об этом доме. Может, лучше о картах?

Великий Шу как-то бережно сдвинул разбросанную постель и присел на краешек тахты.

— Я уже старый человек и через кое-что в жизни прошел, кое-что повидал и испытал на собственной шкуре. Я тебе хочу сказать одну вещь. Она только на первый взгляд не имеет отношения к делу, так что постарайся выслушать меня внимательно. Запомни, что дом и жена — это свято. Парадокс в том, что каждому все это достается практически задаром, поэтому мало кто знает им настоящую цену, — Петр говорил с чрезвычайной серьезностью.

Молодой человек всматривался в него со всевозрастающим недоумением.

— Но какое же все-таки это имеет...

— Секунду, — оборвал его Грынич. — Сейчас объясню. У тебя есть дом. Какая бы ни была эта квартира, нравится она тебе или нет, но это твой дом. Представь себе, что мы садимся играть. По крупной. На все. Ты человек увлекающийся, и допустим, в решающий момент ты ставишь свой дом, а я его выигрываю. Меня ведь называют Великий Шу, то есть Шу-лер. Смотри, что происходит дальше. У тебя дома уже нет, а у меня? Что есть у меня? Что я выиграл? Дом? Нет, мой мальчик. К сожалению, только стоимость квартиры. В злотых. Согласись, что это разные вещи. Дом вообще нельзя выиграть, понимаешь? Игра лишь дает иллюзию вот такого, весьма сомнительного счастья: любые ценности заменяются денежным эквивалентом. Больше ничего.

Юреку уже несколько поднадоели разглагольствования этого странного человека, возможно, вообще несколько чокнутого. От нормального подобных речей не услышишь.

— И наоборот не бывает. Никогда, — закончил свой невнятный и бессмысленный спич Петр.

Юрек сидел молча, не зная, что предпринять, и тут ему пришла в голову хорошая мысль.

— Я сейчас кофейку сварю, — вскинулся он и выбежал на кухню. Он надеялся, что его гость опомнится, придет в себя и прекратит изрекать многозначительные двусмысленности.

Юрек принес кофе, они сели за стол.

— А ведь вы обещали кое-что... — начал он.

Шу вздохнул и достал из пиджака запечатанную колоду карт.

— На, изучи, специалист по бритвам.

Юрек разорвал целлофановую обертку и стал вертеть карты в руках, рассматривая каждую на свет, ища на «рубашке» хоть какой-нибудь мельчайший знак, — все напрасно. Он сравнил формат нескольких карт — одинаковые.

— Здесь ничего нет, — произнес он в задумчивости.

Шу усмехнулся одними уголками губ. Юрек опять взялся за колоду.

— Как же можно судить о чем бы то ни было только на основании своих представлений о предмете? Знаешь, как-то один человек задал себе этот вопрос и построил на нем одну из самых совершенных философских концепций.

Молодой человек что-то пробурчал, разглядывая карты, потом сообразил, что это может выглядеть невежливо, и уточнил:

— Что за мужик? Играл?

Шу расплылся в довольной улыбке.

— Играл. Но, по-моему, с самим дьяволом. И выиграл. Как иначе расценить, скажем, его доказательство трансцендентности, а не имманентности Бога человеку?!

— Чистые! Нет на них ничего, — прервал поток заумы Юрек.

Шу иронически присвистнул.

Молодой любитель покера бросил еще один взгляд на колоду и завопил:

— Но на них действительно ничего нет!

Глаза Шу искрились смехом. Юрек разозлился. Он в несколько приемов перетасовал колоду, взял верхнюю карту и повернул ее «рубашкой» в сторону Шу. Тот внимательно посмотрел Юреку в глаза:

— Наши представления о предметах расходятся с сутью вещей. Постарайся хотя бы в данном случае ухватить эту суть, тогда будет польза.

— Начали! — Юрек нетерпеливо потряс картой.

— Валет.

Юрек бросил валета на стол.

— Семерка, десятка, туз, семерка, девятка, дама...

Шу знал все карты.

Юрек задумался, потом подбежал к трюму и достал из ящика колоду маленьких карт для бриджа.

— А эти? — спросил он с вызовом.

Шу подошел, взял карты в руку, опять посмотрел Юреку в глаза, покачал головой и перенес взгляд на колоду:

— Туз трэф, двойка бубей, пятерка бубей, восьмерка червей.

Здесь уже попахивало волшебством, колдовством или чем-то, что неизвестно как называется.

— Да что же это такое?! — воскликнул Юрек с отчаянием в голосе.— В этой стране что, все карты что ли помечены?!

Шу положил колоду карт на туалетный столик.

— Карты нет. Руки. Хорошие руки все помечены, все наперечет.

— Руки? — переспросил Юрек. Осененный догадкой, он разжал карточному маэстро руки. В левой ладони, в которой он держал колоду карт, было маленькое треугольное зеркальце.

— А-а-а! — радостно завыл Юрек.— Понимаю!

Он взглянул в боковое зеркало трюмо, в отражении которого Шу видел все карты для бриджа, и лицо его опять вытянулось. Видно было, как он интенсивно пытается что-то понять.

— Нет, не понимаю,— произнес он наконец.

— Потому что ты пользуешься только своими представлениями и не видишь сути,— назидательно, как школьный учитель, заметил Шу.

— Ничего не понимаю,— продолжал Юрек, переставший обращать внимание на философские сентенции мастера.— А как же с той колодой? Мы же сидели за столом, и вы не могли видеть карты в зеркале?!

— А почему ты думаешь, что я оба раза использовал одну и ту же штучку? На той колоде крап.

— Крап?

— Ну да. Карты крапленные, но так, что даже если ты возьмешь лупу, то все равно ничего не заметишь. Надо знать, что искать. Как-нибудь потом я тебе покажу.

— Еще что-нибудь...— робко заикнулся Юрек.

Шу довольно небрежно перетасовал колоду и сдал карты. Открыли. У Юрека было четыре валета, у Петра Грынича — четыре дамы. Юрек не мог себе и представить, чтобы несколькими движениями руки можно было сотворить нечто подобное. Он, разумеется, слышал различные картежные байки о виртуозных шулерах, но считал их выдумками.

— Но карты, даже крапленные, надо дать поднять,— не сдавался Юрек, вспомнив о слабом пункте для всех карточных фокусников.

— И на это существует тысяча способов,— спокойно парировал Шу. Он собрал карты и перетасовал еще раз. Юрек внимательно следил за его руками — абсолютно никаких манипуляций. Сейчас карты наверняка были хорошо перемешаны.— Пожалуйста, снимите.

Юрек подснял.

Мастер раздал карты. Юрек открыл те и другие. У него было четыре валета, у Шу — четыре дамы.

— Этого не может быть,— Юрек покачал головой.

Шу вновь собрал карты и на этот раз исполнил свой «номер» очень медленно, ничего не скрывая. Чудо оказалось ловко исполненным фокусом.

— Как просто! — воскликнул Юрек.

— Все самое лучшее всегда кажется простым. Вот, смотри, примерно посреди колоды, если хорошенько присмотреться, можно обнаружить узкую, едва заметную щель, ее образуют слегка отогнутые вверх карты из нижней части колоды.

— Как это называется?

— Кобылка.

— Кобылка? — засмеялся Юрек.

— Кобылка. Есть весьма большой процент вероятности, что соперник сдвинет карты так, как мне нужно. Во всяком случае в игре мой партнер снимет так, как я запланировал.

— Я бы хотел быть вашим партнером,— Юрек вздохнул.

— Противник возьмет, переложит карты еще разик или даже несколько раз, и все твои приготовления окажутся напрасными.

— Что же в этом случае делать?

— Да что угодно. Существует миллион способов. На, сдай. Мои клади открытыми.

Юрек сдал. Перед Шу легли четыре туза.

— А это?

— Это называется расчес колоды.

— Как вы это сделали?

— Смотри. Смотри внимательно. Собирая карты со стола, я отделяю от колоды четырех тузов, колоду легко сгибаю вдоль большой оси. Четыре оставшиеся не согнутыми карты — тузы. Присоединяю их к колоде, тасую ее и даю тебе поднять. Посмотри на колоду сбоку, видишь, тузы отстают. При очень большом желании, если знать, что ищешь, можно заметить, что эти четыре карты, пусть чуть-чуть, но выделяются. Мы играем вдвоем, значит, я расчесываю колоду так, чтобы тузы лежали через одного. После поднятия можешь раздавать.

— А если как-нибудь случайно тузы окажутся у меня?!

— Я буду знать твои карты, а знание стóит больше, чем четыре туза.

Юрек как загнипнотизированный смотрел на довольно нескладные руки Великого Шу, умевшего в несколько движений «расчесать» колоду карт так, чтобы сдать себе и сопернику нужные комбинации.

— Я тоже должен этому научиться,— восторженно прошептал он.

— Не будь таким торопливым. Я учил этому свои руки чуть ли не год.

— И я научусь!

— Как ты понимаешь, главное — руки, остальное и так ясно: ты соответственно расчесываешь колоду на трех человек, на

четыре, если играют пятеро — на пятерых. Итак, сколько нас предположительно за столом?

— Четверо,— наобум сказал Юрек.

— Хорошо. Теперь смотри. Мои четыре ну допустим короля уже готовы. Я тасую колоду таким образом, чтобы внизу оказался король, а под ним три любые другие карты. Следующим движением я укладываю второго короля и очередные три карты и так далее. Все ясно? Кто должен получить четырех королей?

— Я!

— Очень хорошо. Перемешивая карты, я последним движением регулирую расположение всего подготовленного мною уклада в колоде, то есть: король, три чужие, король, три чужие, король, три чужие. О поднятии мы уже немного говорили. Сдаю.

Юрек открыл свои карты. Это были четыре короля и одна сторонняя.

— С ума сойти можно!

У него было такое чувство, как будто он случайно в щелочку увидел какой-то иной мир. Рассказам о том, что за игральным столом такие вещи возможны, он бы не поверил, но только что он видел это собственными глазами и даже многое, пусть пока теоретически, понял. От избытка чувств и впечатлений у него покружилась голова.

— Каждая такая штука, фокус, номер, финт — называй, как хочешь,— требует одной-единственной вещи: изобразить, представить игру таким образом, чтобы соперник, не обладающий задатками крупного филозофа, не смог дойти до сути вещей. Повторяю, покер — это искусство обмана а то, что я тебе только что рассказал,— и есть основной принцип надувательства.

Юрек старался сосредоточиться, но голова работала плохо и больше уже ничего не воспринимала. Он знал только одно: у этого человека в руках сокровище и, судя по всему, он не очень-то собирается активно его использовать. В стране, где тайно или явно играют все, обладание таким оружием может сделать человека богатым и счастливым на всю дальнейшую жизнь. И этот клад — здесь, рядом, кажется, что стоит только руку протянуть... Воистину: близок локоть, да не укусишь.

Петр Грынич посмотрел на часы.

— Поезд прибыл в Рогув. Нам пора.

— Перекусим что-нибудь, а вы в это время еше меня поучите, а?

Великий Шу только улыбнулся.

— У нас нет времени. По дороге я тебе постараюсь еще кое-что объяснить. В Лютыне тебе не будет равных. Пошли.

Юрек неохотно поднялся.

Черная «волга» стояла на лесном проселке за густой рощей на расстоянии нескольких

десятков метров от шоссе. Великий Шу говорил, светловолосый таксист слушал, глядя ему прямо в рот и ловя каждое слово.

— Настоящий покер — это игра двух противников. Ее сущностью является обретение превосходства над соперником. Способов на это существует миллион: всякие, если так можно сказать, «технические» средства, скажем, тот же крап, или то, что можно назвать манипуляциями,— расчесывание колоды, отвлечение внимания соперника, когда тасуешь карты, и так далее.

— В самом деле миллион?

— Не знаю. Не считал. Всех методов, приемов и способов не знает никто, поскольку буквально ежедневно создаются все новые и новые. Вот ты, например, хотел меня обыграть картами, очень грубо помеченными бритвой. Но ведь можно пометить и новые, совершенно чистые карты, и пометить уже во время игры. Десятки таких способов. Из того, что я тебе наговорил, запомни главное: нужно иметь преимущество перед противником, нужно добиваться его каким угодно путем. При долгой игре достаточно будет преимущества в пятьдесят один процент. То есть достаточно пометить, допустим, пару дам и пару десятков или тузы и восьмерки. Как правило, этого хватает. Игрок среднего уровня, заметивший за тобой нечто подобное, сделает тебе замечание или в соответствии с правилами оштрафует тебя. Игрок классом повыше тебя не скажет ничего, вида не подаст, что он что-то заметил. Во время игры он сделает на картах фальшивые пометки и сыграет ва-банк. В этом случае преимущество будет явно на его стороне: ты, увидев на «рубашках» свои пометки, можешь сыграть втемную и крупно проиграешь, так как у тебя окажутся совершенно случайные карты. Ты, скажем, будешь уверен, что прикупаешь нужного тебе валета, повысишь ставки и купишь какую-то шваль. Понятно?

Тут он посмотрел на часы и ругнулся:

— Холера. Должны уже быть здесь.

Молодой человек был в восторге от этой задержки. Таинства профессии, которой его наставник владел, судя по всему, в совершенстве, ошеломили его.

— От этого есть какая-то защита? — Юрек старался с пользой для себя урвать каждую секунду.

— Внимательный, умный, спокойный и холодный глаз. Умение сконцентрироваться на несколько, иногда даже на десяток часов. Обычный, нормальный человек перестает обрабатывать примерно после часа серьезной игры. А для настоящего игрока в покер все только начинается. Но такая форма обретается многолетним тренингом. Вот поэтому не высовывай носа из своего Лютыня. Здесь у тебя соперников не будет,— он

снова взглянул на часы. — Запомни раз и навсегда: игра состоит в том, чтобы добиться преимущества. Любым способом.

— Ну хорошо, а если все-таки никакая «штучка» не проходит?

— Тогда рецепт один, известный, кстати говоря, еще до нашей эры: нужно во что бы то ни стало вывести противника из равновесия. Как только он начнет нервничать, он твой.

Юрек мечтательно вздохнул:

— Примерно так, как вы это сделали с Микуном?

— М-м... Более или менее.

И тут они услышали нарастающий издалека характерный шум мотора. Во все глаза они смотрели на шоссе. Рев нарастал. Юрек и Петр инстинктивно, но, пожалуй, бессмысленно пригнулись. Из-за поворота вылетел голубой «мерседес» и на огромной скорости проскочил по шоссе мимо них.

Юрек с облегчением вздохнул и посмотрел на Грынича:

— Ну вы его и сделали...

— Вот теперь все. Едем! — сказал Шу и поудобнее вытянулся на сиденье. «Волга» выехала с лесной дороги на шоссе и помчалась в направлении, откуда только что проехал «мерседес».

К вечеру такси Юрека подъехало к вроцлавскому «Новотелю». Грынич взял с заднего сиденья свой дорожный саквояж и «дипломат» и протянул парню руку. Тот, однако, не торопился сделать то же самое. В его глазах была просьба. Великий Шу печально присвистнул.

— Нет. Такого уговора не было. Мы квиты, и теперь каждый из нас пойдет в свою сторону.

Он вылез из такси. Юрек обежал машину кругом и хотел помочь поднести вещи, но Грынич решительно взял у него из рук

саквояж. Он кивнул Юреку на стеклянные двери отеля:

— Запомни, эту границу ты не должен переходить никогда.

Молодой человек смотрел на него с мольбой, но Великий Шу был непреклонен.

Входная дверь распахнулась, и из нее вышел важный, как король, портье. Еще издалека он с вежливой, извиняющейся улыбкой развел руками:

— Мне очень жаль, но свободных мест нет.

В Юреке вспыхнула надежда, но мастер подошел к человеку в ливрее, что-то сказал ему, и тот сразу обмяк — неприступная поза его сменилась гостеприимной. Он раскланялся перед Шу, подхватил его саквояж и вошел в дверь отеля.

— Но... — снова начал Юрек.

— Ничего не выйдет. Я же сказал, — Грынич был холоден и строг. — Пару «номеров» я тебе показал, хватит. Больше ничего для тебя я сделать не могу. Я и так рискнул.

— Рискнули? Вы? — вытаращил на него глаза Юрек. — Чем вы рискнули? Чем это вам может грозить?

— Мне? Не знаю. Вероятно, ничем. А вот тебе — да. Так что возвращайся домой, пока он у тебя есть. — Шу бросал фразы отрывисто, сухо, от недавнего дружелюбия не осталось и следа. Он задержался на пороге перед стеклянными дверьми и неожиданно весело, с плутовской улыбкой крикнул: — Не забывай поливать цветочки!

Юрек опустил голову и поплелся к машине. Жизнь утратила для него всякий смысл. Сокровище уплывало прямо из рук. Он раздраженно повернул ключ зажигания, завел мотор и медленно тронулся с места.

(Окончание следует)



Нина
АЛЛАХВЕРДОВА

ЧЕСНОК, ЛУК И ПЕРЕЦ

1

На крыше полуразрушенного приземистого здания на опушке леса сидит, вглядываясь вдаль, юноша.

С высокого склона видно, что в дальних полях догорает трава. Медленно тянется дым по черной земле. Расстилается лес, непривычный, похожий на парк. Со всех сторон слышны разрывы снарядов.

Юноша на крыше необычайно красив, ладен. А спокойная поза его так прекрасна, что кажется, будто он замер в ней навсегда.

Каменная крыша здания заросла цветами — откуда-то занесло их сюда ветром.

— Ашот! Ашот! Я передаю? — кричит снизу пожилой солдат. Это на редкость крупный человек. Он расположился с рацией в доме с начисто снесенной стеной, как на открытой веранде.

— Подожди, Тимофей, подожди, — говорит юноша, не меняя позы. — Что-то красавица хитрит — то одним глазом подмигнет, то другим.

Снова прогремели разрывы.

— Что? — кричит снизу Тимофей.

— Передавай, Тимофей: квадрат шестнадцать — четыре... Ну, передавай! Ты что там, заснул?

И вдруг, словно от этой команды Ашота, выстрелы смолкли.

— Точно? — кричит Тимофей.

— Передавай, тебе говорят, передавай без конца: шестнадцать — четыре!

Ашот вытянулся на крыше.

— А что, кажется, успели, засекли. — И стал насвистывать какую-то грустную мелодию.

— Что-то, я вижу, ты сегодня не в себе, Ашот, — говорит Тимофей.

— Да так... Птица мне не понравилась сейчас... Такая пиужка, а спикировала, как юнкерс, ей-богу. Так неприятно. Мне крылья ее не понравились. — Ашот сел, потянул гимнастерку за ворот, чтобы чуть набраться прохлады.

— Да они ошалели от выстрелов... Ну, сейчас твоей красавице дадут... Не хотел бы я быть на ее месте, — говорит Тимофей.

— Сегодня с утра день такой... Что-то давит... Ты письмо, Тимофей, не потеряй.

— А! Не люблю я этого. Плохая примета. Чего до смерти прощаться?

— Ну, ты извини меня, Тимофей. День сегодня такой.

Опять началась канонада. Она сделалась громче, чем раньше.

— Передавай: шестнадцать — четыре! Тебя что, не поняли? — прокричал Ашот и прыгнул с крыши. — Давай я попробую...

И тут Ашот увидел, как вспыхнуло перед ними заходившее солнце. Он замер и повернул лицо к Тимофею. И в то же мгновение там, по другую сторону обрыва, увидел еще одно заходящее солнце. Ашот и Тимофей побежали. В смертельной тишине они бежали все быстрее и быстрее вниз по склону, и Тимофей, падая и теряя сознание, из последних сил раскинул руки, чтобы удержать Ашота. Соединившись, два тела покатались

вниз, постепенно замедляя движение, в то время как два солнца, слившись в одно, вертелись волчком все быстрее и быстрее.

...Стоит дерево на вершине склона, там, где были только что Тимофей и Ашот. Но дерево ли это? Только голый ствол — верхушку с ветвями срезало, как бритвой. Пронзительно и жалобно кричат птенцы. Огибая дерево, ласково журчит легкий ручей. Птица в тоске кружится над сломленным деревом, кричит, зовет своих птенцов.

2

В чистой прохладной комнате, повернувшись спиной к открытому роялю, тоненькая смуглая девушка сидит, опустив на колени письмо.

«Дорогая моя Тереза! — слышим мы голос Ашота за кадром. — Ты получила мое прошальное письмо, и это значит, что меня, так сказать, больше нет в живых...»

— Тереза! Тереза! — зовут девушку снизу.

Тереза помедлила, вытерла слезы, сняла с полки толстую книгу, положила в нее письмо и подошла к окну.

Маленький дворик, тенистый от сомкнувшихся кругом стен. Солнце поблескивает в решетчатых окнах, плывут в воздухе легкие тополиные облачка.

Фотограф, молодой щеголь с аккуратной щеточкой усов, останавливает рядом с круглым бетонным колодезцем громоздкий аппарат. Перед аппаратом одни только женщины. Впереди стоят два стула. Один из них пока свободен, на другом — мать семейства, Анным, сидящая женщина в длинных юбках. Она беспокоится, собирая семью.

— Сурен! Сурен! — кричит она мальчику, стоящему в воротах. — Ну где там мама? Едет?

— Уже едет! — кричит мальчик и от нетерпения машет рукой трамваю, показавшемуся далеко-далеко, в самом начале улицы.

— Ованес, садись хоть ты, ради бога. Видишь, человек нервничает, — показывает Анным на фотографа.

Ованес, атлетического сложения могучий старик, прихрамывая, безостановочно ходит по двору с газетой в руках.

— Наши в Венгрию вошли, — сообщает он. — В Москве вчера три салюта было.

— Хоть бы у нас когда-нибудь салют устроили, — говорит одна из женщин перед аппаратом.

— У нас устроят! Еле отпросилась сюда на полчаса.

— Ты разве не в ночную?

— Какая дневная-ночная? Третьи сутки не сплю.

От подворотни фотографа окликают дружки.

— Хотите — фотографируйтесь, не хотите — так и скажите! — сердится фотограф. — Сколько вы будете собираться? Сейчас! — машет он дружкам.

— А как тебя зовут? — примирительно спрашивает фотограф Ованес.

— Аракел, но какое это имеет значение? — Аракел оглядывается на ворота. — И еще дует у вас, такой сквозняк! — Он вытирает платком вспотевшее лицо и шею.

— Закрыть форточку? — кричит одна из сестер, и все смеются.

Но суетливый фотограф Аракел не понял шутки.

— Не надо, не надо беспокоиться из-за меня! Вы лучше расслаживайтесь побыстрее!

— Тереза! — кричит Анным. — Иди скорее! Фотограф не может ждать!

Женщина в рабочей спецовке сидит на приступке дома и мерно покачивается, обхватив колени.

— Ну что Тереза? — говорит она. — У нас семейная фотография, и при чем тут Тереза? Она же не жена Ашоту.

— Нас жизнь связала, — отвечает Анным. — Вернется Ашот — будет женой.

— Вернется! Я тоже думала, что Аветик вернется, — говорит женщина, не переставая раскачиваться. — А телами таких Аветиков уже вся земля усеяна.

— Замолчи! Тебя страшно слышать! — перебивает ее Анным. — Я приготовилась ждать сына тысячу лет — столько, сколько буду жить я, сколько проживут мои дети, внуки, внуки моих внуков... Тереза! — опять кличет она.

— И нельзя же девочку оставлять, — говорит кто-то из сестер. — Она теперь сирота.

— Какие могут быть разговоры, — говорит Ованес, усаживаясь. — Тереза!

— Я здесь, дядя Ованес! — кричит Тереза, сбегая по лестнице.

Мальчик у ворот кричит:

— Мама приехала!

Вагоновожатая останавливает трамвай у самых ворот и предупреждает пассажиров:

— Одну минуточку!

Пассажиры зароптали.

— Ну что вы за люди?! — возмущается вагоновожатая в дверях трамвая. — Фотография на фронт! Семейная фотография — вся семья собирается, всем мужьям пошлют, всем сыновьям... А меня не будет?

Ропот смолк, и Соня, старшая дочь Анным, взяв мальчика за руку, спешит во двор.

— Садись сюда, рядом со мной, — говорит Анным Терезе. — От кого ты получила письмо? Может быть, от моего единственного сына? — улыбается она. — Нам Ашот что-то давно не пишет...

— Нет, это от мамочкиной знакомой из Одессы, — отвечает Тереза. — Она еще не знает, что мамы нет.

И вдруг Анным набрасывается на подбежавшую Сою:

— Ты посмотри на себя, в каком ты виде пассажиров возишь! Какая косынка на тебе! Постыдись! Ты опускаешься, Соня!

— Ой, у меня тоже платье такое, рабочее,— говорит одна из сестер.

— А вы переоденьтесь,— говорит отчего-то явно повеселевший фотограф.— Мы никуда не спешим! — И просит Терезу: — Пересядьте сюда! Правее! Это будет прекрасный кадр!

— Вы не спешите, а мы спешим! — укоряет Аракел Ованес.

— У меня трамвай стоит, э! С пассажирами! — говорит Соня.

— Итак, познакоимся,— говорит фотограф.— Меня зовут Аракел Самвелян. Я работаю в фотоателье первого разряда на Абовяна, шесть. Я почти уже поступил в Ленинградскую академию художеств, но тут началась война. А теперь и вы представьтесь мне,— говорит он, обращаясь к оторопелым слушателям.

— Зачем это нужно? — сердито спрашивает вдова Аветика.

— Когда разговариваешь с людьми, фотографии получают художественные. Ведь тогда люди смотрят тебе в глаза, я имею в виду объектив, как хорошие знакомые, и все получается по-другому.

Тем временем пассажиры недоуменно выглядывают из трамвая и со свистком уже бежит милиционер. На перекрестке образовался загор.

Из ворот, из окон, с балконов смотрят на Ованеса и его семью люди. Семейная фотография без мужчин — один старый Ованес в центре.

— Так... Последний раз! — объявляет Аракел, и мы видим, что он навел объектив на одну Терезу.

3

Звенят от ветра медные бубенцы на крытом зеленым брезентом фургоне. Пасется выпряженная лошадь. Сушатся на траве старинные наряды: длинные выцветшие платья, сшитые из марли, какая-то маска, изображающая морду фантастического зверя — то ли пса, то ли льва, костюм арлекина, высокий потертый цилиндр, мундиры с золотыми галунами, корона.

У костра сидят, тихо переговариваясь, несколько мужчин и женщин.

— Плохо горит,— мужчина ворошит в костре куски уже почти сгоревшей ткани.

— Сукно горело бы лучше,— говорит другой.

— Солдаты сукна не носят,— отзывается первый.

— Я, когда увидела, что он мертв, ахнула от этой красоты, не удержалась, наклонилась, чтобы поглядеть, провела рукой по кудрям, и вдруг он открыл глаза и погладил меня по руке. Я прямо чуть с ума не сошла от страха,— сказала молодая женщина.

Вдали, за рекой, готический шпиль над городом. Его поднимает к небу каменная громада костела.

Подошел еще один мужчина.

— Ну как, выбросил?

— Автомат я забросил далеко в воду, улик больше нет.

— Если не считать того парня,— пьяно усмехаясь, показывает на фургон сморщенная беззубая старуха, одетая в трико балерины и с флягой в руке.

...Теперь зеленый фургон циркачей — на площади небольшого городка. Фыркают кони, звенят удила, бренчат подводы. Белые оштукатуренные стены и закопченные черным дымом военного пожара дома — рядом. Курят женщины у входа в кафе, на ступеньках играют в карты пожилые мужчины.

К фургону подбежал один из актеров.

— Ну вот, господин комендант опять дал нам разрешение, без звука.

В фургоне гибкий мужчина с печальными глазами клоуна протягивает Ашоту кружку молока. Жестами и мимикой он внушает:

— Ты — акробат. Ты упал с трапеции. Ты — артист. Ты — немой. Ран у тебя нет, но ты упал с трапеции и ты немой. М-м-м... Понял?

На Ашоте шелковая малиновая рубаша, выцветшая под мышками, образок на распахнутой груди. Он оброс, на нем тяжелая рваная обувь с чужой ноги.

Ашот с удивлением рассматривает себя.

— И ты — Юрий Надор, запомнил? Если что, ты — Юрий Надор, акробат, флик-фляк, сальто-мортале.

— Да не беспокойся ты,— говорит, будто жует, беззубым ртом, старуха,— такие красивые солдаты не бывают. Сразу видно, что артист.

Тем временем актеры на площади приступили к подготовке представления.

Ашот, оставшись один, с силой потер лицо и голову руками, хотел встать и расправить плечи, но низкая крыша фургона мешала ему, и он осторожно выглянул.

Все, что он увидел перед собой, было лишено плоти. Неведомый, непонятный, невообразимый мир.

Из комендатуры вышел немецкий солдат с автоматом и направился к циркачам. Он стал показывать, что здесь цирку не место и что расположиться следует за домами. Комедианты согласно закивали, клоун отдал честь, солдат улыбнулся...

Ашот смотрит на происходящее сквозь полуопущенные веки, как будто безучастно.

Когда солдат скрылся, Ашот выбирается из фургона и, прижимаясь к нему, зорко оглядывается.

Беззубая старуха ласково тронула его за рукав, показывая, что ему надо быть в фургоне.

Ашот погладил ее по голове и сказал:

— Мне надо идти...

Старуха испуганно приставила палец к губам: молчи, ты немой.

— Кажется, я начинаю что-то понимать...

Вы меня спасли... Теперь мне надо уходить, а то вам будет плохо всем, бабушка...

Старуха как будто поняла Ашота. Но она не стала удерживать его, а наоборот, быстро взглянув в сторону комедиантов, занятых своим делом, легко подтолкнула Ашота: иди, иди...

Ашот быстро огляделся. Он увидел перед собой колокольню. Вверху ее зиял проем, в него вела запущенная узкая лестница.

Осторожно, шагая производить как можно меньше шума, Ашот поднимается по лестнице, виток за витком, и ему все больше виден город.

Казалось, город жил обычной жизнью всех городов во все времена. Магазины были открыты, у входа в кинотеатр толпились люди. На улице, ведущей к рыночной площади, тоже было много народа, и дворник мел, не поднимая пыли, чистую каменную мостовую.

Ашот добрался до верхней площадки и замер: здесь в ленивой полудреме расположились у пулемета два немецких солдата. Один из них отпрянул от неожиданности, но потом, взглядевшись в Ашота, махнул рукой, небрежно показывая: иди, иди отсюда...

Ашот стал поспешно спускаться, но оглянулся — не померещилось ли ему все это?

— Прочь, прочь! — еще раз махнул рукой немец.

Ашот спускался, сначала медленно, потом быстрее, потом кубарем скатился вниз, грохоча тяжелыми ботинками, вышел на свет, не таясь, глянул на фургон и пошел в противоположную сторону.

4

С папкой для нот Тереза едет в переполненном трамвае. Среди пассажиров много эвакуированных в старомодных даже для того времени потертых одеждах. Лица у людей озабоченные и усталые.

Но вот трамвай подошел к остановке, и пассажиры заулыбались, стали показывать в окна: там, на остановке, стоял странный щеголь. Он был в цилиндре, в черном смокинге с белой манишкой и бабочкой в белый горох; туалет дополняли лайковые перчатки, лакированные остроносые штиблеты и тонкая изящная трость. Он облокотился на трость двумя руками и томно поглядывал

на пассажиров трамвая, ничуть не удивляясь тому вниманию, которое к себе привлекал.

Трамвай тронулся, а человек в цилиндре остался на остановке.

Пассажиры, оглядываясь, обсуждали удивленное.

— Кино снимают?

— Может, дипломат?

— Это от союзников, наверно!

— А может быть, человеку нечего надеть? Что дали, то и носит!

Тереза улыбается: она, конечно, узнала фотографа Аракела.

На следующей остановке пассажиры трамвая просто ахнули, а самые нервные даже испугались:

— Ой, да что же это такое!

Все так же облокотясь на трость, но только теперь поигрывая лайковыми перчатками, стоял тот же человек в цилиндре.

— Опять этот человек здесь? Или мне все это кажется?

— Нет, это другой!

— Да тот же!

Тереза теперь смотрит серьезно.

Как только трамвай тронулся и, набрав скорость, свернул за угол, фотограф Аракел кинулся в машину «скорой помощи», набитую его друзьями, закричал:

— Быстрее, ну! Быстрее!

Опережая трамвай, «скорая» вынырнула из-за домов, подъехала к остановке, и Аракел мгновенно занял свой пост.

Не обращая внимания на смех, на удивленные возгласы и вообще на весь этот поднятый им переполох, Аракел сдвинул тростью цилиндр на затылок и подал руку спускающейся по ступенькам вагона Терезе:

— Ваша остановка! Консерватория! Разрешите вас проводить?

Тереза ошарашена. Она никак не думала, что весь этот спектакль — для нее.

Трогается трамвай. Его ведет Соня, старшая дочь Ованеса и Анным. Она, как и все пассажиры, с интересом смотрит на человека в смокинге, но теперь видит, что рядом с ним Тереза, что он возбужденно говорит ей что-то, а она отвечает ему. Соне даже показалось, что Тереза, покраснев, отвернула лицо в сторону.

Дружки Аракела медленно следуют за парой в машине «скорой помощи». И на пустынной аллее, ведущей к огромному зданию консерватории, кроме них сейчас никого нет.

— Да это, похоже, любовь! — хлопнула Соню по плечу женщина в ватнике и сапогах. — Говорят: некрасивая, некрасивая, а вот — пожалуйста!

— Да что ты! — возмущенно передернула Соня плечами. — Какая любовь?! Ты знаешь, какая бывает любовь?! У нее же Ашот!

— Да ты ее любишь!

— Конечно! Как ее не любить? Она прелесть! И нам всем — как родная. Не знаю,

как бы я справилась без нее. Пришла, а она даже полы у меня перемыла, представляешь? Нет, ты не говори, это ерунда,— показала Соня в сторону аллеи.— Такие, как она, достаются мужчинам очень нелегко!

Стук трамвайных колес убыстряется, убыстряется...

5

Пронзительно звучит свадебная зурна. Льются лучи солнечного света сквозь стекла галерей, бьют в ворота, просачиваются сквозь кроны деревьев.

Этот золотой дождь льется в день свадьбы старшей дочери Ованеса Сони и ее жениха Сергея.

Не умолкает свадебная зурна. Люди хлопают в ладоши, кричат вокруг свадебных столов, накрытых во дворе. Девушки исполняют танец с блюдами, поют, отбивают ритм наперстками.

Посреди круга — десятилетний Ашот. Он танцует так свободно и легко, как будто парит. Развеваются его прекрасные волосы, улыбка чарует, а глаза завораживают и притягивают. И девушки, танцующие с ним, волнуются, словно перед ними недостижимый жених.

Соня вытирает слезы:

— Ой, Ашот!

Сергей играет коробком спичек, потом закурирует, чиркнув спичкой о штанину.

— Я же знал, что ты перестанешь плакать, если Ашот тебе станцует,— говорит Сергей.

— За семью!

— За крепкие корни!

— За продолжение каждого благословенного рода!

Гости сдвигают стаканы; осколки, зазвев, сыплются к ногам.

Плывет невесомо пополюина пушинка, пытаясь приземлиться, опять взмывает вверх.

— Двадцать восемь! Двадцать девять! Тридцать! — считают дети.

Ашот стоит на нижней ступеньке открытой лестницы, дует в пушинку, не дает ей упасть. Пушинка кружится, светится на солнце.

— Солнышко! Солнышко! — не то кричат, не то поют дети. И вдруг остановились, что-то их отвлекло. Заблестели глаза, изменились лица.

На площадке второго этажа появилась маленькая девочка с яблоком в руке. Медленно спускается по ступенькам ножки в белых носочках.

— Ой, какая страшнющая! — невольно вырвалось у молодой женщины.— Чья это?

— Тише! — одергивают ее.— Здесь ее мать! Это новые жильцы у нас во дворе, она учительница.

— Булка, Булка, Булка идет! — кричат дети.

Черненская толстушка на кривых ножках с большим лиловым бантом в густых волосах и в нелепом платье насупленно рассматривает обидчиков. Видно, что ей хочется поиграть и побегать с ребятами, но она уже привыкла к тому, что ее не принимают.

— А мать — красавица,— говорит гостя за столом.— Посмотрите!

— Это Булка мне яблоко несет! — кричит Ашот.— Булочка, дай яблоко! — бежит он вверх по лестнице.

Девочка грозно размахнулась и швырнула в него яблоко. Ашот ловко схватил яблоко на лету. Дети захохотали. Маленькая Тереза кинулась на Ашота с такой стремительностью, что дети разбежались. Но Ашот увернулся, и Тереза упала.

— Булка! Жадина! Жадина! Яблоко жалко! — кричат дети на разные голоса, в то время как Ашот, дразня Терезу, с хрустом и аппетитом ест яблоко.

— Тереза! — кричит мама девочки от стола.

Тереза подбежала к матери, но даже не взглянула на нее, а схватив со стола нож, помчалась к Ашоту.

— Все! — вопит она на весь белый свет.— Все! Теперь я тебя убью! Все! Сейчас пожалеешь!

— Тереза! — кричит мать девочки.— Тереза, как тебе не стыдно? — И быстро добавляет, обернувшись к гостям: — Извините нас, ради бога, извините нас, пожалуйста. Она, конечно же, ничего такого не сделает.

Ашот, продолжая есть яблоко, вспрыгнул на крытый колодец. Но Тереза уже подбежала и взмахнула ножом, чтобы ударить Ашота. Ашот едва успел увернуться, нож с силой вонзился в деревянную крышку колодца.

Гости ахнули.

— Тереза! — в отчаянии схватила девочку мать.

Ашот, присев на корточки, с удивлением и любопытством смотрит то на Терезу, то на нож, который еще дрожит в крышке колодца.

— О! Вот это свадьба у нас! — смеется Сергей.— Что за свадьба, если ножи не сверкают?

Ованес, побледнев, подходит, хромая, к лодцу и вытаскивает нож.

Анным подхватывает на руки Терезу.

— Ручки гладкие,— говорит она,— волосы длинные, красавица моя Тереза!

Ашот ревниво тянет мать за юбку. Анным подхватывает на руки и Ашота, несет детей к столу.

— Анным, давай их сюда! — кричат гости.— Еще одна свадьба будет!

Тереза изловчилась на руках Анным и с силой ударила Ашота.

Анным поочередно целует детей и хохочет.

— Ах, Анным,— говорит белокурая женщина в батистовой кофте,— пусть твой Ашот вырастет высоким-высокий! Ты знаешь, какой у меня был любимый? Выше всех. Знаешь, у нас вокруг почты высокий забор, за ним никого не видно. А мой любимый шел — и я его видела, честное слово. Он ведь был знаменитый человек, Анным! Теперь, когда к моему окошечку на почте кто-то сильно наклоняется, мне всегда кажется, что этот человек мне родной.

Мама Терезы берет стакан из рук белокурой женщины:

— Клавдия Ивановна, вам довольно.

...Первого сентября в огороженном школьном дворе в группе первоклассников стоит девочка с табличкой в руках: 1-й класс «Б». К ребятам неуверенно подходит Тереза, робко смотрит, пока еще надеясь на хорошее.

— Как тебя зовут? — спрашивает девочка с табличкой.

— Тереза.

Ребята прыскают: очень уж смешная Тереза.

— Мартышка! Мартышка в старости слаба глазами стала! — кривляется перед Терезой какой-то забияка и тут же получает от нее оплеуху.

Дети в восторге, они окружили Терезу кольцом.

Ай, джан, гулимджан,
Какой ты хороший!
Я куплю тебе ишак,
На тебя похожий!

— поет все тот же забияка, но теперь он спрятался за спины других.

Тереза поворачивается и показывает ему зад.

Дети хохочут.

Кто-то нахлобучил Терезе на глаза новую мальчишечью кепку. Тереза срывает ее и яростно кидается на ребят. К дерущимся подбегает третьеклассник Ашот. Ему попадает так же, как и другим. Ослепленная яростью, Тереза бьет наотмашь, не разбирая, кто перед ней.

— Если ее еще кто-нибудь тронет, — говорит Ашот, держа Терезу за руки, — он пропал. Она из нашего двора.

И тут же, не оглядываясь, Ашот уходит.

— Первый «Б», стройтесь! — говорит пошедшая учительница.

...В тот же день после уроков Тереза, поджидающая Ашота у школьной калитки, видит, как он с друзьями выходит из школы и, не замечая ее, проходит мимо. Но Тереза тянет его за пиджак и молча показывает на первого же попавшегося на глаза одноклассника. Отвлечшись на минутку, Ашот незлобиво, но довольно сильно бьет «обидчика» портфелем и догоняет друзей.

...Взволнованная мама Терезы пересекает двор.

— Извините, что я плачу, извините! Это поневоле.

— Что случилось? — спрашивают ее.

— Тереза, Тереза! — только и говорит она. — Нужна машина, наверно, аппендицит!

Дети поспешили со всех ног к Терезе, радостно крича:

— Аппендицит! У Терезы аппендицит!

Но, подбежав к стеклянной двери квартиры, где живет Тереза, они увидели нечто более интересное: изнутри для всеобщего обозрения к стеклу приклеены листы из тетрадей Терезы. Они усыпаны плохими отметками, поправками и сердитыми замечаниями учительницы. А вдобавок ко всему в просвете между листками видно, что Тереза в глубине квартиры танцует.

— Ты что-о? — открывает Ашот дверь. — Тебе не стыдно? У тебя же аппендицит! Двоечника! Одни «плохо» и «очень плохо»!

— Не стыдно! Ты плохо учишься, и я хочу плохо учиться!

Дети смеются. Ашот замахивается на Терезу.

— Ой-ой-ой! — кричит Тереза и хватается за бок.

Вбегает мама Терезы.

— Я ей еще ничего не сделал! — испуганно говорит Ашот.

Во двор въезжает грузовая машина Сергея, мужа Сони. Мама Терезы выносит девочку на руках.

— Садитесь, Сусанна Аветовна, — говорит Сергей, — мы тут же доедем.

— Нет, не поеду, не поеду! — кричит Тереза. — Ашот! Ашот! — Она цепляется за дверь машины руками: — Ашот! Ашот!

— Извините, пожалуйста, у девочки жар, — говорит мама Терезы. — Как мне сейчас удержаться от слез?

— Какая упрямая! Наверно, карабахская, — говорит кто-то задумчиво.

— Садись, Тереза, — говорит Сергей, — садись скорей! И Ашот с тобой поедет!

Машина выезжает из ворот. Рядом с шофером гордый Ашот. Сергей видит в зеркальце лицо Ашота и подмигивает ему.

...Пасмурное утро. Собирается дождь, женщины во дворе готовят мыть ковры. Мама Терезы кричит с веранды вниз:

— Ребята, Ашот, не оставляйте Терезу! Она еще слабенькая! Тереза, будь аккуратна!

На улице копошатся куры, возле магазина сгружают капусту.

Тереза с подругами немного отстает.

— Ашот за тебя всегда заступается, — говорит подруга.

— Ага, — отвечает Тереза. — Потому что мы, когда вырастем, поженимся.

— Вы уже договорились?

— Нет, Ашот не знает, он пока еще мой жених.

...В школьном дворе Тереза с одноклассниками играет в камушки. Ашот, окруженный товарищами, свистит, привлекая ее внимание.

— Это правда, что ты всем говоришь, что у тебя есть жених?

— Правда.

— А кто твой жених?

— Ты...— Тереза тянет Ашота за пиджак так, как она обычно делает, когда хочет показать на очередного обидчика.

Но Ашот ударяет ее по руке:

— Не притрагивайся, поняла? Ты такая страшная!

Тереза смотрит на него и опускает голову.

— Смотрите, Ашот опять за свою невесту заступается! — кричит кто-то из ребят.

— Еще чего! Это не невеста, это уродина! — говорит Ашот.

Все одобрительно смеются.

— Терезка, Терезка, Терезка-невестка! — ребята окружают Терезу кольцом и, довольные тем, что Ашот им это позволяет, насмеваются, дразнят и толкают ее.

Ашот оглядывается от калитки и видит, что Тереза стоит у стены покорная, не поднимая глаз, и безответно переносит все оскорбления. Странный комок перехватил Ашоту горло. Сам не зная, что он делает, он расталкивает ребят и бросается бежать по улице.

...Между небом и землей уныло висит на парашютных лямках десятилетний Ашот: он оказался слишком легким для нормального прыжка с парашютной вышки. Под ним пустынный парк культуры, под ним каменный город, а главное — под ним служитель парашютной вышки, который клянет его на чем свет стоит:

— Давай вниз! Прыгай вниз! Не можешь? А зачем влез туда? Как ты туда пролез? Не видишь объявление — человеку весом до сорока килограммов прыгать нельзя! Теперь виси! Виси сколько хочешь! Смотри, где там твой дом, где мама, папа, зови их — пусть они тебе помогут! Папа — летчик? Ну папу позови! Пусть прилетит на самолете и снимет тебя!

Ованеса, неожиданно появившегося возле служителя, больше всего заинтересовало последнее сообщение.

— У кого отец летчик? — спрашивает он.

— А вон висит, не видите, что ли?

— Ну-ка, посмотри людям в глаза! — обратился Ованес к висящему Ашоту. — Вот что я здесь, оказывается, нашел! Сергей в милицию из-за тебя ходил, все больницы объездил, я весь город обшарил, на рынке был, на кладбище был, в ломбарде был! Мать третью ночь не спит, двор, улица вся за нас переживают! А он, оказывается, висит — и даже не знает, кто я такой! Ашот, послушай, это ты?

— Да,— говорит Ашот.

— А вот этот дурак Ованес, который стоит перед тобой,— Ованес ударил себя в грудь,— и даже не может тебя достать, чтобы разорвать на куски,— это твой отец?

— Да,— говорит Ашот.

— Но я же не летчик! Я — сапожник! Ты меня растоптал перед этим человеком! Я сапожник! У меня будка — у самого вокзала, в центре города! Сколько дней ты не был в школе?

— Не буду я больше ходить в школу! — кричит Ашот из поднебесья.

— У меня один сын,— обращается Ованес к служителю.— Двести лет были одни девочки! Я ничего не имею против: все культурные, образованные женщины, у всех есть профессия. А этот — один мальчик, один сын... Я его ждал сто лет, пока он родится. А он от меня отказался, что ли? Не я его отец? Летчик какой-то легкомысленный?

— Э-э,— надоело служителю,— сапожник, летчик — какая разница? Дочки, сын — какая разница? У Христа вообще не было детей, все человечество его дети!

— Но я же не Христос! — кричит Ованес.— Я простой Ованес! У меня есть сын или нет?

— Не знаю,— говорит служитель.— Лови его и разбирайся! — он нажал на рычаг, и парашют пошел вниз.

Ованес раскинул руки, чтобы поймать мальчика, не дать ему упасть.

— Отойдите! — кричит служитель, но поздно: парашют накрыл Ашота и Ованеса, и когда они выбрались из-под него, оба в ссадинах и в пыли, Ашот кинулся бежать прочь.

...Тем временем спустились сумерки, настало время зажигать огни. Анным сидит на краю колодца, скрестив руки на груди. Ованес, по своему обыкновению, ходит безостановочно по двору, хромя. Тень Ованеса скользит по стенам дворика.

— Слушать твои упреки я не хочу! — говорит он.— Он оскорбил меня и убежал! Я опять везде его искал и больше не хочу!

— И Терезы нет...— тихо говорит Сусанна Аветовна, мать Терезы.— Я просто в отчаянии!

— Идите! Идите все сюда! — зовет кто-то из соседней.

На втором этаже приподнимают громадный ковер, перекинутый через перила балкона, и все видят: Ашот и Тереза спят обнявшись, а у их ног примостилась собачка.

Весь двор смеется:

— Ай да Ашот! Ну и Ашот! Вот так Ашот! Молодец, Ашот!

Теперь двор похож на баню: женщины домывают ковры, выплескивая на них воду из ведер. Мыльная пена, окрашенная в разные тона, вытекает, сливаясь в потоки, на улицу. Женщины смеются, перекликаются, как буд-

то наступил праздник. Собака носится по двору как угорелая.

6

Утомленная женщина-венгерка глянула мельком через витрину своей маленькой лавочки на юношу в малиновой рубашке и щеткой смахнула с прилавка капустные листья. Ничего другого, кроме капусты, у нее здесь, собственно, и не было.

Ашот увидел себя в пыльной витрине, провел рукой по обросшим щекам, поправил образок на груди и, повернувшись спиной к витрине, широко раскинул руки, оперся о железный поручень. С каждой минутой он все больше осознавал, что в этом странном мире, где никому, кажется, нет дела до него и в то же время все, даже окурок у его ног, излучает опасность и враждебность, единственное, что ему пока остается,— вести себя совершенно открыто и спокойно.

Он подождал, пока мимо него прошли, одна за другой, три машины с немцами, пересек улицу, сел на ступеньки, ведущие к реке, и тихонько засвистел. Человек в черном, вышедший из костела, посмотрел на него с укоризной. Ашот умолок.

А по реке плыли парусники, шла баржа, груженная танками, и какой-то быстрый катерок, вынырнув из-за баржи, направился к берегу. Из катера вышел священнослужитель с учтивым сопровождающим и стал подниматься по ступенькам храма. Он был, видимо, поражен, увидев взгляд Ашота, скользнувший по нему совершенно равнодушно, как по призраку, и замедлил шаг. Ашот, словно испытывая свое новое поведение — ему действительно сейчас совершенно не было страшно,— притронулся к одежде сановного священника, и тот, приняв этот жест за попытку чистосердечно поцеловать край его одежды, остановился.

...На шумном перекрестке Ашот лицом к лицу столкнулся с улымым стариком, который держал в руках мятую оловянную миску с окурками разной величины. Он протянул миску Ашоту, явно предлагая купить окурок. Ашот осторожно взял в руки один окурок, другой — на каждом была написана чернильным карандашом какая-то цифра. Ашот мягко отстранил миску и, улыбнувшись, показал старику свой рваный башмак. Старик хлопнул его по груди, выбрал самый маленький окурок, прикурил от своего и вложил в губы Ашоту.

...У обшарпанной витрины бывшего ночного клуба Ашот распотел окурок, докуренный до предела. В витрине остались фотографии роскошных танцовщиц и танцоров. Но теперь варьете было превращено в кинотеатр, и из распахнутой от жары двери доносилось

жужжание аппарата и слышен был полный энтузиазма голос немецкого кинодиктора. Ашот прислонился к дверному косяку. Отсюда хорошо был виден экран.

Шла хроника о благородных служебных собаках. Санитарная собака, увидев распростертого на рельсах раненого, рискуя своей жизнью, с лаем мчалась навстречу поезду.

В зале было почти пусто, но Ашот услышал одобрительные возгласы присутствующих там немцев.

Затем начался новый сюжет: показывали обреченных на смерть людей за колючей проволокой концлагеря, которые падали от непосильной работы, и тогда на них набрасывалась выученная для этого собака. Диктор говорил не переставая и, видимо, сказал что-то такое, на что зал отозвался веселым смехом.

Ашот оттолкнулся плечом от косяка и шагнул на тротуар.

Улица была накалена солнцем. Ашот глянул в знойное небо, на раскаленное добела солнце, почувствовал, что у него перехватило дыхание, что у него больше нет сил, и сполз по белой стене на тротуар. Крупный мужчина с лоснящимся лицом поливал тротуар перед дверью, над которой была вывеска с большой рыбой и пламенем. Он, видимо, решил, что Ашот нетрезв, и раздраженно затеребил его. Но, посмотрев Ашоту в глаза, поняв, что это не так, плеснул ему воду на руки, на лицо и помог встать. Ашот покачнулся. Тогда мужчина помог ему войти в дверь и сесть за столик.

В белой печи, накрытой решеткой, рдели угли. На решетке стоял горшок с переливающимся через край варевом. В черном горшке варился упругий белый карп.

Ашот, конечно, не мог знать, что вариво, которое перед ним в тарелке поставил хозяин, была знаменитая наперченная венгерская уха. Он ел неторопливо, не чувствуя перца, так что удивленный хозяин даже попробовал вариво в горшке и, чуть поперхнувшись, успокоился.

Ашот поел, смахнул крошки со стола, улыбнулся, снял образок с груди, положил рядом с тарелкой и поднялся. От дверей он оглянулся.

Хозяин уже убрал тарелку и протирал стол, сдвинув образок в сторону.

...По мере того, как город оставался позади, а окраина приближалась, Ашот все больше и больше оказывался на виду. На что он надеялся? На удачу? На случай? Но ничего другого, кроме того, чтобы идти и идти, ему не оставалось.

За низким дощатым забором выстроился ряд ульев с разноцветными крышами. Из распахнутых настежь деревянных ворот выскочил молодой энергичный немец и столкнулся с Ашотом. Машинально извинившись

перед ним, немец перебежал на другую сторону и поспешил по своим делам. Ашот еще не успел сдвинуться с места, как в воротах показался другой немец и закричал:

— Роддэ! Роддэ!

Роддэ оглянулся. Немец в воротах был не один. Его обнимала хрупкая босоногая женщина в кофте без рукавов. Видны были ее белые плечи; волосы рассыпались по плечам.

Ашот взглянул на нее и спокойно отвел глаза. Она уловила это выражение отрешенности на его лице и, видимо, решив, что он оробел при виде ее, легко ему улыбнулась и кивнула.

— Роддэ,— продолжал немец в воротах,— скажи там нашим: я очень занят сегодня, у меня срочное дело.— Он рассмеялся и притянул к себе девуцу.

Ашот хотел было пройти дальше, но вернувшийся Роддэ придержал его за руку.

— Хорошо, Ганс, я скажу! Но ты мог бы и не звать меня так громко по имени на улице. Кто ты? — спросил он Ашота.

Ашот взглянул на женщину, глаза их встретились. В диких глазах ее вспыхнул свет.

— Документы! — нетерпеливо повторил Роддэ. Лицо его и осанка были исполнены благородства.

Женщина перевела Ашота на венгерский.

Лицо Ашота ничего не выражало.

— Не опаздывай, Роддэ,— сказал Ганс.— Не беспокойся, я разберусь.

7

Во дворе военного госпиталя, который размещается в школьном здании, Тереза развешивает солдатское белье и стиранные бинты.

Мальчик на велосипеде аккуратно объезжает тазы с бельем.

— Вар-вар-вар-вара! — с воодушевлением поет он песенку, счастливый оттого, что у него есть велосипед. Два его сверстника смотрят на него с завистью.

— Тереза, хватит! — раскрывает, зевая, окно полная голубоглазая санитарка.— Иди домой! Господи, счастливая, в своем городе и есть своя комната... Или пойди хоть в дежурку поспить!

— Сейчас, немного осталось,— говорит Тереза.

— Жарко тут у вас,— говорит санитарка.— Лето только началось, а листья уже все от жары пожухли. Поставь таз на табуретку, удобней будет.

— Да все равно,— говорит Тереза.

— Васильев идет! — отпрянула от окна санитарка.

Начальник госпиталя Васильев остановился перед Терезой.

— В каком отделении вы работаете? — резко спросил он.

— У Шевцова Ивана Николаевича, в гнойной хирургии. Я здесь недавно.

Васильев внимательно посмотрел в глаза Терезы.

— У вас не пришла сменщица?

— Она не уходила.

— Немедленно отправляйтесь отдыхать. Васильев ушел, и Тереза взялась за второй таз с бельем.

В большой палате для выздоравливающих, на четвертом этаже, молодой солдат подковылял к окну и громко объявил:

— Пришла! Пришла!

Все, кто мог двигаться, поспешили к окнам.

Тридцатилетняя медсестра с мягким напудренным лицом, раздававшая градусники, тоже глянула в окно.

— А, новенькая... Умеет держать себя девочка. А чего ей? У нее ухажер — богатый фотограф... Да вот он подкатил... Брюнет... С усиками...— Она показала на Аракела, который вышел из машины «скорой помощи».

Тереза к тому времени развесила белье и равнодушно сидела на табуретке, не подозревая, что на нее смотрят.

Один из мальчиков ухватился за велосипед, владелец велосипеда проехал дальше и поволок мальчика за собой. Тереза остановила велосипед, преградив ему путь веткой.

— Мне безумно стыдно за мой поступок,— говорит ей между тем Аракел.— Этот сморлинг, этот цилиндр... Как я мог не понять такую женщину, как вы? Как я мог совершить такой ложный шаг?

— Вы напрасно извиняетесь. Мне все равно,— сказала Тереза.

— Но, Тереза... Я знаю... Вы получили грустное известие с фронта... Но так нельзя... Это же только извещение о пропаже без вести...

— О чем вы?

— Но ведь пришло извещение, что ваш... простите меня... пропал без вести?

— Откуда вы знаете об извещении?

— Н-ну...— выдавил из себя Аракел, стараясь держаться независимо.— Я иду сейчас от Ованеса... от Анным...

Наступила пауза.

— Это же пройдет, Тереза,— заговорил опять Аракел.— А вы, между тем, уже бросили консерваторию. Или вы не верите, что война кончится, что людям нужна музыка? Я знаю, что такое музыка, я сам человек искусства. Мои работы начали печатать в газетах...

— Мне этот велосипед на нервы действует,— проговорила Тереза.— Что вы от меня хотите?

— Ничего! Ничего,— повторил Аракел.— Но ваша мамочка скончалась, мир праху ее... Простите, пожалуйста... У вас теперь нет ни одного родного человека.— Аракелу трудно было все это говорить, но он мужествен-

но продолжал: — И я чувствую... Я буду искренен с вами, Тереза... Я не буду больше напивать на себя этот дурацкий смокинг... Я чувствую, что мы созданы друг для друга...

Но в этот момент из окна палаты для выздоравливающих кто-то громко свистнул. Затем еще... и еще, и через мгновение весь большой госпитальный корпус свистел и улюлюкал Терезе и Аракелу всеми своими окнами.

Дружки Аракела выскочили из машины. Аракел решительно взял Терезу под руку и хладнокровно повел ее к машине.

Машина «скорой помощи» быстро удалялась от госпиталя. Тереза, по-прежнему ко всему безучастная, сидела рядом с шофером. Аракел, наклонившись к ней с заднего сиденья, старался ее успокоить:

— Не обижайтесь на них, Тереза. Вы молодая, красивая... А это мужчины... Они воевали, одичали... Вам нельзя быть в госпитале, Тереза...

— Остановите машину, — попросила Тереза. — Вот здесь, — показала она на будку Ованеса. — Я доехала, мне нужно выйти.

— Хорошо, хорошо... Притормози, Хачатур... — Аракел выскочил из машины, открыл Терезе дверцу и, когда она вышла, сказал: — Тереза... Я вам все сказал сегодня... Подумайте об этом... Я вас не тороплю... Но в субботу я буду ждать вас у кинотеатра «Москва», в восемнадцать ноль-ноль по местному, — Аракел постучал ногтем по циферблату часов. — Вы сумеете освободиться к этому времени?

8

Вокруг сапожной будки Ованеса кольцом стояли люди. Когда Тереза, выйдя из машины «скорой помощи», подошла, она увидела, как Ованес, оглядев будку, выключил радио, задвинул створку двери, закрыл складные ставни, заложил железную штангу и, присев на корточки, стал запирать ключом большой висячий замок. Потом достал из кармана клеенчатый мешочек, надел его на замок, чтобы он не ржавел от дождя, и крепко завязал.

Тереза, как и все, молча наблюдала за Ованесом.

— А если будет какое-нибудь известие об Ашоте? — спросила стоявшая тут же Анным. — Как ты узнаешь?

Ованес досадливо повел плечом.

— Мой сын, слава богу, не погиб — пропал без вести! — повернулась Анным к людям. — А это совсем другое... Война уже кончилась, найдется! Война уже почти кончилась, — поправила Анным. — Теперь все найдется! Сколько людей знают, что их сыновья погибли, бедные! А мы счастливые,

наш сын не погиб! Свет вон какой большой! Найдется!

— Анным, я хочу уйти отсюда как можно быстрее, — сказал Ованес.

Анным вытащила из-за пазухи извещение:

— Вот, прочитайте сами, здесь сказано: не погиб, пропал без вести! А он — разве это отец? Сам своему сыну подписывает приговор!

Люди молча читали извещение и передавали из рук в руки.

Анным взяла ключи и, протягивая их людям как еще одно доказательство своей правоты, продолжала:

— О детях никогда не думал, о сыне никогда не думал, обо мне никогда не думал! И опять он уходит! А на что мы будем жить? Видно, бог перепутал, где мужчина, а где женщина!

Анным нагнулась, зло развязала шнурок на замке, сняла клеенчатый мешочек и бросила его в сторону, отперла замок и швырнула его под ноги Ованесу, потом сняла железную штангу, распахнула ставни, сдвинула дверцу в сторону и, усевшись на место Ованеса, стукнула щеткой по скамейке:

— Кому обувь почистить?

Никто не решился сдвинуться с места, боясь вызвать новый взрыв гнева. Тереза подняла замок, ключ, клеенчатый чехол и, опустив голову, стала открывать и закрывать дужку замка.

— Анным, дай мне уйти! — с тоской сказал Ованес.

— Что же никто не садится? — сказала Анным. — Так мы с голоду умрем.

Ованес надел фуражку, взял палку, повернулся и пошел.

— Ованес! Подожди! В каком виде ты уходишь? Иди сюда! — выглянула из будки Анным.

Ованес вернулся.

— Садись. Поставь ногу. — Анным взялась за щетки.

Сидя на стуле, Ованес увидел будку глазами своих многочисленных клиентов: вся она изнутри, как шкатулка, была заботливо оклеена цветными репродукциями, плакатами, открытками и фотографиями. Рядом с фотографией из «Нивы», изображающей коронацию Николая II, была приклеена картинка с тучным стадом коров на лугу и фотография Ашота, а между фотографиями вождей — реклама местной кооперации, семейная фотография, сделанная недавно Аракелом, кинокадр с Чарли Чаплиным и, наконец, фотография самого Ованеса в полосатом трикотажном спортивном трико с гольми ногами и в боксерских перчатках.

— Другую ногу! — стукнула щеткой Анным. — Ованес! — сказала она тихо. — Я знаю, ты пойдешь куда-нибудь в горы, а у

тебя ранение в легких, ты же умрешь от кашля, задохнешься!

— Я это делаю для того...— сказал Ованес.— Как ты щетку держишь?.. Чтобы нашему сыну было легче... Бархотка в правом ящике... Не в левом, а в правом... Не знаешь, где лево, где право? Если я здесь останусь, я не выдержу, Анным.

— Если бы в твоей душе жила надежда, Ованес...

Ованес поднялся.

— Куда? А деньги? — вдруг опять расвирепела Анным.— Кто расплачиваться будет за чистку?

— С солдат и с отцов солдат я деньги никогда не брал,— с горечью улыбнулся Ованес.

— Ты не отец солдата! Тереза, что говорит тебе твое сердце? Вернется Ашот? Он жив?

— Да,— говорит Тереза.

Ованес чиркнул спичкой, прикурнул папиросу, будто и не слышал Терезу. Кольцо расступилось, и он неторопливо пошел прихрамывая.

9

В городском парке, в деревянной беседке, до отказа заполненной медными трубами, духовой оркестр играет «Марш Буденного».

Под громадным вязом, в окружении сочувствующих, сидит на траве еще совсем молодой Ованес.

На открытой площадке физкультурники показывают вольные упражнения. Вокруг, на стендах, плакаты: «Советский физкультурник — проводник рабочего спорта всего мира», «Нет советской физкультуры без врачебного контроля».

Когда марш кончился, один из музыкантов, Егише, положил свои медные тарелки, сделал извиняющийся жест и поспешил к Ованесу.

— ...Какой букет у тебя в руках! — воскликнул он, явно продолжая начатый разговор.— Эмочка, Жанночка, Арусенька, Сонечка,— перечисляет он дочерей Ованеса и хлопает в ладоши, будто играет на своих тарелках.

Пчелы слетелись к дыне, разложенной кусками на траве, суетились, жужжали.

— Тогда так, Егише,— говорит Ованес.— Эта земля тебя взрастила, меня взрастила, моего отца, деда, прадеда... Мы приходим и уходим, так? А земля эта должна жить всегда?

— Да,— говорит Егише.

— Тогда скажи: что остается от человека в этом мире, если у него нет сына?

Егише протянули кусок дыни, но он отвел его.

— Хватит! Одна болтовня! Зачем живет такой человек, как ты, Ованес? Где ты был, когда родилась Соня, а потом Жанночка?

— Дорогу на Зангезур строил,— мрачно сказал Ованес.— Как будто не знаешь.

— Он дорогу строил! А когда родилась Арусенька? Где ты был?

— Я должен подумать,— говорит Ованес.— Овец перегонял в Дилижан. Границу строил. Грузчиком на железной дороге был. А когда Эмочка родилась, я виноградом торговал! — вдруг оживился Ованес.— Но я же вернулся!

— Он вернулся! — возмущенно повторил Егише и поспешил к оркестру, который уже начал играть.

— Знахарку звали,— говорит Ованес собравшимся,— священника прочитать молитву звали, красного комиссара побеседовать приглашали... Все равно рождаются только девочки... Что еще делать? — Ованес запрокинул лицо к небу, словно у него спрашивая.

По аллее парка со всех ног бежал юноша. Все в волнении встали. Ованес прикрыл глаза.

— Дядя Ованес! Дядя Ованес! Уже можно идти домой! Зовут! Идите!

— Девочка? — спросил Ованес.

Посыльный яростно замотал головой.

— Мальчик? — осторожно выговорил Ованес.

Посыльный замотал головой еще решительнее.

— А кто, Костан? — остолбенел Ованес.

— Две девочки,— выговорил наконец Костан.

Ованес обратил ладони в небо.

— Вот,— сказал он.— Вот!

Егише ударил в медные тарелки, трубаچی надули щеки, а физкультурники в одно мгновение образовали пирамиду.

...На знаменитом батумском рынке, среди лабазов, полных овощей, фруктов, мяса, сыров, зелени, Ованес и его напарник — сухопарый, узкогрудый француз с выступающим кадыком, голым черепом и живыми черными глазами — из какого Марселя его сюда занесло? — растягивают канат так, что образуется некое подобие ринга. Оба в полосатых трико с боксерскими перчатками через плечо.

— Бокс! Английский бокс! Кулачный бокс по-английски! — кричит Ованес, зазывая публику.

— Двадцать пять секретных ударов лорда Кинслея! Верное средство от жуликов и грабителей! — вторит ему француз по-русски, но с немислимым акцентом.— Спорт XX века! Спорт — любимец женщин!

Возле ринга собралась вначале жидковатая толпа. Потом вдруг принесло шумную ватагу потных и возбужденных моряков с какого-то заграничного судна. Задержался рабочий патруль с красными повязками на руках.

— Удар по корпусу! — прокричал француз и ударил Ованеса так, что тот взмахнул руками. — Апперкот! Обманный удар — финт! Хук! Крюк слева! Крюк справа! — выкрикивал француз, нанося Ованесу удар за ударом.

Ованес только отлетал беспомощно, как боксерская груша, и улыбался не переставая.

— Нокаут! — торжественно закричал француз и под хохот иностранных моряков начал считать: — Один, два, три, четыре...

...Близился вечер. У заглохшего городского фонтана с каменным дельфином, повисшим в воздухе, француз и Ованес делили жалкую выручку. За ними равнодушно наблюдали две накрашенные девицы. Француз отсчитал Ованесу его деньги и спрятал свою долю в карман. Ованес неторопливо докурил и, не прикоснувшись к деньгам, сказал одной из девиц:

— Вина на все!

Девицы захолопали.

— Мяса на все!

Девица французa обняла Ованеса.

— И на остальные — зелени!

Француз не повел и глазом.

Ованес расправил плечи и удобнее пристроился к фонтану.

— Слушай, боксер, — начал Ованес и вдруг закашлялся болезненно. — Это у меня с войнны, — сказал он. — Слушай, а я все думаю: если, например, тебе станет обидно, или там больно — как ты будешь драться? Тоже с приемом?

Француз молчал, поглаживал девицу.

— Это драка умная, конечно. Но я не понимаю, — продолжал Ованес, — для человеческой драки, если от сердца, она годится? Я хочу знать, что ты чувствуешь, когда так вот бьешь человека за деньги? А? Ну что ты молчишь? Объясни, мне это нужно, понимаешь?

На земле, между ними, уже стояла бутылка с вином, а на старой газете была разложена всякая снедь. Девица французa погладила Ованеса по щеке.

— Он обиделся, да? — сказала она французу.

Ованес потерся щекой о ее руку.

— Нет, я не обиделся... — твердо сказал Ованес. — Хочу понять, как он будет себя вести, если человек подойдет к нему, размахнется и ударит?

Француз встал, расставив ноги, и спокойно смотрел на Ованеса.

Ованес отпил из бутылки, поставил ее перед собой.

— Что ты стоишь, боксер? Садись. Мы же едим, мы разговариваем. И потом — чем я заплачу тебе, если стану тебя бить? — рассмеялся Ованес. — Мне просто интересно, как это ты, такой же человек, как я, ну вот как они, взял и придумал такой трудный хлеб?!

Француз подсел к еде. Ованес резко протянул руку, словно бы за хлебом. Француз отпрянул невольно, как от возможного удара. Девицы и Ованес закатились от хохота.

— Ну ладно, я пошел, — сказал Ованес и захолопал французa по плечу.

— Ну ладно, пошли, силач! — сказала в тон ему девица французa и, не спуская руки с плеча Ованеса, пошла рядом с ним.

...Что за райская земля, этот Батуми! Деревья в желтых мандаринах, непроходимый бамбук, море, пляж! Шумные покупатели, находчивые и энергичные торговцы, скот, арбы, живая птица, зеваки, моряки, воришки и еще всякий люд, который хочет заработать на базаре.

Сегодня толпа вокруг ринга побольше. Девицы зашнуровывали боксерам перчатки, обходили зрителей со шляпой.

В толпе стояла высокая, стройная, в диковинных для этих мест белых летних одеждах, в нитяных перчатках, в белой шляпе с легкими полями молодая англичанка. Она невозмутимо смотрела на все происходящее. Вокруг нее толпились армянские дети, обутые в прочные американские ботинки и в американских матерчатых панамках.

— Удар по корпусу! — как обычно провозгласил француз и успел перед ударом поклониться англичанке — воспитательнице из американской колонии для армянских детей-сирот.

Ованес отлетел на веревку.

— Удар справа!

У Ованеса из губы потекла кровь.

— Еще удар! — крикнул француз. — Еще!

У Ованеса был подбит глаз.

В толпе раздались азартные выкрики. Девица французa завизжала. Англичанка всплеснула руками и стала уводить детей.

Сорвав перчатки, Ованес пошел на французa, но через мгновение он лежал, поверженный, на земле, а француз спокойно считал:

— Восемь, девять... Аут!

Действительно, Ованес даже не шелохнулся. Француз спокойно свернул канат в кольцо, собрал перчатки, высыпал из шляпы в пыль рядом с Ованесом часть выручки, не считая, и пошел прочь, напоследок сказав:

— Неделовой народ.

...Избитый, в ссадинах Ованес сидит у груды бочек в порту. Печально играют зурначи, толпится народ. Шлепая по пыли ладными американскими ботинками, подходят к причалу дети. Энергичный воспитатель в гольфах гостеприимно распахивает перед детьми ворота трапа. Наготове стоит пузатый белый многотрубный пароход.

Рядом с Ованесом присаживается такой же обтрепанный человек, но в шляпе бродяги, надвинутой на лоб до самой оправы очков.

— Сколько же они будут плыть, вы не знаете? — спрашивает он.— Говорят, больше месяца... Не было бы только шторма в Атлантическом океане.— Он покосился на безучастного Ованеса.— О, я вижу, вы тоже переживаете... Что делается! Смотрите, не успели детей увезти, как уже одели не по-нашему, уже начали делать из них американцев... Армянские мальчики в гетрах и панамках! Ну хорошо, собрали сирот... Вы не знаете, сколько? Говорят, пятнадцать тысяч... Ну хорошо, ну спасли их от голодной смерти... Теперь увозят навсегда...— И совсем грустно добавил: — Хорошо...

Сквозь прикрытые ресницы Ованес видит, как на фоне бледно-серого неба идут сквозь толпу провожающих дети в белом, переливаются, группа за группой, в пузатый пароход. Ованес с трудом приподнимается, всматриваясь.

Из-за парохода появляется и медленно идет к берегу рыбацкая лодка. Приблизившись, она останавливается, пропуская под собой волну за волной.

В густой толпе провожающих кто-то запел высоким, грустным и страстным голосом. Люди подхватывают песню, дети на пароходе присоединяются к ним, и те дети, которые еще на пути к трапу, поют тоже.

Англичанка в белой воздушной шляпе, прощаясь, кивает Ованесу и спешит с детьми к трапу. Она показывает ему на детей, на пароход, на себя, и непонятно, то ли она прощается с Ованесом, то ли зовет на пароход.

Один из мальчиков поднимает руки над головой:

— Эй, боксер! Прощай, боксер!

В маленькой рыбацкой лодке поднимается седобородый человек, и теперь видно, что к лодке прикреплено нечто, похожее на плуг. Лодка медленно идет вдоль берега, словно вспахивая воду, а старик широким плавным движением сеятеля бросает в воду семена, горсть за горстью. Пение прекращается. Старик поднимает руку и кричит:

— Братья! Разве разумно вспахивать воду? Разве разумно засеивать воду? Зачем мы отправляем детей за океан? Да, у нас сегодня нет хлеба, чтобы прокормить их. Но у нас есть руки, у нас есть души, у нас есть теперь Родина и крепкая защита! — На этих словах седобородый ступает с лодки прямо в воду и идет к причалу. Вода ему по грудь.

Четверо из лодки, оставив весла, идут за ним, протягивая детям руки. Дети как будто ждали этого. Один за другим они прыгают в воду, мужские руки подхватывают их, помогают выбраться на берег.

Круглый пузатый пароход с флагом Красного Креста на корме протрубил, отчалил и направился к горизонту.

Люди на берегу выжимают одежды, смеют-

ся, переключаясь, уходят, уводя с собой детей.

Ованес выходит из воды с десятилетним мальчиком, ставит его на землю. Погладил по голове, оглянулся:

— Где мой пиджак? — и отходит в сторону.

— Дядя, вот ваш пиджак! Ваш? — говорит мальчик, дрожа от холода.

— Ага,— говорит Ованес, подхватывает, не глядя, пиджак и идет дальше.

— Дядя,— слышит он за собой,— деньги высыпались.

Ованес останавливается, смотрит на мальчика. Мальчик подобрал несколько монет, протянул Ованесу. Ованес улыбается разбитыми губами.

— Как тебя зовут? — спрашивает он.

— Матевос.

Ованес идет дальше.

— А тебя? Тебя как зовут? — кричит мальчик вслед.

Ованес не отвечает, но, пройдя несколько шагов, оглядывается.

— Меня?

Мальчик стоит и смотрит на него.

— Что теперь будем делать, а? — спрашивает Ованес.

— Я не знаю,— говорит мальчик просто.

Ованес недоуменно хмыкнул, постоял.

— Ованес,— говорит он.— Меня зовут Ованес. Ну, пошли.

...Закат еще только начинался, но небеса уже горели. Из ворот, из окон, с балконов смотрят на Ованеса и Матевоса люди, смеются: не в первый раз он возвращается домой из дальних далей.

— Идет! Идет! Слава богу, идет!

— Сколько времени не было его дома, даже собака не узнает!

— Какого богатого мальчика ведет Ованес! Ботинки американские!

— Вот он, оказывается, куда исчезал,— прикрыла рот рукой старая женщина.— Как мы раньше не догадались — у него есть другая семья!

Костан, которого мы уже знаем, подбегает к Ованесу и как ни в чем ни бывало кричит:

— Дядя Ованес, вот видите, и у вас есть сын!

Ованес останавливается, гладит Матевоса по голове:

— Вот, да. Сын.

— Нет,— удивляется Костан,— там,— показывает он на ворота,— там мальчик, где Анным!

Ованес сосредоточенно смотрит на Костана.

— Ты всегда столько лишнего говоришь, Костан?

— Входи, входи в твой дом,— кричит тот от ворот Ованесу.— Входи, твой дом ждет тебя.

Переполюшавшийся двор. Только Анным невозмутимо наливает в деревянное корыто чистую воду и совсем не смотрит на ворота.

Присев на корточки, Ованес не сводит с нее глаз.

— Анным, что тут в доме, а?

Все девочки его, от мала до велика, прыснули и скромно потупились как по команде. Ведро, которое Анным держит в руках, выскользнуло и упало в колодезь. Но она не поднимает глаз и не отвечает Ованесу. Ованес пожимает плечами и встает.

Матевос сделал движение, чтобы высвободиться от Ованеса, оглянулся на ворота, но Ованес держит его крепко. И так, не отпуская руки Матевоса, он проходит в дом.

Здесь, на его с Анным постели, сонно поспывает маленькое существо.

— Это мальчик,— говорит старшая дочь Ованеса Соня.— Его зовут Ашот.

— А где Матевос? — только теперь Ованес замечает, что мальчика рядом с ним нет.

— Он убежал,— говорит маленькая дочь Ованеса.— Через ворота и на улицу.

Ованес кидается через двор, Анным спешит за ним. Она стоит, молодая и стройная, у ворот, и видит, как муж ее на удивление всем спешит сломя голову от дома.

— Матевос! — зовет он.— Матевос!

Но мальчика нигде нет.

10

Ганс сидит на подоконнике маленького глубокого оконца. За окном яркий день.

— А я вам говорю: любое имя, которое он назовет, нам много даст.— Немецкий солдат, сказавший это, присел рядом с распростертым у стены Ашотом и закурил.

— Я согласен,— ответил Ганс.— Но он же не говорит.— И Ганс показал Ашоту на табуретку: — Что это?

За окном широко и вольготно просматривался город, река за городом и дальние холмы.

Ашот произнес слово, понять которое солдаты не могли.

— Это табуретка,— сказал он по-армянски.

— Ну? — повернулся Ганс к простодушному солдату в очках.— Ты же прошел пол-Европы в одну сторону, а теперь уже и в другую.— И Ганс, довольный своей шуткой, рассмеялся.

— Я, правда, улавливаю,— солдат щелкнул пальцами возле уха,— но это мне незнакомо. Это не венгерский, не славянский...

— Понятно,— сказал Ганс и показал Ашоту на стену: — А это что?

Ашот помолчал и ответил по-армянски:

— Это стена.

— А я? — Ганс показал на себя.— Я вот

Ганс. А ты? Ты? Как тебя зовут? Ну? — он легко похлопал Ашота по колену.

Ашот посмотрел Гансу прямо в глаза.

— Я — человек,— сказал он по-армянски, потом перевел глаза на солдата в очках: — Ты — человек.— Потом он повернулся к другому солдату: — Ты — человек...

Так он говорил, пока не перебрал всех. Потом посмотрел на Ганса:

— И ты — человек.

— Довольно загадочная речь,— сказал Ганс.

— Нет, он не румын и не албанец,— сказал солдат в очках.

Солдат, который до этого безучастно лежал на полу, положив руки под голову, внезапно сел и бесстрастно сказал:

— Я догадался — он, видимо, говорит так: ты — человек, я — человек, Фриц — человек.— Говорящий показал на простодушного солдата в очках и рассмеялся: — И... он человек.

— Ну уж это слишком,— сказал один из солдат.

— Но, Фриц,— продолжал солдат,— ты ведь знаешь, что всюду есть люди, которые живут, как сорняки, которые переходят с места на место, которые... Ну, в общем, сам понимаешь.

Голубоглазый солдат со шрамом перевел глаза на Ашота. Конечно же, сомнений не было, и как только они не догадались сразу! Вьющиеся жгучие черные волосы, громадные серые глаза, светящиеся волей и умом, легкая гибкая фигура, смуглая кожа...

Солдат положил руку Ашоту на плечо и сказал, обращаясь ко всем:

— Цыган?

Солдат, который подал ему эту мысль, ответил:

— Ты догадался? А я в этом уверен.

Ганс, который сидел на подоконнике, свесив ноги наружу, видел людей, рынок, циркачей — все, что происходило на площади, отсюда просматривалось, как на ладони. Правда, Ганс не видел лиц актеров, но каждый раз, когда они заканчивали какой-то трюк, он явственно слышал смех и веселые восклицания.

— Ганс! — окликнула его снизу женщина с босыми ногами, высоко подняв полную бутылку.

Ганс обрадовался, показал ей: поднимайся сюда. Массивная деревянная дверь распахнулась, и босоногая замерла, увидев Ашота.

— Бог мой,— сказала она.— За что вы его?

Она приблизилась к Ашоту, отлила на руку немного водки и обтерла ему лицо. Ашот открыл глаза и попытался приподняться. Босоногая помогла ему. Она достала из кармана стакан и протянула Ашоту. Ашот взял стакан, подержал в руке и, едва улыбувшись

спекшимися, разбитыми в кровь губами, поставил перед собой на пол. Босоногая сказала:

— Я сейчас!

Ганс видел в окно, как она пробежала через двор на улицу и скоро появилась с кружкой молока.

Когда она поднесла кружку к самым губам Ашота, он отвернул лицо в сторону, и губы его задрожали.

— Плачет,— сказала босоногая и прислонилась к стене.

Ганс повернулся к ней.

— Ты плачешь?

Босоногая действительно плакала.

— Ганс,— позвала она и жестом попросила закурить.

Но, получив сигарету, протянула ее Ашоту. Ашот показал глазами: нет. Потом нежно поднял прядь волос женщины, пропустил сквозь пальцы, и волосы заискрились на солнце.

— Женщина... Женщина...— сказал Ашот по-армянски.

— Что он говорит, Ганс? Что он говорит? — спросила босоногая и сама же отмахнулась, поняв, как нелеп сейчас ее вопрос. Она не сводила глаз с Ашота.

— Он цыган,— вяло сказал голубоглазый солдат со шрамом.— И невозможно понять, откуда он взялся? Кто-то же его в этом проклятом городишке прятал?

— Да не в этом дело,— сказал Ганс.— Стоит отдать его в комендатуру, и там найдут, кто его прятал. А вот почему он без каких-либо даже ложных документов и одежды не как-нибудь, а именно как цыган шел по городу, будто он здесь хозяин и ему нечего здесь опасаться? А это ведь наш дом! Завтра его, может быть, отнимут, и мы все это знаем. Но сегодня — это наш дом! Почему он здесь шел так, как будто меня нет? Я хочу это узнать сам. В комендатуре мне на такой вопрос никто не ответит. Он меня не боится, я уверен. Я уверен, что если я дам ему сейчас пистолет, заряженный пистолет, он им не воспользуется.— Ганс ловким движением вытащил пистолет и положил перед Ашотом, предупредив всех:

— Не двигаться. Я отвечаю за все.

Наступила тишина.

— Положение не для слаонервных,— сказал Фриц.

Раздался щелчок. Ашот вытащил обойму, высыпал из нее патроны на ладонь, а с ладони — ручейком — на пол. И отложил пистолет в сторону.

— Ганс, Фриц,— сказал солдат в круглых очках.— Во-первых, этот человек умеет обращаться с оружием и не скрывает этого. А во-вторых, может быть, он просто душевнобольной?

— Я разбираюсь,— сказал Ганс.— Душевнобольной... Да ты посмотри в его глаза: он просто не боится. И все.

11

Тереза, вытянувшаяся и повзрослевшая, в материнских, еще довоенных белых лодочках идет через двор к воротам.

— Тереза! — окликнула ее Анным.

Тереза подошла к ней.

— Ты что отчуждаешься, доченька? А я как раз собралась за тобой зайти. Пойдем со мной? Чаю попьем? Ованеса нет, а я одна есть не могу... Я уже чайник поставила... И у меня,— Анным снизила голос до шепота,— сахар есть... От внучек спрятала... Ты ведь тоже моя маленькая...

— Нет, тетя Анным, я... Я сегодня занята.— Тереза помолчала и добавила: — Я иду в кино.

Анним внимательно посмотрела на нее.

— В кино? Хорошо! Мои дочки, как в кино пойдут с кем-нибудь, сразу замуж выйдут! — Анним рассмеялась и потрепала Терезу по голове.

Тереза промолчала.

Тогда Анним спросила:

— А ты одна идешь, а? Или с девочками?

— С Аракелом, с фотографом,— сказала Тереза.

По лицу Анним прошла тень.

— Тогда после кино приходи,— сказала Анним.— А я тебя подожду.

— Хорошо, тетя Анним, обязательно приду! — сказала Тереза и, повеселев, выбежала на улицу.

Но по мере того, как приближался кинотеатр, она шла все медленнее и медленнее.

— У вас нет лишнего билета? — спросила ее с надеждой какая-то девочка.

— Нет,— сказала Тереза.

На противоположной стороне, у входа в кинотеатр, ее ждал Аракел с двумя друзьями.

— Билета нет, красавица? — окликнули ее опять.

— Нет,— сказала Тереза.

Сеанс, видимо, уже начинался. Последние пары прорывались через толпу не попавших на сеанс людей.

— Билет не нужен? Есть один! — шепотом предложил Терезе парень-перекупщик.

— Нет,— сказала Тереза.— Не надо.

Аракел нетерпеливо смотрел на часы, дружки посмеивались над ним.

Толпа загордилась Аракела от Терезы, а она все стояла у большого каштана, никак не решаясь перейти улицу.

А когда толпа схлынула, Аракела уже не было. Дружки утащили его в кино.

Облегченно вздохнув, Тереза пошла по улице.

12

Из маленького садика, едва Тереза обогнула кинотеатр, до нее донеслась музыка — играл патефон, и пластинка была заезженная. Женский голос пел: «Полчаса нам осталось до встречи, не опаздывай, мой дорогой». Тереза вошла в садик. Там, на садовой скамейке, высокий солдат с нашивкой тяжелого ранения заводил самодельный патефон в фанерном ящике, оклеенном обойной бумагой. Несколько женщин танцевали, поочередно приглашая солдата, а он всем одинаково улыбался и со всеми танцевал. Когда Тереза села на скамью поодаль, девушка, с которой танцевал солдат, предложила:

— Может быть, сбегать за другой пластинкой? Уже двадцатый раз крутим!

— Танцуй, танцуй! — сказал солдат. — Это хорошая пластинка, — пробормотал он, не сводя глаз с Терезы.

— Ой, ты совсем не слушаешь музыку! Давай я буду тебя вести! — сказала девушка.

Солдат подошел к Терезе, остановился перед ней и сказал:

— Здравствуйте, Татьяна Ивановна.

— Вы меня? — удивилась Тереза.

Солдат рассмеялся:

— Война кончилась, теперь шарманку крутим. — И вдруг стал серьезным, со значением сказал: — Таня, я Щеглов!

— Что вы говорите! — восхитилась Тереза. — Вы, наверно, знаменитый герой? Но, простите, я давно не читала газет, товарищ Щеглов. Вас ждут девушки.

Солдат потер лицо, пробурчал:

— Ясно.

Терезе стало жалко его.

— Я по всему вижу, что вы человек приезжий, — сказала она.

Солдат странно посмотрел на нее.

— Я — Щеглов, — повторил он, — я приезжий... И не говорите так, как будто вы этого не знаете.

— Тогда где мы с вами виделись? В госпитале? Вы у нас лежали? Где мы с вами встречались?

— Нигде, — сказал солдат серьезно. — Я Щеглов. И вы прекрасно знаете, что мы с вами никогда не встречались.

Тереза помотала головой, улыбнулась и сказала:

— Может быть, вы и Щеглов. Но я не Таня и не понимаю всего этого даже как шутку.

— Хорошо, — сказал солдат. — Тогда... Тогда пойдёмте хотя бы танцевать.

— Довольно сложную форму приглашения вы изобрели, — рассмеялась Тереза и легко поднялась: — Пойдемте.

Танцующих стало больше, над маленьким садиком взошла луна. Кто-то еще раз поставил пластинку.

— Я Щеглов Иван Петрович, — говорил солдат, бережно ведя Терезу в танце. — Я Щеглов, а вас зовут Таня, вы учитесь в консерватории, я был там сегодня...

— И что же вам сказали?

— Мне сказали, что такая никогда не училась.

— Я там училась.

— Вы живете во дворе, где веранды, на втором этаже, за стеклянной дверью... Утром, прежде чем свернуть за угол, вы проходите мимо булочной...

— Вы и в булочной были?

— Таня, перестаньте! Я же ни на что не претендую! — сказал солдат и повел Терезу к скамейке.

— Кто вам все рассказал про меня?

— Вы, Танечка. Вы рассказывали мне, как умерла ваша мама и какой она была...

— Подождите, подождите! — Тереза потеряла виски. — Хорошо, меня зовут Таня, я учусь в консерватории, живу во дворе, затененном верандами, а по утрам прохожу мимо булочной. Так. А теперь представьте себе, что я... Ну, что я вдруг потеряла память... Что я беспамятная... Или хотя бы допустите, что все-таки и вы могли ошибиться.

— Нет, Танечка, вы же сами видите, что я не ошибаюсь...

— Хорошо, — перебила Тереза, — все-таки расскажите мне все так, как будто я ничего не знаю.

Солдат повел плечом.

— Попробую, — сказал он. — Итак, в одна тысяча девятьсот сорок втором году, в сентябре, в самые тяжелые дни войны, я, Щеглов Иван Петрович, наводчик пушки-сорокопятаки, которую называют «Прощай, Родина», потому что прислугу этой легкой пушечки выбивают обычно в первом же бою, находясь на излечении в сарапульском эвакуогоспитале, — иронично говорил Щеглов, — по поводу сквозного ранения... Вам сказать, какого ранения? Вы и этого не знаете? Получил письмо из тыла — «Незнакомому бойцу». Мы все получали такие письма, и я получил за войну таких писем штук десять, иногда с теплыми варежками впридачу, иногда с домашним печеньем, а иногда и без.

— А мое какое было? — спросила Тереза.

— А твое было... Мне сразу показалось, что ты знаешь обо мне все, — неожиданно перешел на «ты» солдат и закурил.

— Дальше надо быть душой, чтобы спрашивать,— сказала Тереза.— И мы с вами переписывались всю войну...

Солдат молчал.

— Тогда, очевидно, я вам прислала и фотографию?

— А как бы я вас иначе узнал? Вот она,— солдат достал и протянул Терезе ее фотографию.

— Эту фотографию очень любила моя мама, она держала ее на работе, под стеклом.

— Я могу вам ее вернуть. Письма ваши я все сберег, но с собой у меня их нет. А фотография — вот.— Солдат встал.— Уже по тому, что вы просили меня писать до востребования, я мог предположить, что у вас есть какие-то обстоятельства... Возможно, муж, ребенок... А по последнему письму я понял, что вы вообще боитесь моего приезда... Не приехать я не мог... Но не тревожьтесь, все будет хорошо. Я не собираюсь вас преследовать... Но я приехал сюда, за тысячу километров, чтобы увидеть вас хотя бы издалека... Я три дня провел у почты, думая, что вы, может быть, придете за письмом. Ну-ка, посмотрите мне в глаза... Я люблю тебя, Таня... И когда мне сказали, что не знают, кто... вы, и в консерватории сказали, что ваше имя им неизвестно... Таня, мне стало так плохо, как не было, поверьте, за всю войну... Я много хоронил, но сегодня мне показалось, что я похоронил самого себя... И поэтому то, что вы появились здесь, Таня, это как... Знаете, для чего вы появились? Это справедливо, что вы появились... вы появились для того, чтобы я мог вам сказать хотя бы «спасибо»... Вот и все. Война кончилась, теперь будем крутить шарманку,— попытался улыбнуться солдат и пошел, добавив напоследок с одобрением: — А актриса вы хорошая.

Патефон на скамейке продолжал играть, девушки танцевали друг с другом.

Солдат скрылся за оградой садика. Тереза, не двигаясь, рассматривала себя на фотографии. Потом сорвалась с места и кинулась за солдатом.

— А патефон вы оставили девушкам в подарок? — Тереза прикоснулась к солдату и пошла рядом с ним.— Подождите. Ну хорошо... Это правда... Меня зовут Таня, хотя я больше не учусь в консерватории и, наверное, скоро не буду жить во дворе с верандами... Вы знаете, я поверила в то, что я Таня... Мне так грустно стало... Мама привезла это платье из Москвы,— Тереза держала фотографию.— Я была в нем на выпускном вечере... Хорошо, что... я... прислала вам именно эту фотографию...

— А я, когда получил ее, бегал по лесу, в котором мы стояли, и думал: «За

что мне такое чудо?» Я понял, что пройду войну, не погибнув... Ты помнишь, что тогда написала мне? «Я знаю, что я некрасивая, но когда мы встретимся, я превращусь в красавицу...»

— Я превращусь в красавицу... — повторила Тереза задумчиво.

Отсвет фонаря протянулся по улице, показывая им дорогу. Они пересекли улицу прямо перед домом Терезы и пошли дальше.

— А что там? — показала Тереза.

Солдат посмотрел на вывеску и сказал:

— Магазин.

— А за магазином?

— Улицы и дома. А между ними, конечно же, есть аптека и школа.

— Правильно. А эта улица куда ведет? — спросила Тереза.

— Налево.

— Ну, молодец! — рассмеялась Тереза.

— Да я весь город знаю! И как погода менялась здесь всю войну — знаю.

— А я не помню город,— сказала Тереза.— Я все здесь забыла.— Тереза посмотрела по сторонам.— Все.

— А твой дом? — спросил солдат тихо.

— Мне кажется, что и дом тоже.— Тереза пошла быстрее.

Солдат шел, не делая попытки догнать ее. Так они свернули в тихий переулочек, где грудой лежали свежие доски, вышли через него какими-то дворами, а Тереза все шла и шла, как будто блуждала в лабиринте. Солдат не тревожил ее. Упала дождевка, потом вторая, и еще одна. Окна загадочно поблескивали, а в какой-то из подворотен мелькнул белый фартук дворника.

— Ты устала,— сказал солдат.

Тереза остановилась:

— Что?

Солдат понял, что она сейчас не помнит и о нем. Лицо ее было в слезах. Солдат погладил ее по голове.

— Ну поплачь,— сказал он.

Она обхватила его руками, прижалась к нему лицом.

— Поплачь,— повторил солдат.

— Я ничего про себя не знаю,— сказала Тереза.

— Подумаешь,— сказал солдат.— Зато я про тебя все знаю. Знаю, например, какое у тебя самое любимое место в городе.

— Какое? — улыбнулась Тереза.

— А вот вспомни. От рынка, по шоссе, дойти до самой лесопилки. Там грунтовая дорога направо, метров восемьсот, и сразу у ручья — вверх, вверх, и там растет такой... баобаб...

— Дуб,— смеется Тереза,— дуб.

— Ну, вот видишь, ты уже вспомнила.

...Утром Тереза проснулась под дубом-баобабом, тихонько поцеловала солдата и, стараясь не шуметь, пошла к ручью. Солдат сквозь опущенные ресницы видел, как она шла сначала на цыпочках, как оглянулась на него, как плеснула водой в лицо, прислушалась к донесшемуся шуму поезда, взгляделась вниз, где проходила железная дорога, и вдруг захватила двумя руками воду и плеснула на себя раз, другой, третий, не щадя ни волос, ни платья.

Солдат сел под деревом, закурил папиросу.

Тереза бежала к нему, полная радости и доверия.

Она присела перед солдатом на корточки.

— Ты знаешь, на кого похожа? Ну, во-первых, на болгарку.

— Ты там воевал?

— Да. Потом, знаешь, на немку. Есть такой тип немок...

— На немку?! Я — на немку?

— Ну да... Тебе это кажется страшным?

— Да.

— А почему?

— Ну, немки...

— Понятно. Потом на индианку ты похожа... Да, тебя могла родить и индианка... Да и вообще... женщина любой национальности.

Тереза задумалась о своем.

— Вчера я сказала тебе, — начала она сбивчиво, — что ничего о себе не знаю. Но сегодня все иначе. Сейчас прошел поезд... И мне захотелось сбежать к нему вниз. Мне показалось, что он везет... что он везет... что там едет... Мне показалось, что я вспомнила...

Солдат осторожно погладил ее по голове, провел рукой по ее лбу, по векам, по губам.

— Понятно, понятно... Не объясняй мне... Этот поезд пришел за мной... Ты знаешь мой адрес. Придет время, ты перечитаешь мой письма.

Тереза помолчала.

— Сказать вам мое настоящее имя? — она уже отходила от него.

— Нет, — сказал солдат, — не надо... Я ведь знаю, что ты — Таня.

— Что же все это значит? — она будто просыпалась.

— А что это может значить? — сказал солдат, отгоняя дым папиросы от ее лица. — Только одно: война кончилась, мы живы и все у нас с тобой еще впереди.

— Будем жить и крутить шарманку? — улыбнулась Тереза.

В радостном предчувствии, что тот утренний поезд, который она видела с горы, дей-

ствительно привез ей Ашота, Тереза бежит к дому, зажав в руке туфли-лодочки. И ее нисколько не удивило, что, когда она вбежала в ворота, двор встретил ее радостными криками:

— Приехал! Приехал!

— Он вернулся! Живой, здоровый, ни одного ранения за всю войну!

На галерее, прямо перед воротами, в окружении женщин стоял в высоких офицерских сапогах и гимнастерке Сергей, муж Сони.

Тереза без сил опустилась у ворот на землю.

— А где Тереза? — спрашивал Сергей у жены. — Почему ее не зовут?

Соня вздохнула.

— Давай, Сереженька, сейчас не говорить о Терезе. Жизнь, знаешь, есть жизнь.

Сергей оттолкнул Соню.

— Анным! Почему Терезу не зовут?

Анным поджала губы и, повернувшись к дочерям, закричала:

— Что стоите? Что смотрите? Человек вернулся! Откуда он вернулся, а? Накрывайте стол! Эх, пить будем! Пировать будем! А смерть придет, — Анным повернулась к Сергею и помахала рукой у него перед носом, — помирать не бу-де-ем! — протянула она.

Но Сергей даже не улыбнулся. Он увидел сидящую у ворот Терезу и громко, на весь двор, позвал:

— Тереза! Тереза!

В музыкальной школе седеющий учитель занимается с пятнадцатилетней Терезой. Тереза выжидающе смотрит на учителя.

— Ну что я вам скажу, — говорит она. — Боюсь, что я зря потакаю вам. Видите ли, в этой вещи, как я вам уже много раз говорил, кажущаяся простота. Не случайно никто не берется готовить ее для выпускных экзаменов. Маленький механизм вообще собрать намного сложнее... Даже не представляю себе, что мы теперь будем делать?

— Я буду заниматься, Григорий Суринович.

В стекло ударил камушек, за ним второй, и за окном раздался свист.

Учитель с интересом посмотрел на Терезу.

— Поскольку жена моя, Лидия Илларионовна, — сказал он, — вызывает меня обычно другими способами, то я думаю, что это вас.

Он подобрал камушек, подошел к открытому окну, увидел внизу ожидающего Ашота и, размахнувшись, ловко кинул

камушком так, что Ашот едва успел увернуться. Ашот рассмеялся и, приложив руки к сердцу, стал извиняться.

...Во дворе Тереза сказала Ашоту:

— А подождать не мог?

— Но ты же кончила играть. Давай, пошли.

— Замучил он меня. Сам дал пьесу, а теперь говорит: «Зачем, зачем»!

— А это он на тебя разозлился.

— За что?

— Не занимаешься, — Ашот потянул за тоненький лаковый поясок на Терезе, — только наряды каждый день меняешь.

— Ага, новый пояс, — подтвердила Тереза. — И сумка новая, красиво?

— Дай-ка посмотреть!

Тереза доверчиво расстегнула поясок и протянула его Ашоту.

Сначала Ашот рассматривал поясок, восторженно цокал и даже вздыхал. Потом начал раскручивать его все быстрее и быстрее и вдруг выпустил. Поясок как будто сам вырвался из рук, взлетел и упал за какой-то крышей, распугав кур.

Тереза швырнула новую модную сумку, похожую на чемоданчик, и начала трясти Ашота:

— Где мой пояс? Достань его! Сейчас же достань!

— Лаковый поясочек, сумочка! — дразнил Терезу Ашот. — До-ре-ми-фа-соль-ля-си!

Тереза размахнулась и залепила Ашоту пощечину.

— А ты дурак! Необразованный! «До-ре-ми-фа-соль-ля-си»! Что ты в этом понимаешь? Тоже — видно уже! — сапожником будешь! И еще пиво пьешь! И куришь!

— Ладно, я пошел, — говорит Ашот.

— Ну что я теперь маме скажу? Чтоб ты провалился! Где мой пояс? Ненавижу тебя!

— Пожалеешь, — попытался приструнить ее Ашот.

— А что мне жалеть? Ищи, где хочешь!

Ашот взобрался на крышу добротного сарая, за которым во дворе кудахтали куры. Здесь для проветривания были расстелены одеяла и подушки. Ашот огляделся и увидел лаковый ремешок Терезы: он повис на ветке тутового дерева в соседнем дворе. Ашот прыгнул с крыши сарая на веранду, окликнул хозяев, чтобы спросить, можно ли ему пройти. Никто не отозвался. Только из открытой двери донесся женский смех. Ашот заглянул, поздоровался и... забыл, зачем пришел.

Белогрудая чернобровая красавица наливала густое вино из полной бутылки в низенькую чашу.

Ашот растерялся. Ноги — ни вперед, ни назад!

— Посмотри-ка, Джульетта, кто к нам пришел! — сказал сидевший за столом мужчина, которого Ашот поначалу и не заметил. Мужчина цокнул: — Какой красивый! — и сердечным жестом пригласил: — Входи.

Ашот враждебно посмотрел на мужчину.

— Можно пройти через вашу веранду? — Ашот показал на тутовое дерево, где повис ремешок. — Мне нужно достать.

— Ашот, — позвала снизу Тереза, — ты долго!

Мужчина и женщина глянули на Терезу, перевели глаза на Ашота и рассмеялись.

...В выходной день на узкой, многолюдной, шумной улице Ашот шагнул навстречу чернобровой красавице — или, может быть, он нечаянно столкнулся с ней? — и поздоровался:

— Здравствуйте!

Красавица в это утро шла из бани, с узелком и тазом. Нарядная, распаренная и в окружении подруг. Их сопровождала старуха-бабка. Увидев Ашота, красавица и бровью не повела, прошла мимо. И на приветствие не ответила. Ашот пошел за ними. Подруги красавицы, смеясь, оглядывались на него.

В глухом извилистом переулке женщины остановились и повернулись к Ашоту.

— Ну что? — спросила одна из них.

— Ничего! — сказал Ашот.

— Тогда проходи.

Ашот послушно обогнул женщин и пошел впереди них независимой походкой.

— А я сестру его знаю.

— Говорят, он самый красивый в городе, — говорили за его спиной.

Красавица и старуха с клюкой свернули в тупик к дому с тутовым деревом. Остальные прошли гурьбой мимо Ашота на проезжую улицу. Ашот свернул за красавицей.

— Ну? — сказала красавица скорей насмешливо, чем строго, обернувшись у двери своего дома.

Ашот смотрел ей прямо в глаза.

— Эй, что ты так смотришь? Что тебя — околдовали, что ли? — сказала красавица.

— Да, — с готовностью ответил Ашот.

— Та-ак, — красавица задумалась. — Значит, ты околдованный. Убьешь, украдешь и вообще умрешь, если я прикажу?

Ашот согласно развел руками.

Красавица оглядела глинобитные стены тупика, фонарь, большую, заросшую тиной лужу, из которой выбиралась утка. Потом она поглядела на Ашота в праздничной белоснежной рубашке, расстегнутой по моде на груди, на его новые широценные брюки-клевш и белые парусиновые туфли.

— Тогда сядь-ка в эту лужу, в середину, как будто это садовая скамейка, а вокруг

цветут розы. — Красавица подумала и добавила: — И лебеди проплывают. Посиди-ка, пока колдовство не пройдет.

— Боже мой! — воскликнула старуха.

Ашот сидел посреди лужи — вода была ему по пояс — и счастливо улыбался.

— Ненормальный! Ну и сиди так! Сиди до утра! — возмутилась красавица и убежала.

Первой примчалась Анным. Ашот улыбался ей из воды нежной довольной улыбкой.

— Ашот, Ашот! — только и смогла выговорить Анным и приподняла юбку, чтобы шагнуть в воду. — Вставай, сынок! Кто тебя обидел?

— Ладно, мама, не переживай! — сказал Ашот из лужи. — Что я — вечно буду здесь сидеть? У меня все в порядке. Иди домой, утром я приду.

— Заболел мой сынок, заболел! — причитала Анным, когда прибежали мужчины. — Заболел!

Ашот улыбался.

— Ну, сынок, иди сюда! В доме гости, ждут тебя не дождутся... Твой отец так ждал этого дня! Сам подумай — шестнадцать лет тебе сегодня исполнилось, а ты сидишь в луже!

К луже приближался грузовик, полный людей. Сергей развернул машину и торопливо откинул задний борт. Сильный и крепкий, в больших сапогах, он опередил суетившегося Ованеса, прошел по воде к Ашоту, поднял его и понес к машине.

Рассерженный Ованес, закрывая борт, говорил:

— Слушай, сынок! Руки-ноги у тебя целы, пьян ты — не пьян, а вот голова у тебя, голова в порядке?

Но только Сергей выпустил Ашота, как тот перемахнул через борт и опять уселся посреди лужи.

И опять — кто хохочет, кто тянет к Ашоту руки, кто голосит, причитая, словом — шум на всю улицу.

Одна Тереза стояла серьезная и молчала.

Может быть, так продолжалось бы до утра. Но распахнулась калитка, и старуха вытащила за руку красавицу.

— Что ты наделала, бесстыжая? Ну-ка, отправь парня домой! Это же совсем ребенок!

Красавица повела плечом и сказала:

— А кто его держит! Иди домой!

Но Ашот не слыхком торопился.

— Это приказ? — уточнил он.

— Ненормальный! — сказала красавица и быстро поправилась: — Да.

Ашот глянул на небо, на котором уже выплыли звезды, на рябое отражение луны в воде, на светящееся окно красавицы и на саму красавицу, галантно приложил

руку к сердцу, как бы благодаря красавицу за все прочувствованное и пережитое, и только тогда пошел из воды.

Худенькая, большеглазая, нескладная Тереза встретилась глазами с красавицей, подошла к грязному, мокрому Ашоту и на глазах у всех обхватила его руками и поцеловала.

— Ты еще не знаешь, кто у нас в городе самая красивая! — говорила она, вытирая ему лицо ладонями. — Ты еще не знаешь, на кого у нас в городе все смотрят и не могут наглядеться! Ты еще вообще ничего не знаешь!

...По центральной улице города идут Ашот и Тереза.

— Ашот, я начинаю! — торжественно говорит Тереза. — Будь внимателен! Сейчас ты увидишь, на кого смотрят все мужчины в городе! Кто сводит всех мужчин с ума!

— Конечно, ты! Конечно, от тебя все мужчины без ума, — лениво потянулся Ашот.

— Да, от меня. Но ты этого не видишь, потому что ты ходишь ведь рядом со мной, а мужчины мужчин уважают. Ты отступи на несколько шагов... Еще, еще... Ну, Ашот, ты иди, как будто идешь сам по себе, а я тебе никто! Понятно?

— Ладно, — сплюнул Ашот. — Пошли.

И вот удивленный Ашот действительно видит:

...Мужчина в старомодной шляпе остолбенело посмотрел вслед Терезе.

...Молодой щеголь с аккуратной щеточкой усов — это, конечно, фотограф Аракел — и его дружки, минуя Терезу, вдруг замахали руками и, одобритительно хохоча, повернулись и пошли следом за ней.

...Интеллигентный человек с тяжелым портфелем оглянулся на Терезу и в недоумении развел руками.

Ашот взял Терезу под локоть.

— В чем дело?

— Теперь ты удивляешься? Я же тебе говорила! Пусти!

Тереза пошла дальше и каждому встречному мужчине делала страшную гримасу, а потом как ни в чем ни бывало проходила мимо.

— Подожди-ка, — сказал Ашот и обошел Терезу кругом. — Неужели ты такая страшная, что на тебя оборачиваются? Смотри ты! Видно, я к тебе так привык, что даже не замечаю! Но зачем пугать народ? — Ашот завернул Терезе руку за спину и, пиная, повел к дому.

Аракел шагнул к Ашоту:

— Молодой человек, вы обижаете девушку!

Дружки Аракела стояли рядом.

Но Тереза опять сделала ему рожу, на этот раз на глазах у Ашота, и показала язык — мол, отстань.

Сергей, проезжая мимо них на машине, притормозил:

— В чем дело, Ашот?

Тереза начала реветь в голос.

Ашот смеялся и говорил:

— А что она выходит на центральную улицу и пугает людей!

В этот момент с какого-то балкона раздался ликующий голос мальчишки:

— Война! Война началась!

...Тереза вынесла на веранду табурет, поставила на него таз и кувшин с водой.

Ашот сидел на перилах и с интересом за ней наблюдал.

— Отвернись,— сказала Тереза и распустила волосы.— Ты отвернешься когда-нибудь?

— Ты при всех будешь голову мыть?

— Почему при всех? Я же тебе сказала: закрой глаза.— Тереза протянула ему кувшин: — Полей!

Ашот взялся за кувшин и зажмурился.

Тереза опустила волосы в таз, но вода из кувшина полилась мимо, на пол веранды.

— Ну как ты льешь?! — возмутилась Тереза.— Не видишь, что ли?

С трудом переводя дыхание, по лестнице поднялась мама Терезы.

— Боже мой, Тереза, что ты делаешь? Что ты делаешь?! Тебе не стыдно — при молодом человеке?

— Что тут стыдного, мама? Это же твой будущий зять!

— Что-что?! — Ашот открыл глаза.— Интересно! — И вылил на Терезу всю воду.

— Ашот, Ашот, спустись, сынок, поскорее, посмотри, что тебе принесли! — раздался снизу взволнованный голос Анным.

Тереза, закрутив мокрые волосы в узел, сбегала по лестнице прежде Ашота. Вода струилась по ее лицу, стекала на плечи.

— Повестка? — спросил сверху Ашот.

— Повестка... — сказала Тереза, глядя на него.— Я тоже пойду на фронт!

— Ага,— сказал Ашот, спустившись.— Таких, как ты, специально мобилизуют... Немцев пугать вместо атаки!

Тереза набросилась на него, мокрый узел волос ее распался.

— Тереза! — крикнула сверху ее мама.— Как ты себя ведешь! Ведь ты же девушка! Сейчас же извинись перед юношей! — закашлялась Сусанна Аветовна.

Анним закрыла Ашота от Терезы, взяла нежные пальцы Терезы в свои руки и заплакала.

В караульном помещении, где в углу, кажется, забытый всеми сидел Ашот, трое

солдат играли в карты.

— Сколько у нас осталось? — спросил голубоглазый.

— Сорок минут,— ответили ему.

— Тогда сдавай.

Ганс сидел на подоконнике и рассматривал ярмарочную площадь. Небольшая толпа людей собралась перед фургоном бродячих комедиантов, циркачей-эквилибристов, раскачивавшихся на двух качелях.

— И главное, вот что странно,— сказал Ганс.— Чем больше войны, тем больше певец, варьете и цирка...

Ашот между тем нашел какую-то ветошь и накрепко подвязал совсем развалившийся ботинок. Закончив эту работу и с удовлетворением ощутив башмак, он оторвал от подола своей рубахи узкую полоску ткани и опоясал лоб и волосы наподобие того, как это делают индейцы.

— Похоже, наш гость куда-то собирается, Ганс? — заметил один из играющих.

Ганс хмыкнул.

И действительно, Ашот поднялся, завязал узлом рубашку на груди и направился к дверям.

— Ему явно надоело наше общество,— сказал Фриц.— Эй! Ты куда?!

Ашот даже не обернулся.

Все расхохотались.

— Ну что ж, все равно нам скоро идти. Прогуляемся в приятном обществе? — сказал Ганс.— Мне кажется, он хочет нам что-то объяснить. Я беру все на себя. Вы только подстрахуйте меня.

Ашот шел энергично, упруго, не оглядываясь. Конечно, за ним шли. Немцы шли по пятам, и по мере того, как ускорял шаг Ашот, они тоже шли быстрее.

Дорога вела сначала вверх мимо разрушенного бомбой дома, потом по узкой улочке — казалась, что Ашот хорошо знает город и идет к определенной цели.

Так он прошел мимо харчевни, на вывеске которой была изображена рыба, мимо душевого и грязного кинотеатра, мимо человека с окурками, который на этот раз не обратил на него никакого внимания. Он прошел по узкой аллее мимо базара. Замелькали над ним кусочки синего неба между белыми тентами ларей. Чуть помедлил, проходя мимо пожилой женщины в яркороранжевой юбке и красной шали поверх черной блузы, продающей белые каллы, шагнул на булыжную мостовую и пошел дальше.

У пыльной витрины маленькой овощной лавки Ашот остановился и огляделся. Он поднял кусок грязной бечевки и, присев на корточки, опять стал приводить в порядок свой башмак.

— Почему он не пытается убежать? — сказал один из немцев.

— Потому что он знает, что я его тут же пристрелю,— сказал Ганс.— И ему некуда бежать, иначе он не шел бы так по городу, когда мы его взяли. Терпение, Фриц. Он что-то хочет объяснить нам.

— Ну, Ганс,— усмехнулся добродушный солдат в очках,— если бы он мог объяснить еще, почему мы завтра будем улететь сюда...

Ашот оглядел себя в витрине. В ней четко отражалась колокольня на другой стороне площади.

На площади шло представление бродячих актеров. Долговязый жонглер подкидывал в воздух разноцветные шарики под звуки аккордеона. Увидев Ашота с немцами, идущими через площадь, он смешался и выронил шарики. Аккордеонист, проследив за его взглядом, заиграл еще энергичнее. Актеры, дожидавшиеся своего выхода, замерли.

Ашот поравнялся с циркачами, безразлично скользнул по ним взглядом и прошел мимо.

Жонглер с облегчением подхватил шарики, сделал легкий извиняющийся жест в сторону публики, аккордеонист поймал нужный ритм, и представление пошло дальше.

— Ганс,— сказал солдат в очках,— а у нас больше нет времени.

И в этот момент Ашот метнулся в сторону и нырнул в проем колокольни.

Солдаты бросились было за ним, но Ганс остановил их.

— Стойте. Все кончилось,— сказал он.— Вот у парня и сдали нервы. Я доволен. Ей-богу, доволен... Даже жаль, эти ребята там, наверху, сразу же изрешетят его.

16

Тереза вошла на почту, но направилась не к окошечкам, а, подняв деревянный барьер, прошла в служебное отделение.

— Вам кого? — спросила ее девушка-приемщица.

Вторая девушка быстро штемпелевала письма в углу.

— А где Клавдия Ивановна? Я дочка Сусанны Аветовны.

— А-а! — радушно повернулась к ней приемщица.— Клавдия Ивановна скоро придет. Она в «Союзпечать» пошла подписку выбивать.

— Как она?

— Да так... Болеет все... Сами знаете: всю войну похоронные, похоронные, похоронные... А она тут всех знает... Получала их — как свои... Но держалась... А теперь...

— А вы не знаете,— спросила Тереза, поколебавшись,— тут у мамы под стеклом

была моя фотография... Вы не знаете, где она?

— Нет,— быстро сказала приемщица.— Но вообще, когда я пришла, все бумаги вашей мамы забрала Клавдия Ивановна. Она так любит вашу маму, она только и говорит: «Сусанна Аветовна, Сусанна Аветовна»...

— Спасибо,— сказала Тереза и вышла.

Приемщица подбежала к окну, провожая Терезу, и увидела, что та села на скамейку во дворе почты.

— Ну, Клавдия Ивановна... Старушка, старушка, а... — сказала девушка в углу.

— Нет, не говори,— перебила ее приемщица.— Она мировая старушка. Ну и что — фотография... А она в какого-то чужого человека, понимаешь, совсем чужого, жизнь вложила... Ты не знаешь, она ему не только письма, она ему посылки каждый месяц посылала... А что она за это получила? Ничего! Вот когда он пришел,— сказала приемщица почти шепотом и оглянулась на окно,— и вот так стоял у окошка — день, второй, третий — и спрашивал, я ему говорю: «Ничего не знаю», а она сидит вон там, и ей только и оставалось, что краснеть и бледнеть... Даже спасибо не услышала! Потом как кинулась за ним, а его уже и след простыл с его патефоном... Не-ет, она мировая старушка, теперь таких нет...

— Ну, не знаю,— сказала вторая девушка.— Я бы так не смогла,— и застучала штемпелем.

— Пришла! — объявила приемщица, успокоила посетителя: — Сейчас, сейчас! — и высунулась в окно.

...Тереза и Клавдия Ивановна сидели на скамье возле почты.

— Такая странная история,— говорила Тереза.— Подходит солдат, показывает мою фотографию и говорит, что всю войну со мной переписывался! До востребования на нашу почту... Я ему сказала, что он ошибся, но вообще это все так странно... Вы не знаете, кто ему писал?

— Ах, милая... как неловко получилось.— Клавдия Ивановна закурила.— Вот видишь, все кашляю и курю, курю и кашляю... Ты хочешь теперь найти его адрес? Тогда можешь этим заняться...

— Нет, нет,— сказала Тереза.— Так, просто как-то...

— Знаешь, Тереза, что я тебе скажу... — Клавдия Ивановна затаилась.— Я всю жизнь прождала одного человека... Я и сейчас знаю, что он единственный был предназначен мне небом... Но, Тереза... Любовь не имеет права быть грузом, пустым грузом... Она согревает, наполняет сердце и защищает от смерти... Иначе ожидание — не ожидание. А любовь — не любовь. Вот, дитя мое,— Клавдия Ивановна осторожно

тронула колено Терезы.— Я говорю о жизни...

— Вы не беспокойтесь, Клавдия Ивановна, об этой фотографии, об этой истории,— сказала Тереза.— Я просто так спросила. Ну, может, это потому, что мне, в сущности, мало лет, но мне кажется... Что этот человек меня спас... А я,— Тереза рассмеялась,— вы представляете, я чуть было не пошла в кино...

— Что? — не поняла Клавдия Ивановна.— Он хотел пригласить тебя в кино?

— Мне кажется,— улыбнулась Тереза,— что мне теперь хочется жить...

17

Поздней осенью, в ветреный день, когда с деревьев сносит листья, Тереза вышла из магазина «Ноты», заглядывая в большие нотные листы, которые она, видимо, только что купила. Но ветер рвал листы из рук, и она взяла их под мышку. Фигура ее заметно изменилась, но походка была по-прежнему легкой.

— Тереза! — осторожно окликнул ее Аракел в дверях своего ателье.

— Здравствуйте, Аракел,— просто сказала Тереза.

— Зайдите ко мне на минуточку, вы у меня никогда не были. А у меня к вам дело, клянусь вам, у меня к вам дело...

Тереза вошла.

— Вот мой салон,— повел рукой Аракел.— Разрешите похвастаться? — перешел он на дурашливый тон.— Вот мои работы... Все значительные люди города, а также, как видите, и заезжие. Ну, разумеется, благодарственные и просто памятные надписи... Ни одна серьезная свадьба в городе не обходится без меня, и я стал получать приглашения даже на приемы.

— Вы на них в смокинге ходите? — в тон ему сказала Тереза.

Ободренный Аракел рассмеялся.

— С вами всегда интересно, серьезно... Я рад... У вас опять ноты... Другие женщины... Всегда заранее знаешь, что они скажут и чего захотят... Пошло, пошло... Эта жизнь в окружении пошлых людей...

— Кажется, Аракел, вы опять хотите пригласить меня в кино?

— У меня замечательный план. Ну что вы получаете в госпитале? Как вы будете растить одна ребенка? А у меня тут должность есть... Квитанции выписывать, карточки клиенту выдавать... Вы представляете, сколько желающих на такое место? Ставка здесь, конечно, небольшая, но денег вам хватит... Я ведь очень хороший человек, Тереза...

Тереза рассмеялась.

Аракел понял ее смех по-своему.

— Вы посмотрите, как здесь уютно,— сказал он.— Летом не жарко, тихо, прохладно.— Аракел снял салфетку с патефона, оклеенного обойной бумагой.— Поставить пластинку?

Тереза ничего не ответила.

— Купил на толкучке,— сказал Аракел, заводя патефон.— Корпус, правда, самодельный, а мотор хороший, немецкий. «Брызги шампанского!» — объявил он и поставил новенькую пластинку.— Танго!

Заиграла музыка. Тереза слушала, оглядывая ателье, фотографии на стенах, потом встала, подошла к патефону, погладила его, поправила задравшийся кусочек обоев и пропела, не снимая пластинки:

— «Полчаса нам осталось до встречи, не опаздывай, мой дорогой...» Ах, Аракел! — сказала Тереза, облегченно вздохнув.— Вы счастливый человек, Аракел... Кажется, для вас мир — просто толкучка, на которой все можно купить...

— Ладно,— сказал Аракел сквозь зубы и снял пластинку.— Только не строй из себя святую и не ломайся. Я все понимаю... Дежурства, госпиталь, солдаты... А ты сирота. Не хочешь работать в ателье — не надо. Я тебя и так возьму... Женюсь, несмотря ни на что!

— Несмотря на что? — поинтересовалась Тереза.

— Ладно, не осложняй, у меня и так хватает забот.

— Несмотря на что? — повторила Тереза.

— Ты же ровня мне, дура! Я о тебе забочусь! И ты добьешься со мной всего! И никогда ты больше не встретишь человека, который сумеет оценить тебя так, как я!

— Дай-ка мне пройти, раз уж мы на «ты»,— сказала Тереза.

Аракел не сдвинулся с места.

— А если хочешь играть мною,— сказал он,— то имей в виду: я — Аракел Гаспарян, и играть собой не позволю!

Тереза размахнулась и ударила сумкой по витрине. Посыпалось битое стекло, полетели, разбиваясь, окантованные фотографии, среди которых — семейная фотография с Ованесом и отдельно — фотография Терезы.

18

Из мрачного туннельчика-подворотни вбежали во двор Аракел и вся его компания подвыпивших дружков.

— Тереза! Тереза! А ну выходи! Что ты там прячешься?

Тереза вышла на веранду. Но и на других верандах, естественно, появились люди.

— О-о-о! Тереза! Как ты высоко стоишь! Я говорил вам,— Аракел повернулся к друж-

кам,— что к Аракелу она выйдет! Слушайте меня все! Да, я полюбил эту женщину. Я понимаю, я чувствую красоту. Она мо-ложе меня, и я готов был сделать для нее все. Но теперь — конец. Я не прощаю! Вы все видите, как она поступила со мной. Я здесь не потому, что я против ребенка. Я не такой темный человек. А потому, что все приписывают ребенка мне, моя репутация под угрозой. Но ребенок, которого она ждет,— не мой! Чей он — я не знаю и знать не хочу, и хватит меня винить в этом! Да, я благородный человек! Я хотел взять вину на себя! Меня все подозревали — а я не отрицал! Я хотел ее защитить! Я хотел ее очистить! И чем же ты мне запла-тила, Тереза? А?

Тереза слушала, не двигаясь, ничем не выдавала своего состояния. Аракел не мог остановиться.

— Она не понимает чистые чувства! Ей нужен обман, разврат и грязь! Она даже презирает таких людей, как мы!

Аракел говорил с такими убедительными интонациями, так прижимал руки к сердцу, компания мужчин рядом с ним так кивала головами и разводила руками, что женщины по всему дому — и те, к которым вернулись мужья, и те, к которым мужья не вернулись,— проникались к Аракелу все большим сочувствием. И Анным сидела у дверей своего дома молча, отрешенно, за-тягиваясь папиросой, вставленной в метро-вый мундштук.

— Посмотрите на нее! — продолжал Ара-кел.— Где это видано, чтобы женщина бы-ла так бесстыдна? Я оскорблен, мне больно, понимаете? Я не могу не вопить! По-смотрите, как она стоит, как смотрит — ни тени стыда! Ни тени смущения! Скажи, Тереза,— может быть, я в чем-нибудь солгал? Мы ждем наконец от тебя ясного ответа!

Тереза, обессиленная, села на ступеньки. Маленькая девочка поспешила по лестнице вверх. Громко и торопливо стучали ее башмачки. Она серьезно оглядела людей на верандах, мужчин посреди двора, села рядом с Терезой и стала нежно перебирать ее волосы.

Никто не видел, что уже несколько ми-нут стоял среди слушавших и Сергей. Те-перь же, отстраняя людей, он подошел к Аракелу.

— Ты настоящий мужчина! — сказал он.— Наконец что-то стало проясняться. Значит, это не ты виноват перед нами? Спа-сибо тебе! — он протянул руку Аракелу.

Переполненный и потрясенный всем про-исшедшим Аракел с готовностью протя-нул ему руку.

— Ты мужчина,— сказал Аракел,— ты ме-ня понимаешь!

Компания Аракела дружески подалась к Сергею.

И вдруг лицо Аракела скривилось в гри-масае боли.

— Спасибо тебе, Аракел, большое спа-сибо! — говорил Сергей, сжимая руку Араке-ла до хруста костей.

Извиваясь, Аракел хотел высвободить ру-ку, но Сергей только расхохотался ему в лицо. И тут же дружок Аракела ударил Сергея в живот. Другие кинулись на него со спины. Сергей яростно отбивался, не от-пуская руки Аракела. Аракел вцепился ему в руку зубами. Отдернув руку, Сергей уда-рил Аракела ногой, но тут на него навали-лись со всех сторон.

Двор гудел:

— Смотри, Тереза, смотри! Это все из-за тебя, Тереза!

А какой-то старик подошел к лестнице, где сидела Тереза, плюнул и сказал:

— Бескультурная женщина!

19

В осенних горах, когда все покрыто ве-черней изморозью, у яркого костра сидят люди. Польшаает огонь, разгорается все яр-че и ярче, взмывает над склоном. Звенят колокольчики, толпится вокруг костра отара овец, а много выше, в отдалении, белеет силуэт небольшой обсерватории.

В первое мгновение может показаться, что у костра сидят только чабаны. У всех спокойные, обветренные лица, естественные, свободные позы.

— Да и вообще, откуда кто знает, что кому нужно? — говорит один из сидящих у костра, и мы видим, что это Ованес. Он взял копошившуюся у самых его ног ку-рицу и перекинул через плечо, чтобы она не мешала ему говорить.— Вот, например, меня часто спрашивают: почему ты всю жизнь просидел в сапожной будке?

— И что же ты отвечаешь? — спросил кто-то.

— А я всем отвечаю по-разному. Одним говорю, что я больной, раненный в той, пер-вой войне. Другим — что я не люблю на-чальство, а здесь я сам себе хозяин. Трет-им, что у меня нет образования... Правду говорю, ничего не говорю такого, чего нет. Но!

Все посмотрели на Ованеса с интересом. Сейчас он был главный у костра. Один из мужчин тихо сказал соседу:

— Меня всегда корреспонденты спраши-вают, почему я занимаюсь звездами? Вопрос о сапожной будке, оказывается, такой же сложный,— оба рассмеялись, как школьни-ки, и тут же сделали внимательные лица.

— Но можно сказать и так,— продолжал Ованес.— Я сижу в сапожной будке у вокзала потому, что там я встречаю много незнакомых людей, и каждому могу задать самый главный для меня вопрос.— Ованес помолчал как опытный рассказчик.— Вопрос такой: не зовут ли тебя Матевос?

— Как? — переспросили его.

— Матевос. Мое положение позволило мне познакомиться со многими Матевосами в Армении. Я знаю Матевоса — доцента, Матевоса — художника... Ай-яй-яй, какой художник! Он обещал мне новую вывеску нарисовать. Это будет. Я знаю Матевоса — пожарника... Нет, начальника пожарной команды! Я знаю трех Матевосов — Героев Советского Союза... Я даже знаю одного Матевоса — посла... Ну, не посла, а в посольстве он работает, в этом, в Брюсселе...

— У-у-у! Выбрал бы какое-нибудь другое имя! — сказал один из чабанов неожиданно тонким голосом.— Мой сын тоже Матевос, профессор в Москве, но он мне не нравится.

Ованес поставил чабана на место:

— Много Матевосов погибло на фронте. Герои были. Все герои были. Все пали смертью храбрых, все погибли!

— Вас все Матевосы интересуют? — спросил один из физиков.

— Наверно, ни одна статистика не делала такого неожиданного среза,— сказал другой.

— Нет,— продолжал Ованес.— Меня интересует такой Матевос, я ищу такого Матевоса, который родился примерно в десятом году. Сейчас сорок шестой? Да, ему должно быть лет тридцать шесть.

— А может быть, я такой Матевос, который вам нужен, отец? — раздался голос с другой стороны костра.— Я действительно Матевос, и мне тридцать семь лет...

— Это Матевос Геворкович Вазгенов, академик, астроном,— представил говорившего молодой физик с трубкой.

— О-о, какой человек у нашего костра! — сказал Ованес с уважением.— Но я ищу того Матевоса, у которого нет ни отца, ни матери и никого родных.

— Это странно,— говорит академик,— но у меня нет ни отца, ни матери... С детства.

Ованес вздохнул:

— Да, таких Матевосов много. В Армении у многих нет отцов и матерей. Но скажи мне, Матевос, если тебя так зовут... Ты когда-нибудь в детстве прыгал с парохода? Пароход отходит, а ты прыгаешь с него, потому что не хочешь уезжать со своей Родины... Было это в твоей жизни? — выжидательно спросил Ованес.

Академик помолчал.

— Да,— сказал он.— Да. Я однажды прыгнул с парохода.

— Так,— сказал Ованес и проглотил слюну.— А какой это был пароход?

Все вокруг костра замерли.

— Американский,— ответил академик.— Белый. Он увозил детей из Батуми.

— Так,— сказал Ованес.— Но таких пароходов было несколько... Много ли детей прыгнуло в воду с того парохода?

— Человек двадцать — тридцать.

— Матевос... — прошептал Ованес.— И ты не жалеешь, что прыгнул с парохода?

— Нет.

И тут все закричали, все поднялись на ноги, все стали радоваться.

— Вот! — Ованес вознес ладони к небу.—

Я двадцать лет искал моего Матевоса! Я двадцать лет из будки не выходил, боялся пропустить хоть одного прохожего! Вот, Матевос! Всмотрись в меня! Мне не обидно, что ты меня не узнал! Я ведь тоже тебя не узнал! Но ты не мог не заметить, что меня зовут Ованес, что я вытащил тебя тогда из воды, взял за руку и через всю Армению привел в свой дом! Академик потер лоб.

— Да? Дядя Ованес? Но дело в том, что меня взяла за руку тетя Парзануш с чулочной фабрики, моя приемная мать...

Наступила пауза.

— Вот! — показал на небо пальцем Ованес.

Академик рассмеялся.

— А все-таки я считаю, что вы со мной сильно продвинулись в решении вашей проблемы! — сказал он.

Но Ованес не дал посочувствовать ему.

— Хвала тебе, Парзануш! — радостно провозгласил он.— Она жива?

— Нет, она скончалась во время войны.

— Пусть земля ей будет пухом! Какого Матевоса она вырастила! — Ованес вытащил из кармана деньги.— Вина — на все, зелени — на все, а на остальное — мяса!

Все стали бросать деньги на кошку.

...В разгар пира Ованес произносил тост:

— Я пью за эти камни, за эту пыль, за все развалины на этой земле и за все новые дома! За вас, люди!

Два физика увлеченно считали:

— Ну, положим, на тысячу жителей округленно — пятьсот мальчиков, девочки не в счет... Из них, допустим, десять Матевосов...

— Давай положим пять,— возразил другой.— А то ему жизни не хватит.

— Следовательно, в республике примерно десять тысяч Матевосов,— говорил первый, убыстряя темп рассуждений.— Если он будет спрашивать хотя бы по одному Матевосу в день... А ты знаешь, у него есть некоторый шанс...

— Это некорректно,— сказал другой.— Ведь некоторые Матевосы будут встречаться неоднократно...

Все оживленно переговаривались, когда Ованес встал, взял посох, застегнулся.

— Куда ты, Ованес? Смотри, как нам всем хорошо!

— Дядя Ованес,— сказал академик.

Ованес подошел к нему, потрепал по голове и тихо сказал:

— А может быть, мой Матевос ждет меня?

— Что же,— сказал академик.— В сущности, у каждого человека есть в душе свой Матевос...

Пламя костра рвалось вверх, и снизу казалось, что оно лижет темный небосвод.

20

Двадцатилетний Ованес в немыслимом рубище стоит перед хозяином кабака, который насмешливо спрашивает его.

— Ну — все?

В полуподвальном кабачке большая разношерстная компания бродяг, нищих, калек, собравшись кольцом вокруг Ованеса и хозяина, напряженно ждет, что ответит Ованес. Скромно потупившись, выжимает грязную тряпку пятнадцатилетняя посудомойка Анным.

— Так,— повернулся Ованес к людям.— Слово, которое я дал, я не нарушу.— Ованес начал загибать пальцы.— Подарки, которые я вез, я пропил. Обмундирование мое я пропил от кокарды до портянок. Георгия третьей степени пропил...— Лицо его изобразило мучительное раздумье.— Не торопись, дорогой человек, все это очень важно! Я обещал все пропить, если вернусь живой, все! И сделаться таким же нищим, какая нищая моя отчизна! Дома у меня нет,— продолжал загибать он пальцы,— будки моей сапожной нет...

Хозяин выжидающе смотрит на Ованеса. И вдруг Ованес хлопнул себя по лбу. Вспомнил!

— Наливай всем! Памятник! Я ведь уже погиб!..

— Да-да! У него памятник! Памятник у него есть! — закричали все в восторге.— Чистая бронза! Что он там зря будет стоять!

— А памятник твой? — с сомнением спросил хозяин.— Я чужие вещи не беру!

— Дорогой мой человек,— заверил хозяина Ованес,— настолько мой, что я даже лично на нем изображен!

— А где он, этот твой памятник?

— Как это — где? — Ованес от удивления даже отступил на шаг.— На моей могиле!

...На кладбище хозяин кабака изумленно сличал Ованеса и его бронзовое изображение над могилой. Ованес терпеливо стоял в той же позе и даже с тем же героическим выражением на лице, что и в бронзе.

— Но если ты не веришь художнику,— сказал Ованес,— то вот надпись!

Кто-то из толпы бродяг услужливо потер рукавом надпись под бронзовым героем.

— Бедная мама! Весь ее недостаток — в этом памятнике! — сказал Ованес.— Так ждала меня, так ждала, плакала и горевала, что даже — вот! Не дождалась! — Ованес показал на бедную могилку с деревянным крестом рядом с памятником.

— Допустим, что это ты,— показал хозяин кабака на памятник.— И это ты,— показал он на живого Ованеса.— А кто же там? — Он ткнул в землю под памятником.

— Э-э, дорогой, зачем углубляться? Этот вопрос очень серьезный!

Хозяин кабака переступил с ноги на ногу и огляделся. Тяжелая дождевая капля ударилась о черный мраморный лоб давно усопшего важного купца и, подгоняемая другими каплями, стремительно помчалась по крупному носу и повисла на кончике. Скорбно протянутая ладонь белоснежного ангела переполнилась дождевой влагой и, словно продолжая легкий взгляд ангела, побегали с ладони веселые ручейки.

— Сколько ты хочешь за него? — спросил хозяин осторожно.

— Цены подходящей для этой вещи нет,— сказал Ованес.— Она бесценна.

— Бронза плохая,— пощелкав по памятнику, сказал хозяин кабака.

Толпа взвыла от возмущения.

— Что ты понимаешь! Я лудильщик, отличная бронза! — закричал кто-то.

— А работа какая! Тончайшая работа! Можешь в гостинию поставить!

Все стали щелкать по памятнику, стараясь вызвать как можно более громкий звон.

— Ну вот моя цена,— сказал Ованес.— Чтобы все эти люди были довольны! Чтобы мы встретили следующий день в радости и веселье!

— Хорошо,— сказал хозяин.— Но памятник — вперед. В долг я не дам.

— Конечно, дорогой мой! Твоя вещь — ты и берешь!

Ованес с разбега налетел на памятник, стараясь его повалить, но памятник стоял прочно.

Бродяги лопатами и кирками стали помогать Ованесу, пока наконец не свалили памятник.

— Осторожно! — прыгал вокруг них хозяин.— Не видите? Это же художественная вещь!

— Ничего не будет! — успокаивал его Ованес. — Это же мой памятник! Он такой же крепкий, как и я!

...Сначала все вместе они с уважением несли на плечах памятник по улицам вечернего города. На мосту желающих тащить памятник было уже намного меньше. А на городской площади Ованес, по-прежнему сопровождаемый толпой, катил свой памятник ногами.

— Кто сказал, что я умер? — кричал он на всю площадь. — Кто сказал, что меня убили в Галиции? Кто меня похоронил? Лучше один раз выпить, чем всю вечность стоять памятником!

...И какое же прекрасное утро наступило! Солнце залило и жалкие хижины, и убогие улочки, и маленькие лавчонки. Пели птицы, перекликались зеленщики и продавцы мацони, а Ованес, чуть заметно покачиваясь, шел мимо темного туннеля-подворотни, откуда доносилось, несмотря на ранний час, тихое и чистое женское пение.

...Темноглазая Анным выплеснула воду из корыта, поставила таз с бельем на колодец и начала развешивать белье на веревке, протянутой вдоль двора. Хрупкая и стройная, она медленно приподнялась на цыпочки и закинула на веревку полотенце.

Ованес подошел и остановился перед ней. Глаза Анным вспыхнули. Лицо залила краска смущения. Не глядя на Ованеса, она достала кружевное покрывало и стала развешивать его. Ованес видел теперь лишь ее силуэт за покрывалом. Он нырнул за покрывало и опять встал рядом с Анным. Анным нырнула по другую сторону веревки и занавесила себя от Ованеса легкой белоснежной скатертью. Тень Анным манила Ованеса. Он нырнул за скатерть, но Анным уже опять была по другую сторону. И хотя ветра не было, а белье стояло между Ованесом и Анным надежнее, чем белая стена, двор, охваченный со всех сторон застекленными галереями, плыл куда-то, словно сияющий корабль под парусами.

Веревка дошла до стены, и таз опустел. Ованес заглянул за белые узорные шторы, посмотрел на дивную и великолепную Анным так строго и прямо, что Анным опустила глаза.

— Сделаю из тебя царицу, — сказал Ованес. — Родишь мне сына?

Анним подняла чистое, белое, с гладким лбом и тонкими бровями лицо, посмотрела ему в глаза таким грустным и таким нелюбопытным взглядом, как будто сейчас произошло что-то уже давно известное ей. Она подняла таз, в котором прежде лежало грудой мокрое белье, прикрыла им лицо и прошла мимо.

Ашот ворвался в колокольню, единым духом проскочил первые два поворота винтовой лестницы и остановился, прислушиваясь. Погони не было, преследователи его слишком хорошо знали, что ему некуда деться. Как и в прошлый раз, с верхней площадки доносился неспешный разговор немецких солдат. Топая башмаками, Ашот неторопливо поднимался вверх. Но когда он поднял голову над уровнем пола площадки, то увидел, что немцев не двое, а трое. Ашот улыбнулся. Появление головы, подвязанной красной тесемкой, было таким забавным, лишенным даже намека на угрозу и напряжение, что солдаты не прогнали его прочь, а поманили руками: давай, давай, забирайся.

Ашот поднялся, что-то промычал, сел в углу и стал рассматривать свой рваный башмак. Показав солдатам, в каком плачевном состоянии подметки, он снял башмак, затем второй, поставил их рядом, оторвал от рубахи еще кусок и стал бережно обтирать рванный ботинок.

Немец, сидевший рядом, захохотал и протянул Ашоту свою ногу в пыльном армейском ботинке. Ашот глянул на него и стал чистить ботинок солдата с ловкостью опытного чистильщика. Он не торопился. Хотя не было у него ни ваксы, ни щеток, ботинок действительно засиял.

Немец протянул второй ботинок, Ашот так же неторопливо почистил и его. Немец встал и похлопал Ашота по плечу. Двое других смеялись.

Ашот осмотрелся. Наверх уходило еще несколько маршей.

Снизу раздался крик Ганса:

— Этот парень еще у вас? Мы пошли, сделайте с ним, что хотите!

— Что? — крикнул немец сверху, и тут же Ганс услышал наверху стрельбу.

Ашот в этот момент метнулся вверх, проскочил марш и захлопнул за собой люк. Немцы стреляли ему вслед.

Вороны стаей сорвались с колокольни, заметались, сильным коротким рывком взмыли вверх, и опять сели, закричали хриплыми голосами.

Люди на площади бросились бежать врассыпную, а канатоходец с большим шестом в руках замер, дойдя до середины каната, и поднял голову вверх.

В самом верхнем проеме разрушенной колокольни раненый Ашот, подтянувшись, глянул на город. Он удивился, каким маленьким, крохотным пятчком выглядел на самом деле рынок. Да и вообще с этой точки город предстал совершенно иным — двигалась по городу колонна танков, стояли,

подняв стволы, зенитные установки, низко нависал над комендатурой фашистский флаг.

Ашот подтянулся еще раз, выбрался, привязал к металлическому штырю, выступавшему из стены, свою малиновую рубаху и встал, видный со всех сторон, в проеме, где покачивалось на ветру хрупкое обгоревшее деревце с одной живой веткой, давшей листья.

Актер в длинном коричневом плаще, прорванном под мышкой, пригнул книзу, закрыв лицо, поля шляпы.

Ганс выстрелил.

Ашот качнулся, тело его устремилось вниз. Снизу было видно, как билась красным флагом на ветру рубаха Ашота.

Пчела вилась над лицом лежавшего Ашота, как над плодом, вилась, легко прикасалась к глазам, плотно прикрытым веками.

22

К ночи пошел густой снег, и вскоре город покрылся белой пеленой. Госпиталь, в котором работала Тереза, был готов к отъезду. Раненых давно уже вывезли, белые койки разобрали, бумаги упаковали, и пустые палаты и коридоры стали опять напоминать о школе. Но окна светились. Начальник госпиталя в последний раз обошел здание. Он обернулся, услышав позади гулкие топпливые шаги.

— Я поеду с госпиталем, я решила,— догнала начальника Тереза. Она очень изменилась. Тоненькая, стремительная, собранная.

— Ну и прекрасно,— повернулся к ней спиной начальник госпиталя и пошел по коридору.— Завтра в четыре часа отъезжаем. Федор за тобой заедет.

23

Снег, который шел все последние дни, теперь перестал. Подул порывистый ветер, сорвал с дерева последний лист, бросил его на примороженную улицу и утих.

В комнате Терезы, где рояль был покрыт чехлом, окно зашторено, а мебель застелена газетами, трижды прокуковала кукушка на часах. Тереза, уже одетая, в пальто и теплом платке, передала сына девочке, той самой, которая когда-то на виду у всех ее пожалела, и сказала:

— Держи, Гаяночка,— и, подтолкнув ее вперед, поспешила следом по лестнице, неся чемодан и корзину.

В ту же минуту подъехала машина с красным крестом и остановилась у ворот.

— Привет, Тереза,— выглянул шофер.— Готова?

54

Анным, покрытая большим клетчатым платком, стояла у ворот и молча курила папиросу в длинном мундштуке. Тереза передала шоферу вещи, посадила в кабину Гаяночку с мальчиком и подошла к Анным. Они стояли друг против друга.

— Анным, мне трудно с тобой говорить, но я люблю тебя, всегда любила и буду любить. Не поговорив с тобой, я уехать не могу. Все хорошо, я уезжаю с госпиталем под Рязань, буду там работать, а потом стану хирургом.

— И я не могу допустить, чтобы ты уехала, не поговорив со мной, Тереза,— сказала Анным.

В окнах, на верандах и в подворотне собирались люди.

— Правда, я не знаю, как говорить, я боюсь, что у меня ничего не получится...

— Почему? — спросила Анным.— Ты скажи, как есть. Ты обижаешься?

— Наоборот. Всем больно, что я отошла от Ашота,— значит, все хотели, чтобы мы с ним были вместе... Значит, все поверили в нашу любовь... Да нет, Анным,— перебила себя Тереза,— не могу я с тобой говорить, не все можно сказать словами.

— У кого может быть камень против тебя? И как бы все ни выходило, никто не хочет, чтобы ты уехала. Ты родила сына,— ровным и бесстрастным голосом говорила Анным, помогая Терезе в этом разговоре.— Поезжай, заботься о себе, о сыне, о муже, о работе.

— Ну хорошо, Анным,— перебила ее Тереза.— Спроси меня сама. Спроси, и я скажу тебе все, что ты захочешь от меня услышать.

— Скажи главное.

— Анным! Это ребенок... Я люблю Ашота...— выговорили губы Терезы, чуть шевельнувшись, и тут же на лице ее вспыхнул свет, забилась жизнь. Тереза испуганно посмотрела на Анным.

Анным отшатнулась.

— Прости меня, Анным, я тебе все сказала.

— Мой сын не пропал без вести? Он погиб?

— Да.

— Ты это знала...

— Из письма,— быстро сказала Тереза,— от друга Ашота, с фронта. Там было вложено и письмо от Ашота.

Анним разрыдалась.

— Сын мой,— приговаривала она,— мой сын...

— Не плачь, Анним,— сказала Тереза.— Я все сделаю, что ты захочешь. Ты защита наша, Анним, ты моя надежда...

Заплакал ребенок. Тереза взяла его из рук Гаяночки, помогла девочке выпрыгнуть из машины.

— Прости меня, Анным, прости за то, что я так долго молчала, прости за все, я виновата... Сначала я скрывала, потом мне стало казаться, что это ужасно, понимаешь? Я не должна лишать Ашота твоих слез и слез Ованеса... А главное, мне стало так трудно быть рядом с вами... Я все больше отходила от вас, я все больше обманывала вас, моих любимых, таких хороших... Но разве я могла бы сказать тебе об этом, пока не родился этот ребенок, мой маленький Ашот...

— Опять родился Ашот,— заговорили люди.— Ашот от Ашота родился! Этого Ашота родил Ашот!

Водитель подал сигнал. Гаяночка потянула Терезу за пальто.

— Терезочка, ты опоздаешь, машина уедет!

Тереза наклонилась и поцеловала девочку.

— Ах, Ованес, Ованес! — рыдала Анным.— Где ты так долго, Ованес, возвращайся скорей! Кончилось все! Нет больше нашего дома! Как ты это все вынесла, Тереза! — Анным вдруг перестала плакать, обтерла лицо.— Как ты выносила это все так долго, одна! Одна! Такая хрупкая! Так долго! Девочка совсем. Моя маленькая девочка. Я люблю тебя,— сказала Анным и опустила перед Терезой на колени: — Я люблю тебя, Тереза!

Тихо стояли вокруг люди. Тереза не отрываясь смотрела на Анным.

24

До резкости залитый светом двор, где живут Ованес и Анным. До войны еще целый мирный год... Юноши — им по шестнадцать, семнадцать, восемнадцать лет — затевают спор. Среди них и Ашот. Деловито и серьезно льет он вино в громадную миску, которую, стоя перед ним, держит в руках Тереза.

— Чеснок! — говорит один юноша и сыплет в миску горсть за горстью толченый чеснок.

— Лук! — говорит другой юноша и высыпает в миску нарезанный лук.

— Перец! — говорит третий юноша и высыпает в миску мелко истолченный перец.

— Раз, два, три!

Юноши зачерпывают из миски полные чаши напитка, подносят к губам и начинают пить.

Но, сделав лишь один глоток, они уже плачут, хохочут, танцуют, прыгают, стараясь передохнуть, и швыряют в сторону недопитые чаши. Зрители увертываются от этих чаш и тоже хохочут.

Ашот носится по двору как угорелый с чашей в руке, из которой он только что отхлебнул, а потом, оглядев всех и торжествуя, закидывает голову, допивает свой напиток до конца и бежит по двору, показывая всем, что чаша его пуста.

Ованес смотрит на Ашота и смеется.

— Какую глупость придумали! — говорит он, качая головой.

— Молодые! — в восторге ударяет в свои медные тарелки Егише.

Анным задумчиво глядит на Ашота.

— Ты пьяный, Ашот? Или с ума сошел?

Ашот целует всех, обнимает.

— Тереза, дай мне воды! — кричит он.—

Тереза! Дай мне воды! Тереза! Я так и знал, я замечательный! Я замечательный Ашот! И все, все замечательные, я так и знал!

25

Промелькнуло мгновение... Опять улица, люди и машина с красным крестом. Тереза стоит с ребенком на руках, перед ней на коленях Анным. Гаяночка положила руку на плечо Анным. Стоит и Сергей, окруженный семьей. Тереза подняла Анным, прошла с ней к машине, простилась и уехала.

26

Раннее утро. Снег, белый-белый снег. За ночь сильный снегопад превратил город в сплошное белое полотно и все еще продолжает падать.

Хозяйки во внутренних двориках развешивают белье. Дворники, шаркая, метут. Дымят трубы, скрипят на разные лады ролики, через которые тянутся веревки. Несмотря на ранний час, бесконечно, на разной высоте плывет над городом белоснежное белье. Ветер надувает его, как паруса, и город, и без того светлый, становится еще светлее.

С явно недозволенной скоростью ведет по городу трамвай Соня. Она едва притормаживает на остановках и тут же трогает, так что пассажиры сердятся, кричат и машут вслед трамваю кулаками.

У дома Анным Соня резко тормозит и, подбежав к воротам, кричит на весь двор:

— Анным! Ованес идет! Ованес идет! Я его видела! Анным!

По утреннему городу степенно, опираясь на посох, шагает Ованес. Лицо его спокойно.

1978 г.

ДЮБА-ДЮБА

Часть вторая

*Верно, дикие гуси,
Заменить собираясь гонцов,
Отправляются с криками в путь,
Оттого что стал холоден ветер
Возле этих речных берегов...*

(Отомо Якомоти. Из японской поэзии раннего средневековья)

I

Покрапал мелкий дождик, прибил пыль на маленькой станции, намочил старые платформы на путях. Андрей переписал расписание поездов, прошел быстро насквозь маленький грязный городок с большинством еще старых уездных домов, блиставших когда-то купеческой славой, а теперь разваливающихся на красные каленые кирпичи, и вышел на Волгу.

Теплый свежий ветер ровно дышал с пустых волжских просторов на холм, где он встал распахнувшись, поставив на землю свой маленький, перевязанный бельевой веревкой чемоданчик. Ни плесов, ни отмелей, все закрыла почерневшая налившаяся река, лежащая сплошным тяжелым зеркалом, над которым тосковали чайки и в яркой густой синеве гуляли тучи.

Оглядывая дымы от сжигаемого во дворах мусора, затопленные сараи под холмом, он спустился вниз, к старой двухэтажной пристани, плававшей в грязной пене под берегом. На ней было пусто, безлюдно, деревянные стены облупились, окна забиты досками. На причале, на солнце у теплой стены сидел старик сторож. Андрей присел рядом, поздоровался, закурил.

— А когда, отец, пароходы пойдут? — спросил, с удовольствием вытягивая ноги, щурясь на теплые блики солнца в воде.

— А вот, вода спадет... мусор прогонит... Тогда на отмелях бакены расставят и пустят...

— А что, если по реке, какие здесь города?

— Волжские все города. Как раз вниз верст восемьдесят Саратов будет, а вверх, тоже восемьдесят, Самара. Куйбышев, по-вашему.

— Одинаково, значит?

— Как же одинаково? До Самары дальше, вверх потому что, против реки...

— А колония где здесь?

— Тюрьма? Тюрьма близко. За городом слобода, а в слободе как раз в тюрьму упрешься.

Андрей поселился в слободе у веселой полной женщины, сказав ей только, что он студент из Казанского университета, просто приехал отдохнуть на праздники. Денег вперед она не взяла и паспорт не спросила, а тут же посадила за стол и накормила.

После обеда, спрятав чемодан под койку, он пошел смотреть колонию. Колония оказалась рядом, в конце улицы одноэтажных деревянных изб, и он не сразу понял, что это колония.

Навстречу ему по выбоинам в проваливавшейся дороге прогнали тощих коров с пустым отвислым выменем, прошел пастух в солдатской шинели без погон и в широкой фетровой шляпе. Дорога упиралась прямо в серую бетонную стену, поверх которой не было даже проволоки, за стеной поднимались пыльные корпуса; ни вышек с часовыми, ни глазка в старых покосившихся воротах — обычная провинциальная фабрика.

Железная калитка в стене открылась, выпустила толстую тетку в дождевике и платке, она засмеялась, отмахиваясь от кого-то, и пошла с сумкой наискосок от Андрея, обходя лужи и грязь. А калитка осталась открытой.

Андрей смотрел на нее как замороженный, понимал, что нельзя стоять так, и не мог уйти. Тяжело отъехали ворота, выпустили грузовик, накрытый тентом, плеская грязь из луж, он проехал мимо так близко, что Андрей ясно разглядел молодое усатое лицо водителя, его красную с петухами кофту.

Медленно, все медленнее Андрей подошел к калитке, взялся рукой за шершавую грязную стену и заглянул внутрь, как в колодезь. В длинном голом коридоре с крашеными стенами и бетонным полом играло где-то радио. Слева из приоткрытой двери слышался смех, гулкий, как в подвале. А прямо по коридору, за решетчатой перегородкой, в самом конце на табурете сидел маленький мешковатый солдат с автоматом на коленях. За ним, за второй решеткой, по светлому двору лениво прошел кот.

Солдат зевнул, глядя на Андрея, тот выпрямился, пошел от калитки, отирая ладонь. Он обошел забор кругом, стараясь все запомнить.

Запоминать было нечего. Вдоль всей стены тянулись обыкновенные дома, с дворами, банями, сараями и яблонями, еще только-только сквозившими зеленью. Во дворах прямо под стеной вешали белье, играли дети. С другой стороны, там, где холм спускался вниз к реке, навстречу ему по тропе прошли два мужика, с лопатами, в высоких болотных сапогах. Дальше на углу стены он потрогал написанное углем ругательство и, подняв голову, увидел наконец вышку. На вышке под деревянным козырьком стоял часовой, курил, свесившись через перила, и глядел на Андрея, потом сплюнул, перешел вовнутрь...

В дом он вернулся совершенно убитый, лег ничком на койку.

За ужином хозяйка налила ему стакан самогона, поставила тарелку с густым горячим борщом.

— А что, у вас здесь колония? — спросил он ее скучая.

— Тюрьма? Так это давно.

— И кого там держат?

— Разных. Они там и работают, и живут запертые, женщины одни...

— Их что, не вывозят совсем?

— А куда? У них все там... Ночью их машина со станции привезет за ворота, и все, мы их и не видим. Иногда только музыка у них там играет...

Андрей склонился над тарелкой.

— И крепко их охраняют? Не бегут?

— Да как убежишь, люди же кругом...

Ночью он все ходил по комнате, от сундука к шкафу, обратно, курил. Потом попробовал начертить план тюрьмы, но бросил, лег на койку, в отчаянии глядя в потолок.

На следующий день он сходил в город, купил газет, поглядел, как вешают к Первому

мая жидкие транспаранты на стенах, зашел на автостанцию, также переписал все расписание. Потом, вернувшись, снова обошел тюрьму, с тоской глядя в окрестные дворы.

Он лежал на койке, выискивая что-то взглядом на дощатом потолке, когда вернулась хозяйка.

— Мы только поговорили вчера... А сегодня поутру как раз арестанток в город гоняли. Рано-рано, не развиднелось еще, колонной прошли, а потом, уже часов в девять — назад. Они улицы метут к празднику... Шумные такие арестантки, веселые... Интересные есть...

Они вышли неожиданно и сразу заполнили всю улицу молчаливой, шагающей прямо на Андрея стеной, как будто их не было, не было, и вот уже возникли разом и идут.

Их гнали в темноте колонной по восемь в ряд, все одинаково серые, в своих серых одеждах и серых же платках; по бокам охранники в черном и солдаты с оружием на ремнях. Неровный топот их грубых башмаков заполнил спящую слободу. И собаки стихли.

Они все шли и шли мимо него с хмурыми лицами, совершенно одинаковые в тусклом свете фонаря; совсем рядом, отведя ветки, мелькнули грубые крепкие лица охранниц, вот уже спины последнего ряда, и все, прошли... Словно полк, вышедший в ночной марш.

В поле ночь рассеялась, ушла в овраг, неровные матовые облака еще тусклы, но слева за тополями небо обрезало уже красным. Колонна вздохнула, ожила, и в ней в разных концах заговорили сразу, засмеялись.

Андрей, попевая, шел вплотную за последним рядом, почти вместе с двумя замыкающими солдатами, казалось, он спокойно может шагнуть, встать в этот ряд, солдаты молча курили на ходу, не обращая на него внимания, и он с удивлением смотрел, как рослая охранница шагает рядом с последней правофланговой и оживленно рассказывает ей о какой-то новой кофте, купленной в городе...

Солнце вставало в степи за Волгой, уходя сразу за красный завернувшийся облачный край. Они мели улицу и сквер, выходящий к реке, работая весело, дружно, рядами. Охранники ходили среди них, какие-то люди в пиджаках, и везде царил странная праздничная суета, а в улицах на холме курило молча оцепление, отгородившее их от остального города невидимой линией.

Андрей шел вдоль этой линии, вглядываясь в их лица. Кто-то засмеялся, пока-

зав на него пальцем, одна из них тут же подняла юбку, показывая ему ноги... он оглянулся, отошел в кусты. Рядом в нескольких шагах прошел еще один ряд и охранник, он, забывшись, двинулся к ним, встал, поняв, что не может отличить их даже по возрасту. Они были совершенно одинаковы.

Охранник, крепкий, сухой старик, отошел в сторону, сел, стряхнув пыль, на садовую скамью, развернул газету, поглядывая иногда на метущих, на зелень в клумбах.

Андрей подошел медленно к нему, разглядывая обветренное тяжелое лицо. Тот обернулся.

— Можно? — спросил Андрей тихо и, не получив ответа, снова огляделся.

Набравшись смелости, все же присел на край, закурил, стараясь улыбаться независимо, как простой зевака, но чувствуя нелепость своего присутствия, глядел на них, волнуясь все более.

— Да, праздник завтра, — сказал он, не зная, что говорить.

Охранник снова не ответил, глянул лишь мельком, хмуро.

— А что, вы вот так вот весь день? — снова спросил он глупо.

Старик встал, так же не глядя пошел от скамейки.

— Пойдите! — Андрей вдруг встал. — Пожалуйста...

Тот обернулся, оглядев его хмуро.

— Дело у меня есть, — Андрей огляделся еще раз, бросил окурок. — Увидеть мне надо одну... Одну, сидит она у вас. Я заплачу...

Старик засмеялся, складывая газету, еще раз оглядел Андрея, качнул головой и пошел туда за линию, за оцепление.

Слева вышел офицер, Андрей быстро повернулся, пошел в улицу не оглядываясь.

В избе он быстро собрал вещи. Хозяйки не было. Торопясь, поглядывая на улицу, вышел к огороду с вещами, но сел вдруг на поленицу. Подумав, вздохнул, вернулся.

Он закопал все в саду, у сарая, завернув оружие и деньги в целлофан, утоптал землю. Вернувшись в дом, он лег, стал ждать... Незаметно для себя уснул.

После обеда он наконец решил выйти на улицу, постояв, пошел снова к тюрьме. Не спеша двигался вдоль стены, глядя на дворы. Тучи разнесло, солнце грело подсыхавшую землю, и теперь на свету стало видно, как ее уже много.

Из двора хорошего тесового дома вышел старик, пошел ему навстречу. Он был в простых брезентовых штанах, в рубашке, в руке нес ведро, полное бензина. Андрей узнал охранника, машинально поздоровался с ним. Тот прошел, лишь усмехнувшись...

На следующий день, Первого мая, в слободе было тихо, лишь с утра прошли куда-то несколько мужиков с гармошкой, репродуктор в тюрьме играл до обеда марши.

После обеда, выйдя на берег, Андрей сел на холме, на сухой глине, глядел хмуро на реку. Вниз с тяжелой корзиной, полной стирального белья, спустилась баба, прошла по мостку на желтую размокшую плотомойку, поставила корзину, подоткнув юбку, принялась полоскать белые простыни в деревянной проруби.

Обернувшись, он снова увидел охранника. Тот, так же по-домашнему одетый, спускался наискосок к осиннику, где на цепях в воде и на берегу лежали лодки. Андрей долго глядел ему вслед.

Лодка охранника была в стороне от других, кругом никого, пусто, лишь невдалеке маленький сарай, похожий на собачью будку. Старик вынес из сарая мотор, сидел на песке у лодки, копался в нем, склонившись.

Пригревало солнышко. Андрей вышел с холма с полными карманами, держа в руках бутылку и сверток. Старик поднял голову, когда он подошел, огляделся, снова посмотрел на Андрея зло.

— Ну что ты ходишь за мной? — сказал он угрюмо, не вставая, руки его были в масле. — Езжай домой, к маме...

Андрей сел на корточки напротив, открыл бутылку, налил в стаканы.

— Голубь мой, — снова заговорил старик, — ты что, так в тюрьму хочешь?

Андрей так же молча взял сверток, развернул газету, поправил пачки... Старик все смотрел на деньги, долго, вода по куску ветoshi масляной рукой...

— Здесь тридцать тысяч, — сказал Андрей, покачивая стаканом.

Старик склонился над разобранным мотором, потрогал в нем, покрутил какой-то валик, снова посмотрел на деньги... Потом встал, не спеша отошел за лодку, оглядел поросшие кустами холмы, сказал не оборачиваясь:

— Убери...

Пошел к сараю, нагнувшись, залез в него, сел на пороге, как пес в будке, глядел все оттуда на Андрея. Андрей искоса следил за ним, выпил, подышал в кулак.

— Иди сюда, — позвал его из будки старик.

Не спеша он собрал все, подошел, сжимая сверток под мышкой, нагнулся, старик отодвинулся вглубь. Андрей пролез в узкую дверцу, сел напротив него. Старик молча выбрал из свертка несколько бумажек, внимательно оглядел их на свет, поклонил, помял...

— Деньги чистые, — сказал Андрей. — Крови на них нет.

Старик засмеялся хрипло, перехватил из-за спины топор, покачав им, с удивлением смотрел на Андрея, сидевшего перед ним спокойно, лишь опустившего руку в оттопыренный карман.

— А что, голубь, если я тебя продам?

Андрей все так же молчал, глядя ему в глаза. Старик снова засмеялся, отложил топор.

— Дурак ты, голубь... Ох, дурак... Ну налей.

Он выпил, захрустел луковицей, улыбаясь, не сводя злых бесцветных глаз с парня, спросил:

— А ты не больной?

— Нет,— спокойно ответил Андрей, убрал руку из кармана.— Не больной.

— Не нравишься ты мне... голубь.

— Ты мне тоже...

Старик засмеялся, снова поглядел на деньги, помолчал.

— Подумаю я.

— Нет,— снова сказал Андрей.— Я ждать не буду.

— Ну тогда я ее уже привел.

— Нет... Возьми половину и скажи «добро». Иначе я уеду.

Солнце светило в низкую дверь, освещая железный хлам на полу, ноги Андрея. Старик смотрел на него хмуро.

— Откуда же ты такой, голубь? — он вздохнул.— Я же тебя кончу...

— Не кончишь...

Они сидели, глядели друг на друга. Старик отвел глаза, налил себе еще, выпил.

— Ладно... Называй.

Андрей помедлил, раскачиваясь тихо:

— Воробьева. Воробьева Татьяна Николаевна, шестьдесят восьмого года рождения... Домашний адрес нужен?

— Зачем же мне, голубь, домашний адрес? — старик покачал головой.— Ладно, ступай...

Андрей отсчитал ему половину денег, остальное завернул в газету, спрятал в карман:

— Не напутаешь?

Чайка, прилетев с реки, кричала за лодкой...

— Знаешь, голубь, я уже сорок лет в тюрьме. Еще папку и мамку твоих сторожил.

— Мои не сидели.

— Ну малы, значит, были... Ладно, ступай, сюда не ходи больше, дома сиди, тебя самого найдут. И не ходи ты возле тюрьмы, как жених...

С холма Андрей оглянулся. Старик сидел все так же в своей конуре, глядел на реку...

Дождь прошел, чистый майский дождь, он ждал уже неделю, лежал в доме на койке, старательно читал пыльные книги, что нашел за сундуком, прислушивался настороженно к каждому звуку на улице.

Вечером к нему зашел мальчик, хмурый, коренастый подросток с большими руками.

— Сказали, чтобы вы ждали еще... — сказал он, не глядя на Андрея.— И еще... Ежели случится что, чтобы не волновались...

— Что случится? Кто сказал?

Но мальчик ушел не простившись.

Андрей стал выходить в город, сидел подолгу в сквере, глядел на распустившиеся зеленые тополя, на мокрые кирпичные дома. Вода на реке спадала, маленький буксир ставил в фарватер яркие желтые буи, и уже прошла вверх, шумно толкая воду, первая пустая баржа.

Вскоре хозяйка принесла новость:

— Из тюрьмы бежал кто-то. Говорят, в больницу отвезли. Тимофеев охранник и солдат, операцию делать, аппендицит. Сделали, она так и ушла ночью со швами, и не видел никто... Старик один только на трассе встретил... Женщина в больничном халате в машину села. А другие говорят, что не одна бежала, а несколько. Ищут теперь.

— Что за чушь! — Андрей прохаживался нервно по комнате.— Почему операцию? Неужели правда?

— Правда. Все говорят, уже и в Самару сообщили, и на всех дорогах посты. В городе милиция ищет. По радио приметы сказали...

— И какие приметы?

— Да не знаю, радио же не слушаю...

Ругаясь про себя, он пошел на берег, взяв под пиджак «марголина», на берегу огляделся, потрогал замок на будке, вернувшись, увидел мальчика, того, что приходил, окликнул его. Тот перешел на другую сторону улицы, даже не оглянулся.

Поехал в город, ходил вокруг больницы, вглядывался в лица на улицах, долго смотрел на двух милиционеров, мывших около участка машину...

А еще через неделю утром, когда он еще спал, к нему зашли два мужика, сели на стульях, глядя, как он встает, одевается.

— Ну как отдыхается? — спросил один лет сорока, невысокий, щупловатый.

— Ничего,— хмуро ответил Андрей, сел, разглядывая их.— А что?

Второй сидел у стены, постарше, с рыжей курчавой бородой, глядел на Андрея внимательно, не мигая.

— Книжечки читаем...— снова сказал первый, взяв с пола одну из книг.

Андрей молчал хмуро...

— Ну и ладно, завтра в полночь приходи к лодке,— продолжая разглядывать книгу, сказал мужик.— Только обойди стороной, чтобы не видел кто... Вещи все возьми, больше не вернешься...

— Кататься поедом, что ли?

— И Тимофеев придет...— мужик отложил книгу, встал, второй встал тоже, и Андрей встал.— Ну и ладненько...

И вышли так же, не простившись. Андрей сел на крыльце, закурил, глядя, как соседская девочка идет через скользкий огород.

Вернулась хозяйка, поставила молоко.

— Уеду я завтра,— сказал ей Андрей.

— Ну и ладно, приезжайте еще...

— А что, ничего не слышно больше про эту...

— Про кого? А-а, про арестантку-то? Да уж и забыли, искать уж перестали. Ушла баба, отчаянная...

Чайки кричали, падали в реку, легкая волна билась в пристань, все такую же безлюдную. Лишь окошко кассы открыто, да трое мужиков на причале с мешками.

Андрей сел рядом со сторожем, сидевшим все в той же позе и все так же глядевшим на реку.

Загудел глухо, протяжно пароход, яркий, белый, оставляя дым над Волгой, забиравший круто к пристани, за ним на той стороне белели влажно обнажившиеся плесы.

— Хорошо идет,— с восхищением сказал Андрей.

Волнуясь, он встал, прошелся, закурил. Пароход, сбавляя, подходил прямо на него.

— Сомовский,— гордо сказал старик.— Раньше при купцах гудок у него самый громкий был. Кричал на всю Волгу, ухи рвал...

— Такой старый? А вы что, помните купцов?

— А как не помнить... Бегали вот сюда, смотрели, как люди гуляют. Здесь ресторан был, цыгане...

Андрей обернулся на заколоченный мертвый второй этаж.

— И хорошо гуляли?

— Хорошо... До утра сживали... Дед мой, бывало, в пролетки их потом, как детей, носил. А то сядут на пароходы и гудят... В Самару, скажем. А один, Чистоплясов, капитаном платил, чтобы те под каждую его рюмку гудком кричали. Встанет за столом, кинет в рот, официант махнет платком, и, пока губы бородой обтирает, уже все, кто на реке, гудят до самой Казани. Говорил, чтобы все знали, Чистоплясов рюмку выпил...

60

Пароход тем временем тихо подходил к ним, пугая с волны чаек, матрос над черной надписью «Комсомолец», сонный, готовил конец.

— А был еще на колесах, с паром,— вновь заворчал старик.— И звался «Ласточкой». Осторожно идет, боится, раньше лихачом подлетал, дамы с пристани визжали визгом, но ставил в аккурат всегда, глядишь, на сажень бы ошибся и разнес причал...

Ночь вышла влажная, темная. Андрей пробрался огородами, пришел сырым берегом к лодкам, поставил на песок чемоданчик, озираясь, как вор.

Было тихо, неясное туманное небо висело над плескавшей волной, собака залаяла где-то на холме... Он проверил пистолет, взвел его, поставив на предохранитель, переложил в карманы гранаты, тихо осмотрел закрытую будку, присел, закурив.

Какое-то легкое движение возникло у берега, словно птица пролетела, из разлитого в кустах мрака возникла человеческая фигура. Андрей встал, затоптал папиросу, сунул руку в карман.

— Никого? — человек подошел, оказался щупловатым мужиком, одним из тех, что приходили вчера.

— Ну? — сказал ему Андрей.— Где? Тот бесшумно открыл замок, скользнул в будку:

— Помогите!

Андрей стоял, глядя в темную конуру.

— Ну? — тот выглянул.

Вдвоем они осторожно вынесли к лодке мотор, вывели лодку на воду, вернулись, вынесли весла, еще один мотор.

— Куда мы? — Андрей старался держаться за его спиною. Мужик возился на корме, устанавливая мотор.

— Хорошо, если месяца не будет...— отозвался он, вдруг замер, прислушиваясь.

Андрей обернулся, увидел людей, спускавшихся в темноте с холма, отступил, оглядываясь, взялся за «марголин». Но люди остановились, и к нему, отделившись, подошел старик-охранник, оглядел его внимательно.

— Кто это? — Андрей косился на остальных.— Что за люди?

Старик тихо позвал их, Андрей увидел, узнал по движению женщину, шагнул к ней, встал, увидев грубое татарское лицо, но тут из-за татарки, тоже в сапогах, в кепке, выбежала девушка.

— Коля! — и встала, зажав рот ладонью.— Господи... А я тебя во сне видела...

Опомнившись, Андрей обернулся. Старик и мужик, ставивший мотор, переговаривались о чем-то тихо. Старик вернулся к нему,

хмуρο указал женщинам в лодку, когда они отошли, сказал:

— Одну ее не вышло. Вторая с вами до Саратова поплывет, дальше как знает. Она после операции... В мешке продукты, одежда кое-какая на баб... Деньги взял?

— Отдам, как доплывем...

— Ладно... — старик усмехнулся. — Хозяин — барин... Ступай в лодку.

— Спасибо тебе...

— Ох, голубь... Ступай.

Андрей, оглядываясь, прошел мимо женщины, сел на банку рядом с мужиком, взял, как и тот, весло.

— Ну с богом! — сказал с берега старик глухо, как в кулак. — Трогай, Митя.

Митя толкнул Андрея, и они тихо, стараясь не плескаться, пошли от берега. Обе женщины, обернувшись на корме, и Андрей, и Митя все глядели на неясную темную фигуру, отступающую, сливающуюся с мрачной стеной берега. Они все отплывали в сырую плескавшуюся темноту, словно в море, и, когда берег стал неразличим, на отступивших холмах открылись огни тюрьмы...

III

Их сносило на середину и куда-то вниз, в черную даль, они молча долго гребли, и огни медленно поворачивались, уходили вправо, а другого берега не было, огни растворялись, и уже ничего не было, только хмурая туманная ночь.

Мужик перестал грести, сложил весла, перебравшись на корму, прогнал оттуда женщин. Лодку тихо несло в плотном темном коридоре. Он, оглянувшись внимательно на Андрея, снял чехлы с обоих моторов. Резкий звук вдруг разнесся над водой, словно в широком пустом зале, моторы заработали, оглушая ревом, и лодка, подняв носом Андрея, пересевшего вперед, высоко над черной жирной волной, пошла, полетела в расступавшийся туман.

Ветер плотно и ровно бил им в лица, они молчали, маленькие, сжавшиеся в лодке, с тревогой глядели вперед в неясную темноту... Андрей поглядел наверх, стало почему-то светлее, наверное, вверху над туманом вышел месяц. Он оглянулся. Мужик, держа руль, сощурившись от ветра, внимательно глядел на него. Андрей снова стал смотреть вперед, но опять обернулся, сел, подняв воротник, лицом на корму. Обе женщины сидели в середине, прямо на дне, прижавшись друг к другу, а за ними на корме мужик, глядевший почему-то на Андрея все так же пристально, напряженно. Андрей улыбнулся, такой он был согнувшийся, сгорбленный.

Слева от него мелькнуло что-то, Андрей повернулся и увидел, как из тумана выныр-

нула лодка, бесшумно, как казалось из-за ревуших моторов, пошла параллельно им, сближаясь медленно с ними и медленно их догоняя.

Андрей привстал, глянул на мужика, тот обернулся на лодку, снова уставился на Андрея. Женщины не видели и не слышали ничего, сидели все так же на дне неподвижные. Андрей сунул тихо руку в карман, глядел то на мужика, то на лодку, подошедшую уже близко, летевшую в десяти метрах от них, так что казалось, обе лодки стоят на месте и только ревут. Оттуда на Андрея такой же неподвижный глядел рыжебородый мужик в штормовке, рядом с ним виднелся еще один...

Так они шли рядом в светлеющем, растворяющемся тумане, вдруг мужик, все глядевший на Андрея с кормы, поднял руку, махнул тем в лодке, крикнув что-то, и те сразу отвернули резко, растворились в тумане, пропали...

К утру туман рассеялся, на светлом небе открылся зеленый месяц, стало светло, река заблестела, раздвинувшись, очертила берега, оказавшиеся широко у самого горизонта. Мужик заглушил моторы, правя лишь рулем, сказал:

— Одеваться пора...

Женщины кидали в лодку кепки, робы, татарка рылась в мешке. Андрей торопясь достал из чемодана свитер, брюки, подал не глядя девушке. Обе, встав, быстро снимали с себя все, раздеваясь догола, не стыдясь ни Андрея, ни мужика.

— Не в лодку, за борт кидайте, — снова сказал тот.

Стоя в рост, они бросали в воду одежду, темными пузырями уходившую за корму. Андрей оглянулся. Кругом на зеленом просторе было пусто. Снова с удивлением обернулся на ее голые худые ноги.

Наконец они сели, еще застегиваясь, поправляя стриженные волосы, лодка не дожидаясь задралась снова носом, пошла навстречу засветлевшему небу.

Они вышли перед городом. Уже совсем рассвело, взлетали, кружились чайки, по Волге шли баржи.

Андрей достал, передал мужику деньги.

— Спасибо, Митя.

Тот взял их, спрятал не спеша, сказал тихо:

— Ладно, ваше счастье... Живите...

Андрей смотрел на него с удивлением. Тот засмеялся:

— А то думали порешить вас... В реке оставить, чтоб верно было, — он оглядел

еще раз Андрея, женщин, стоявших на берегу, невысокий, шуплый.— Только помните. Если что с вами, с каждым, случится и, не дай бог, кто помянет нас или хотя бы намекнет, то срок, конечно, сбавят, пощадят... Но попадете все же обратно в тюрьму. А в тюрьме опять мы, сторожа. Так что смерть вам будет. Не было никогда этого в вашей жизни, и нас не было и... ладно, ваше счастье...

Сверху Андрей увидел, как лодка вдоль берега ушла по реке вверх, а за ней, отчалив далеко, пошла вторая.

Станция оказалась пустой, светлой, дворник мёл перрон, еще кто-то курил под часами. Подходил поезд.

— Ну! — татарка огляделась тревожно, подхватила свой рюкзак.— Поеду я.

— Куда?

— В Казань,— она кинулась к девушке, обняла ее.— И вы езжайте скорее...— потом подошла к Андрею, взяла его руку, наклонилась свирепо, прижалась к ней лицом.

— Да что вы? — Он отступил, вырвал руку, смотрел на нее удивленно. Потом достал деньги: — Возьмите вот лучше, вам надо будет.

Она взяла, глядя на него:

— Скажите куда, я вышлю! Все вышлю. Вся жизнь работать буду, родные дадут! Куда?

Он отступил еще, качая головой.

— Ну! — Она снова обернулась к девушке.— Где найти, знаешь... Надо будет, спрячу! Будьте счастливы! — И побежала, как мужик, вдоль вагонов, придерживая рукой живот.

Поезд пошел. Андрей, нервничая, сходил к расписанию, оттуда искоса смотрел на нее. Она сидела на лавке, глядя равнодушно.

— Сейчас поедем.— Он вернулся, помолчал, разглядывая со страхом ее отекавшее белое лицо.— Как ты?

— Голову бы помыть.— Она посмотрела на него: — Куда мы?

— В Москву. Там спокойнее будет. Или... ты не хочешь?

— Мне все равно...

В вагоне еще спали. Они прошли в тамбур, встали у туалета. Андрей раскрыл окно, впустив шумное свежее утро.

— Дай закурить,— сказала она.

— У меня только папиросы,— он поспешно протянул ей мятую коробку.

Она закурила, с такой жадностью вдохнув дым, будто задохнулась, и, выпуская его медленно через тонкие подрагивающие ноздри, с такой же жадностью сказала грубо:

— Выпить бы!

Он поставил чемодан, достал из него бутылку самогона, что взял у хозяйки, обернулся, ища стакан, но она сама отвернула пробку, обеими руками поднесла бутылку ко рту, стукнулась зубами, заглотала шумно и жадно, закашлялась, закрыв глаза, снова закурила. Он с ужасом следил за ней, и она, заметив его взгляд, засмеялась хрипло:

— Что, не хороша стала Таня? Зря ты, Андрюша, связался. Ох, зря.

— Ну что ты,— сказал он тоже странным голосом.— Не надо...— и, чтобы сказать что-то, спросил: — Где же вы были все эти дни?

— В погребе,— ответила она тихо.— В погреб у Тимофеева... А погреб под стеной, глубокий, так что лежали мы как раз под зоной. Я Зойке шепчу, давай потолок завалим и вылезем, здесь мы... Лежим и слушаем, а они на плацу над нами ходят, ходят... каждый шаг слышно. А потом — хлоп — Тимофеев заходит, такой же, как в тюрьме, в форме, с кобурой. Еду поставит и молчит, смотрит. Не говорил даже, зачем в погреб держит... Потом мы по очереди на ведро сходим, а он уносит...

Поля неслись мимо них, зеленые, с бархатными волнами свежей озими. Она, вздрогнув вдруг всем телом, снова схватила бутылку, заглотала, давась, обернулась к нему, не вытирая мокрого подбородка, сказала необыкновенно жалко:

— Не берет...

Люди встали, пили чай, она легла наверх, на грязный матрас, лежала, как мужик, скрестив на груди руки, а он что-то отвечал внизу старухе, расспрашивавшей его.

— ...Да нет, студенты мы.

— А что же, больная она у тебя?

— Нездоровится.

— А что, женское что-нибудь?

— Женское...

Поезд встал, он поднялся, увидел, что она не спит.

— Я выйду покурю,— он старался не смотреть на нее.— Вещи все над тобой. И деньги там.

На узкой грязной платформе он отошел к пустому киоску, закурил, глядя на бабок, шедших мимо с ведрами. Поезд пошел, он встал за киоск, дико, с тоской глядел за набиравшими мимо него вагонами. Заспанный проводник проехал в дверях, глянул на него мельком, плюнул, еще вагон с грязными занавесками, он отвернулся к цветущим у забора вишням, к собаке, лежавшей у лавки, и побежал, споткнулся, едва успел, на ходу влез в вагон под ругань проводницы.

Она сидела на полке, обхватив колени, глядела на него со страхом и удивлением.

— Сигареты хотел купить,— сказал он хмуро.— Закрыто все...

Она вдруг наклонилась быстро к его лицу, поцеловала в щеку, отвернулась. Он вышел в тамбур, замычал, глядя в окно с тоской и отвращением.

IV

Они обнялись, разглядывая друг друга, снова обнялись, Миша хлопнул его по шее, и Андрей вдруг обрадовался. Таня прошла в комнату, такая же безучастная, какой ехала всю дорогу в такси, не глядя на шумные улицы; в комнате за столом, уставленным пивом, сидел все тот же парень, дававший им читать свои работы, и улыбался так же подло, но Андрей вдруг радостно пожал ему руку и даже обнял его, правда тот тут же и поцеловал его слюняво в щеку.

Они сидели за столом, Таня иногда вежливо кивала в ответ на вопросы, едва прикасалась к пиву. Миша же смеясь поглядывал на нее, шумел, рассказывал, как кто-то женился, как в институте прошло собрание, как начали снимать их фильм...

Андрей вышел ненадолго, переложил в диван оружие и деньги.

— Жалко, тебя не было,— кричал Миша.— Тут такую шикарную мулатку показывали! Ну такая ласковая, такая скромная и поет. Дюбá-дюбá, дюбá-дюбá... Не слышал?

— О чем? — Андрей мельком глянул на Таню, сидевшую с нахальной улыбкой.

— Да бог его знает, я ведь ихний язык не знаю... Там слова все такие: дюбá-дюбá, дюбá-дюбá, и все! Неужели не слышал?

Потом Таня ушла мыться, они, оставшись вдвоем, сидели за грязным столом и курили, молча глядя друг на друга.

— Значит ее выпустили?

— Да... выпустили. Пересмотрели дело и выпустили... Только я прошу тебя, не говори никому... Говори, что сестра приехала...

— Ладно.— Миша потянулся, извлек из-под подушки водку.— Вот. Этот принес. Я сказал сдуру, что только пьяный могу читать...

— Несчастный человек...

— Ну, брат, пусть не пишет... Так каждый хам писать начнет. И так они уже все захватили, пусть хоть этого не касаются. Знаешь, а я такую штуку придумал. Но тебе, наверное, не до этого... Чего ты?

— Так, устал просто... Не спал, выспаться надо.— Андрей, прислушиваясь к тишине в ванной, постелил простыни, положив две подушки, мрачно оглядел постель, вдруг схватил вторую подушку, сунул за стол.

Таня стояла на пороге с влажными темными волосами, в том же свитере, в брюках.

— Ложись,— сказал он тихо.— Нужно отдохнуть.

Она покорно села на постель, он вышел, постоял в ванной, глядя на себя в зеркало, открыл зачем-то воду... Когда он вернулся, она все сидела.

— Раздевайся,— он едва прикоснулся к ее плечу.— А это я постираю...

Она встала, стянула с себя свитер, сразу обнажив худые лопатки, сняла брюки. Он все стоял, смотрел на ее худые плечи, на груди с маленькими съезжившимися сосками, боясь опустить глаза ниже.

— У меня белья нет,— она держала в руке брюки и свитер, стояла прямо, босая и совершенно нагая, не стараясь даже прикрыть мысок черных волос на матово-белом, чистом животе, вся стройная, как девочка.

— Мы купим, Таня. Мы все тебе купим, все, что захочешь,— он подошел к ней, погладил шершавую щеку.— Господи, у тебя лицо заветрилось. Сейчас,— он вышел, радуясь, что нашел причину.

Когда он вернулся, она лежала, накрывшись одеялом, прямая, покорная.

— Вот, «После бритья», другого нет... Но мы купим... Ты сейчас спи.

— А ты? — она лежала, покорно мазала лицо кремом, зажав в кулачке тюбик, тонкими пальцами водила по щекам, по чистому высокому лбу.

— Я? Я еще к ребятам зайду. Да мне есть где спать...

Они смотрели друг на друга.

— Ты же думал лечь со мной,— сказала она твердо, не сводя с него глаз.— Чего же ты уходишь? Да съдь же!

Он сел рядом, погладил одеяло.

— Я уеду завтра...— голос ее тихий, но рука с тюбиком дрожала все отчаянней.— Зачем? Зачем ты сделал все это... Зачем?! — голос ее сорвался.

— Я хотел помочь,— он повернулся к ней, увидел ее дикие глаза.

— А кто тебя просил? Кто тебя просил, кто тебя просил?! — Она села в ярости, одеяло сползло, открыв ее груди.— Кто? Ты думал, я только и ждала тебя! Ты думал, я тебе ноги целовать буду! Дурак! — Она швырнула тюбик в стену.— Тоже мне... Дурак! Дай мне выпить!

Он встал, принес водку, налил в стакан, сунул ей. Она дрожая схватила стакан, глотнула, глядя на него с ненавистью, закашлялась вдруг давясь, вскочила, побежала на четвереньках по одеялу к двери, кашляя, икая. Он с невольной улыбкой глядел на еегодицы. Опомнившись, пошел за ней в ванную, обхватил, придерживая за спину. Она рвалась, билась головой о стену,

о раковину, кашляла, стонала судорожно. Ее рвало чистой белой водой, и в перерывах между спазмами она продолжала кричать:

— Подлец! Свинья! Ненавижу тебя, идиот! Оставь меня... Не смей меня трогать! Почему ты не пришел тогда? Я... Я ждала тебя... как дура... Два с половиной часа...

— Когда?

— Тогда... Мы же договорились! Я... два с половиной часа! А ты... ты пил с какими-то дурами... Сказал, что поедешь на работу... А сам пил!

— Господи, это тогда еще?

— Ты даже не помнишь... Я уеду! Уеду сейчас... Мне ничего твоего не нужно... Я вернусь туда... Я лучше вернусь в тюрьму! Я тебе все отдам и никогда... никогда не приходи ко мне... Подонок! Как ты мог? Кто тебя просил... Кто тебя просил?!

Андрей, едва сдерживая ее, открыл горячую воду, сунул ее головой под струю.

— А-а-а! — закричала она.— Фашист! Пустил.. Пустил! Нет, только не в тюрьму, я лучше повешусь! Пустил! Я никогда не вернусь туда! Пустил, гад... Пустил, я повешусь...

Мокрая, дрожащая, она лежала под одеялом, а он тихо вытирал ей полотенцем голову, потом оставил, накрыл ей лоб. Мокрая простынь валялась на полу.

Она затихла, он осторожно поднял стакан, налил себе водки, выпил. Вдруг она быстро повернулась к нему, дернула к себе так, что он уронил стакан на пол, целуя иступленно его лицо, руки, дрожа всем телом, принялась стаскивать с него рубашку. Он сопротивлялся глупо, пытаясь высвободиться из ее мокрых цепких рук, в то же время, согнувшись в нелепой позе, вяло старался отвечать ее грубой, бешеной лаской.

Хрипло дыша, не переставая целовать его в грудь, в локти, которыми он защищался, она, ударившись лбом о колено, стянула с него брюки вместе с трусами и ботинками, швырнула на пол. Он пытался прикрыться одеялом, но она прижалась к нему тесно, извиваясь по-звериному, всем телом, укусила за ухо и все ласкала, иступленно тянула его к себе, целуя громко в губы, в нос, в глаза. Опустив руку вниз, она вдруг отодвинулась, засмеялась тихо...

— Ты что? — спросил он хрипло.

— Ты же не хочешь меня,— продолжала она смеяться.— Я тебе совсем не нужна...

— Да нет...— он смущенно погладил ее волосы.— Просто... Это нервы, наверное... Я еще, наверное, не готов.

— Бедненький,— она поцеловала его в щеку, снова отодвинулась.— Что же ты мучаешься? А может... Может, ты мной брезгуешь? После тюрьмы...

— Ну что ты,— он попробовал обнять ее, но она смеясь высвободилась.— Ну что ты, я же говорю. Так бывает иногда...

— Ну конечно,— она снова быстро поцеловала его в щеку.— Я все понимаю... Не переживай. Тебе просто нужно отдохнуть... Не смущайся! — Она снова засмеялась, убирая его руку.— Ты не старайся только, так будет еще хуже. Полежи просто.

Они лежали вплотную друг к другу, дыша друг другу в лицо.

— Ну какой ты глупый... Я же говорю, не старайся... Попробуй поспать,— она снова чмокнула его в ухо.

Он с тоской глядел в потолок, боясь шевельнуться. Потом сел, прикрывшись одеялом, дотянулся до вещей, долго разворачивал скатанные в ком брюки, вытаскивал запутавшиеся ботинки. Она лежала тихо, прикрыв глаза, дышала ровно. Он прихватил бутылку и погасил свет.

— Ты чего? — Миша, открыв ему дверь, разглядывал удивленный.

Андрей мрачно налил в стакан, выпил, сел на пол у стены. Миша сел рядом, засмеялся...

— Она что, бьет тебя?

Андрей снова налил, снова выпил, закурил, потер лоб.

— Не могу, Миша... Дурак я, осел, дебил полный... Зачем я ее привез? Я смотреть на нее не могу, что я с ней делать буду? Она какая-то другая стала... Этот запах после тюрьмы как будто в кожу ей въелся. Мутит меня, Миша, глядеть не могу, не то что... А она издевается еще...

— А ты ее выпори. Возьми ремень и выпори!

— Зачем?

— А для чувства! Потом пожалеешь, потом полюбишь...

— Ну да...

— Ничего... Вот поедem скоро в Америку, может, там хоть красивые девчонки.

— В какую Америку?

— Я тебе забыл сказать... Нас от института посылают в ихнюю киношколу.

— Именно нас?

— Ну не именно... А кому еще ехать?

— Бог мой, да найдутся, директор вон поедет новый, активисты какие-нибудь... О чем ты говоришь, какая Америка? — Он смотрел на грязный пол. Под дверью в туалет прополз таракан. Андрей встал, потрогал нож на полке, огляделся, вдруг выскочил в коридор, побежал к лестнице. Миша, не вставая с пола, выглянув, смотрел ему вслед...

Она была в ванной, он рванул дверь, вырвав вместе со шпингалетом, она, по-прежнему голая, сидела в раковине, держа перед лицом осколок стакана, вода из крана лилась ей на шею.

Он схватил ее за руку, выкручивая, стараясь вырвать стекло.

— Пусти! — закричала она. — Пусти!

Они порезались оба, но Андрей отнял стекло, швырнул в коридор, и тогда она укусила его за палец.

— Дура! — заорал он, замахав рукой, глядя на нее с ненавистью. — Дура! Хоть вся изрежись, только не здесь!

Она засмеялась, глядя на него, приподнялась, лизнула его в руку. Он отскочил.

— Вылезай!

По-прежнему смеясь, она выбралась из раковины, мокрая, шлепая босыми ногами, прошла в комнату, легла, укрывшись с головой.

Он, взяв укушенный палец в рот, ходил по комнате, поглядывая на постель. Она лежала тихо.

Он все ходил и ходил. Потом сел, зевнул. Взял какую-то книгу, попробовал читать, снова встал. Походив еще, потрогав гамак на стене, он присел рядом с ней, осторожно отвернул одеяло. Она спала, закрыв лицо ладонями.

V

Утром она разбудила его, уже одетая и умытая. Он сел оглядываясь, ничего не понимающий, с тяжелой чугунной головой.

— Господи, еще же рано... — и замолчал, увидев завтрак на столе, порядок в комнате, вымытые до глянца полы...

Высокие редкие облака висели в высокой голубой глубине, и все было зеленое, чистое и такое яркое. Он протер еще глаза, Таня шла рядом с ним, спокойная, не удивлявшаяся ни рыжим цветам в траве, ни апельсинам в ящиках, выгружавшихся на углу, ни всему этому блеску и празднику.

Они зашли в институт, он оставил Таню внизу, сам пошел наверх показаться в деканате. Институт шумел; останавливаясь, здороваясь с разными людьми, Андрей постепенно оживлялся, сон и гул в его голове проходили.

В деканате его поругали, но не сильно, во всех людях чувствовалось какое-то веселье и радость от наступавшего лета. Выйдя, он с удивлением увидел на лестнице среди оживленно разговаривавших девочек-актрис Таню. Она курила и улыбалась так, словно давно училась здесь. Увидев его, она попрощалась с ними, подошла, улыбаясь чему-то. Он огляделся, стесняясь ее.

— Ты что, знакомых встретила? — Они пошли вниз.

— Да нет... Это что, правда, актрисы? И что же они одеваются так? — она посмеивалась тихо.

— Видишь ли... здесь не принято следить за одеждой.

— Не следить тоже нужно уметь... — Они вышли на улицу.

В маленьком универмаге за институтом она огляделась:

— Слушай! У меня же ничего нет. Совсем ничего!

— Покупай, — ответил он. — Покупай все, что тебе нравится.

— Все-все? — она засмеялась.

— Все.

— Ты что, ограбил кого-то?

— Нет. Просто взял, занял. Пусть это тебя не волнует.

И началось. Сначала она купила простую сумочку и попросила у него деньги, чтобы расплачиваться самой.

— Так интереснее...

Затем обошла все прилавки, осмотрела все платья, кофты, туфли, платки и даже шубы.

— Бог мой, шубу-то зачем? — Он с удивлением шел за ней, следил за ее быстрыми движениями.

— Должна же я знать, что у вас носят!

На такси они поехали в центр, в универмаги. Теперь она беспрестанно крутила головой, смеясь, оглядываясь.

В гудящей толпе многоэтажного магазина она схватила его за руку, чтобы он не потерялся, потащила быстро сквозь толпу, как ребенка, иногда вдруг вставая и без стеснения разглядывая какую-нибудь женщину с ног до головы, и, когда та оглядываясь отходила в сторону, бежала смеясь дальше, по-прежнему не выпуская его руки...

— Господи, здесь же ничего не выберешь!

Они встали у стола с женским бельем, на столе лежало множество всяких бюстгалтеров, пантолончиков, какие-то кружева и что-то совсем уже воздушное и ажурное. Она смеясь легко перебрала все эти нежные прелести, нанизанные на один суровый шнурок, по-видимому, чтобы не утащили, Андрей машинально тоже что-то потрогал...

— Боже мой, ну какие же все дрова! Ладно, вот это, вот это и... — она взяла быстро трусики и приложила вдруг их к Андрею разглядывая.

— С ума сошла! — он оттолкнул ее оглядываясь.

— Хорошо, и вот это. Тебе нравится?

Они вышли, встали, ловя машину. Кроме белья, она купила всего лишь какой-то ремешок.

— И это все? — спросил он с иронией.

— Ах, но ведь больше ничего нет... — она отошла тотчас, заговорила с какой-то девицей.

После этого они объехали еще десяток магазинов. Андрей, одуревший от беготни, от толпы, оставался теперь на улице, курил или просто ждал в такси, но она неизменно возникала вдруг откуда-то, смеясь хватала его за руку, тащила в какую-нибудь очередь, в самую толпу, и люди расступались почему-то, пропускали их.

— Смотри, смотри! — кричала она звонко, взяв какие-нибудь брюки. — Боже мой, какая пошлость! Не берите! — советовала очереди.

Она затащила его в парикмахерскую, усадила его в кресло и, стоя позади него, веселая, сама показывала, как его подстричь, причесать, потом подстриглась сама.

Она выбежала на улицу, порозовевшая, какая-то светлая, он курил прохаживаясь, встал, глядя удивленно. И никакой прически она не сделала, лишь чуть остригла тюремные пряди, но волосы легли как-то просто и ладно, лихо, совершенно при этом изменив ее тонкое лицо, которое показалось ему вдруг удивительно милым и нежным...

Она купила ему рубашку, туфли, заставила его примерить костюм, он отказался, но она просто затащила его в кабинку, смеясь сама сняла с него пиджак, даже пыталась помочь расстегнуть ему брюки. Он, смеясь тоже, отбивался от ее длинных ловких рук.

Светлый летний костюм неожиданно пришелся ему, сидел просто, но как-то очень с шиком. Оглядев его, она тут же сорвала этикетку с костюма, с рубашки, скатала все его старые вещи, вынесла, бросила в корзину для мусора.

— Что ты делаешь? — он склонился над корзиной, достал из кармана паспорт.

— Ну, милый мой, нельзя же быть таким уж студентом!

Он прохаживался на улице, курил все, поводя шеей в новом воротничке, поправлял не нравившийся ему ремень, чувствуя себя неуклюжим, деревянным.

— Ну пошли скорей, я есть хочу!

Он отступил и замер...

Женщина стояла перед ним, изящная и стройная, строгая, в простом, но необыкновенно идущем ей светло-голубом платье, обрисовавшем ее упругие свободные груди, тонкую талию, тугие бедра, длинные легкие руки в простых браслетах; тонкая, чистая шея охвачена голубенькими бусами, и лицо, удивительное лицо...

И девочка стояла перед ним, просторный белый жакет небрежно наброшен на

плечи, острый бандитский локоток отставлен лихо, рука в кулачок, простые туфли без каблука на длинных подвижных ногах, и вся подвижная, легкая, стремительная, смеется, глядит на него лукаво...

— Ну что смотришь, гангстер?.. Идем есть? — Она взяла его под руку, широкоплечего, медлительного, в просторном костюме, довольная его глуповатой улыбкой.

На них оглядывались. Андрей сам временами осторожно отстранялся, смотрел не веря на нее, то шедшую рядом легко и гордо, то вдруг безавшую счастливо смотреть какое-нибудь мороженое...

В «Берлине» швейцар открыл ей дверь, пропустил с почтением, Андрея задержал, оттесняя его животом назад, растерявшегося, смутившегося совсем.

— Это со мной, — она вернулась, освободила его, взяла под руку, смеясь заглянула в лицо. — Ну что... гангстер в натуре?

Они сели в полупустом светлом зале, оглядываясь радостно вокруг, заказали шампанского, икры, еще что-то.

— Я водки хочу! — воскликнула она, обернулась к Андрею. — Можно?

Андрей волнуясь любовался ею.

— Я знаю, — она поправила ему волосы. — Тебя выдает лицо. У тебя ужасно провинциальное лицо.

— А ты? Столичная штучка, сколько раз ты была в Москве?

— Ни разу, вот еще, бывать в этой вашей пошлой Москве! Разве это столица...

Официант принес бутылки, поставил множество закусок, улыбнулся ей сладко.

— Смотри, — она засмеялась. — Он, наверное, принимает меня за проститутку. Разрежь его...

Потом встала из-за стола, пошла гордо через зал.

— Я сейчас...

На нее оборачивались. Андрей налил рюмку, опрокинул в рот, поймал розово-желтый лист осетра, откинулся с папиросой, улыбаясь блаженно на высокие чистые окна.

Она вернулась, села рядом, глядя туманно и задумчиво, вдруг прильнула к нему, поцеловала в губы. Он уронил вилку, прижал ее к себе, обнял.

— Знаешь, — зашептала она, — давай убежим отсюда... Поедем домой.

— Прямо сейчас?

— Да... Сейчас-сейчас, — она дрожала. — Я не могу...

Они встали, шатаясь, как пьяные, она сама расплатилась, пошла торопясь, он едва поспевал за ней.

На улице они кинулись разом друг к другу так неистово, что стукнулись зубами, засмеялись оба, обнялись крепко-крепко, он, теряя голову, поцеловал ее в шею. Она застонала, опустив голову, сказала тихо:

— Господи, я даже домой не доеду...

Она едва добежала до его комнаты, бросая все, срывая с себя одежду еще на ходу, упала на диван, так что он ударился затылком о стену, но даже не почувствовал этого, повторяя все исступленно:

— Таня... Таня... Таня...

VI

Они не выходили никуда и не открывали никому трое суток. В течение этого времени лишь Миша изредка стучал им в дверь и слышал из смех и счастливые голоса.

— Сейчас, Миша! Сейчас выйду...— глухо кричал Андрей.— Подожди минутку! — И снова смех.

— Да ладно,— отвечал Миша, тоже посмеиваясь.— Тебя утром-то будить? Пойдешь в институт?

— Конечно... Я сейчас выйду...

На второй день Миша принес, поставил им под дверь кастрюлю и две бутылки вина, позвал...

— Сейчас, сейчас выйду,— отозвался Андрей.— Подожди, не уходи.

— Да ладно... Я вам тут поесть принес,— он присладался, но за дверью лишь шуршало белье...

Ночью Андрей, тихо шлепая, голый, занес кастрюлю и бутылки, поставил на пол у стены.

— Ты что там жуешь? — тотчас позвала его Таня.— Ты где? Под диваном, что ли?

— А-а-а, ты не спишь,— он возился у кастрюли, сидя на корточках.— Знаешь, по-моему, это борщ... Очень важный борщ...

Она смеясь встала, подошла, светя наготой, села рядом, поцеловала его в волосы. Он повернулся, вытер губы, поцеловал ее. Они сидели рядом над кастрюлей и нежно целовали друг друга.

— А борщ?...— засмеялась она.

— Да, борщ.— Он снова поцеловал, ласкал ее плечи, груди, встал, поднял ее, понес к дивану.

— Ты сумасшедший.— Она попробовала высвободиться.— Подожди.

Тела их смутно переплелись в чистом прозрачном свете ночи, шедшем с окна.

— Ну подожди же... — повторила она ласково.

— Сейчас, сейчас...— шептал он.— Сейчас...

Короткая ночь светла и чиста. Теперь она встала, потянулась легко, со вздохом, подошла к окну, раскрыла его настежь, впуская свежесть майской ночи. Прошел теплый дождь, где-то в светлых тучах еще шумела гроза.

Он встал тоже, прошел к ней, обнял ее за бедра, поцеловал в затылок, под волосы. Она вздрогнула, обернулась, нашла его губы...

Светало.

— Хочешь вина? — прошептал он.

— Да...— Они обнявшись гладили друг друга.— Ну носи же...

— Сейчас.— Он прижал ее крепче, все целовал в лицо.— Сейчас...

Она засмеялась, высвободилась, подошла к кастрюле.

— Вкусно...— Она сидя подняла кастрюлю, и они по очереди пили из нее через край.

Он открыл вино и пил из горлышка долго, и она отнимала у него бутылку, вино лилось им на руки, на грудь, они смеялись и целовались снова и снова, все вставали, чтобы дойти до дивана, и никак не могли...

Он лег на спину на постель, она легла ему на грудь, правой рукой он все тянулся, пытаясь поймать упавшую бутылку, и не мог дотянуться.

— Подожди, Таня... Ну подожди же... Таня... Таня...

И вино лилось...

Когда рассвело совсем и за окном вовсю пели птицы, они сели друг напротив друга, утомленные, радостные, рассматривая друг друга.

— Ну пей же,— смеясь он протягивал ей вино, а она хулиганила, целовала горлышко бутылки, его пальцы, руку, все выше и выше, пока они снова не встретились губами.— Ну пей, Таня...

— Нет, ты покажись, покажись,— она смеясь стаскивала с него одеяло.— Ну ты и круглый стал!

— Ничего не круглый.— Он отбивался от нее.

— Круглый, круглый! Вот зад какой насидел,— она шлепнула его сильно.— Ну просто женский зад!

— Ах, женский! — Он, отставив бутылку, схватил ее за руки, перевернул на живот, шлепнул тоже.— А у тебя мужской зад! Острый и деревянный, как табурет!

— Дурак! Пусти... — она вырвалась, но он обнял ее снова, целуя в плечи, в шею, нежно, алое при заре лицо. — Андрей, пусти... Пусти... Ох, Андрей...

Бутылка упала, и вино снова лилось...

И снова днем приходил Миша, шмыгал носом под дверью.

— Черти, живы? Нужно вам еще что-нибудь?

— Сейчас, Миша, сейчас, я выйду, — смеялся Андрей.

— Сейчас я выйду! — передразнивала его Таня и вдруг, накрывшись с головой одеялом, крикнула: — Да заходи уже, чего стоишь!

— А можно? — засмеялся Миша.

— Можно!

Андрей тоже накрылся, Миша зашел, осторожно глянул на диван, улыбнулся хитро...

— Забирай его! — крикнула Таня под одеялом и вдруг дернула одеяло так, что Андрей остался совершенно голым.

— Таня! — Он, стараясь прикрыться, тянул на себя простыню.

Миша хохотал, Таня смеялась тоже выглянула из-под одеяла.

— На, ничета! — она наконец уступила ему половину.

— Ладно, — и он дернул так, что едва не слетел на пол, оставив ее теперь нагишом...

Перестав смеяться, они накрылись, закурили. Миша сел у стены.

— Черти, выходить-то думаете?

— Сейчас оденемся, — очень серьезно сказала Таня и, вдруг засмеявшись, сползла снова под одеяло.

— Нет, правда, пора уже, — отозвался Андрей и захохотал сам.

— Н-да, — Михаил встал, забрал кастрюлю. — Ясненько... Ладно, вечером мяса вам принесу.

А ночью они снова сидели у раскрытого окна, по-прежнему нагие, жевали, кусая по очереди, огромную отбивную, запивая ее вином.

— Ты хоть вспоминал меня? Хоть иногда?

— Да... Особенно зимой. Зимой внизу снег и во дворе больницы, вот там, снег. Под утро все сиреневое... И тоска. Но я не всегда тебя вспоминал.

— А кого?

— Никого. Это что-то такое непонятное без лица, просто светлое... Теперь я знаю, это была ты...

Пришел июнь, теплый, дождливый. Андрей ходил в институт, сидел на занятиях, сдавал какие-то экзамены. Она оставалась внизу под окнами на скамейке и старательно читала что-нибудь, ожидая его, а он слушал монотонный голос педагога, вскакивал со звонком, первым бежал к двери вниз, и они, забыв обо всем, стояли обнявшись, не обращая внимания на прохожих...

Декан с сожалением как-то сказал ему, что в сентябре состоится поездка в Америку и по настоянию мастера они оба, он и Миша, включены в группу. А Виктория Степановна, полная, веселая и глупая женщина, про которую Миша говорил, что она вампир и сосет у него энергию, сказала ему игрово:

— Ты похудел и стал такой светленький-светленький...

Однажды, выбрав на улицу, он увидел рядом с ней Джаника, они смеялись весело.

Андрей с меняющимся лицом медленно пошел к ним, но встал, хотел было уйти. Она обернулась, подбежала к нему удивленная.

— Что с тобой? Что случилось?

— Ничего. — Он стоял в каком-то оцепенении.

Подошел Джаник, хлопнул его по плечу, сказал радостно:

— А я сижу, как старый дурак: девушка, вы кого-то ждете, кто этот негодяй, что заставляет вас ждать, и так и этак, уже едва не сплясал, а это ты! Ты! Пойду утоплюсь с горя... — он ушел оглядываясь.

— Да что с тобой? — она потрогала его лицо. — Господи! — воскликнула, прикрыв ладонью рот. — Да ты ревнуешь! — и засмеялась.

— Нет. Вот еще, — он поцеловал ее в щеку холодно, но не удержался, обнял.

— А что, он очень милый... Ты его теперь нарежешь?

А вечером с шампанским, с цветами ворвался Володя, обнял, расцеловал Андрея, поклонился Тане, поцеловал ей руку, сказал:

— Все знаю. Очень рад за вас.

— Что все знаю? — с подозрением спросил Андрей.

— Да пошел ты... — И открывая, разливая шампанское, Володя стал читать стихи.

Набилось много гостей, все шумели, пили, наперебой говорили умно о кино, поглядывая на Таню, об Америке. Володя пел, снова пил и курил без конца. Андрей вышел, никем не замеченный, но Таня тут же вышла за ним, поцеловала его ласково, вернулась и быстро, в минуту, смеясь, шутя выгнала всех из комнаты. Оставшись одни, они бросились друг к другу, обнялись...

Миша наклеил ее фотографию на старый институтский билет, подчистил что-то, вручил ей.

— Господи, ну почему же я Цирлина? — смеялась она, разглядывая билет. — Ну какая же я Цирлина!

Миша смеясь объяснил:

— Скажи спасибо, что имя исправил, а то быть тебе Раисой. А что, очень даже мило — Раечка Цирлина.

— Скотина. — Она весело свалила его на диван, водила все за нос, за уши, за шею. — Ах ты, волк тамбовский! Вареник ты, а не волк...

Теперь она иногда выходила в город, но делала это редко, обычно лишь ходила за продуктами. Как-то днем она привезла с собой двух девушек, высоких, стройных, одетых не броско, но дорого. Обе молоды и красивы, с шиком, та, что повыше, светлая, статная, держалась гордо, как княгиня, другая, черненькая, с очень темными и живыми глазами, казалась принцессой из детской сказки.

— Лора, Диана, — представила их Таня.

Они сели тут же, разворачивая свертки, заговорили оживленно, достали французский коньяк, дорогие сигареты, засмеялись, шепчась, лишь черненькая Диана глянула на него раз с интересом.

Андрей отложил тетрадь, в которой писал, закурил папиросу, встал, пошел из комнаты в тапочках, в домашних штанах и майке. Таня вздохнула, вышла за ним.

— Кто это?

— Это девочки, я познакомилась с ними, мы в магазине были вместе. Что ты?

— Ничего. Какие-то они...

— Нравятся? Они, между прочим, валютные девочки. Посмотри, как они держатся... Или ты снова ревнуешь?

— Нет. — Он поцеловал ее. — К проституткам — нет.

— Ну не уходи, посиди с нами...

Он вернулся, накинул рубаху, сел. Они все так же, не обращая на него внимания, рассматривали платье леопардовой расцветки, переговаривались тихо, лишь Таня глядела на него изредка быстро, радостно.

Насвистывая, в трико с дыркой, с тетрадкой, торчавшей из кармана, вошел Миша, почесывая живот, оглядел девочек, покачал головой.

— Кто это? — Он сел рядом с Андреем на пол. — Какие королевны...

— Это, Миша, и есть валютные проститутки, — сказал Андрей так же тихо.

— Настоящие?

— Самые настоящие...

Миша крикнув встал, подошел осторожно к ним, встал позади Лоры, сидевшей

на стуле, наклонился, разглядывая ее. Она оглянулась.

— Ничего, ничего, — он пожал плечами. — Я просто смотрю.

Диана засмеялась. Миша снова наклонился к Лоре, сказал довольный:

— А ты хорошая девчонка!

— Очень приятно, — отозвалась та и снова отвернулась.

Андрей с удовольствием следил за Мишей. Тот осторожно потрогал Лору за локоть:

— Слушай, а вы правда за валюту работаете?

— Да. А что? — строго, тоном учительницы спросила Лора.

— Здорово! — обрадовался Миша. — Уважаю! — Он присел рядом с ней на стул, потянулся, сложив губы трубочкой, медленно чмокнул ее в щеку.

Андрей захохотал. Диана и Таня тоже. — Ну и что дальше? — Лора и бровью не повела, даже позы не поменяла.

— Ничего. — Миша погладил ее по шее. — Просто очень хотелось бы узнать, как они...

— Кто?

— Ну арабы... Такие же?

— Такие же.

— Здорово! — Миша потер глаз. — Я дозревал это. А я, знаешь, в той комнате живу, — он снова чмокнул ее в щеку.

— Ну и что?

— Ничего. Я и жениться могу.

— На мне? — Теперь и Лора улыбнулась.

— Могу и на обеих. Обе вы хорошие... Настоящие драгуны. Вам бы бакенбарды еше!

— И что мы будем делать? — Лора смеялась.

— А все! — Он потрогал ее ушко. — Я вам дрова буду колоть, воду носить... Полочки всякие прибивать.

— Нам не надо... полочки. — Она убрала его руку.

— А у меня есть еще план, — живо откликнулся Миша. — Одно секретное заводы в Тамбове. Мы его арабам продадим. Ну?

— Отойди, — Лора смеясь отталкивала его.

— Ну хорошо! — воскликнул он горько. — Ну что тебе стоит? Один только раз без денег жалко?

— Жалко, — она отталкивала его, обернувшись к Диане, смеялась все.

— Ладно. — Миша встал, достал из кармана тетрадку. — Сколько это стоит? Ну?

— Сто пятьдесят долларов. — Она смотрела на него весело. — Ладно, для тебя сто!

— Один раз — сто долларов? — Он прошелся. — Ладно! — Протянул ей тетрадку. —

Это мой рассказ, я оцениваю его скромно долларов в триста...

— Отойди.— Она хохотала, вытирая слезы.— Дырку зашей.

— Боже мой,— он повернулся к Андрею.— Боже мой! Боже мой, мне не верят.

Они ушли, уехали в черном лимузине, и Таня вместе с ними. Андрей зашел к Мише, они сели, закурили, глядя друг на друга...

Когда Таня вернулась, Андрей и Миша расставляли на полу пластилиновые фигурки.

— Что это? — Таня взяла одну из них.
— Не трогай.— Андрей отобрал у нее фигурку.— Это всадник.

— А где же ноги? — Таня снова взяла.
— Не трогай! Ног у них не видно, они едут полем в высокой траве медленно, шагом. И солнце встает.

— Ты что, обиделся? — Она погладила его по волосам.— Ну хочешь, я верну им все эти тряпки... Миша, ты чего такой грустный? Ты им понравился очень, хочешь я дам тебе телефон?..

— Вот еще...— отозвался Миша.— Бог с ними, они, конечно, знатные, но бегать за ними, переживать... Я одно знаю, надо не суетиться, а сидеть на месте. И все, кто тебе нужен, сами пройдут перед тобой.

— Дай ей яблоко,— тихо сказал Андрей.

— На, смотри,— Миша протянул ей ладонь.— Видишь?

— Что?

— Яблоко. Неужели не видишь? — удивился он.

Таня засмеялась.

— Да вот же оно.— Он привстал, разглядывая свою ладонь.— Оно пахнет первыми морозами, а здесь сбоку на нем крапинки. Это мое яблоко, никто его не украдет и надкусить не сможет,— он говорил тихо, серьезно.— Захочу и подарю его тебе, ты сможешь хрустеть им и радоваться, а захочу закину за Урал...

Таня не смеялась больше.

— Или превращу его в луковичу. И скормлю им.— Он вдруг нагнувшись поднял одеяло, заглянул под диван.— Здесь у меня живут два гнома и коза, когда мне хорошо, они радуются, как я, а когда плохо, я заставляю их по очереди заниматься скотоложеством с козой...— Он засмеялся тихо.— Вот сегодня я их всех троих в комсомол принял...

Андрей усмехнулся, посмотрел на Таню. Она сидела замерев, глядела на него, ши-

роко раскрыв глаза, изумленно, словно увидела только сейчас, вдруг всхлипнула будто. Она подвинулась к нему, поцеловала куда-то ниже глаза, обняла, все целовала его лицо и смеясь вклипывала, крупная слеза катилась по щеке, она обняла его крепко-крепко...

Миша встал тихо с дивана, ушел. И гномы ушли. Они сидели вдвоем на полу, пух тополиный летел из окна, кружился на полу, где всадники шли по брюхо в высокой траве. И светило солнце...

Ночью она лежала тихо, едва дыша, и все глядела на окно, на светлое небо.

— О чем ты думаешь? — спросил он.

— Ты не спишь? Не знаю... Мне страшно. Я вдруг вспомнила все. Все...

— Не бойся. Они не найдут нас...

— О чем ты пишешь? Дай мне почитать.

— Зачем тебе?

— Интересно...

— Ну ладно, потом как-нибудь... Ничего особенного...

— Скажи, а правда то, что говорил Миша?

— Он же шутил...

— А я верю... Мне страшно. Давай выйдем на улицу... Сейчас нельзя лежать. Что-то происходит, я чувствую...

Где-то стучала и стучала машинка. Кто-то печатал всю ночь.

Они вышли, на Каменном мосту прямо над сонной рекой машина шурша ушла по чистому, вымытому асфальту, сразу стало тихо.

Было часа четыре утра. Июньская светлая ночь, кругом ни души, чистые мостовые, Замоскворечье, беспорядок крыш, колоколен за спиной, а прямо перед ними красный и чистый казавшийся пустым Кремль. Сирень на набережной, на небе тихие сиреневые тучки, гладкая густая вода под мостом.

Они сели на парапет, Андрей тихо обнял Таню, запахнув не ней кофту. В Замоскворечье неистовствовали птицы.

— Посмотри, как хорошо,— он поцеловал ее в волосы.— Какое чудесное утро...

Она молчала, все глядела на Кремль.

— Нет,— повела зябко плечами.— Мне страшно... Посмотри, какой неживой, мертвый Кремль...

— Ну что ты, Таня, все спят просто... Сегодня воскресенье к тому же.

— Нет,— она так же серьезно покачала головой.— Они не спят. Они ходят по длинным коридорам... Вон там, смотри! Они видят нас... Что, думают они, спрятались?

Не спрятаться... Они видят нас... Андрей! — Она обернулась к нему.— Я ни за что не вернусь в тюрьму! Понимаешь?..

— Понимаю...— Он погладил ее.— Они не найдут нас...

— Им не надо искать нас... Мы и так... здесь, у них... Они просто играют... А захотят, и мы опять все будем заниматься скотоложеством...— Она засмеялась холодно, зло.

Андрей прижал ее к себе, огляделся с тревогой...

— Чуть какая... Ничего они не могут, лежат, ворочаются сейчас, снотворное глотают... Несчастные старики. А мы, мы можем делать что угодно...— Он засмеялся вдруг.

— Что?

— Я подумал сейчас, как один из них, самый важный, проснулся... и нос трогает. А у него прыщ на носу вскочил... Он прошлепал босой в ванную, стоит, трогает свой нос, злой, лохматый. А завтра ему доклад делать...

— Не надо, Андрей.— Она тоже засмеялась, прижавшись к нему.— Ну не надо, я прошу... Ты правда меня любишь?

— Вот еще...— Он нагнулся, целуя ее лицо.

— Давай уедем... куда-нибудь.

— Поедем на море?

— Поедем... Только Мишу тоже возьмем, ладно?

— Ладно...

От Василия Блаженного вылетела черная машина, нырнула под мост, понеслась по набережной.

— Вот видишь.— Он смеялся тихо, счастливо.— За доктором поехали, прыщ лечить... А ты не веришь.

— Дурак...— Но она тоже смеялась.

Вода плескалась тихо о быки моста.

VII

Они приехали затемно. Автобус, в котором кроме них троих была лишь зевающая толстая баба-кондуктор, круто заваливаясь на бок, мчал их через редкие огни поселков, темные, непроглядные сады, сквозь полные мрака кипарисовые туннели и высадил их за светлыми башнями рыбзавода.

Здесь, у основания мыса, сразу за дорогой, начинался пустой дикий пляж, открывавший спокойное, светившееся уже потруненному море.

Они пошли пешком, неся чемоданы, по плохой сыпучей дороге, вдоль долгого пляжа

под высоким обрывом. Над ними на скалах из песчаника нависали тяжелые корявые сосны, откуда-то сверху сыпались все шурша мелкие камешки. Небо и море наливались постепенно одинаковым чистым бесцветным светом, в котором далеко впереди слабел, тонул одинокий фонарь в ущелье, куда они шли.

Решили купаться, спустились на пустой пляж. Бросая вещи, увязая во влажном песке, подошли к шумевшему краю моря.

Таня отвернувшись переоделась быстро, Андрей и Миша босые сидели на песке, курили, наслаждаясь свежим бризом, ровно душим с моря. Ни души кругом, лишь вдали несколько спящих палаток.

Раздевшись, подошли к Тане, стоявшей у воды, зябко обхватившей плечи. Миша встал на колени на мокрую чистую гальку, задумчиво разглядывал прозрачную воду, потом, подозрительно шурясь, сунул в нее палец, поводил. Нагнувшись, осторожно лизнул море языком.

— Бог мой, оно же соленое...

Таня сидела на корточках, черпая ладонью воду. Миша встал рядом с Андреем. Все трое с удивлением и тревогой смотрели на чистую обозначившуюся серебром линию горизонта.

Они сняли две маленькие комнаты на втором этаже высокого просторного дома, стоявшего на горе в саду из инжира, груш, виноградника. Сад спускался к мелкому чистому ручью, вытекавшему тут же в море.

— Неплохо живут,— заключил Миша.

Он стоял на широкой каменной лестнице с перилами, спускавшейся во двор, и оглядывал ладные крыши в ущелье, крепкие каменные стены, мандариновые деревья в широких дворах. Внизу под навесом еще висела нитка желтого прошлогоднего табаку, через ручей гулял толстый боров с хошими поросятами.

— Чего не жить, если дают...— Андрей тоже смотрел на все это почему-то сердито.

До обеда они лежали на песке, купались в синем, липком море, снова лежали, не на подстилках, а прямо на горячем мраморном песке.

— Откуда у тебя такой купальник?— Андрей сыпал ей песок на живот.

— Девочки подарили,— она радостно валила его, целовала, клала голову на грудь.

Обсыпанные песком, они сплевывали с губ песчинки. А Миша все ходил по шею в воде, не плавал, а ходил часами по дну, насвистывая что-то и все трогал ласково, целовал море.

— Смотрите, здесь кто-то плавает!— кричал он иногда, забравшись на лохма-

тый лиловый риф, покрытый крупными мидиями.

И они бежали в море, ныряли с головой, плыли к нему кто вперед...

Обедали на террасе маленького кафе, стоявшего над пляжем у ручья. Ветер трепал полосатые зонты, угрюмый армянин жарил на огне мясо на вертелах, косился на Танин купальник и, перемотав катушку старого пыльного магнитофона, снова включал на всю мощь джаз Гленна Миллера. Мотая головой, морща лоб, он совершенно заходил под эту музыку, забывая про мясо, деньги, даже про Танины бедра, за столиком у стены его друзья и соседи, сидевшие здесь вечно, играли в нарды и так же заходились под музыку. И Миша, покачиваясь от удовольствия, поднимал стакан с чистым белым вином, которое они покупали у хозяйина, кричал:

— Я не знаю, какая там у них Америка, но, по-моему, вот это и есть Америка! Лучше этой Америки и быть не может!

После еды курили, глядели, отодвинувшись в тень, на море синее, у горизонта фиолетовое, на белый нырявший на ветру пароходик. Миша, обернувшись, спрашивал Андрея:

— Много у тебя еще денег?

— Есть.

— Когда кончатся, я предлагаю развернуться здесь. Мне даже стыдно, что я здесь никого не ограбил! Ты посмотри на этих грузинов...

— Это абхазцы, — Андрей жмурился от поднятого ветром песка.

— Ну абхазцы. Я просто долгом своим считаю начать их грабить.

— А потом?

— А потом уедем в Америку. Все вместе, и Танюшу возьмем.

— Как же вы Танюшу возьмете? — спрашивала Таня.

— Ерунда. У меня знакомый прапорщик есть на финляндской границе. Главное, ему только водки поставить... Напьемся, и все само выйдет. Протрезвеешь уже в Италии.

— Там нет Италии.

— Ну бог его знает, я не знаю, не был там никогда. Может быть, там вообще ничего нет. А туристов возят в Конотоп. Может быть, и Америки вообще нет, придумали ее... Я одно знаю, здесь нам жить больше не можно... Хамы кругом забрали все... И вообще я спать хочу...

После обеда они лежали в комнате, открыв все окна, слушая, как блеет во дво-

ре коза, как шумит ветер в саду. Потом выходили вновь, шли куда-нибудь в горы, пробираясь крутыми тропинками, обходя заросли, изгороди, сидели где-нибудь на холме над кукурузным полем.

Вечером Андрей достал из чемодана «марголин», разобранный на части, масленку, сидел, аккуратно чистил ствол, протирая тщательно затвор.

Таня читала. Зашел заспанный Миша, сел рядом, разглядывая обойму... Андрей следил за ним.

— Н-да, уважаю, — Миша засмеялся и стал жать Андрею руку. — Уважаю! — Он взял одну из гранат. — Давай рванем магазин!

— Положи... — Андрей аккуратно обмотал все в тряпки, спрятал в чемодан.

— Ладно... — сказал Миша. — Я себе тоже достану.

— Зачем? Тебе не надо...

Таня с кровати смотрела на них.

Был шторм, море, набрав пыли, било меловыми волнами в берег, пеной покрывая мокрые скалы, обдавая выше головы людей, пробиравшихся вдоль обрыва к дороге. Тучи низко шли над морем из Турции и приносили дожди, лившие целыми днями.

Они сидели дома, иногда даже не вставая с постели. Таня, загоревшая, с побелевшими ресницами, все молчала, тревожно глядя в окно, или лежала тихо, отвернувшись к стене.

— Ну что с тобой? — целовал ее Андрей. — Не грусти.

— Не знаю, — отвечала она и старалась улыбнуться. — Это дождь тоску наводит... — Но снова замолкала, смотрела на Андрея странно.

— Ну что случилось? — томился он и сам отходил к окну, с неясной тревогой глядел на мокрые, туманившиеся холмы, на вздувшийся, шумящий ручей.

— Нас ищут, наверное... — говорила она тихо. — Где-то звонят, сообщают приметы, где-то идут, лежат бумаги... Сколько нам еще осталось?

— Перестань, — он садился к ней. — Им не до нас. Знаешь, сколько у них дел?

— Нет. У них одно дело — мы. — И она, не отвечая на его поцелуи, глядела спокойно на Мишу, который, открыв дверь к ним, сидел спиной на пороге, курил, выставив на крыльцо босые ноги, мыл их под дождем, объявляя изредка:

— Собака прошла за ручьем. Мокрая, как шапка...

И приехала Лора. Поднялась по ступеням, мокрая, свежая, под большим муж-

ским зонтом, поставила в комнату чемодан, оглядев весело Мишу.

— Ну здравствуй, жених... — Они по-мужски пожали друг другу руки.

Она по-матерински обняла Таню, радостно бросившуюся к ней на шею, поцеловала Андрея, огляделась смеясь, стряхивая капли с волос, достала тут же шампанское, коньяк...

— Что же вы, черти, слякоть развели? Юг называется...

И они устроили пикник. Андрей сбегал на мокрый двор, взял у хозяйки сыра, холодного мяса, зелень, в сухом просторном подвале она наполнила две большие фляги старым отстоявшимся вином, остальные, одевшись, спустились в свитерах, кедах. Они разобрали сумки, корзины, выпили сначала тут же виноградной водки из старых рюмок, что вынесла хозяйка, толстая добрая армянка, прикрываясь зонтами вышли к ручью, выпили еще на скользком берегу у ограды и, уже не очень прикрываясь зонтами, отправились вдоль ручья вверх.

Смеясь, переговариваясь, они шли по камням, прошли загоны для скота, вошли в орешник, где на них глянула понурая мокрая корова. Справа и слева поднимались сырые холмы и впереди над свисавшими к ручью лианами были холмы, на них изгороди, сады, мокрые кукурузные поля с клубившимся туманом, дождь сыпал мелкий, теплый, и сверху ходили круто тучи, открывая и пряча далекие и высокие хребты Бзыби.

Ручей петлял, с галечных перекатов прятался в узкие туннели, заросли, они то шли по воде прямо, не выбирая пути, то встав, целовались, прижавшись мокрыми лицами, и тогда где-то впереди их звал звонкий голос Лоры. Подхватив корзины, они бежали, пока не находили их, Лору, утиравшую дождь с лица, и Мишу, курившего на камне.

— Миша,— спрашивала тогда Таня,— а мы возьмем с собой в Америку Лору?

— Возьмем,— отвечал Миша.

— А Диану?

— Возьмем. И хозяйку возьмем, она мне носки подарила. И Татарина, и всех режиссеров, и Джаника, Костю и всех комсомольцев и обкомовцев, и мастеров, и старух, и детей! Мы соберемся у границы утром, угрюмые и сирые, с узлами, сетками, все триста миллионов, над рекой туман, утки в камыше, тихо... Я закричу с горы страшно: «В Америку... мо-о-ожно?!» И мы пойдем, двинемся разом вброд...

Отогнув кусты в одном из ответвлений ручья, они проникли в глубокий сумрачный каньон с колодцами и стенами, заросшими густо мхом, с ваннами в скалах, с водопадами. Вверху на зеленых плитах

лежал навес из упавших деревьев, лиан, гиляндр мха, с которых падали тяжелые капли.

Они разложили закуски на расщепленном стволе на мху, белый сыр, лаваш, желтый пласт холодной мамалыги.

— Ну! — Лора взяла флягу, не удержалась и расцеловала всех.— За счастье...

Наверху по крутой, петляющей тропе подошли к туманившемуся провалу, встали, держась за мокрый железельник.

— Неужели мы там были? — тихо сказала Таня, глядя вниз.— Отсюда кажется, там живут ведьмы.

И тогда Миша вдруг достал из кармана что-то черное и толкнул Андрея. Тот увидел ясно мелкие капли на залоснившейся, жирной, черной гранате.

— Ты что, с ума сошел? — Он зло отнял гранату.— Какого черта ты ее взял?

Таня и Лора с удивлением глядели на них.

— Здесь же люди, пограничники ходят...

Все стояли притихшие, с какими-то странными лицами. Веселье оборвалось, сразу стало тоскливо.

— Ладно,— Андрей вдруг решил.— На! Знаешь, как?

— Может, не нужно? — робко спросила Таня.

— Нужно,— Андрей хлебнул из фляги, спустился пониже, заглянул в провал, толкнул туда камень.— Только отойдите подальше...

Он встал рядом с Мишей. Тот уже держал за кольцо.

— Только я прошу тебя, кидай сразу. Запал четыре и две секунды,— он обернулся к девушкам.— Давайте только что-нибудь крикнем! На счастье! Ну!

Миша, присев, смотрел на Андрея.

— Давай! — заорал он.

Миша дернул что было сил кольцо, пошатнулся, падая вперед, Андрей схватил его за шиворот, тогда только неловко, от груди, Миша кинул... Все молчали, глядели, как она повисла в воздухе над провалом, как, громко щелкнув, от нее отлетает скоба предохранителя. Она исчезла внизу, и все.

— Наверное... — сказал Миша.

И тогда ударило. Не внизу, а здесь, со всех сторон, сильно, словно взорвали гору. Они, оглохшие, не сговариваясь побежали по склону от провала, лишь Андрей удержался, вернувшись, подхватил сумки, глядел все замороженный, как из ямы поднимается желтый сернистый дым...

Они бежали через мокрый лес вниз, не разбирая дороги, вылетели на открытый холм, по его гребню среди кустов, соскальзывая в мокрой траве, падая, катились кубарем. Наконец выбежав на обрыв над мо-

рем, Миша сел и засмеялся, и все расхохотались, упали на землю, толкали, стараясь отдышаться.

— Что же вы не крикнули?

— А ты сам-то чего не кричал?

Внизу плескало свинцовое море, дождь кончился, под холмом где-то в мокром саду залаяла далеко собака...

Море успокоилось, весь конец июля они ходили загорать на дикие пляжи. Там было чисто и пусто, лишь в дальнем ущелье жили дикарями целые коммуны хиппи и нудисты.

Каждый раз, когда они проходили мимо их палаток, дощатых столов под навесами, рыб, вялившихся в тени, Миша махал рукой какой-нибудь голой девушке, говорил с сожалением:

— В нудисты что ли записаться? Приятно и сказать, я давно мечтаю, примите меня в нудисты...

Как-то он решил и заговорил с одной из них. Она одна сидела на корточках в воде на дальнем мысу, с золотистыми волосами, заплетенными в тысячи косичек, с золотистой кожей, на которой блестели крупинки песка и соли.

— Скажите мне, дураку,— он глядел на ее голую спину, на голые бедра.— Вы что там, золото ищите?

Девушка перебирала камни в воде, не обернувшись, не прекращая своей медленной работы, ответила сухо:

— Не останавливайтесь, идите. У нас свои дела, у вас свои...

Лора загорала и купалась без лифчика, когда они уходили плавать, Таня, стесняясь, тоже снимала свой за камнем.

Андрей и Миша курили на песке, глядели на них.

— Ну как ты с Лорой? — спрашивал Андрей.

— Да бог его знает.— Он пожимал плечами.— Она такая хорошая, такая ласковая. Мы с ней лежим, шепчемся всю ночь.

— Как честный человек, ты теперь должен жениться... А как же все твои предшественники?

— А они мне как братья будут.— И они смеялись, уткнувшись в песок.

Они уехали в августе, Андрей и Таня проводили их на катере до самого Адлера. В аэропорту они обнялись.

— Ну вы не задерживайтесь,— сказал Миша Андрею.— Буду в Москве ждать. Как объявитесь, поедом ко мне в Тамбов. А потом уж в Америку...

— Ты поедешь в Тамбов? — Таня поцеловала Лору.

— Нет, что ты... Работать надо... Ну ладно, еще раз счастливо вам. Прощайте.

Андрей и Миша стояли все.

— Да ладно,— сказал Андрей.— Дней через пять приедем уже...

— Конечно,— Миша хлопнул его по плечу, все не уходя.— Ты уж это, поосторожней...

— Ладно... Агузаровой, если увидишь, привет...

— Ладно... Пойду.

— Ладно... Иди... Иди уж... В комнате приберешь хоть...

— Ладно...

И сразу стало пусто. Они пошли в какой-то ресторан, сели за открытым столиком. Заиграла музыка, кругом веселились. Андрей все курил, Таня смотрела куда-то в сторону.

Подошел огромный кавказец, удивительно похожий на того в Оренбурге, пригласил Таню танцевать. Она пошла. Андрей, усмехнувшись, поправил ворот рубахи и, не прикасаясь к вину, еде, все курил, курил.

А ночью в темноте, когда снова собирался дождь, они вышли из машины в ущелье и услышали крики и ругань. Таня, испуганно прижавшись к нему, взяла его за руку, они прошли мимо группы усатых угрюмых абхазцев. Один из них стоял с сигаретой, держал за волосы некрасивую худую русскую девушку. Она смотрела по-совиному на Андрея зло и затравленно, но на помощь не звала. Они прошли. Позади них снова зашумели, заговорили.

В комнате он сел, закурил, глядя в пол.

— Ну что ты,— Таня погладила его.— Она сама виновата. Я ее видела уже... В машинах каталась...

Андрей встал, достал чемодан, быстро развернул в тряпках части «марголина», сложил их, загнал обойму.

— Андрей, я прошу тебя! Ну зачем?

— Не знаю...— Он отвел ее руки.— Ну а как еще?

Она пошла за ним. Спрятав пистолет под пиджак, он подошел к мужчинам, все стоявшим в темноте у ручья, вошел в круг.

— Стой, сука, стой, тварь...— говорил тот, что держал девушку за волосы.

— Отпусти,— тихо сказал Андрей.

Они все смотрели на него молча, сдвинувшись кольцом.

— Она блядь,— сказал мужик, не выпуская ее волос.

— Чего ты хочешь? — Его толкнули в затылок не сильно.

Кто-то маленький потянул его за пиджак.

— Чего ты хочешь? Чего ты хочешь?

— Андрей! — крикнула из темноты Таня.

Андрей медленно достал «марголин», взвел затвор, вытянул его в руке, медленно отходя от них в сторону.

Они с удивлением смотрели на пистолет.

— Пошли, — сказал он едва слышно. —

Пошли все тихо... Сейчас положу.

Они отошли, пятясь в темноту, встали там, дыша тихо. Андрей взял девуцу за руку, повел в дом. Таня пошла рядом.

В комнате он закрыл окна, задернул шторы, сразу стал собирать вещи. Таня молча принялась помогать ему.

Девуца села на стул, безучастно шмыгнула, смотрела на них равнодушно. Андрей закрыл чемодан, застегнул сумку, оглянулся, снял с вешалки мокрый купальник.

— Если хочешь, до города поедешь с нами.

— Не поеду я... — ответила она равнодушно. — Не хочу.

Андрей смотрел на нее. Таня подошла к нему, положила руку на плечо.

— Ты хоть здесь побудь до утра, — сказала она.

— Чего я буду сидеть? У меня своя комната есть... — Она встала, взяла плечики со стола. — Я вешалку у вас заберу... У вас и так много... — И пошла к двери.

Андрей смотрел ей вслед...

Они ушли. За домом перелезли через изгородь, прошли холмом в черной чаще, оттуда вышли на дорогу, огляделись.

Было пусто, накрапывал дождь. Их подобрал маленький грузовик, до города они тряслись в мокром кузове. На автостанции они пересели в легковую машину...

В Адлере они снова взяли машину. Шел дождь, на серпантинах машину выносило на противоположную сторону. В туннелях свистел ветер. Они сидели тихо, прижавшись друг к другу. Андрей гладил ее волосы.

В Туапсе они уже на ходу сели в переполненный вагон московского поезда.

VIII

Вышли из гор в кубанские степи, справа балки да холмы в бурой траве, слева желтое жнивье, все мокро, тучи рваные, за рекой туманится желтый дождь, бабы в подсолнухах.

Народ качается в сонном пыльном вагоне, зевает на тусклые стекла, слушает с испугом худенького мужичка с волосами на прямой пробор, его тихий, монотонный голос:

— Они были всегда при всех царях, при всех правительствах, всегда в ремесле, в

искусстве... Они первые выехали из Киева, а теперь пугают Библией. И падет на землю звезда, и имя той звезды — Польша... Польша — Чернобыльщик... Молот-Камень... Метро-то под Кремлем прорыли, под землю теперь провалят... А чьи святые в церкви? Кто нам преисподнюю подарил... Крестом крестимся...

— Поспи, — шепнул Андрей Тане.

Она покачала головой, все сидела, сжавшись в углу, глаза блестят, губы сухие, обметанные...

— А как же Горбачев? — испуганно оглянувшись, спросила мужика бабка. — Неужто не видит он всего?

— Видит, да только стреляли уж самого... Один он, убьют и нету...

Через проход за столиком ехал молодой попик, весь в черном, лицо озорное, мальчишеское даже, в бороде. Бабка-богомлица, ехавшая с ним, привстав закрывала от чужих столиков, мазала ему маслице и черную икорку, лупила яички, сало резала тонко, шептала все что-то и из белой бутылочки в стаканчик наливала...

Покушав, он полез на верхнюю полку, извернулся живо, как мальчишка, глянул на Андрея весело.

На мокром полустанке Андрей покормил Таню молодыми горячими картошками, огурчиками кислыми. Баба полила картошку маслом, говорила все, глядя на Таню:

— На здоровьице, на здоровьице...

Бабка, ехавшая с попиком, тоже вышла, купила всего — и огурчиков, и яблочек, когда они вернулись, батюшка снова сидел, кушал полосатый арбузик со свиным хвостиком.

Тане становилось все хуже и хуже. Лицо ее горело, Андрей бегал, носил ей воду, заставил маленького, похожего на обезьянку проводника вскипятить чай, но она отказалась, попросила тихо:

— Жарко мне, Андрюша, выйдем в тамбур.

Въехали в город. Хлопая дверьми, мимо них ходили какие-то люди.

— Что за город? — спросил Андрей выглянувшую в тамбур богомолицу.

— Екатеринодар, милые, Екатеринодар...

Проводник уже пятый раз пробежал через тамбур, оглянулся снова на Таню.

— Скотина... — Андрей прижимал ее к себе, дрожавшую в ознобе, слабеющую.

— Не злись, — она улыбнулась. — Просто им интересно смотреть на нас. — И замерла в ужасе...

В тамбур, стуча сапогами, вошли милиционеры, все рослые, усатые парни, в портупоях, при оружии. Двое прошли в вагон,

двое задержались, нагло оглядывая их с ног до головы.

— В чем дело? — спросил Андрей деланно весело.

— Откуда едете? — Они смотрели больше на Таню.

Она отвернулась к нему, спрятала лицо на его груди.

— С юга, а в чем дело?

— Отдыхающие? — Один из них лужгал подсолнухи, плевал кожуру на пол.

— Отдыхающие...

Отдав лениво честь, они прошли в вагон. Таня, вздохнув, осела, он поддержал ее.

— Ну что ты, что ты... Это не нас.— Он целовал ее в сухой горячий лоб.— Потерпи, скоро приедем. Я куплю тебе паспорт, и комсомольский билет, и профсоюзный, и все удостоверения, все справки, целую кипу справок, и ты всем будешь их показывать... Всем. А потом уедем... Уедем отсюда.

— Я есть хочу...— прошептала она, оседая на пол...— Голова кружится.

Он уложил ее в вагоне. Проводник объяснил ему, что в Краснодаре зарезали милиционера, теперь ищут во всех поездах...

За Краснодаром, когда ехали среди пустых кошенных полей, ей стало совсем плохо.

— Доктора надо, сгорит совсем,— сказала бабка, помогая усадить ее.

Ее стошнило, он, оглядываясь на грустные лица, заглядывавшие из прохода, вытер ей рот платком.

— Доктора! Ну кто-нибудь, спросите!

— На станцию надо...

Подходили к станции. Она потеряла сознание.

— Скорее! — заорал он.— Кто-нибудь! Черт, Таня! Таня...— Поднял, понес ее к выходу.

Батюшка, ловко прыгнув в свои черные туфли, подхватил ее, помог ему.

— Вещи, вещи собирайте! — крикнул людям.

Они вынесли ее на землю. Здесь было свежо, она застонала. Кто-то спустил их чемодан, он раскрылся, упал в лужу.

— Подержи,— Андрей передал Таню батюшке, сам кинулся, запытал все в чемодан, звякнув железом. Головы гроздьями свисали из тамбура.

Он побежал за батюшкой прямо через пути. Тот легко, сильно нес Таню к старой кирпичной станции, какие-то люди, склонившись с платформы, помогли ему. Андрей догнал их, выхватил ее, понес сам.

— Ну прощай! С богом! — Перекрестил его батюшка и, подтянув штаны, прытко бросился догонять поезд.

— Сюда, сюда, клади прямо на стол!

Он внес ее в большую серую комнату, положил на стол, на какие-то бумаги, склонился над ней, тормоша, оглянулся дико.

— Воды! Да кто-нибудь, воды!

Вбежал милиционер с графином, другой поднял Таню за плечи, слушая сердце. Андрей увидел, что это отделение милиции.

— А почему сюда? — Он рванул кого-то в форме за плечо.— Вы что? В больницу надо, в больницу!

— Да вы не волнуйтесь, сейчас...

Они положили ее в «уазик», сержант сел рядом, все глядел на Таню испуганно, бережно придерживая их чемодан.

— Да вы не волнуйтесь! — уговаривал Андрея другой.

В больнице его, как он ни упирался, выгнали в коридор. Он ходил у двери, прислушивался, привставал на цыпочки, снова ходил. Обернувшись, вдруг замер, увидел, что в коридоре, бывшем, по-видимому, приемной, вдоль стен на лавках все сидят люди и смотрят на него.

Старики с палками, мужики на костылях, какие-то дети с перевязанными лицами, девка у окна с рукой в гипсе, все молчат и грустно, испуганно смотрят на него. Он отошел, сел рядом с женщиной, державшей за руку парня, посидел раскачиваясь.

— Жена ваша? — спросила женщина.

Он кивнул, обернувшись, увидел отрешенное, белое лицо парня, его правую руку в намотанном до локтя бинте, набухшем от крови, увидел, что рука вместо пальцев заканчивается чем-то тупым, совершенно бесформенным, мокрым от крови, капавшей на пол... Дернув головой, снова встал.

— Бедная, застудилась, верно...— снова сказала женщина.

Кто-то закашлял тягуче, хрипло. Какой-то ребенок все ныл, всхлипывал в больничной тишине, и мать, причитая, успокаивала его. Не в силах более ждать здесь, Андрей вышел на лестницу, закурил.

Милиционер, молодой парень, державший его вещи, тут же подвинулся, давая ему место у перил, кашлянул вежливо.

— Вы уж не переживайте.— Он попробовал улыбнуться.— У нас доктор хороший... Вылечат.

Андрей кивнул ему, взял у него чемодан, осторожно придерживая, закрыл плотнее.

— Да я подержу...— Тот хотел помочь.

— Я сам...

— Жена у вас красивая...— сказал парень задумчиво и вздохнул.

Андрея позвали. В кабинете сидел один доктор, молодой полнеющий парень с бородкой.

— А где? — Андрей шагнул к нему, оглядываясь. — Вы что? Где она?

— Не волнуйтесь, все в порядке. Ей сделали уколы, она в палате.

Андрей сел, обмяк.

— Что у нее?

— Не знаю. Подозрение на гепатит. Но, может быть, аппендицит... Придется полежать несколько дней, если что, сделаем операцию.

— Какую операцию? Вы что, ей нельзя... Не может у нее быть ничего...

Доктор, кивая, записывал что-то, глянул на Андрея:

— Цирилина ее фамилия?

— Что? — Андрей увидел ее студенческий билет, тот, что делал Миша. — Ах да, Цирилина...

— А паспорт у вас?

— Зачем паспорт?

— Положено. — Врач смотрел в стол.

— Нет у нас паспортов... Мы студенты, наши паспорта у товарища все были... Он уехал в Москву.

— Вы поедете или останетесь ждать?

— Куда я поеду? — Андрей привстал, оглянувшись. — Слушай. Ты вот что, я тебя прошу как человека... Не надо ее резать, дай какие-нибудь таблетки, и поедем мы... Нам до своих надо добраться. Понимаешь? А билет ее отдай уж мне, нужен он...

Они сидели молча. Доктор глядел в стол, перебирая бумаги. Потом протянул ему билет.

— Спасибо тебе.

— Следующий! — крикнул тот, не глядя на него. — Палата во дворе, на первом этаже... Смотри...

В палате, простой деревянной комнате, на койках с капельницами лежали еще две женщины. Таня лежала у окна, бледная, испуганная, попыталась встать, когда он вошел.

— Лежи. — Он обнял, приподняв ее худую, в больничном белье, прижал целуя.

Старшая сестра, стоявшая в дверях, покачала головой, вышла. Женщины на койках отвернулись.

— Прости меня, — прошептала она. — Я сама не знаю, как это вышло. Господи, я так ждала тебя...

— Лежи. — Он погладил ее волосы. — Тебе лучше?

— Да. Нам надо ехать? — Она хотела встать. — Я сейчас.

— Лежи. — Он уложил ее, наклонившись, целуя ее лицо, зашептал: — Как стемнеет, открой окно, я буду ждать...

Она засмеялась тихо, обняла его:

— Опять убежим... Господи, давай поедем домой, ладно? Я уже не хочу ни в какую Америку, только домой...

— Ладно...

Когда стемнело, он высадил ее в окно прямо в больничном халате, поддерживая, провел через черемуху к дороге, где стоял, не глуша мотора, грузовик.

— Знаешь, они не спят, — смеясь слабо сказала она. — Они пожелали нам счастливого пути...

Водитель, усатый мужик, гнал машину всю ночь, переодевшись, она спала на плече Андрея, иногда целуя его во сне в шею. Когда вышла заря, она проснулась. Он показал ей бурые степи, сказал:

— Не бойся, теперь все будет хорошо. Это все уже наши земли, казачьи. Сначала кубанские, там донские, там астраханские, а за ними — Гурьев и вверх по Уралу наши, уральские... Здесь не выдадут... А? — Он повернулся к мужику. — Как казаки?

— А чего казаки? — отозвался тот. — Было бы куда... Снялись бы да пошли снова...

В Гурьеве, купив билеты на поезд, они, чтобы не ждать на станции, вышли через толпу казаков, прошли через маленький шумный базар в тихие переулки. Он не сдал вещи, нес в руке, настороженно оглядываясь на углях.

Был тихий душный вечер, пыль лежала на тополях, на вишнях, во дворе старого дома, на куполах маленькой яркой церкви, ласточки ныряли с куполов...

— Давай зайдем, — предложила она. — Поставим по свечке.

Они вошли, Андрей поставил чемоданы, купил у бабки несколько свечей. В церкви было тихо, пусто, за клиросом ходил кашляющий священник, в стороне молились две старухи, косились изредка на солдата, стоявшего у стены.

Обходя грубо малеванные иконы в крашенных рамах, они по очереди поставили коричневые свечи испуганно глядевшему на них Николаю Чудотворцу, худенькому, похожему на мальчика Георгию Победоносцу, огляделись, не зная, кому поставить еще.

Таня засмеялась, Андрей, поглядев на нее, наклонился, поцеловал ее, еще раз, долго...

— Здесь же нельзя... — сказала она, не отпуская его рук, глядя с грустью. Глаза ее открылись вдруг широко.

Не сговариваясь, они быстро вышли на улицу, забрав вещи, спеша, почти бегом, пересекли улицу, пугая летучих мышей, прошли двором в какой-то темный подъезд и здесь, задохнувшись, бросив чемоданы, обнялись крепко-крепко, прижавшись друг к другу. Андрей дрожащими руками, расстегнув, потянул наверх ее платье.

— Господи.— Она тихо, беззвучно плакала и неловко помогала ему.— Господи, это нехорошо, вот так в подъезде.— И тут же зашептала горячо: — Скорей поцелуй меня, скорей, я хочу, скорей, скорей...

Что-то мешало ему в руке, перегнувшись через нее осторожно, он положил на пыльный подоконник горячие слипшиеся свечи...

IX

Они ехали по грейдеру вдоль пустых пшеничных полей, свернули у забытого богом поселка, где мазанки и скотники стояли в беспорядке без зелени как попало и на кучах навоза играли грязные дети, съехали с холма в горчичное поле, за полем пошла высокая трава, озера в камышах, с озер, крича, взлетали серые цапли.

Хутор стоял в такой глуши, что по пути им дважды пришлось подняться в чаше стаи жирных желтых куропаток.

Григорий, двоюродный брат Андрея, худой высокий мужик, сам вышел навстречу, обнял Андрея, кивнул Тане, понес их вещи в просторный бревенчатый дом, стоявший на высоком из степного камня фундаменте. Двора не было и забора не было, дом крыльцом уходил сразу в высокую траву, тропинка вела к сараям, где стоял мотоцикл, к бане, а слева за бугром, на котором стояли еще два таких же русских дома, в длинном чистом озере плавали, ходили берегом гуси.

В горнице сели, заговорили не спеша. Жена Григория бойко накрывала ужин, старший сын пошел затопить баню.

— Дома как? — спросил Григорий.

— Ничего. Мать, отец живы, слава богу, привет передают.

— А откуда едешь?

— Из Москвы. На море были, вот заехали по пути.

— Домой?

— Да,— Андрей неопределенно кивнул.— Таня захворала... В себя придет, и поедем. А ты все в колхозе?

— Да, электриком так и работаю... Хозяйство вот держим, две коровы да прочее.

— А гуси на озере твои или соседские?

— Да бог его знает, уже запутались отличать. Берем, режем, когда надо, а кто на зиму придет, тот, значит, и свой.

— Да, гусей тьма у вас.

— Это мало. Весной подошли больше, то ли болели, то ли грязь какая, отравились чем.

— Какая же грязь у вас?

— Хватает. Везде теперь грязно. Дождь пойдет, волос лезет.— Он поводит по жестким с проседью волосам.— Кепку стал носить...

Ночью после бани выпили, накинув ватники, пошли тропинкой за сарай. Таня в простой деревенской юбке помогала жене Григория доить коров. Ожившая, она улыбнулась, выглянула из хлева им вслед.

За сараем сели на доски, закурили. Мычали коровы, где-то впереди за чашей заудело трубно.

— Чего там? — спросил Андрей.

— Урал. Баржа по реке идет, вверх, в Уральск...

— А за Уралом какие места?

— Наши. Станица Чапаевская там...

Помолчали. На бугре забрехала собака.

— Ну рассказывай,— брат глянул на него.

— Чего?

— Чего... Прятаться будешь или как...

— Не знаю... Уедем мы... Вот домой заедем, повидаемся.

— Куда? На море что ли опять...

— Не знаю... Думаю в Америку уехать...

Да ты не смейся.

— Я и не смеюсь...

У светлой глади озера гоготали, возились бесчисленные гуси. Чайка пролетела, крикнув больно...

— А что? Куплю ей документы. Съезжу сам сначала, посылают меня... А там придумаю...

Брат все молчал, глядел на звезды, осеннему яркие, густые.

— Прожить, думаю, проживем, мозги им нужны... А нет, все одно, что здесь нищета, что там. Все равно здесь жизни нет. Ну чего ты молчишь?

— А чего говорить... Верить — езжай. Только тоска там.

— А здесь не тоска?

— Здесь свои.

— Свои... Такие свои, что лучше чужие. Там хоть на воле будем.

— Где теперь воля...— Григорий потянулся, хрустнув суставами.— Воля... Я после тюрьмы тоже все рвался, думал, главное — уехать подальше... Стою, было, гляжу с холма на Китай, думаю, реки там что ли другие, горы... Вот, два сына у меня... Езжай, коли тошно. А надумаешь вернуться, помогу, и дом поставим здесь...

Где-то далеко в ночи снова загудела баржа.

В комнате тихо, слышно, как стучит сердце, звезды в окно заглядывают, столько, что светло. Они лежат обнявшись, не спят.

— Как тихо здесь,— шепчет Таня.— Я совсем здорова уже... Как тихо, будто мы одни...

— А может, останемся здесь?

— А ты смог бы здесь жить?

— А ты?

— Не знаю. Сначала смогла бы, а потом — не знаю...

Они лежат неподвижно на широкой деревянной кровати, на тугих льняных простынях.

— Я почему-то вспомнила,— снова шепчет она,— как пошла в школу. Мама мне купила портфель, не успела, все работала и работала... И я пошла с ее старой сумкой... Я так плакала тогда во дворе, даже на первый урок не пошла, все плакала... А ты помнишь?

— Да... Мы все были маленькими, в белых рубашках, в наглаженных брючках, загорелые, под чубчик стриженные... И все стоим, важные все, серьезные, знакомимся за руку, называемся по фамилии, этот такой-то, а я такой-то, оттуда-то, как маленькие графы... Хочешь вернуться туда?

— Нет,— просто, легко ответила она.— Не хочу... Правда хорошо?

— Правда... Хорошо...

X

Они приехали с рассветом. Город только просыпался, в улицах шли первые автобусы, во дворах кричали петухи.

Марат уже встал, его жена возилась на кухне. Они посидели, покурили в коридоре.

— Все тихо?

— Тихо. Ее искали в мае, в июне искали, а теперь тихо.

— А меня не искали?

— Кажется, нет. Но вы лучше не ходите, особенно она. Живите у меня.

Он ушел по делам, его жена, маленькая скромная татарка, накормила их, собрала маленького сына в ясли, ушла. Таня легла, задремав, они договорились, что он сам приведет ее мать сюда. Перед уходом он погладил ее по голове, она улыбнулась ему спокойно.

Никто не встретился ему, улицы уже вновь опустели, все были на работе.

Оглядевшись внимательно, обойдя несколько раз двор, он наконец прошел к ее дому. Дверь была заперта, видимо, мать была в смене.

Он прошелся по городу, решил зайти к своим, но дома тоже никого не оказалось. Соседская девочка, выглянув на стук, поздоровалась с ним весело:

— С приездом вас, дядя Андрей. Вы в школу идите, мама там ваша.

Он улыбнулся ей, кивнул, вышел из дома, прошелся до школы, но туда почему-то не вошел. Школа стояла тихая, пустая...

Марата он увидел на улице. Тот шел, спешил к нему навстречу. Андрей оглянулся тоскливо на машину, разгружавшуюся у магазина, на балконы с бельем, свернул в подворотню, сел на камень, опустив голову. Марат догнал его, тяжело дыша, взял за плечо.

— Ну говори, говори,— Андрей сбросил его руку.— Все?

— Она сама виновата.— Марат сел рядом.— Пошла зачем-то к этому... Коле. Там ее взяли.

Во дворе завели мотоцикл. Через подворотню, оглядываясь на них, без каски выехал лохматый парень. Андрей засмеялся, встал.

— Ладно,— сказал весело.— Куда пойдешь?

— Она уже у них в гормилиции. Мне ребята сказали, что у нее все нормально. Ее не трогают.

— Ладно,— Андрей засмеялся снова.— Надо же какой казус. Форменный казус...

Марат взял его за локоть, повел куда-то дворами, куда, он не следил.

Марат оставил его одного в Шанхае, в какой-то кухне, закрыв на ключ. Он ничего не делал, сидел все, тихо качаясь на стуле, разглядывал свои руки, складывал что-то из пальцев, какие-то фигуры... Он сидел долго.

Вернулся Марат, сказал, что ее сейчас будут отправлять на вокзале. Они снова пошли переулками, Марат ласково, не крепко придерживал его за локоть.

Они долго ждали на вокзале у багажного отделения, Марат курил, следил за подъезжавшими машинами, за пестрой вокзальной толпой, Андрей, не глядя никуда, сев на тележку носильщика, прикованную цепью к столбу, снова сдвигал, складывал сосредоточенно свои пальцы.

Он встал сразу сам, Марат едва успел поймать его за руку, сжал крепко, что было сил, они пошли к углу, там, где у ящиков, контейнеров уже сошлись люди, окружив милицейскую машину, из задней двери которой двое сержантов ссаживали, поддерживая под руки, ее.

Она помедлила секунду, оглядываясь, ища кого-то среди людей, молча, хмуро смотревших на нее. Сержант, маленький, крутобокий, крепкий, на целую голову ниже Тани, снял фуражку, отер пот со лба, взял ее за плечо. На ней не было даже наручников, она стояла в том голубом платье, что купила первым в Москве. Поведя плечом, она поправила растрепавшиеся волосы, снова оглянулась на людей. Андрей рванулся к ней, толкнув чью-то спину, Марат повис на нем, схватив за горло, и она закричала, не видя их, в толпу, всем:

— Заберите меня! Заберите меня от него! Заберите меня! Пусть уйдет! Пусть уйдет! Пусть уйдет! Я не хочу, скажите ему, я не хочу его видеть! Пусть оставит меня в покое! Скажите, пусть уйдет. Пусть уйдет! Скажите, я ненавижу его, ненавижу! Пусть уйдет, скажите... Скажите!!!

Ее увели, кричащую, рвущуюся из рук, а двое все стояли, держась за кобуру, смотрели напряженно на людей, вглядываясь в их лица. Она оглянулась еще раз, посмотрела с такой тоской...

Машина уехала, люди расходились молча, хмуро, не глядя друг на друга. Марат пошел на перрон, Андрей все стоял среди расходившихся людей, глядел на мусор под ногами: Какой-то мужик толкнул его зло:

— Набежали... Не видали, как баба плачет!

— Так это магазинщица?..— спросил в стороне кто-то тихо.— Людка что ли?..

— Да нет, Воробьева дочка, та, что с тюрьмы бежала... Видел кто-то.

Его взял кто-то под руку, он поднял голову, увидел незнакомую женщину, заговарившую тихо, скоро:

— Андрюша, сынок, ты иди домой, тебе здесь не надо и на вокзал не ходи, теперь ей уже больше не поможешь. Хорошо, мать еще не знает, сказать бы не успели, а то прибежит, горе-то какое... А тебе уехать лучше, многие видели уже вас, народ не скажет, да вдруг сволочь какая найдется, из зависти... Ступай, родной...— И она отошла так же тихо.

Вернулся Марат, взял его за локоть, повел через грязный сквер, где люди сидели на лавках, жевали пирожки и глядели на них.

Дома он усадил Андрея на кровать, стал собирать ее вещи, разбросанные на постели.

— Я знаю одного из них. Они ее в купе везут, нормально довезут, не тронут... Вещи ее я спрячу.

Расческа ее еще лежала на зеркале, в ней остались ее волосы.

— Ты что делать будешь?

— Поеду. Домой зайду да поеду. Дел много...

— Ладно... чего теперь... Хочешь я с тобой пойду?

— Не надо...

Он проехал в автобусе, вышел, прошел домами. Был еще день, совсем светло, люди только-только шли с работы. В подъезде он задержался, постоял, держась за изрезанные перила, потом зашел под лестницу, прислонил чемодан к стене, похлопал себя по карманам.

— С приездом, Андрюша,— окликнул его кто-то.

Он кивнул, улыбнулся спокойно.

— Надолго?

— Да нет... ненадолго.

XI

Он увидел день, тихий, неяркий, теплый. Кто-то копался в саду, очищая грядки, непривязанная собака пробежала вдоль забора, встала, опершись передними лапами на штакетник, зарычала на него тревожно, глухо. В домах, в раскрытых окнах колыхались занавески, старик грелся у подъезда, на крыше сарая неслышно прошел кот, лег лениво.

Он оглядел все это еще раз, бросил окурок, вошел в подъезд. Дверь ему открыл парень в одних трусах, увидел Андрея, отступил в коридор, удивленный.

— Ты... Коля? — спокойно спросил Андрей.

— Я...— Он отошел еще дальше, оглянулся куда-то.

Андрей вошел, прикрыл дверь тихо.

— Чего тебе надо? — спросил парень зло.

Андрей молча разглядывал его крепкие сухие руки, красивое острое лицо, бегающие цепкие глаза. Весь он сухой, подтянутый как спортсмен, голые ноги худые и крепкие...

— Ты один? — снова спросил Андрей.

— Один.— Парень снова оглянулся куда-то.— А что?

Андрей пошел на него, тот пятясь осторожно вышел в маленькую кухню, зашел за стол.

Андрей молча, придвинув табурет, сел, не сводя с него глаз, принялся очищать грязь на залоснившихся рукавах пиджака. Парень вдруг засмеялся быстро:

— Ну ты чего как псих? Все ходишь, говори, что надо.

— Сядь,— тихо сказал Андрей.— Коля...
— Страшный какой...— Коля медленно сел на край стула, глаза его быстро обожали кухню, снова остановились на Андрее.

Они молчали. Андрей тихо, медленно начал раскачиваться, руки его лежали на коленях. Он сидел и качался, и качался, не сводя глаз с парня.

— Ну ты чего? — не выдержал тот.

— Зачем она приходила?

— Кто?

Андрей расстегнул пиджак и не спеша достал «марголин», взвел его, убрал под стол. Казалось, он просто сидит, наклонившись к столу, спокойный, тихий.

Парень потрогал стол, подобрал под себя ноги, сел прямо:

— Ты чего? Я-то здесь при чем? Ее не у меня взяли. Я из окна видел, она вышла уже, а ее двое ждут, взяли под руки, она глянула наверх, и я понял... Я-то здесь при чем? Ты, псих! Сами виноваты, попались!

— Зачем она приходила?

— Да так просто... Посидели, поговорили... Она фотографии свои забрала... Твое-то какое дело, ты! — заорал он вдруг.— Сука! Чего ты лезешь?

Андрей раскачивался снова, сказал совсем тихо:

— Убью я тебя...

— За что? — Коля встал, сел снова.— За что?

— Зачем она приходила?

— Да! — заорал он снова.— Да! Я ее драл здесь. Да!

— Врешь... Зачем она приходила?

— Да откуда я знаю? Просто зашла, я говорю, посидели, поговорили и все. Все! Это же баба, тварь, кто ее поймет! А ты, дурак, спутался, влез то же! Нашел из-за кого... Ты что? — он смотрел на ствол.— Ты что, из-за бляди повелся...

— Нет,— Андрей снял предохранитель.— Ты тварь, подонок, из-за тебя все вышло. Если бы ты женился...

— А ты сам... Сам! — заорал он.— Я уже после тебя был! Да подожди, подожди секунду.— Он смеясь выбрался из-за стола, достал откуда-то снизу бутылку водки, звякнул вилками, ножом, бросил зачем-то тарелку, закатавшуюся перед Андреем.— Сейчас, подожди...— И вдруг, кинувшись, ударил Андрея в грудь.

Тот, чувствуя, что падает, хотел выстрелить, но «марголин» уже выкрутили, вырвали из его руки. Он, не понимая, в чем дело, почему не может бороться, почему руки не слушаются его, все старался встать, съезжал медленно по стене, в кухню вбежал второй парень, постарше, пнул его в бок, сказал что-то Коле, тот, тяжело дыша, держал «марголин», кричал глухо:

— Тварь, убить меня хотел! Убить хотел...

А Андрей все съезжал и съезжал на пол, с удивлением глядя на гладкую деревянную рукоять, торчавшую у него в груди.

— Тварь, убить хотел, вот ведь... убить хотел...— Коля дрожащими руками налил в стакан водки.

— Скоты,— Андрей закашлял на полу красным.— Что делаете?

— Испачкает все.— Второй приподнял его, прислонил к стене.— Мешок надо. От шубы...

Он выбежал в комнату, Коля выпил наконец водки, задышал, наклонился, разглядывая Андрея:

— Ну что? Говорил, не лезь... Убить хотел...

— Дурак...— Андрей хрипел, дотянувшись до груди.— Вытащи.

Вернулся второй с большим прозрачным мешком из толстого полиэтилена, вытряс на пол крошки нафталина.

Вдвоем, торопясь, они надели мешок на ноги Андрею, помогая ему, подняли вдвоем, натянули хрустящий полиэтилен до горла, снова посадили, второй с трудом, упершись коленом ему в грудь, вытащил широкий мокрый нож, что-то захрипело в его груди, светлые розовые пузыри вышли горлом, Андрей уронил голову.

— Главное, чтоб дыр не было,— сказал старший парень, проверяя мешок.— Кончать надо...

— Как?

— Как, как. Голову придержи,— он взял покрепче нож.

— Подожди. Может, не надо?

— Ну давай скорую вызовем! — зло крикнул он.— Нежный? В тюрьму хочешь?

— Подожди.— Коля взял стакан с водкой, наклонившись, влил Андрею в пузыряющийся рот.

Тот, закашлявшись, захрипел, пришел в себя, глянул на них жалко, грустно.

— Кончать надо,— торопил старший.

— Подожди...

— Пойдите,— Андрей сказал тихо.— Не убивайте...— голова его моталась непослушно, полиэтилен прилип к животу, бурый, как на оттаивающем мясе.— Мне еще надо...— Он вдруг замер, глядя на их склонившиеся лица, на нож, взгляд его стал тоскливым.

— Ну все,— сказал старший, взял его за волосы.

— Ладно...— ясно сказал Андрей, он что-то делал руками в мешке.— Сейчас...— он наклонился, кусая что-то, потянул, вытащил зубами матовое кольцо с алюминиевыми усиками.

Они смотрели с удивлением, ждали, а он падал набок, и, когда упал, из мешка выкатился глухо черный ребристый лимон.

Он замычал, пополз, быстро двигая локтями, из мешка в коридор, хрипя, в глазах его была тоска, а за ним на полу на четвереньках сидел над гранатой Коля, зажмурившись, визжал как свинья; другой, закрываясь руками, отступал, отступал к стене...

Ахнуло широко, тяжелым ударом отозвалось в квартале, пугая птиц, останавливающихся, оглядывающихся людей, вылетели звеня в домах стекла, выглянули головы, глядели со страхом на старый дом, в котором вынесло раму, и теперь из пустого проема выходил тихо желтый, сернистый дым. Мужик, копавший в саду, выпрямившись, все хлопал в оглохшие уши, а вокруг него по свежей черной земле бегала с тоскливым воем собака.

В камере при тусклом желтом свете стоял смех. Женщины в одинаковых серых юбках и платках, сидевшие на табуретах, на двухъярусных солдатских койках, утирали руками глаза и смеялись, глядя на Таню, а она, в таком же сером, забравшись на стол, прохаживаясь, смеялась сама и все рассказывала им про море, про Москву, живо показывала жестами, какие женщины ходят и что носят и как на них оглядываются мужчины. Даже худая, хмурая старуха, сидевшая в самом углу в тени, когда никто не видел ее лица, улыбалась, вытирая шершавые сморщенные щеки, глядела счастливо.

Она и проснулась ночью первая от крика, сразу прошла к дверям, вызвала охранника. Когда зажгли свет и, гремя дверью, вошли охранники и врач, она, уже одетая, сидела в своем углу, безучастная, хмурая, даже не глядевшая на столпившихся в проходе женщин.

Они молча расступались, давая дорогу врачу, который прошел к койкам, отодвинул босую, одиноко плакавшую девушку и, тяжело кряхтя, наклонился, встав на колени, полез под койку, разглядывая Таню, лежащую на животе с задранной к сетке головой, повесившуюся на полу на таких коротких шнурках, что их едва хватило на петлю...

Эпилог

*Ах, мне бы скипетр и державу, я бы
таких дров наломал.
Ах, боже мой, боже мой, почему я не
зяблик...*

(А. Саморядов)

Над полем, широким, гладким, висело в белесой мгле солнце, у края стояли самолеты. Спустившись по трапу, они встали на бетоне, заspanные, помятые, оглядываясь с тревогой и надеждой. Старший группы, высокий седой мужик, застегнул пиджак, поправил хмуρο галстук, но сам тотчас, привставая на цыпочки, стал смотреть на дальнее в конце поля плоское здание с мачтой.

Некрасивая рыженькая девушка в светлой форме повела их в серый автобус. Миша пошел последним, в руке он нес авоську со скатанным в ком плащом.

В автобусе с ним рядом сел высокий аккуратный парень, тут же стал трогать ручки кресел, обивку, кондиционеры. Автобус тронулся плавно, бесшумно.

— Н-да,— Миша с грустью смотрел в затемненное окно.— А у нас в Тамбове осень уже... Клены красные, на озере утки, тихо... Н-да.

Парень отодвинулся от него.

Они вошли в просторный пустой аэропорт, встали у стеклянных дверей, оглядываясь, рассматривая пластиковые стойки. Людей почти не было, стояла чистая проветренная тишина, лишь где-то через электронный проигрыш тихий стеклянный голос объявлял что-то на чужом языке.

— Что же у них воняет так! — объявил вдруг Миша, задрал голову и нюхая воздух.— Клопов они травят, что ли?

— Тише,— оборвал его кто-то.

Они все стояли и глядели на автоматический сортировщик, выкладывавший на линию чемоданы. Миша отошел от них, пошел вдоль матовой стены, размахивая авоськой.

— Михаил, вернитесь! — окликнул его руководитель группы.— Я же сказал не расходиться.

— Я по нужде,— Миша обернулся хмуρο.

— Мы же договорились! — руководитель говорил раздраженно.— Или я буду отправлять вас домой.

— Ну и ладно... Я и сам поеду.— Он пошел дальше, разглядывая указатели, свернул за угол, поколупал ногтем светящийся витраж.— Подумаешь, цаца какая...

В баре было так же чисто и пусто, он, разглядывая сверкающие витрины, сел за стойку. К нему тотчас подошел улыбаясь высокий негр, весь в чем-то белом, крахмальном. Миша оглянулся, ища того, кому

он улыбается, но никого не было, негр улыбнулся ему.

Миша, положив сетку, пошарил деньги в карманах.

— Попить чего,— сказал он, тоже на всякий случай улыбнувшись.

Так они улыбались друг другу некоторое время.

— Попить бы чего,— снова сказал Миша, почесав затылок, показал что-то руками, огляделся...

— Н-да... Ладно, налей что ли водки.

— Уodka? — переспросил негр.

— Я,— кивнул Миша.— Яволь... То есть да.

Негр улыбнулся еще шире, поставил высокий стакан, налил на два пальца из длинной бутылки, поймал щипцами лед:

— Айс?

— Нет,— Миша покачал головой.— Ты уж, брат, ее сам со льдом пей.— И показал на стакан:— Налей еще, не жадничай...

Негр улыбнулся совсем уже широко, долил еще.

— Н-да,— Миша взял стакан, покачал головой, приспособиваясь к стакану, по-

нюхал его.— Рюмок что ли нет?..— Дохнув, он выпил все, поморщился, подышал в кулак, поставил стакан.

Негр тут же налил ему еще.

— Спаиваешь? — Миша поглядел на него.— Ладно... Поставь чего-нибудь. Музыка... Музыка!

Тот смотрел на него вопросительно.

— Ну Гленн Миллер... Ну? «Серенада солнечной долины»...

Тот покачал головой, пожал плечами.

— Ну как же это вы? Глен Миллер... Н-да.

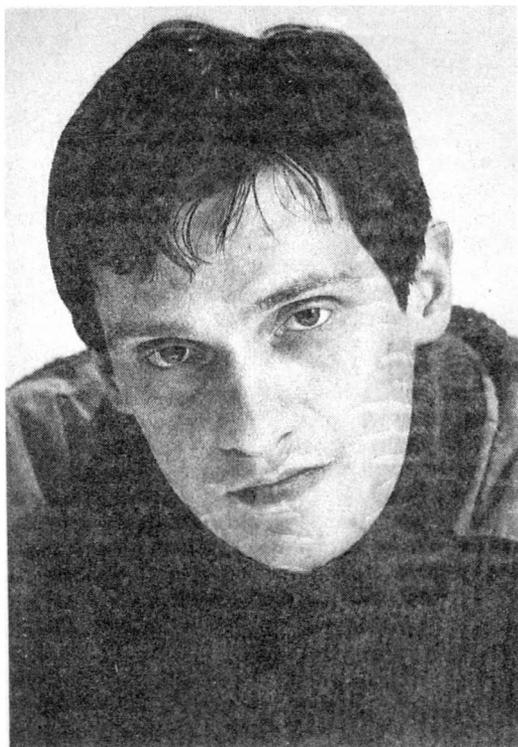
Он порылся в карманах, достал папирсы, продул одну.

Негр улыбнувшись протянул ему зажигалку, отошел.

В дверном проеме мимо уже пробежал один из группы, по-видимому, разыскивая его, а Миша все сидел на стуле сгорбившись, курил покачиваясь, шевелил губами, шепча что-то непонятное, и все глядел, глядел, глядел.

— Дюбá-дюбá... Дюбá-дюбá.





**Юрий
АРАБОВ**

КРУГ ВТОРОЙ

Валентина Петровна проснулась от того, что за стенкой кто-то выл. Сначала ей показалось, что это сон, или ветер воет, обдувая их башню со всех сторон.

Обычно, проводив сына в школу, она урывала еще часок-другой сна, но сегодня вот не смогла...

В окно глядел хмурый февральский рассвет. Валентина Петровна перевернулась на другой бок, и тут вой повторился, не оставляя в своей истинности никаких сомнений. Она ойкнула и села на кровати. Тут же закололо сердце. С тумбочки взяла валидол и положила под язык. Поверх ночной рубашки накинула халат. Поправила волосы у зеркала, к которому был прилеплен маршал Буденный. Выбежала на лестничную площадку и позвонила в соседнюю дверь.

— Алеша... Это ты выл?

— Все...— еле вымолвил Алеша, клацая зубами.

Ничего не понимая, она проскользнула в комнату. Там в углу, на диване, почти упираясь ногами в старенький телевизор «Рекорд», лежал, вернее, полусидел еще не старый человек с желтоватым лицом. Глаза его были прикрыты. Однако, когда Валентина Петровна наклонилась над ним, синие веки дрогнули.

— Что же ты...— хотела чертыхнуться она на Алешу, но радостно перекрестилась: —

Слава Богу! — так как рассчитывала на худшее.

Пролепетала:

— Константин Владимирович, миленький, как вы?

— Вы хотите меня усыпить,— пробормотал он.— Фаня хочет меня усыпить. Ты хотел меня усыпить. Я же сказал, что не хочу спать.

Чувствуя, что в его словах не все ладно, Валентина Петровна посмотрела на Алексея, стоящего в дверях.

— Он перестал что-либо понимать...— выдавил из себя Алеша.

— Бог с тобой, что ты в самом деле...— неуверенно возмутилась соседка.— Константин Владимирович, вы меня узнаете?

Он ничего не отвечал. Дыхание было глухим и относительно ровным. Алексей пошел в ванную, открыл кран с холодной водой и подставил под нее всклокоченную голову. Из крана побежала тонкая струя, но тут же прервалась. Внутри трубы тяжело загудело, словно «Адмирал Нахимов» вплывал в свой последний порт.

— Он же... вчера был нормальный! — прошептала Валентина Петровна.

— Я... Проснулся... Повел его в туалет... И там он упал...— У Алеша с волос капала вода и ему поминутно приходилось стирать ее руками с лица.

— Это снотворное...— сказала Валентина Петровна.— Так бывает у людей ослабленных... Примут на ночь, а наутро...

Она говорила, не веря. Однако в глазах Алеша зажглась надежда.

— Ну да, ну да...— залепетал он.— Я же вчера дал ему снотворное по вашему совету... И это... Новое болеутоляющее...

— А анальгин давал? — спросила Валентина Петровна с такой надеждой, будто от этого зависело все будущее больного.

— И анальгин! И анальгин! — почти радостно подтвердил Алексей, успокаиваясь, что так все хорошо разъяснилось.

— Вот видишь... Все это смешалось... Вроде окрошки получилось... И дало по голове!

— Сейчас мы вас подыдем, Константин Владимирович,— проворковала Валентина,— а то нельзя залеживаться, нельзя... Радикулит такая вещь... Вот Гоголь, например, залежался и готово...

Большой радикулитом молчал.

— Давай-ка его под руки,— пробормотала она, подняла ему правую руку, подставила плечо.

Алеша взял левую...

— А-а! — закричал Константин Владимирович.— А-а!

Они отпустили его, будто их ударило током. Крик был сильным и странным этой своей силой, будто в привычном теле сидел какой-то другой, незнакомый человек.

— Знаешь что, Алеша...— пробормотала Валентина Петровна, вытирая рукавом кончики глаз,— нужно вызвать неотложку...

Алексей опустился на корточки и обхватил голову руками. Константин Владимирович больше не кричал. Опасливо на него косясь, будто с его стороны все это могло оказаться выдумкой, соседка проскользнула на кухню и начала крутить телефонный диск.

— Алло... Скорая?... Скорую срочно!

На верхнем этаже начали громко стучать. Алеша, бросив взгляд на Константина Владимировича, скрылся в свою комнату. Она была маленькой и узкой, похожей на пенал. На полу стояли не прибитые к стенам книжные полки. Сами книги валялись на подоконнике и лежали пыльными стопками на полу.

Алексей лег на кушетку и подушку положил на голову, чтобы не слышать стука сверху и объяснений Валентины Петровны по телефону. Но пролежать долго не удалось.

— Алеша! Алеша!

Будто его дернули за ниточку, Алеша вскочил и бросился на кухню.

— Сколько ему лет?!

— Двадцатого... С двадцатого года,— пробормотал он, ощущая, что не может сосчитать точный возраст отца.

— С двадцатого года! — закричала в трубку Валентина Петровна,— Шестьдесят восемь получается...

Видимо, на другом конце провода задали новый вопрос, потому что соседка снова оторвалась от трубки.

— Чем он болен?..

— Не знаю... Поясницей...

— Радикулит,— выдохнула в телефон Валентина Петровна,— но у него состояние бессознательное...

Последнее сообщение подействовало на невидимого собеседника отрезвляюще, и Валентина начала диктовать адрес:

— Улица Светлая. Дом шесть. Восьмой этаж... Квартира сорок пять. Да, да, восьмой. Не заблудитесь, дом-башня. Здесь одна такая...

Повесила трубку. Алексей стоял напротив, не зная, что предпринять. Некоторое время молчали. Наверху перестали стучать, но зато включилась электродрель.

Соседка вдруг очнулась от своего забытья, взяла Алешу за руки:

— Я не знаю, что с Константином Владимировичем... Но, может быть, если что-то серьезное... А вдруг... То его придется положить в больницу, а?..

— Его там убьют,— сказал Алеша.

— Да,— согласилась она.— Нужно в хорошую... Может быть, в Министерстве обороны узнать? Попросил бы. Ведь он как-никак...

— Отец об этом слышать не хочет. Не хотел,— поправился Алексей.

Из комнаты донеслось мычание больного.

— Питье... Пить хочет,— догадалась соседка.— Сейчас, сейчас!

Налила из термоса лимонной воды и поспешила в комнату. Алеша пошел к входной двери.

— Куда?

Он не ответил.

Их небоскреб был заселен меньше чем наполовину. Сдали дом скоротечно, с недоделками и плохо работающей сантехникой. Правда, обещали доделать в рабочем, как говорится, порядке. Однако некоторые семьи бойкотировали новый дом, добываясь того, чтобы он был достроен до въезда.

Но люди, чьи жилищные условия были похуже, схватились за полуфиктивные ордера. Отец Алексея был в их числе.

Взяв роликовую доску, что стояла под дверью, Алеша начал на ней скатываться по лестнице вниз, рискуя сломать себе шею. До промежуточной площадки между восьмым и седьмым этажом он добрался благополучно, однако на следующей лестнице упал, и его доска скатилась на седьмой этаж впереди хозяина.

Здесь вообще не было жильцов. Двери в холлах отсутствовали — одну сломали и поставили, прислонив к стене, другая исчезла без видимых следов. Пространство для катания было меньшим, чем в спортзале, но все-таки Алеша разогнался, как мог, и помчался вперед, выставив руки, чтобы не стукнуться на резком выраже.

Колеса гремели на весь подъезд. Этот шум вытеснял из головы другой, внутренний, вызванный болезнью отца. Алексей даже запел, чтобы полностью заглушить в себе какие-либо мысли.

Где-то внизу хлопнула дверь. Немного погодя раздалось удары по железным дверям лифта. Но Алеша-то знал, что лифт не работал уже три дня, поэтому гости, кто бы они ни были, никак не могли пройти мимо него...

Шаги начали приближаться. Заскрипели двери между перекрытиями на этажах. Колеса под доской стучали и шумели.

Это были о ни. Чернявый высокий парень, плохо выбритый и в несвежем халате. С ним — субтильная прыщавая девица, почти ребенок, будто из школы пришла.

— Вы к нам. Пойдемте... — Алексей соскочил с доски, схватил ее под мышку и, чувствуя возобновившуюся внутреннюю дрожь, стал подниматься по лестнице.

— У вас, что ли, Савельев?

— Я сын его...

— А чего со стариком?

— Жаловался на боли в пояснице... А вчера я ему дал, кроме анальгина, еще этот... Забыл. Плюс снотворное... Теперь он говорить не может... Ведь такое бывает, а?

Алексей с надеждой оглянулся.

— Бывает, — услужливо согласился врач, как иногда соглашаются с маньяком. — А чем он болел-то?

— Это я вас хотел спросить...

— Слыхала? — вдруг нервно и торжественно воскликнул врач, обращаясь к девице. — Запоминай! А вы, молодой человек, должны бы знать, что «скорая помощь» диагнозов не дает!

— Я не молодой человек, — буркнул Алексей. — Мы ровесники.

— Да?! — удивился тот. — Мне-то под сок...

Алеша на это промолчал. Поднялись на этаж и подошли к двери. Она оказалась незапертой.

— Здравствуйте, проходите, пожалуйста! — кинулась им навстречу Валентина Петровна.

Однако и здороваться они не стали. Доктор лишь еле заметно кивнул, будто муху согнал с лица, а девица, опасливо покосившись в проем двери, где был виден лежавший на диване человек, прошла на кухню и сразу же начала вертеть телефонный диск.

Доктор поставил саквояж на стол. Наклонился над больным, слегка втягивая ноздрями воздух в комнате. Валентина Петровна громко всхлипнула.

— Как его зовут?

— Константин Владимирович...

— Константин Владимирович! — громко сказал врач. — Вы видите меня? Можете ли вы сесть?

На губах больного появилась бессознательно-лукавая улыбка, которая больше остального пугала Алексея.

— Угу, — пробормотал врач с каким-то удовлетворением.

Вытащил из саквояжа стетоскоп и, распахнув халат, в котором лежал Константин Владимирович, дотронулся до его груди. Сказал:

— И вот что удивительно. Сердце-то отличное.

— Это ведь хорошо, правда? — тревожно спросила Валентина Петровна.

— Правда, — согласился врач, — но номер-то дохлый...

— Ч-что? — выдохнула Валентина.

Врач хотел объяснить, но Алексей прервал:

— Не при нем. Пойдемте в коридор.

— Так он же все равно ничего не слышит, — удивился врач. Однако вышел.

Алеша плотно прикрыл дверь.

— Вам повезло, — сказал врач, — по-видимому, рак в четвертой стадии. Распад опухоли.

Они стояли в комнате Алеши. У врача насмешливо блестели глаза. Валентина схватилась за голову и опустилась на кушетку. Сам Алексей побрел на кухню и обратился к медсестре с бессмысленной фразой, о которой долго потом жалел:

— Вот и я дожил до этого дня. Я не хотел доживать.

Медсестра прижала к уху телефонную трубку и, по-видимому, не слышала того, что сказал Алексей. Как пьяный, он возвратился в свою комнату, где Валентина Петровна твердила:

— Его надо в больницу. Надо что-то делать! Возьмите его в больницу...

— В тяжелом состоянии мы в больницу не берем, — сказал врач.

— Но как же быть, как же?

Человек в халате пожал плечами.

— Почаще переворачивайте его на бок и на живот. Они умирают от пролежней раньше, чем от раковой интоксикации.

— Скажите... — выдавил из себя Алеша, — это... долго продлится?

— Не, — успокоил его доктор, — месяц, полтора — не больше.

— Лекарства... Облегчить ему страдания... Выпишите ему уколы, доктор, ведь это можно — уколы? — причитала соседка.

— Можно, — согласился доктор. — Только мы уколы выписывать не имеем права. И с собой не возим. Это ведь наркотики. Сейчас с ними строго.

— Кто же выпишет? — спросил Алексей.

— Районный онколог. Если поставит соответствующий диагноз.

— Но вы же поставили диагноз...

Врач высунулся в коридор и сардонически бросил своей ассистентке:

— Запоминай!

Повернувшись к Алексею, сказал:

— Сколько вам повторять, молодой человек! «Скорая помощь» не ставит диагноза.

— Ладно... Значит, вызывать районного онколога...

— Да нет, — и доктор спрятал стетоскоп в саковояж. — Вы опять ничего не поняли. Нужно вызвать районного врача, терапевта. Он вызовет онколога. А тот выпишет наркотики. — Врач хмыкнул: — Пойдем, Люба.

Вышел в коридор. Начал перекручивать замки, рискуя сломать его.

— Это невозможно, — пробормотал Алексей. — Районный врач не придет к отцу. — Обязан прийти, — отрезал доктор.

Вместе со своей ассистенткой он вышел на лестничную площадку. Алеша пошел их провозжать.

— Ты снотворное принимай, — сказал врач. — Спи побольше. Если есть любовница, встречайся почаще... Вот так.

Они спустились по лестнице и вышли на улицу. «Скорая» стояла прямо у подъезда. Поодаль солдаты суегились у огромного бронетранспортера, выгружая то ли ракеты, то ли трубы. Кругом были выкопаны глубокие траншеи. Обрывки ржавой колючей проволоки висели на покосившихся столбах, и несколько разрушенных изб довершали впечатление штурмовой атаки, которой подверглась недавно эта местность.

— Это что, немец пролетел? — поинтересовался доктор.

— Здесь была деревня Светлое, а теперь будет новый район, — объяснил Алеша.

Они сели в машину. Шофер дал газу, и колеса забуксовали в зимней распутице.

— Подтолкни! — заорал шофер сорванным голосом.

Алексей всем телом налег на машину, и она, обдав его с ног до головы грязью, съехала с гиблого места. Алеша проводил их долгим взглядом и, чуть задыхаясь, начал подниматься к себе.

Там уже Валентина Петровна накручивала телефонный диск, пытается дозвониться до районной поликлиники. Алексей мягко взял трубку из ее рук.

— Что? — не поняла она.

— Не примет Курападзе...

— Почему же?

— Потому что пять лет назад они хотели упечь отца в больницу. Он тогда в первый раз упал на улице. Сделали анализы. И кровь у него оказалась негодной. Гемоглобина — двадцать пять единиц или тридцать... Не помню точно. А в больницу он не хотел, презирал врачей... Ну и дали мы расписку заведующей отделением, что в случае смерти или болезни снимаем с нее всякую ответственность. Она нам тогда сказала: «Через год он умрет, но только уж тогда не просите меня ни о чем». Они у себя в поликлинике слышать не могут нашей фамилии...

— А может, ее вызвать на мое имя? — осенило соседку. — А потом провести ее к Константину Владимировичу?

— Мне на работу нужно, — пробормотал вдруг Алеша, чувствуя смертельную усталость.

Он работал в санатории для беременных, совмещая в себе две важные должности: резчика овощей и мойщика посуды. Я помню этот небольшой двухэтажный дом, бывшую купеческую дачу начала века, разделенную комнат на десять. В каждой — по две койки, и на каждой койке — по беременной.

Еще был один одноэтажный флигель, большую часть которого занимала столовая. Там, в подвале и работал Алексей. У него была шикарная импортная машина тридцатилетней давности для нарезания уже почищенной моркови и свеклы на мелкие кусочки. Ее все время чинили, и беременные жаловались на то, что когда овощи проходили через машину, от них пахло нефтью. Впрочем, это случалось нечасто. В основном же Алексей резал морковь столовым ножом. Я одно время часто забегал к нему погреться да потолковать о всякой чепухе. Он наливал мне азербайджанского чая, давал творога, который всегда был неплох, а его винегреты, к приготовлению которых он имел непосредственное отношение, я никогда не мог доесть до конца и выбрасывал остатки в мусорный ящик.

Это было похоже на ад, но ад уютный, приспособленный для неудачников и поэтов. Тускло блестели эмальрованные раковины, доверху забитые грязной посудой. Из железный чанов, стоящих на большой, как площадь, плите, поднимался загадочный пар. А из окна, забранного решетками, была видна гипсовая скульптура «Материнство», расположившаяся на площади перед главным корпусом. Глухие, счастливые годы...

Пройдя сквозь беременных, которые парами гуляли в парке, Алексей подошел к столовой и обнаружил повара Венедикта, который сидел в распахнутом тулупе на деревянной лавочке и оценивающе присматривался к беременным.

Алеша хотел спуститься в свое подполье, но Веня задержал его.

— Как тебе вот эта? — спросил, указав своим нечищеным ногтем на девушку, которая сидела одна на скамейке и читала книгу.

Алеша пожал плечами.

— Была б без ребенка, взял, — сказал Венедикт. — Ей-богу женился бы.

— Жаль, что ребенок не твой, — поддакнул Алексей.

— А кто тебе сказал, что не мой? — совершенно серьезно спросил Веня.

Из-за пазухи он вытащил смятые машинописные листки.

— Опять какая-нибудь порнография? — спросил Алеша.

— Ты читай, читай, это и тебя касается, — подбодрил его Венедикт и, обреченно-сладко вздохнув, пошел к скамейке с одинокой беременной.

— Бред какой-то, — пробормотал Алеша, просмотрев первую страницу.

Оторвался от листков и увидел Венедикта на скамейке. Тот уже положил свою лапу на колено беременной и что-то горячо шептал ей на ухо.

Беременная порывисто встала и, зардевшись, пошла прочь.

— Какая гильдия, вы что, с ума сошли? — рявкнул Алексей.

— Гильдия посудомойщиков на полном хозяйственном расчете, — жестко сказал Венедикт. — Создание оргкомитета, тот в свою очередь подготавливает всесоюзный съезд и — баста!

— А ну вас всех к черту, — воскликнул в сердцах Алеша. — У меня отец помирает, а вы со своей гильдией...

— Ты — дитя застоя, — сказал Венедикт, — поэтому в хозрасчете не понимаешь ни черта.

— А ты — чье дитя? — поинтересовался Алексей.

— А я — дитя исторической необходимости. А что говорит необходимость? Она говорит, что мы идем к строю цивилизованных кооператоров.

— Брось ты это дело. У тебя вся мужская потенция в гильдию уйдет.

— Не уйдет, — не согласился с ним Венедикт. — Видал, как зарделась?

— Видал. А если она от твоих домогательств преждевременно родит?

— Не родит, — сказал Венедикт. — По-моему, это — мужчина.

Алексей не нашелся, что ему сказать, а только сплюнул, потому что с Венедиктом Венедиктовичем толковать о чем-нибудь — только время терять.

Спустился к себе в подвал. Повесил пальто на крюк, вымыл руки... У больших чанов, в которые Венедикт засыпал свой товар, копошились двое его ассистентов — Маня

и Толя. Да еще официантка Люся дремала на стуле, прислонившись к батарее парового отопления.

Хмуро кивнув напарникам, Алеша начал чистить свеклу здоровенным ножом, который блестел, как топор палача.

— Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девочки!

Это с мороза, румяная, как снегурка, в подвал забежала главврач Смирнова.

— Мне Веня сказал, что привезли рубленый творог! Вот этот, что ли? — и она показала на большую миску с белоснежной массой.

— Этот, Любовь Борисовна, — подобострастно сказал Толя.

Та, принокхавшись, отхватила от творога кусок и отправила себе в рот.

— По-моему, горчит, — пробормотала задумчиво, — и несколько суховат.

— Так ведь можно сделать посочнее, — грозно, откуда-то сверху сказал Венедикт. Он стоял на лестнице и, как Суворов перед битвой, оглядывал свои владения.

— Нет, нет, Венечка. Я знаю, что ты можешь, ты все можешь, — нежно пропела Смирнова, взяла половник и начала им накладывать творог в литровую банку, которую достала из сумки.

— А это что, сметана? — спросила, заглядывая в ведро с прилепленной к нему накладной.

— Высший сорт, — гаркнул сверху Венедикт.

— По-моему, слишком густая, мальчики, — пробормотала Смирнова, пробуя. — Свежая сметана всегда жидкая.

— Не нравится, не бери, — отрезал Венедикт.

— Что-то наш Венечка сегодня злой, — проворковала главврач, когда наполнила банку очередной пробой. — Ну, я пошла, девочки. Только хлеб для котлет вымачивайте лучше и чтоб не подгорали. А то беременные жалуются.

Она проскользнула мимо Венечки, обдав его улыбкой. Он спустился вниз и грозно осмотрел своих подчиненных.

— Чего? — спросил Толик.

— Чего, чего... Слышал, что главврач сказала? Творог жесткий, сметана густая!..

— Понял, — ответил Толик.

Он тут же включил водопроводный кран и начал наполнять ведро водой, которая предназначалась для творога и сметаны.

— Когда я войду в гильдию, я ее посажу, — сказал Венедикт Алексею.

— Как бы она тебя не посадила, — ответил тот.

Венедикт обнял Алексея за плечи да так, что у того затрещали кости. Когда он отошел, Алексей начал закладывать в машину свеклу и морковь.

Включил красную кнопку. Машина заурчала, внутри нее заерзали стальные ножи, судя по всему, она вошла в свой нормальный ритм.

Алексей подставил миску и стал ждать, когда из пушечного жерла пойдут нарезанные овощи. Сверху что-то посыпалось. Он поднял голову и увидел, что куски моркови падают со стороны крышки. Венедикт подошел к машине, взял с пола отрезанный кусок и, критически оценив его массу, буркнул:

— Пойдет.

Домой Алексей возвратился, когда темно. Поднявшись на свой этаж, он не решился заходить в квартиру, а позвонил сразу Валентине Петровне. Открыл дверь взъерошенный паренек лет двенадцати, слегка косящийся на правый глаз.

— Здравствуй, Игорь. А мама где?

— У тебя. А он в самом деле умирает? — спросил мальчик, дожевывая что-то на ходу.

— Ну да, — подтвердил Алексей, неприятно удивленный его любознательностью.

— А можно посмотреть? — сказал Игорь.

— Пошел ты... Это что тебе, телевизор?

— Телевизор не телевизор, но надо знать, — мальчик вытер крошки с губы.

— Узнаешь еще... Каждый узнает, каждый...

— Одно дело — самому, а другое дело — со стороны, — сказал Игорь. — Опытом смерти нельзя воспользоваться, когда переживаешь его экзистенциально, то есть лично сам. Когда же ты наблюдаешь, то экзистенциальный опыт переходит в утилитарно-личностный, в тот, которым можно воспользоваться.

— Ты шепелявишь. Сходи к логопеду, — раздраженно посоветовал Алексей.

— Это потому, что у меня еще молочные зубы, — объяснил Игорь.

Алеша не нашелся, что ответить, и решил больше не тратить последние силы на этот странный разговор.

Достал ключ и отворил свою дверь.

— Нету, нету, — услышал он уже в прихожей, — нету у нас.

Прямо на него пятилась врач Курападзе, на которую наступала расстроенная Валентина Петровна.

— У нас один онколог на весь район. В семьдесят девятой поликлинике. Ой! — Курападзе вздрогнула, потому что наткнулась в темноте на Алешу. — Вы кто это?

— Я здесь живу, — сказал Алексей. — А где эта поликлиника?

— На тридцатом автобусе до конца. А там еще пройти или пересесть на восемьдесят седьмой... Там вам скажут, вы найдете.

— А направление, доктор, направление? — твердила Валентина.

— Нет... Не могу, не дам... Я ведь не знаю диагноза, — жалобно говорила Курападзе. — Это ведь анализы нужны... Кровь, моча, кал... Без них кто вам скажет?

— Тогда для чего нам онколог? — не понял Алексей.

— Так он же специалист. Он знает внешние признаки. Попросите его хорошенько, может быть, придет без направления... — и Курападзе начала напивать на себя свое потрепанное пальтишко.

— Как это плохо, доктор. Плохо все, плохо, — бессмысленно запричитала Валентина Петровна.

— А вызывать врача к одному больному, а вести к другому — это хорошо? — закричала Курападзе, потеряв терпение. — Знала бы, не пошла... У меня ОРЗ в острой форме, а по всему району вирус гриппа. А тут еще гепатит в школах, ой, мамочки мои!..

Только сейчас Алексей обратил внимание на то, что Курападзе хрипит. Она проскользнула мимо него, как тень, и ее польские сапоги застучали в прихожей.

Алеша, не раздеваясь, вошел в свою комнату и сел на диван. Спросил:

— Какая поликлиника?

— Семьдесят девятая...

— Девяносто седьмая, — нравоучительно поправил он, — а автобус тридцатый...

— А по-моему, нет, — засомневалась соседка. — По-моему, сорок третий, потому что тридцатый здесь не ходит.

— А сорок третий ходит? — резонно спросил Алексей.

Валентина, тяжело вздохнув, повалилась рядом с ним.

— Он, как ты ушел, в сознании был. «Где, — спрашивает, — Алеша? Почему ко мне не приходит?» Я отвечаю: «Работает. Работы у него много...» А он так понимающе кивнул... Даже улыбнулся...

— Так какая поликлиника? — почти закричал Алексей, чтобы прервать ее рассказ, который рвал ему душу.

— Целлофан... — сказала она сквозь слезы.

— Зачем?

— Целлофаном его нужно снизу покрыть... А то не могу я... Мокрый он, и белья чистого нет...

Он открыл шкаф и достал оттуда старую целлофановую крышку, которую стелил на пол, когда занимался фотографией.

— Подойдет?

— Да... Только ты должен мне помочь поднять его... А то я одна...

— Конечно.

Алексей наконец-то снял с себя пальто, постоял на пороге своей комнаты, ожидая, когда соседка поднимется с кушетки.

Перекрестился, входя в комнату к отцу...

Мальчик Игорь услышал через стенку, как кричал Константин Владимирович. Игорь делал домашнее задание по алгебре, но бросил его, чтобы внимательно послушать. Даже приложил ухо к стенке.

Было начало седьмого вечера, когда холодный «Икарус» выплюнул Алексея из своих стеклянных дверей. Выплюнул вместе с другим усталым народом сразу в черный сугроб. Но как только Алеша опомнился от шока дороги, народа вокруг него не оказалось.

— Извините, как пройти к девяносто седьмой поликлинике? — кинулся он к старушке с сумками, но та испуганно отшатнулась.

— Мужики, где девяносто седьмая поликлиника? — спросил он у двух парней и, видя их недоумевающие лица, поправился: — Или семьдесят девятая...

— Ошибся ты, парень, крюку дал... — раздался над ухом трескучий голос.

Рядом стоял старик в пальто без пуговиц. То есть пуговица была только одна, остальное заменяла большая булавка.

— Нету здесь ничего, и не будет. Тебе какая поликлиника-то нужна?

— Мне... где рак, — выдавил Алеша.

— Значит, семьдесят девятая, — подтвердил старик и задумался. — Видишь железную дорогу? — он кивнул на далекую насыпь. — По ней ближе всего. Твоя поликлиника рядом с платформой «Синельниково».

— А электрички туда ходят?

— Это ж окружная-товарная, какие электрички?..

Алексей закусил губу. Было темно. Насыпь возвышалась вдалеке, как черный горб. Судя по всему, он проиграл этот бой. Никто его не примет в такой час. Но все же, все же... Ведь есть, наверное, хоть один шанс...

С уверенностью приговоренного к расстрелу Алеша побрел к насыпи. Потом, вспомнив что-то, обернулся. Старик-советчик смотрел ему вслед.

— А в какую сторону? — крикнул Алексей, сложив ладони трубой.

Старик махнул левой рукой, хотя было непонятно, слышал ли он вопрос... Утопая по колено в снегу, который пахнул мазутом, Алеша кое-как вскарабкался на насыпь и пошел по направлению, которое ему указал старик.

Равнодушно горел семафор. Вдруг луч света ударил ему прямо в лицо, это шел навстречу товарный. Алексей посторонился. Машинист тепловоза что-то крикнул сверху и захотел, так во всяком случае показалось. Колеса покрыли смех и очень долго стучали над ухом. Потом опять — тишина. Бетонные шпалы под ногами и звезды над головой.

90

За спиной раздался низкий тягучий гудок. Еще один товарняк медленно ехал в ту сторону, в которую стремился Алексей. Вагоны были деревянные, многие — с распахнутыми дверями, из которых выпадала на пути какая-то пакля и солома.

Поезд шел медленно и как-то нехотя. Когда последний вагон обогнал Алексея, тот, не долго думая, прыгнул на заднюю площадку. Здесь тепловоз загудел опять и прибавил скорость. И только тут Алексей осознал, как опрометчиво поступил. По обе стороны насыпи зачернел глухой лес, указывающий на то, что они выехали за пределы города. Положение усугублялось еще и тем, что товарный слишком резво продолжал свой путь.

Мелькнула какая-то замерзшая черная станция или полустанок, но в темноте Алексей не мог прочесть названия. Задняя площадка, на которой он стоял, продувалась насквозь. Чувствуя, что замерзает, Алеша начал высматривать момент, когда ему спрыгнуть с этого дьявольского товарняка. Вот, кажется, колеса застучали потише...

Он прыгнул вниз и, не удержав равновесия, скатился в заснеженный овраг. Нет, кажется, все благополучно, ноги-руки целы... Он поднялся, выплевывая изо рта снег. Кругом чернел лес. Только вдалеке, на севере, висело огромное зарево, показывающее близость города. Нахлобучив ушанку покрепче, Алексей двинулся вперед, с трудом выдирая ботинки из цепкого снега.

Через несколько минут он добрался до обледенелой дороги. Видимо, это было какое-то ответвление большого шоссе, совершенно пустое, но с редкими фонарями, которые светили вниз мертвым неоновым светом. Ему повезло. У самой обочины стояла желтая «Волга», по виду напоминавшая такси. Алексей побежал к ней, размахивая руками и что-то крича, так как боялся, что она уедет.

В «Волге» сидел таксист и сосредоточенно подсчитывал дневную выручку. Алеша стал дергать дверь, но она оказалась запертой изнутри. Таксист лениво посмотрел на него и, подумав, опустил стекло вниз...

— Улица Светлая, — отчаянно гаркнул Алексей в образовавшееся пространство.

Таксист так же спокойно закрыл окно и включил зажигание. Чувствуя, что земля уходит из-под ног, Алеша вытащил из кармана смятую трешку, показывая, что он кредитоспособен.

Таксист на это хмыкнул, но в глазах клиента было столько отчаяния и мольбы, что он смилостивился и открыл переднюю дверь.

— Вот спасибо огромное! — простонал Алеша, плюхаясь рядом. — А я заблудил-

ся... Дело одно хотел сделать... Но не успел... Теперь бы до дома добраться живым... Уф!

Таксист молчал. Они выехали на какую-то окраинную улицу и поехали мимо одинаковых блочных домов.

Кончался пропаций, пустой день. А отец умирает. Если бы не этот потерянный день, кто знает, может быть, удалось что-нибудь сделать, может быть, может быть...

В машине работала печка. Алексей, ослабившись от тепла, задремал... И пробудился от того, что ударился в ветровое стекло. Над машиной висел светофор с красным глазом. Они стояли на оживленном перекрестке, пропуская пешеходов. Рядом находилось какое-то казенное здание с тускло освещенным подъездом, слегка похожее на школу.

Зажегся зеленый свет. Машина поехала вперед, и мимо глаз промелькнула вывеска «Поликлиника № 7...».

— Стой! — заорал Алексей, хотя не различил второй цифры.

Завизжали тормоза.

— Спасибо, я — всё...

Алексей посмотрел на счетчик. Таксист крутанул железную ручку, и счетчик перестал стучать. Цифры показывали 3 рубля 20 копеек. Трешка валялась в правом кармане, а вот мелочь... Алексей обнаружил только пятак.

Шофер лениво смотрел в сторону. Алексей положил к нему на колени обнаруженную сумму и свои перчатки.

— Кожаные, — пробормотал он и открыл дверцу.

Таксист молчал. Воспринимая его молчание как знак согласия, Алексей вылез и пошел к поликлинике. Услыхал за спиной шум мотора. Обернулся, ожидая расплаты.

Такси пятилось к нему задом. Остановилось. Шофер, не вылезая, просунул в окно его перчатки. Алексей взял их, хотел поблагодарить, но не успел. Взвыл мотор, и машина отъехала, теперь уже навсегда.

Досадуя, что не разглядел ее номера, а то бы написал мужику благодарность, Алексей поднялся по обледенелым ступенькам и вошел в стеклянный вестибюль поликлиники. Народу, несмотря на вечер, было достаточно.

Алеша опустил на скамейку, потому что у него вдруг закружилась голова. Напротив висел стенд, извещающий о том, в каких кабинетах принимают врачи... Однако онколога Алексей обнаружить не смог.

— Скажите, пожалуйста, у вас — онколог? — спросил он в регистратуре.

— Карточка есть?

— Нет. Я не за себя, я за отца...

— А... А я думала, что это у вас — рак, — сказала женщина в окошечке. — Придете в четверг. Сороковой кабинет. Людвиг Ива-

нович Капустин.

— Но... Позвольте. Сегодня же понедельник...

— Так он только два дня принимает. В понедельник и в четверг. А в остальные дни раки режет. Они разрастаются, раки-то...

У Алексея снова закружилась голова, и он был вынужден вцепиться в деревянный бортик, чтобы не упасть.

— Сегодня принимал... Пришли бы пораньше и попали бы... — утешила его женщина. — А сейчас — нету. Ему тоже отдохнуть надо.

Алексей безнадежно отошел от регистратуры. Проигрыш был столь закономерен и очевиден, что не стоило особо расстраиваться. Но Алеша был настоящим бойцом и решил, из суеверия, все-таки найти 40-й кабинет.

К его удивлению, дверь кабинета была слегка приоткрыта, в нем горел свет...

— Скажите, пожалуйста, а Людвиг...

— Почему в пальто? Почему в пальто?! — заорала на него молоденькая медсестра с таким ужасом, будто перед нею явился черт. — Если у вас опухоль, так и закон не писан?!

— Это у вас — опухоль, — не выдержал Алексей. — А мне нужен...

— Вон!! — заорала она истошно. — Пошел вон!!

И захлопнула перед носом дверь.

— Да здесь он, — тихо пробормотал мужчина средних лет, сидевший у кабинета. — Только что пробежал...

— Людвиг Иванович?

— Ну да. Сам его жду.

Алеша даже рассмеялся от счастья.

— В самом деле повезло, — сказал мужчина. У него была бородка клинышком и пухлые розовые щеки. — Он и в приемные дни не бывает. Шутка ли, по двадцать операций в день... Только бокс его и спасает.

— Какой бокс? — не понял Алексей.

— Английский. Он же из бокса сюда пришел.

— А вы, видно, знаете его... — предположил Алексей, решив больше ничему не удивляться.

— Вместе учились. Я ведь сам врач, терапевт...

Он хотел сказать еще что-то, но не закончил, потому что в конце коридора показался низкорослый широкоплечий человек, быстрый, как вихрь. Он был одет в песочного цвета замыганное пальто и большую голову втягивал в плечи, выставив лбом вперед, будто хотел уйти в глухую оборону.

— Люда!.. — бросился к нему ожидавший его врач.

— А-а... Анализы принес, направление? — спросил Людвиг Иванович.

Его товарищ вручил ему листки.

Хотя Людвиг Иванович стоял на месте,

Алексею показалось, что он как-то подпрыгивает и мельтешит ногами. Будто разминается, как это обычно делают боксеры.

— Отлично. В понедельник и приходи, прием. Во вторник прооперируем.

— Каким номером, Люда? — безнадежно спросил друг.

— Пойдешь под первым. Да ты не волнуйся, старик. Ты же знаешь, как у меня. Фифти-фифти. Вот так, — и Людвиг Иванович нанес ему в корпус удар прямой правой.

Алеша поднялся со скамейки и обнаружил, что Людвиг Иванович по росту не достаёт ему даже до подбородка.

— Извините, ради Бога. Я — со Светлой улицы...

Врач посмотрел на него снизу вверх, будто прицеливался для удара.

— У меня отец помирает... Со «скорой помощи» сказали, что рак, а наркотики, чтоб боль снять, не выписывают...

— Короче. В среду тебя устроит? — оборвал его Людвиг Иванович, потирая расплющенный нос кулаком.

Алеша даже опешил от такой оперативности.

— Конечно...

— Ну и отлично, — боксер похлопал его по плечу своей тяжелой рукой.

— А завтра нельзя? — совсем обнаглел Алеша.

— Можно, — сказал онколог. — Хоть завтра, хоть в пятницу... В общем, когда машину дадут. Адрес оставишь медсестре, — и Людвиг Иванович кивнул на 40-й кабинет.

Потом взял за плечи своего товарища-терапевта и побрел с ним по коридору. Алеша проводил их долгим взглядом и наконец решился переступить порог страшного кабинета.

Он ожидал, что медсестра, которая пять минут назад чуть его не убила, продолжит свою штурмовую атаку, но она вдруг спокойно сказала:

— Вы присаживайтесь. Спокойно все напишите... — и пододвинула ему бумагу с карандашом.

— У меня у самой мать... — пробормотала, глядя куда-то в сторону.

И Алексей понял, что она слышала все через приоткрытую дверь.

На улице поднялась метель. Замерзшая толпа народа стояла на конечной остановке автобуса. Вклинившись в их беспокойные ряды, Алексей только сейчас ощутил, что смертельно устал. Устал до такой степени, что не был уверен, доедет ли до дома или нет.

Наконец подкатил «Икарус» с заледеневшими стеклами. Алеша не сделал попытки

влезть в него. Просто сама толпа внесла его в неотапливаемый салон и прибила к середине прохода. Сесть он не успел. Со всех сторон его сплющило людьми, так что не было возможности даже полезть в карман... Впрочем, это было бессмысленно. Все деньги, до копейки, он отдал таксисту, а талончиков не успел приобрести...

На улице шофер хрипло и нечленораздельно ругался со своим товарищем. Потом нехотя влез в кабину, и автобус тяжело тронулся. Люди стояли плечом к плечу, спина к спине. Над их головами поднимался пар от дыхания, как дымят зимой открытые бассейны. И тут Алеша почувствовал, что задыхается.

К горлу подкатил какой-то комок. Виски сдавило железным обручем.

— Помогите! — хотел он крикнуть стоявшим вокруг него, но звука не получилось.

В черных окнах автобуса бежали тусклые огни фонарей. Народу на остановках не убавлялось. Кто-то сходил, но новые толпы брали салон штурмом.

Алексей был в обмороке. Собственно говоря, он бы упал, если бы нашлось для этого место. А так его тело, сплющенное со всех сторон, стояло, сохраняя видимость живого. Только глаза были закрыты, и разум был далеко, на иных путях и маршрутах...

Автобус подвалил к конечной остановке. Двери с трудом отворились, и народ потек на улицу. Только сейчас тело Алексея получило какую-то свободу для маневра и, лишившись подпорок, упало вниз...

Над головой блестели насмешливые звезды. Ледяной холод пробудил его на секунду, чтобы затем усыпить навсегда. Алексей постарался поднять голову, но это удалось ему не сразу.

Он лежал в какой-то глубокой яме. Застонав, он приподнялся и сел. И увидел, что на него движется слой коричневой мерзлой земли. Алексей, чувствуя, что его сейчас похоронит заживо, перевернулся на грудь и на четвереньках стал убежать от этой самодвижущейся горы.

Земля остановилась. На краю ямы оказалась голова в ушанке и стала ругать Алексея по-черному.

— Идиот! — закричал ему снизу Алексей. — По ночам люди дрыхнут, а не работают!

— Так мне за это свехурочные платят! — возразила ушанка.

Алексей все понял. Он находился в какой-то бесконечно длинной канаве, которую засыпал трактор. Как он попал в эту канаву, оставалось загадкой, но загадкой довольно мелкой по сравнению с тайной жизни и смерти.

— Ты чего пил-то? — прервала размышления ушанка.

— Чего-чего... Ваксу нюхал,— прохрипел Алексей.— Как мне до Светлой улицы добраться?

— До Светлой? — задумалась ушанка.— Лучше всего иди по этой канаве. Она и выведет.

— Ладно,— сказал Алеша.— Покедова. А ты все-таки смотри, кого своим трактором засыпаешь.

— А мне все равно кого,— возразила ушанка.— Лишь бы платили.

Алексей решил больше не тратить время на разговоры. Держась за края траншеи, встал. Начал оглядываться, ища свою кроличью шапку, но ее не оказалось. Не оказалось также наручных часов, что само по себе было неплохо, так как проясняло ситуацию и причину того, отчего его отнесли в канаву.

Подняв воротник повыше, Алексей пошел вперед. Это было похоже на то, как в войну солдаты пробираются по окопам. Только пули над головою не свистели. Вместо них свистел ветер.

Мужик оказался прав, канава вывела его прямо к дому, который стоял на горе, совершенно белый и длинный, похожий на зуб вымершего динозавра.

Алексей вошел в подъезд и поднялся на свой этаж.

— Алешенька! — всплеснула руками Валентина Петровна, разглядев, что с ног до головы он запачкан глиной и снегом.— Ты что, выпил?

— Есть немного...— сказал Алексей.

Из-за ее спины с любопытством выглядывал сын.

— Как он? — спросил Алексей раздеваясь.

— Так же,— вздохнула Валентина Петровна.— Морса клюквенного немного попил. Даже прошептал мне: «Я думал, ты не такая...» А вот какая, не сказал...

— Это — бессознательные слова,— возразил ее сын Игорь.— Есть такое понятие — разум на рефлекторном уровне. Мнимое пользование второй сигнальной системой.

Алеша тускло взглянул на него, но промолчал.

В его голове носилась какая-то смутная мысль, которую он никак не мог сформулировать, а лишь чувствовал ее уместность и важность сейчас.

— Врач-то придет? — тревожно спросила Валентина.

Алексей кивнул:

— Угу. Смилостивился...

— Боже мой,— заломила руки соседка.— Чтобы приехать к т а к о м у человеку, нужно еще упрашивать. И квартира эта... Неужели Константину Владимировичу не могли дать попросторнее?

— Могли бы, наверное,— пробормотал Алеша, все еще пытаясь сформулировать для себя невнятную мысль.— Вон, телефон поставили вне очереди, сразу, как въехали...

Глаза его прояснились. Телефон! Ну конечно же! Как это он забыл? Алексей прошел на кухню, затворив приоткрытую дверь к отцу, чтобы тот ничего не слышал. Накрутил телефонный диск.

Раздались длинные гудки, а потом пренебрежительнейший голос сообщил.

— Вы разговариваете с автоответчиком по эта Фаины Даргомьжской. Сообщите, что вы хотите ей передать.

Алексей чертыхнулся и повесил трубку. Но, подумав, снова набрал знакомый номер и, выслушав галиматью автоответчика, прокричал:

— Передай Фаине, что ее бывший муж умирает!

Бросил трубку и отключил телефон. Вытащил из буфета корвалол, накапал себе тридцать капель. Открыл воду в ванной...

— Только холодной нет,— сообщила Валентина Петровна.

— Плевать! — отрезал Алексей, скинул с себя одежду и, морщась от того, что он начинает свариваться, залез в горячую воду.

Его разбудил нетерпеливый звонок в дверь. Он, вздрогнув, сел на кушетке. Валентина Петровна, которая спала с ним вальетом, сказала тревожно:

— Врач!

Он, еще окончательно не проснувшись, нашарил ногами тапочки и побежал открывать. Увидев то, что стоит на пороге, отшатнулся.

Когда-то во времена моего тревожного детства на экранах шел американский фильм «Человек-невидимка». Там герой, чтобы придать себе материальность, замотал свое невидимое лицо медицинским бинтом. По тем временам это было довольно страшно, и слабонервных детей уводили с просмотра их родители.

Сейчас на пороге стояло то же самое. Совершенно белое лицо заматано бинтом. Маленькие прорези для глаз, кожаный плащ и рыжая лисья шапка...

— Что с ним? — вымолвило существо низким женским голосом.

Алексей, попятившись, издал нечленораздельный звук. Из комнаты выползла Валентина Петровна. Увидев существо, поперхнулась криком, так как вовремя заткнула себе рот кулаком.

Однако монстр никаким образом не прореагировал на их бестактное замешательство. Скинув плащ, он оказался в юбке и прошел к больному. Алеша и Валентина Петровна замешкались на пороге.

— А кто вы такая?

— Я? Никто... Соседка...

— Ага. Ясненько,— сказала существо.

Константин Владимирович лежал совершенно неподвижно, никак не отзываясь на этот странный разговор.

— Я так и знала, что этим кончится,— с трагическим удовлетворением заявила существо.

Повернулось и ушло в комнату к Алексею. Село на разобранную кушетку. Приказало:

— Достань мне платок из сумки. Разве ты не видишь, что у меня слезы?!

Здесь Алешу что-то кольнуло. Он достал ей белый батистовый платок, но не дал, а вытер ей слезы сам.

— Ага...— сказала существо, хлюпая носом.— От чего он умирает?

— От тоски,— сказал Алеша.

— А все-таки?

Алексей пожал плечами. После паузы осторожно спросил:

— А что с твоим лицом, мама? Опять на машине стукнулась?

— Подтяжку я сделала,— сообщила мать.— Да как-то не совсем удачно. Два раза переделывали... Ты о месте хлопотал?

— О каком месте? — не понял Алексей.

— Да на кладбище...

Алеша смолчал, но так страшно посмотрел на нее, что она начала оправдываться:

— С этим сейчас очень сложно... Нужно заранее все делать. Знаешь, куда могут загнать? За сто километров от города. Кто будет ездить?

Она от волнения поднялась с кушетки и начала ходить по комнате, приговаривая:

— Я всегда говорила, что нашей семье нужна своя, фамильная могила. А твой отец только смеялся. Ведь мог бы пробить от Министерства обороны, например...

— А почему ты от Союза писателей не пробила? — накинулся на нее Алексей.

— Дурой была. Кого бы попросить? — даже через бинт было видно, как она закусила губу.— Может, Петю Проскурина или Мишу Алексеева?

— Так они же не прогрессисты,— заметил Алеша горько.— Чего ж ты пойдешь с протянутой рукой в реакционный лагерь?

— Да. Некорректно,— согласилась мать.— Коротич мне этого не простит.

— И Солженицын тоже не простит,— предположил Алексей.

— А при чем тут Солженицын? — удивилась она.— Я давно с ним идейно размежевалась.

— А сам-то он знает?

— О чем?

— Что ты с ним идейно размежевалась?

— Какую-то ерунду говоришь,— потеряла терпение мать.— Что же делать?.. Ч-черт, еще поездка на Кубу, будь она неладна...

— Ты же там Фиделя испугаешь,— предположил Алексей,— с таким-то лицом.

— Мне послезавтра снимут, и у меня будет другое,— рассеянно сказала она.

Видимо, ее мысли снова перенеслись к большому, потому что она горестно заскулила:

— Костя, Костя... Верный сталинский сокол... Конечно, я не могла жить с таким человеком, и ты должен это понимать,— добавила она рассудительно.— Его, наверное, гласность доконала...

— Он подал в отставку до гласности,— заметил Алексей.— Просто надоело ему. А твои стихи он читал. Даже вот это, последнее... Где ты пишешь об этапе на Колыму. Спросил меня, разве Фаина сидела?

— Чтобы писать об этапе, не обязательно сидеть,— отрезала мать.

Алеша кивнул, как бы соглашаясь. Немного помолчали. Фаина Даргомыжская украдкой взглянула на часы.

— Может быть, вам надо что? — спросила, подытоживая разговор.

— Нет. Ничего не надо.

— Как это не надо? — вдруг подала голос из коридора Валентина Петровна.— Икры надо черной. Он же ослаблен совсем...

— У меня икры нет,— раздраженно ответила мать, очевидно, приревновав к соседке.

Вышла в коридор, достала из сумки связку апельсинов и положила под зеркалом. Не глядя на соседку, прошла к Константину Владимировичу, минуту постояла над ним и, поклонившись, начала одеваться.

— А отчего он улыбается? — шепнула она Алексею.

Тот пожал плечами. Поцеловал бинт, под которым должна была находиться щека.

— Она правда поэтесса? — с мистическим ужасом спросила Валентина Петровна, когда гостья ушла.

— Да. Фаина Даргомыжская,— ответил Алексей.

— Ты, значит, тоже Даргомыжский,— пробормотала соседка, о чем-то задумавшись.— А Константин Владимирович... очень любил ее?

— Любил,— сказал Алеша.— Полковники любят своих жен...

Он пришел на работу, недоумевая, как это он еще может ходить на работу в своем положении. Спустился в подсобку и обнаружил там главврача Любовь Смирнову, которая на холодной плите писала какой-то документ.

Хмуро ей кивнув, Алексей снял пальто, надел фартук и приступил к своим прямым обязанностям. Наложил целый таз свеклы и подставил под кран с водой.

— А скажи, пожалуйста, Алешенька, ты очень любишь своего повара?

— Чего? — ошалело спросил тот.

— Ну,— замаялась она,— тебя не смущает, например, антисанитарная обстановка, в которой вы работаете?

Алеша хмуро глянул на нее, и в его душу закралось какое-то подозрение...

— Нормальная обстановка,— буркнул он.

Вытащил из раковины таз и начал чистить предварительно обмытую свеклу.

Смирнова же обвела пальцем горелку, показав ему сажу. Алеша пожал плечами.

— А можно мне задать тебе два вопроса?

У нее были крупные и белые зубы, белые до такой степени, что на них были видны полосы от губной помады.

— Вопрос первый: что кладет Венедикт в гречневую кашу? И вопрос второй: что кладете вы в гороховый суп?

— В гречневую кашу Венедиктович кладет гречиху,— сказал Алексей, бросая очищенные овощи в машину.

— А почему тогда каша белая?

Укрепившись в догадке, что она собирает на повара компромат, заметил:

— Вы же знаете, как Венедикт любит беременных. Разве он позволит себе положить в кашу проваренные опилки?

Смирнова наморщила свой лобик.

— Ну да, опилки,— подтвердил Алексей, потому что почувствовал с горя приступ веселости.— Зиганшин, например, ел ботинки.

— Я не знаю, кто такой Зиганшин,— сказала вдруг Смирнова с обидой,— но излишняя страсть Венедикта к беременным мне непонятна.

— Венедикт патологичен,— признался Алеша.— И, как всякий маньяк, любит необычное.

— А ты кого любишь? — вдруг нежно проворковала Смирнова, заходя со спины.

— Отца,— сказал Алексей, подумав.

— В твоём юном возрасте этого недостаточно,— и она коснулась его спины.

— А откуда вам известно про мой возраст? Вы что, анкету смотрели?

Она хотела ответить, но не успела, потому что в подсобку спустился Венедикт, очи которого метали громы и молнии.

— Что она здесь делает? — гаркнул он, будто Смирнова была какой-то гусеницей, случайно залезшей сюда.

— Хочет узнать, что ты кладешь в гороховый суп,— подсказал Алексей, принимая его тон.

— А-а! Гороховый суп?! — повторил он страшно. Даже шея его налилась кумачом.

Бросился к кастрюле, одиноко стоявшей на плите, опустил туда половник и, подцепив что-то, приказал:

— Вынимай.

Смирнова с опаской потянула за ручку... Из зеленой жижи показался какой-то кусок, отдаленно напоминающий некое существо.

Она вскрикнула. Закричал Венедикт, замахнувшись на нее ножом. Закричал Алексей и запустил машину. Та заерзала и загнула.

Смирнова выбежала вон.

— Уволит она нас,— заметил Алексей, отдышавшись.

Этот крик подействовал на него благотворно и стало немного легче.

— Никогда,— сказал Венедикт с твердостью, не допуская иных вариантов.

Алексей выключил машину, так как она не вошла в рабочий режим.

— По-моему, Смирнова компромат на тебя собирает. Вы чего с ней не поделили?

— А это уж не твоего ума дело,— заметил повар.

Он вылил содержимое кастрюли в раковину.

— Ты бы с ней поосторожней,— заметил Алексей,— а то не ровен час...

— Эх, Алешка,— промолвил Венедикт со страстью,— люблю я тебя, стервеца...— Он вдруг снял с руки золотые часы и насильно сунул их Алексею.

— Ты мне лучше другое достань,— заметил тот, кладя часы на плиту.— Понимаешь, отцу очень нужна черная икра. А где ее взять?

— На,— буркнул Веня, вынимая из-за пазухи плоскую банку, на которой было написано: «Частик в томате».

— Да на черта мне это нужно? — рассвирепел Алексей.

— Скоро и этого не будет,— загадочно сказал Венедикт Венедиктович.

Из литровой бутылки он насыпал в помывочную кастрюлю что-то белое и мелкое, весьма напоминавшее опилки, о которых столь опрочетливо сообщил главврачу Алеша.

Валентина Петровна стирала в ванной грязные простыни, а сын Игорь на кухне тер для больного морковку. На верхнем этаже что-то пилили.

Игорь сунул грязную терку в раковину, положил морковку в марлю и стал выдавливать в кружку сок. Потом с кружкой вошел в комнату к больному.

Константин Владимирович лежал на левом боку, повернувшись лицом к стене. Игорь сел рядом, налил в ложку соку и приставил ее к тяжелым губам больного. Сок пролился мимо, прямо на одеяло...

В дверь позвонили. На пороге стоял Людвиг Иванович Капустин с большим синяком под глазом.

— Кто вы?..

Он не ответил и, не раздеваясь, прошел в комнату к больному, будто по нюху чувствовал, где он.

— Свет зажгите, пожалуйста,— попросил Людвиг Иванович.

Валентина Петровна щелкнула выключателем, до этого горела лишь настольная лампа.

— Может, прооперируете? — спросила робко.

— Помогите мне закатать халат,— попросил доктор.

Валентина хотела ему помочь, но ее опередил сын. Больной застонал.

— И я был таким же смелым,— сказал Людвиг Иванович и потрепал Игоря по голове. — Я не смелый, я — любознательный,— поправил тот.

Они вдвоем повернули Константина Владимировича на живот. Врач внимательно осмотрел кожу.

— Что, доктор? — спросила Валентина. Людвиг Иванович вышел из комнаты, прошел в ванную и только сейчас начал мыть руки, тщательно, промывая каждый палец. Вытер их собственным платком.

Присел на табуретку и на коленях начал что-то писать в блокнот. Вырвал страницу.

— Отдадите старшей сестре вашей районной поликлиники.

— Это направление на уколы? — предположила Валентина Петровна.

— Это диагноз,— сказал, поднимаясь, Людвиг Иванович.— Направление и рецепт она выпишет сама.

Не прощаясь, ушел.

Валентина Петровна взяла в руки бумажку.

— Не по-нашему... — пробормотала, силясь разобрать каракули.

— Это латынь,— предположил Игорь, взял у нее листок и по складам прочел: — Кансер... Четыре...

Выгода их нового дома заключалась в том, что районная поликлиника находилась почти рядом, в двух остановках.

— Давно был? — спросила Валентина какого-то мужика, одиноко топтавшегося на автобусной остановке.

— Минут десять стою,— ответил тот.

Внутренне плюнув, Валентина Петровна решила добраться до поликлиники пешком. Поминутно отступаясь, побежала вперед. Но только развила необходимую скорость, как ее нагнал громающийся автобус, весь подсвеченный изнутри, словно аквариум. Задыхаясь, она подняла руку, голосуя, но автобус лишь сначала притормозил, и только Валентина Петровна в надежде побежала к нему, дал газ.

Погрозив ему бессильным кулаком, она добралась в поликлинику минут на десять
96

позднее, чем могла бы, в полном отчаянии от того, что именно эти минуты все решили в худшую для больного сторону.

Она бывала в этой поликлинике неоднократно, поэтому без труда нашла кабинет старшей сестры.

— Это что такое? — спросила старшая сестра, увидев перед собой бумажку.

— Это сосед. Уколы...

— А у него из родственников кто-нибудь есть?

— Сын...

— Вот пусть сын и приходит,— сказала старшая сестра.

Ее тон был столь решителен, что Валентина Петровна не выдержала и громко заревела.

— Савельев Константин Владимирович,— продекламировала сестра, очевидно, для того, чтобы успокоить непонятливую посетительницу.— Вы разве Савельева?

Валентина отрицательно покачала головой.

— Пенсионерка... А раньше учительницей была...

— Вот видите, учительница, а такая непонятливая,— развела руками старшая сестра.— Вам, наверное, не хочется оказаться на скамейке под судимых.

— Почему... на скамейке? — не поняла Валентина Петровна.

— Потому что, если хотя бы одна ампула пропадет отсюда, даже пустая, то вас упекут. Допустим, сестра сделала укол больному, а вы как поступите с пустой ампулой?

— Выброшу.

— Вот именно. А этого нельзя. Пустые ампулы нужно сохранять для отчетности.

— Он... в командировке,— выдавила из себя Валентина Петровна, все-таки отыскав благополучный выход из создавшейся ситуации.

— Кто?

— Сын его. А больше никого нет.

Чувствуя свое надвигающееся поражение, старшая сестра замолчала. Слезы в глазах Валентины Петровны начали высыхать.

— Ладно... Если вам охота подвергаться риску, то пожалуйста. Только слушайте внимательно,— сестра наклонилась над ней и стала заговорщицки шептать: — Ампулы эти вы не должны выпускать из рук. К вам будет ходить девочка колоть... Так вы должны стоять над ней и смотреть, что она в шприц набирает. А то, бывает, сестры подменяют ампулы. Вколят свою, допустим, с водой, а вашу заберут, понимаете?

Валентина Петровна кивнула.

— А если случится что... Тут есть одна тонкость, которую вам также необходимо запомнить.

— Какая тонкость?

— В общем, ваш сосед может умереть. Когда это случится, вы должны будете по-

лучить от нас свидетельство о смерти. Но мы его не даем, понимаете?

Валентина Петровна закивала ей в такт головой, слегка даже усыпляясь ее рассудительным тоном.

— Чтобы получить свидетельство о смерти, вам надо перед этим вызвать «скорую помощь», чтобы она осмотрела тело. А то многие убивают своих родственников, особенно больных... «Скорая» даст вам направление, и вы придете к нам за документом...

— А вы не могли бы все это написать? — спросила Валентина Петровна, — Чтобы я запомнила?

— Нет, — почему-то наотрез отказалась старшая сестра. — Это — между нами. Вот, распишитесь в правилах пользования наркотиками.

И она пододвинула Валентине Петровне какой-то листок. Та, не прочитав, подписала...

Через два часа вместе с дежурной сестрой она возвратилась на Светлую улицу. Уже стемнело. Впереди себя Валентина Петровна увидела одинокую мужскую фигуру, спешащую к подъезду. Это был Алексей, сгорбленный и замерзший.

— Что? — вымолвил он, увидав двух женщин, бегущих к нему навстречу.

— Был врач, — выдохнула Валентина.

Втроем они поднялись на восьмой этаж.

— Как он там, — спросила мать у Игоря.

— Беспокоен стал. Кряхтит...

— Сейчас мы его успокоим, — пообещала Валентина Петровна.

— А может, не надо? — спросил вдруг Алеша. — Не надо этого укола?

Соседка с удивлением посмотрела на него, не понимая.

— Ведь он живет... Зачем укол? — не понимал Алексей.

У Валентины защемило сердце, и она была вынуждена присесть.

— Да знаете, какую он боль терпит? — спросила медсестра. — Это же — нечеловеческая боль. Ему надо облегчить страдания...

— А почему он почти не стонет? — спросил Алеша.

Медсестра замялась с ответом.

— В самом деле, почему? — повторила его вопрос Валентина Петровна.

В ее душе вдруг поселилось сомнение. От этого простого вопроса стало не по себе, и целостная картина последних дней вдруг дала глубокую трещину. Почему не стонет человек, умирающий от столь сильной боли?

— Может, у него и не рак вовсе? — жалобно спросила Валентина.

Вчетвером они стояли у постели больного. Константин Владимирович лежал, как всегда,

тихо, лишь дыхание вызовало его было несколько тяжелее обычного.

За окном гудел ветер. На верхнем этаже стучал молоток.

— Не стонет потому, что сил нет, — наконец-то сообразила медсестра. — Такое бывает с ослабевшими людьми...

Валентине Петровне полегчало от этой простой разгадки, она даже слегка улыбнулась и вопросительно посмотрела на Алешу. Тот молчал, раздумывая.

— У меня еще десять вызовов, — напомнила медсестра о своем драгоценном времени.

— Ладно, — махнул рукой Алеша, — по моему, мы просто сходим с ума...

И ушел в свою комнату. Медсестра сполоснула руки. Валентина Петровна выложила с опаской на стол коробку сверхценных ампул.

Сестра небрежно вскрыла ее и начала наполнять шприц. Игорь топтался в коридоре, с любопытством наблюдая происходящее.

— Помогите его повернуть, — пробормотала сестра, выпуская из иглы струйку жидкости.

Валентина Петровна склонилась над больным и начала переворачивать его на левый бок, уговаривая:

— Ну Константин Владимирович... Ну миленький... Сейчас полегчает...

Больной застонал к удовольствию медсестры, так как его стон все ставил на свои места.

Сестра подняла халат и ловко вкатила укол. Вдвоем с Валентиной они возвратили Константина Владимировича в исходную позицию.

— Через десять минут он заснет и проспит всю ночь, — сказала медсестра.

— Спасибо, — пробормотала Валентина. — Когда вы завтра придете?

— В первой половине дня, — пообещала медсестра и ушла.

Валентина Петровна заглянула в комнату Алексея. Он лежал на диване, в темноте, уставившись в потолок.

— Мы пойдем, Алеша... — неуверенно сказала соседка, — но если что, стучи в стенку, я тут же прибегу...

— Не надо... Отдыхайте! — возразил Алексей, внутренне содрогаясь, потому что ему предстояла одинокая ночь.

— Утром я приду, — прошептала Валентина.

И вместе с сыном ушла на цыпочках... Алеша проводил их до порога, закрыл дверь и накинул цепочку на ночь. Тихо подошел к отцовской комнате.

Судя по всему, Константин Владимирович крепко спал. Видимо, обезболивающее действовало быстрее, чем обещала медсестра. Алеша машинально взял со стола пустую ампулу, потушил у отца свет и плотно

закрыв дверь в его комнату. Бросил ампулу в мусорное ведро. Вынес ведро на лестницу и спустил содержимое в мусоропровод. Он специально загружал себя ненужной сейчас работой.

Возвратившись к себе, быстро разделся и лег в постель.

За время болезни отца Алексей пришел к простой и неизбежной мысли о том, что человек должен спать, пользуясь для этого каждой свободной минутой. Эта мысль настаивает любого солдата, любого подследственного и любого из нас, кто сидит у изголовья заболевших близких.

В последнее время у него начало болеть солнечное сплетение. Алексей положил на него правую руку, чтобы успокоить боль, и закрыл глаза. Тотчас его пронзила мысль о том, почему он закрыл дверь в комнату отца. А если отец позовет ночью на помощь?

Проклиная себя за малодушие, Алеша поднялся и приоткрыл дверь... Свою он тоже оставил открытой назло страху. Возвратился в кровать. Уже и сон начал подступать, как вдруг он услышал какой-то странный звук.

Это было похоже на лобзик, будто кто-то перепиливает небольшую деревянную планку. Тонкий негромкий звук, сродни комариному... Даже сначала показалось, что это соседи наверху опять что-то пилят.

Алеша встал. Прокрался к комнате отца. Понял, что звук идет оттуда. Так дышал Константин Владимирович, дышал по-новому. Словно горошину в горле катал.

Тогда Алексей, чтобы заглушить этот пытавший его звук, включил в своей комнате телевизор. У него стояла на письменном столе портативная «Юность» с перебитым пластмассовым корпусом.

Шла программа «Время». Комментатор критиковал дела на железнодорожном транспорте. Оказывается, было только девять часов вечера, а Алексею показалось, что стоит глубокая ночь. Но даже телевизор не мог перебить этот еле слышный звук дыхания... Алексей сделал телевизор погромче, взял кусок ваты, чтобы заткнуть себе уши...

Звук из комнаты отца прекратился. Алексей постоял минуту, прислушиваясь... Но нет, все тихо. Хорошо бы, чтоб так же тихо было до утра. Он выключил телевизор, больше в нем не нуждаясь. Лег... Теперь-то можно спать.

Но растревоженный, уязвленный этой тишиной, опять вскочил с постели... Зашел к отцу. В его комнате было так же бесконечно тихо. Не веря себе, Алексей зажег свет.

Отец не дышал.

Алексей опустил перед кроватью на колени.

Это была светлая, величественная минута

смерти близкого, родного человека, всего лишь минута. Даже меньше. Минута тишины и слияния с тайной, перед которой бледнеет все остальное и которая впоследствии является точкой отсчета всех твоих дел и дел близких твоих...

А потом началась истерия. Алексей вдруг поймал себя на мысли, что он смотрит сам на себя со стороны и удивляется, почему не плачет. Отсутствие слез было тяжелым и позорным моментом. Со стыдом и болью от того, что величайшая любовь и тоска по ушедшему отцу не могут выйти из него слезами, Алексей поднялся с колен и почему-то побежал в ванную, к зеркалу.

Там он заметил свои красные глаза и с наугой расплакался, так как плакать оказалось легче, когда видишь расстроенное лицо, пусть даже и свое.

Неодетый, с всклокоченными волосами он выбежал на лестничную площадку и кулаком застучал в дверь соседки. Та сразу же открыла и, увидев Алексея в таком состоянии, только и вымолвила:

— Ой!

Он опять постарался заплакать, но слезы на этот раз не потекли.

В проеме двери показался тревожно-любопытный Игорь. Но Валентина Петровна хлопнула свою дверь и в ночной рубашке побежала к Алексею.

— Как же так? — недоуменно пробормотала, глядя на неподвижного Константина Владимировича.— Как же?

Дотронулась до его руки и отскочила, будто обожглась об плитку.

— Да он неживой!..

Алеша выскочил на лестничную клетку и побежал вниз. Потом, опомнившись, побежал наверх... Дом был пуст и молчалив. Те немногие семьи, что жили здесь, находились в своих квартирах. Некоторые двери были сорваны с петель, и через них виднелись пустые нежилые стены с уже изодранными обоями.

Алексей вбежал в свою квартиру. Валентина Петровна сидела около покойного и тряслась, как в падучей.

— Эт-т-о м-мы... Я-я... уб-б-били...

— Надо что-то делать, делать!!! — заорал он, тряся ее за плечи.

— В «скорую помощь» з-зво-н-нить...— нашла она силы для связной фразы.— А т-то нас в... убийстве обвинят!..

Алеша дико посмотрел на нее.

— Мне объяснили,— пролепетала она, трясясь,— ин-наче не в-выдадут свидетельства... о смерти!..

Алексей застонал и, ссутулившись, пошел на кухню.

— Я с-сама...— попыталась она предложить свои услуги, но он уже накручивал номер.

А когда накрутил, то понял, что у него пропал голос. Что он бесшумно шевелит губами, а звук не идет — хуже, чем в кошмарном сне.

— Говорите! — надрывалась трубка.

— ...отец мой умер,— наконец-то прорвались слова из его горла.

— К мертвецам мы «скорую» не посылаем,— отрубилa девушка, и раздалась короткие гудки.

— К-к мертвым н-не присылают,— заикаясь, сказал Алексей соседке.

Не поверив, Валентина Петровна сама набрала номер «скорой»...

— Девушка... Тут человек скончался, а нам надо...

Замолчала, выслушивая ответ. Положила трубку на рычаг.

— Пропали! — вымолвила она с омерзением.— Что делать, Алеша?

— Вызывать, как к живому,— выдохнул он.

Соседка с ужасом уставилась на Алексея. А он сказал странную фразу, которая могла показаться бессмысленной:

— Как они нас, так и мы их...

— Я... не могу,— пробормотала Валентина Петровна.

Он посмотрел на нее с презрением, сорвал трубку с телефона и, накрутив две цифры, рывком:

— Девушка... Тут человеку плохо... Савельев Константин Владимирович, двадцатого года рождения. Улица Светлая, дом шесть, квартира сорок пять...

...Метель замела траншеи. Забытый бронетранспортер стоял в снегу, как Дед Мороз. Февраль был похож на стиральную резинку, которая исправляла безобразие, устроенное людьми.

«Скорая» на этот раз приехала очень быстро. Явились два молодых человека, которым Алексей сказал, пряча глаза:

— Он... не дышит.

Молодые люди понимающе, даже чуть весело переглянулись.

— Когда же это он успел? — удивился один из них, заглядывая в лицо умершему.

И Алексей осознал, что они до г а д а л с ь о розыгрыше. Но по инерции шепнул:

— Да вот, как только вас вызвал... Дыхание и прервалось...

К удивлению Алексея, они даже не дотронулись до тела, не послушали дыхания, а суетливо поспешили к выходу.

— А свидетельствo? — страшно выговорила Валентина.

Молодой человек, хмыкнув, написал какие-то цифры на клочке бумаги.

— Это номер нашей смены... Мы подтвердим факт... н е н а с и л ь с т в е н н о й смерти. Предпоследнее слово он произнес с нажимом.

Ушли...

4*

— А почему ненасильственной? — хрипло спросил Алексей.— Как они могут быть уверены, что я не убил отца?..

— Ампулы! — пронзила соседку страшная мысль.— Где они?..

Их переживания вступили в какую-то административно-бытовую фазу, которая странным образом не противоречила лежащему на диване телу.

Слава Богу, коробка с ампулами лежала на столе. Валентина открыла ее, чтобы удостовериться в сохранности уголовно наказуемого препарата.

— Ампула! — взвыва она.— Где пустая ампула?!

— Выбросил...— пробормотал Алексей, ту-по сожалел о своей невнимательности.

Валентина Петровна вдруг помчалась к мусорному ведру... Не найдя там желаемого, выскочила на лестничную площадку и, будучи вне себя, открыла мусоропровод. Алексей насильно оттащил ее... Она же стала кричать, отбиваясь:

— Мне — тюрьма! Мне — тюрьма!

Он сгрел ее в охапку и захихнул в квартиру...

Валентина тяжело дышала, как после сильного бега. Стояла, выставив голову вперед и опершись руками о стол.

— ...Его же обмыть надо, пока теплый! Что же мы?

Парализованный страшной перспективой, Алексей только смог развести руками...

— Конечно,— поняла она без слов, бросилась к телефону и, набрав номер, заголосила: — Катя! Это я, Валя... Тут покойника обмыть надо. Сосед мой приказал долго жить... Бери такси и приезжай.

— Старушка у меня есть, опытная,— пояснила Валентина, положив трубку.— Десять родственников похоронила... У тебя острые ножницы есть?

— Зачем? — не понял Алексей.

Его вдруг стала раздражать вся эта болтовня.

— Одежду его будем резать... Целиком-то его не одеть. Будем одевать частями...

У него подкатило к горлу.

— Тебе лучше уйти,— сказала соседка, поняв его состояние.— Иди к Игорю. Мы уж сами...

Алеша хмурo кивнул.

Утром он побрел в поликлинику, путаясь в своих ногах и сугробах. Когда подошел к белому зданию, то поразился полной пустоте и безлюдности вокруг. Такого не бывает в наших поликлиниках и не будет никогда...

Вошел в стеклянный холл — пусто. Регистратура закрыта. Ни одного человека кругом. Создавалось впечатление, что поликлиника была подвергнута срочной эвакуации.

Только плакаты на стенах предупреждали о кишечной палочке. Бодрые нарисованные люди занимались лечебной гимнастикой.

Где-то впереди себя Алексей услышал невнятный разговор и побрел на звук его. Открылась дверь, и оттуда вышла заплаканная женщина с размазанной косметикой на лице...

Кабинет напоминал подсобное помещение. Он не был оборудован ничем, на стенах не висели плакаты и диаграммы. Стояла лишь лежанка с сброшенным старым одеялом и небольшой стол, за которым находилась совершенно ветхая старушка в старорежимном пенсне.

— Где врач?! — страшно гаркнул Алексей, уже привыкший бороться за свои права.

— Я — врач, — прошамкала старушка.

— У меня... отец умер.

— А «скорая» была?

Алексей протянул ей цифирь. Старушка сняла пенсне и поднесла его к бумажке.

— Наркотическими лекарствами располагали?

Алеша протянул ей две упаковки.

Распечатанную она открыла и внимательно осмотрела содержимое.

— А где пустая ампула?

— ...Выбросил, — сознался Алексей.

— Ну и ладно, — сказала старушка. — От чего умер больной?

— Радикулит... Или рак... Не знаю, от чего.

— Напишем: рак, — она вытащила чистый бланк и стала аккуратно выводить буквы, поминутно спрашивая: — Отчество и фамилия больного... Год рождения... Диагноз...

Алексей отвечал, не веря своему счастью, так как приготовился к длительной борьбе. Спросил, осмелев:

— А почему поликлиника пуста?

— Так сегодня же воскресенье, — сказала старушка. — Вам очень повезло.

— Чувствую, — выдохнул Алексей.

— Я всегда быстро оформляю, — прошамкала она. — Потому что Ильич завещал нам бороться с бюрократизмом.

— Какой Ильич? — не понял Алеша.

Она в первый раз внимательно посмотрела на него и сказала с обидой в голосе:

— У нас был только один Ильич. Владимир Ильич.

— Ну да, конечно, — смешался Алеша. — А вы что... его знали?

— Знала, — сказала старушка. — Я ему шприц дезинфицировала, когда его от пули лечили.

Алексей кивнул, высчитывая ее возраст.

— Мне девяносто семь лет, — уточнила она, догадываясь о его мыслях. — Но меня приглашают по воскресеньям дежурить, потому что врачей нет... Вот, — она пододвинула ему листок. — Телефон ритуальной

службы я вам написала на обороте.

— Значит, мне можно идти? — спросил Алексей, все еще не веря своему счастью.

— Идите... Только сделайте мне одну любезность... Не подскажите, где это дом восемь по улице Светлой?

— У меня шесть, а где восемь — не знаю.

— Вы не домой сейчас? — прошамкала старушка, имея в виду что-то свое...

Они вышли из поликлиники минут через пять. Старушка правой рукой опиралась на палку, а левой — на Алексея.

— У меня ноги-то идут, а вот глаза не видят, — говорила она, оправдываясь.

— А как же вы на работу ходите? — поинтересовался он.

— Меня такси возит. Рубль дорога стоит...

Кое-как они доползли до Светлой.

— Наверное, эти лацуги, — предположил Алексей, показывая на дома, которые остались от поселка.

Возле одного они увидели мужика, который возился с замком, пытаясь его отомкнуть. Рядом с ним стояла женщина, показавшаяся знакомой. Алексей подошел к ним, чтобы спросить о доме восемь, но женщина, увидев их, растроганно сказала:

— Все-таки пришли!

Алексей вспомнил, что полчаса назад видел ее в коридоре поликлиники.

— А я вот слесаря попросила, — сказала женщина, показывая на мужика, ковыряющегося в замке. — Шутка ли, три дня из дома не выходят. Ведь старики совсем...

— Долго она болеет? — спросила старушка.

— Два месяца, как паралич расшиб... А он все ухаживал за ней, крепился...

У Алексея пересохло во рту. Конечно, после отца, умершего на его глазах, мало что могло испугать. Однако он ощутил жгучую потребность убраться восвояси.

Наконец замок щелкнул. Слесарь широко распахнул дверь, однако войти сам не стал. Женщина сунула ему смятый рубль, но он не ушел, ожидал, что же будет дальше.

Первой рискнула ветхая врачиха, Алеша помог ей подняться по заледенелым ступенькам на крыльце... В прихожей было ужасно холодно и вместе с тем душно. Старушка принялась и зацокала языком. Пробормотала еле слышно:

— Зовите милицию...

Женщина ойкнула, но не сдвинулась с места. Прихожая выходила на кухню. Там у Алеши потемнело в глазах...

А старушка, которую он вел, вдруг с необычайной силой ударила палкой по стеклу веранды и разбила его. Свежий морозный воздух ворвался в дом.

Газовые горелки были открыты до конца.

Врачиха закрыла их. Вынула из кармана носовой платок и, прижимая его к носу, заковыляла в комнату. Здесь силы оставили Алексея, и он не пошел вслед за ней. Видел только через открытую дверь скрюченное тело старика, который лежал на кровати поверх одеяла, обнимая за плечи жену.

А может быть, это только почудилось...

В ванной его вывернуло наизнанку. За тонкой перегородкой, отделявшей его одиночество от остального мира, щелкал дверной замок, громыхали звонки и велись нудные переговоры.

Дверь в комнату отца была раскрыта настежь. Тело его в новом костюме, который при жизни он не надел ни разу, лежало на раздвинутом столе.

Постель, на которой прошли его последние часы, была кое-как прикрыта покрывалом.

В коридоре топталась какая-то женщина в ватнике, похожая на пингвина.

— Простыни после него сжигали?

Валентина Петровна отрицательно покачала головой.

— Обязательно сжечь! — зашептала гостья. — Это же рак! Он может быть заразным!

— Да не рак у него был, — пробормотал Алексей, бочком проходя в свою комнату.

— Вы его не слушайте, — сказала Валентина Петровна, — он у нас газом угорел. Женщина в ватнике сочувственно покачала головой.

— Такой молодой, а уже угорел... Вы тело измеряли?

— Н-нет. Я думала, что это вы должны...

— Давайте, давайте же... — поторопила женщина, вынимая из саквояжа складной метр. — А я здесь побуду...

Она осталась на кухне и начала заполнять какие-то квитанции. Валентина Петровна на цыпочках подошла к телу и приложила к Константину Владимировичу складной метр. Возвратилась на кухню.

— Один метр, семьдесят два...

Гостья кивнула и вписала что-то в квитанцию.

— Что это такое? — не поняла Валентина Петровна. — Триста рублей?

— Оформляла по минимуму, — сказала женщина.

— Я этот документ не подпишу, — отказалась Валентина Петровна и поспешила в комнату Алексея.

— Алешенька... Тут такое дело... Ритуальные службы будут стоить триста рублей...

— Это без бальзамирования, — уточнила гостья, появляясь в дверях.

Алеша, морщась от головной боли, взял из ее рук квитанцию. Зашевелил губами, пытаясь разобрать каракули.

— Дайте, я прочту, — предложила женщина и, надев очки, зачитала официальный документ: — Гроб — сто восемьдесят КР, одна штука, двадцать шесть рублей.

— А белый есть? — подала голос Валентина Петровна.

— Белый на десять рублей дороже.

— Не надо, — сказал Алеша. — Дальше...

— Гирлянда к гробу — две штуки, восемь рублей пятьдесят копеек. Венки...

— Не надо венков, дальше, — пробормотал Алеша.

— Покрывало и накидка хэбэ, одна штука, четыре рубля. Нарукавники траурные...

— Не надо нарукавников! — в один голос закричали Алеша и Валентина.

— Зря вы так, — с сожалением пробормотала гостья. — Это же для гигиены... Орденские подушки, чулки, тапочки.

— Не надо!

Она тяжело вздохнула и с безнадежностью во взоре стала поправлять ручкой документ...

— Кремация — пять рублей. Предоставление зала — тридцать восемь рублей. Капсула с замуровкой — два рубля пятьдесят копеек. Игра струнного оркестра с органом — пять рублей.

— А без органа можно? — спросил Алеша.

— Без органа нельзя. Хранение урны — десять копеек.

— Хорошо, — выразила свое мнение Валентина Петровна.

— Снятие гроба со стеллажа — семьдесят пять копеек. Снятие гроба с автокатафалка — семьдесят пять копеек. Поднятие гроба на этаж выше первого — два рубля.

— Хватит, — сказал Алексей. — С нашими вычетами сколько получилось?

— Еще с цветами не решили, — напомнила гостья. — Есть гвоздики за двадцать семь и пятьдесят четыре рубля.

— За двадцать семь, — сказал Алексей.

Она стала вписывать в документ необходимые цифры, бормоча:

— Траурный букет — двадцать семь рублей. Сборка траурного букета — шестьдесят копеек.

Потом, водя ручкой по документу, подсчитала общую сумму.

— Вместе с доставкой букета получается тридцать один рубль... А ритуальные услуги — сто пятьдесят четыре...

Алексей кивнул. Гостья дала ему расписаться и с облегчением покинула комнату.

— Спасибо вам, что мужа сами изменили, — прошептала она Валентине Петровне. — А то я страсть как покойников боюсь...

— Он мне не муж. Мы при жизни даже ни разу не говорили, — объяснила соседка.

Гостья недоверчиво на нее посмотрела и тут же вздрогнула, потому что в дверь требовательно позвонили.

— Это, наверное, бальзамировщики,— предположила она и не ошиблась.

Вошли двое энергичных молодых людей и, не здороваясь, начали раскладывать свою аппаратуру: баллон со сжатым воздухом, провода, косметику...

— Ну до послезавтра! — шепнула она и, горячо пожалав руку Валентине Петровне, выскользнула на лестничную площадку.

Алексей начал напяливать на себя пальто.

— Я не приду ночевать... — пробормотал он растерянной соседке.

— Я понимаю,— сказала та.— Только утром приходи...

Было уже начало десятого вечера. Поскольку идти было решительно некуда, но оставаться дома было невыносимо, Алексей пошел на свою работу.

В окнах у беременных тускло горел казенный свет. Парк был черен и глух. Гипсовая композиция «Материнство», присыпанная сверху снегом, была похожа на чудовище.

Алексей проскользнул в железную калитку и направился к темной столовой. Какая-то незнакомая дворняжка пыталась его облаять, но Алеша сурово цыкнул на нее, и та ретировалась, боязливо поджав хвост.

У него был дубликат ключа. Отперев столовую, он спустился в подсобку, придвинул к батарее два стула и табуретку. Снял пальто, свернув, подложил под голову и лег лицом к стене.

Здесь была полная тишина, немислимая дома. Алексей прикрыл глаза. Спину слегка морозило, но ногам было тепло. Он уже начинал дремать, как до его слуха вдруг долетел разгоряченный шепот:

— Люб... а Люб, ну пойдём, ну чего тебе стоит... Ведь измаялся совсем!

Это говорил мужчина, его голос показался знакомым.

— Ты меня воровкой назвал,— ответила ему невидимая Люба.

— Так ведь ты и есть воровка,— возразил уговаривающий.— И я вор. И Алешка. Разве под твоим руководством можно не быть вором?

Послышалась какая-то возня.

— К своим беременным иди,— сказала Люба.

Она тяжело дышала, по-видимому, отбиваясь от домогателя.

— А ну их... Я же с ними, чтоб тебя подколоть... Хочешь, я этот санаторий закрою?

Алексей узнал их по голосам. Это, конечно же, были Венедикт и главврач Смир-

нова. Алеша застонал, переворачиваясь на другой бок и кляня судьбу, что даже здесь нет покоя.

— Весь этот санаторий — к черту,— продолжал Венедикт.— Организуем кооператив «Диалектик». Будем делать подслушивающую аппаратуру и торговать старыми учебниками по истории КПСС...

Зазвенела железная посуда, со всего маху падая на пол. Тут же за окном залаяли собаки и раздался шелест крыл поднявшейся в воздух вороньей стаи.

— Подонок! — взвыла в темноте Смирнова.— Я мужу скажу!..

— А я — жене,— сказал Венедикт.

Алексей, потеряв всякое терпение и надежду заснуть, крикнул в темноту:

— Я — не вор!

Смирнова ойкнула. Ее шаги побежали по лестнице. Лязгнула входная дверь.

— Почему не вор? — спокойной спросил Венедикт, зажигая в подсобке свет.— Творишь дома таскаешь? Значит, вор.

Он тяжело опустил рядом с Алексеем и схватился за голову руками.

— Ну ладно — вор,— согласился Алеша.— Но я зато не организую гильдию, не мечтаю о кооперативе «Диалектик». Я просто сижу здесь и читаю книги. А твою отношу отцу...

Он запнулся, потому что вспомнил, что отца больше не существует.

— Сегодня у нас торжественный день,— произнес вдруг Венедикт Венедиктович и поднял указательный палец вверх.— Сегодня мы прощаемся с санаторием для беременных!

Он опустил на колени и молитвенно сложил руки.

— Прощайте, беременные жены и беременные мужья!

Алексей с опаской поглядел на своего шефа, только сейчас заметив, что тот изрядно пьян. А Венедикт Венедиктович врасполцеловал металлическую кастрюлю и ответил ей земной поклон.

— Прости меня, Кастрюля, за те витамины, которые я в тебя недоложил!

Он поцеловал плитку и выпспренно к ней обратился:

— Прости меня, Плита Петровна, за все то, что я сготовил на тебе!

Достал из тумбочки столовые ножи и, как горец, стал прикладывать их к губам.

— Венедикт Венедиктович, прекратите свое языческое действо! — призвал его к порядку Алеша.

— А разве тебе не жалко всего этого? — спросил Венедикт, водя тарелкой по своим щекам.

— А чего мне это жалеть?

— Но я ведь это закрываю,— сказал повар как о деле, давно решенном.— Закры-

ваю, понимаешь?

— Погоди,— сказал Алеша,— мне нужно здесь поминки справить. Для ресторана — денег нет, а здесь — удобно, если поднапрячься... А, Венедикт Венедиктович? Жратвы потребуется немного, человек для семи... Спиртное я принесу...

Вена сел на стул и, не отвечая, начал раскачиваться, как маятник.

— А со Смирновой я сам договорюсь,— предложил Алеша,— она мне не откажет...

— Скучно мне,— сказал вдруг Венедикт.— Скучно русскому человеку! Скучно! — закричал он.

Его крик прорвался сквозь своды подсобки и вылетел наружу, как невидимый смерч. Даже две беременные, гулявшие в парке, остановились.

Труд бальзамировщиков дал себя знать — Константин Владимирович Савельев перестал быть похожим на себя. Как-то так получилось, что они загримировали его под маршала Жукова, а может быть, это впечатление создавали орденские колодки, которые решили приколоть к его черному пиджаку.

Ждали приезда автобуса. В доме появилась незваная плакальщица — подруга Валентины Петровны Катя, которая всю жизнь, по ее уверениям, хоронила своих близких.

— Такой человек,— шептала она, пригорюнившись у гроба,— герой войны, наставник молодежи, друг Иосифа Виссарионовича...

В ванной Валентина Петровна сдирала со своей головы бигуди. Она сильно нарядилась и перестала быть похожей на себя. Дверь не была заперта, и когда в прихожую вошел Игорь с пятью прыщавыми долдонами, то Алеша немного струснул.

— Это — пионеры,— успокоила его Валентина Петровна.— Проходите, мальчики.

— Курить можно? — спросил самый высокий пионер.

— Нет. В коридоре курите! — не разрешила Валентина.

Они пошли на лестницу и стали там галдеть.

— А из министерства — никого,— глупо усмехнулся Алеша.

В прихожую вошла молоденькая девушка с букетом болгарских роз.

— Н-ну ты... даешь! — с трудом пробормотал Алексей, приходя в себя.

Он помог девушке скинуть дубленку. Она прошла к гробу, положила Константину Владимировичу в ноги цветы и минуту постояла над ним, опустив голову.

— Что же ты мне не сказал, что у тебя есть невеста? — укоризненно сказала Валентина Петровна.

— Какая невеста? — удивился Алексей.

— Я — его мать! — отрезала девушка и увела Алешу в комнату.

У Валентины Петровны закололо сердце, и она была вынуждена принять валидол.

— Ты хорошо сделал, что решил кремировать отца,— сказала Фаина Даргомыжская, поправляя прическу.— Пусть это и нарушение христианских норм, но твой отец был атеистом.

Алеша тихонько потрогал ее нос и цокнул языком.

— А это? — с гордостью сказала Фаина, демонстрируя перед ним свою шею.

— Белиссимо... — развел руками Алексей.

Он послуныявил пальцы, дотронулся до ее волос, надеясь, что на руках останется краска, но она кокетливо оттолкнула его, сказав:

— Не надейся. Европейское качество...

Алеша глубоко вздохнул.

— Где ты решил захоронить урну? — спросила Фаина.

— У крематория... Как снег сойдет.

— У меня есть другое предложение,— мать обняла его и зашептала на ухо: — Пусть Костя меня простит, но ему уже все равно... Знаешь ли ты, что пепел на руках сейчас — дороже валюты?

Алексей испуганно посмотрел на мать и попытался отсесть, но она только крепче обняла его:

— В какой стране мира ты хотел бы побывать?

— Ты чего это? — не понял он.

— Ничего. Просто надо знать свои законы,— сказала Фаина.— Захоронив урну за границей, ты можешь как ближайший родственник бывать на могиле не реже раза в год.

— Послушай, тебе мозг при операции не задели? — поинтересовался Алексей.

— При чем тут мозг? — не поняла Фаина.— Теперь многие так делают. Тайно вывозят урны в чемоданах, организуют там захоронение и все... Говорят, во Франции есть даже специальная фирма, помогающая нашим гражданам в таких вещах...

— А на Кубу нельзя? — спросил Алексей, раздумывая.

Фаина хотела ответить, но в комнату вбежала Валентина Петровна:

— Приехали!

Алешу подбросило с дивана, и он стал срочно натягивать брюки, которые накануне отутюжила Валентина Петровна.

В прихожей уже топталась женщина-распорядитель, та самая, которая оформляла квитанции на погребальные услуги. Она критически осматривала дверь в комнату Константина Владимировича и наконец выснесла свой вердикт:

— Не пройдет.

— Мальчики, сюда! — позвала Валентина Петровна пионеров, куривших на лестничной площадке.

Они вошли в квартиру, и Валентина жалобно объяснила им:

— Не проходит.

Тогда самый длинный из них спокойно снял дверь с петель и прислонил ее к стене.

Старушка Катя с помощью Валентины обвязала покойника веревками, чтобы он не выпал из гроба на поворотах. Пионеры во главе с Игорем подняли гроб на плечи и понесли его в прихожую. Женщина-распорядитель, стараясь не смотреть в лицо покойному, руководила их действиями.

— Дура я... — сказала вдруг Фаина.

Алексей взвалил на себя красную крышку и стал спускаться по лестнице вслед за своим отцом...

В крематории перед ними сжигали какого-то солдата. Родителей его не было, а были друзья-сверхсрочники под предводительством молодого офицера.

Чтобы не мерзнуть, Алексей решил пройтись по территории. Здесь висели многочисленные объявления, рекламирующие услуги, которые предоставлял крематорий. Прощальное фото скорби (без покойника). Фото скорби в ритуальном зале (с покойником). Три образца могилы и надгробия. Два — из искусственного мрамора, который по внешнему виду не отличался от железобетона. Третий — из натурального, но на нем висел рукописный листок с корявой надписью «Нету».

Специальный плакат извещал о выгоде захоронения капсулы в закрытом колумбарии под девизом: «Вы можете бывать здесь и в снег и в дождь». И наконец, последний, самый маленький действительно требовал от клиентов ежегодной платы за хранение праха. К нему было пририсовано короткое слово «Суки».

Алеше слышалось, что его зовут. Он обернулся и увидел, что это Валентина Петровна машет ему рукой. Значит, началось...

Он поспешил к автобусу. Пионеры уже внесли гроб в ритуальный зал. Фаина Даргомыжская потушила сигарету и взяла сына под руку. За этот час она внезапно постарела лет на двадцать. Было такое ощущение, что кожа девушки слезает с нее, как со змеи, уступая место другому, не похожему на это лицу.

В ритуальном зале было холодно и гулко. За большим окном синел зимний лес. Невидимый оркестр заиграл что-то классическое. Гроб поставили на специальную секцию, которая должна была увезти его в подсобку.

— Начинается минута прощания, — сообщила распорядительница простуженным голосом. — Кто хочет что-нибудь сказать?

— Никто, — отрезал Алеша.

Вдвоем с матерью он остался у гроба. Валентина Петровна стояла чуть поодаль. Пионеры расположились у стены. Никто не знал, что делать. Алексей пытался сосредоточиться на мысли о том, что он видит отца в последний раз, но никак не мог войти в подобающее для этого настроение.

Его мать смотрела себе под ноги. Одна старушка Катерина знала, что делать. Она достала из баночки припасенной земли и стала бросать ее в гроб в виде креста.

— Прощание оканчивается, — сказала распорядительница.

Фаина отступила от гроба. Алексей подошел к отцу и поцеловал его в лоб. За спиной послышались громкие рыдания. Это не выдержала Валентина Петровна. Игорь подхватил ее под руки и вместе с товарищами повел на улицу.

Поднесли крышку. Распорядительница забила два полусимволических гвоздя, чтобы крышка не соскочила с покойного. Раздвинулись металлические створки, и контейнер с гробом стал уходить под пол.

— Траурная церемония окончена, — сообщила распорядительница.

Алексей, чувствуя явный стыд и неявное горе, которое не может выразиться, пошел на улицу.

Въехали в грязный и раскисший от оттепели город.

— Не расходитесь. Мы едем на поминки, — сообщил Алексей сидящим в автобусе. Но его мать шепнула:

— Отпусти... Мне что-то нехорошо.

Ее лицо было старым и печальным. Шофер затормозил у станции метро. Она крепко поцеловала сына в щеку. Выскочила из автобуса и заковыляла, утопая по колено в неубранном снегу. У Алексея зачесались глаза. Чтобы этого не заметили, он уткнулся в книгу, которую прихватил с собой.

...Подъехали к парку, где располагался санаторий. Две перекошенные от ужаса беременные прыгнули из-под колес. В их руках находились узлы с вещами. Шофер удивленно выругался. Алексей понял, что произошла катастрофа, ставящая под сомнение его будущее как резчика овощей и мойщика посуды.

Над санаторием висело зарево пожара. Алеша выбрался из автобуса и прошел во двор. Горело здание столовой. Беременные металась по двору, многие из них были полуодеты.

Главврач Смирнова вне себя подбежала к нему, крича:

— Это он! Он!..

Загудели пожарные sireны, и к санаторию подружили две красные машины.

— Все деньги из кассы забрал! — надрывалась Смирнова, припав к груди Алексея. — Все талоны на питание... И все мясо вывез!

— Милиция разыщет, — успокоил ее Алеша, отрывая от своей груди.

Подошел к сиротливой кучке людей, дожидających поминок.

— Да ты, отец, не грусти, — сказал ему самый длинный пионер. — Мы ведь запаслись горючим... Во дворе раздавим.

Здесь Валентина Петровна начала оседать на серый снег. Опрокинулась навзничь. Алеша бросился ее поднимать, но не смог. Глаза закатились под веки, а на губах выступила пена...

...Приехала милиция. Следователь подошел к догоравшей столовой, вокруг которой суетились пожарные, и смачно плюнул в самый ее эпицентр.

— Обширный инфаркт миокарда, — сказал человек в белом халате, поблескивая дужками очков. — Но старики это чаще выдерживают, чем молодые.

Они стояли в коридоре больницы.

— Я должен быть с ней, — попросил Алеша.

— В реанимации могут находиться только ближайшие родственники, — отрезал врач. — Ты — сын?

Алеша отрицательно покачал головой. Доктор потрепал его по плечу и пошел по коридору.

Алексей поглядел ему вслед и направился к вешалке. Гардеробщица подала ему пальто. Когда одевался, увидел мужика с упругой походкой и расплюснутым боксерским носом. Тот тоже обратил на Алексея внимание и, пробегая, бросил ему, как будто они только что виделись:

— Ну как он?

— Скончался, — сказал Алексей.

Людвиг Иванович Капустин притормозил. Что-то отдаленно напоминающее сочувствие промелькнуло в его глазах.

— Если что с тобой или друзьями твоими — то прямо ко мне, — сказал он, утешая. — А к Блохину не возите, зарежет.

Алексей вышел на улицу.

...«Икарус» высадил его прямо у ритуального центра. У бетонной изгороди топтались грузины, продавая букеты гвоздик. Алексей прошел внутрь здания и открыл дверь со стеклянной табличкой «Распорядитель».

— Я бы хотел получить прах, — сказал, предъявляя зеленое «удостоверение», подтверждающее права на покойного.

— Это там, где граверный цех, — сказала женщина, махнув в пространство рукой.

Он вышел во двор. В глубине стояли бетонные постройки с поднимающейся над ними квадратной трубой. Из трубы валил черный дым. Оказывается, это был так называемый граверный цех, а Алексей всегда раньше думал, что этот дым образуется от сжигания человеческих тел.

Он остановился у подъезда, где было написано: «Выдача праха». Но войти не рискнул. Сначала пошел к граверам... Там шумел станок для обтесывания камней. Мраморные доски невзрачного вида стояли у стен. Несколько нестарых рабочих перепиливали на машине здоровенную плиту.

— Ребята... Можно у вас памятник заказать? — спросил у них Алеша.

— Нет мрамора, — бросил один из них.

— А это что? — и Алексей показал на доски.

— Это — заказано...

В воздухе носилась каменная пыль. Алексей ушел из цеха. В предбаннике сидел какой-то старик, который, подмигнув, пробурчал:

— Давай четвертной, уговорю...

Но Алексей не дал. Больше идти было некуда, и пришлось делать то, ради чего он приехал сюда. Зайдя в подъезд рядом, он протянул девушке квитанцию и удостоверение.

Она ушла в комнату со стеллажами и вынесла оттуда урну, сделанную из белого камня, изображавшего мрамор. На ней химическим карандашом было выведено: «Савельев К. В.» Крышка сверху была прилипана кое-как, и Алексею показалось, что она может отвалиться.

— Зацементировано, — успокоила его девушка.

Алексей положил урну в целлофановый пакет. Она была очень тяжелой.

Подошел автобус. Рядом выстроили новый микрорайон, так что набилась масса народа, и пришлось притулиться у окна. Вместе с урной в сумке лежал потрепанный зарубежный детектив и батон белого хлеба за тринадцать копеек.

...Он добрался до дома, когда стемнело. Открыл свою квартиру и поразился тишине и безлюдью, которые были все еще непривычны для него.

Вошел в комнату, где лежал отец. Поставил урну на бельевой ящик рядом с телевизором. Наверху не стучали соседи. Никто не звонил в дверь.

Захотелось есть. Алексей открыл пустой холодильник и увидел «Частик в томате», подаренный ему незабвенным Венедиктом Венедиктовичем. Достал консервный нож и хищно вонзил его в железо. Со скрипом и стуком начал открывать... Под ножом что-то таинственно блеснуло.

Алексей отогнул крышку, не поверив

собственным глазам: перед ним была черная зернистая икра. Ему даже показалось, что в ней отражается улыбка Венедикта, как печальный привет из неизвестных далей.

Алеша отломил горбушку хлеба, намазал ее икрой. Откусил, но дальше есть не стал. Исчезло вдруг настроение, и голод исчез. Он возвратился в комнату. Сел напротив урны и стал тупо соображать, что же делать дальше. Спать не хотелось. На душе лежал камень.

Взгляд его упал на постель отца. Только сейчас он вспомнил, что даже не разбирал ее. А ведь кто-то ему говорил, что простыни после раковых больных надо уничтожать... Алексей зажег настольную лампу, так как стало почему-то жутко прикасаться к постели отца в темноте. Откинул накидку.

Перед ним был ком простыней и подушек. Подушки лежали в самых неожиданных местах, так как отец, когда был в сознании, подпирал ими свое тело, чтобы избавиться от боли. Алеша бросил на пол простыню и в нее начал укладывать все остальное, что он нашел в этой постели.

Два носовых платка. Пустой бумажник с измятой фотографией матери. Неначатая школьная тетрадь. Несколько упаковок валидола. Часть какой-то медали или ордена: бронзовый кружок потерялся, а заковка с цветной материей осталась. Несколько газет. Обломанный карандаш...

Все это Алексей бросал на пол, но, когда взялся за белье, поначалу даже отдернул руку. Оно было теплым, живым. Как будто бы часть отца ушла в него и продолжала там существовать, как искры огня еще долго тлеют внутри сожженного полена.

Ему даже показалось, что простыни лежат как-то странно... Своими складками они будто повторяли очертания человеческого тела. Как гипсовый слепок, как отпечаток в песке, как тень...

Он начал складывать белье на пол. И от странного чувства, что он сейчас разрушает

последнее материальное пристанище отца на земле, Алексей заплакал.

Но он не привык останавливаться на полдороге... С этим надо было кончать, чтобы не сойти с ума. Перед ним лежал огромный ком простыней и подушек, потерявший всякое сходство с человеческим телом. Улей был разрушен.

Алексей взялся за концы простыни, на которой все это лежало, и завязал их узлом. Получился какой-то шар неправильной формы, доставший ему до живота. Выставив его перед собой, Алеша понес это из квартиры.

Улица была пустынна. Падал крупный мокрый снег. Около траншеи были навалены трубы, как пустые гильзы от гигантских патронов. Два контейнера для мусора стояли недалеко от подъезда. Один повален на бок. Другой был большим, в рост Алексея. Встав на цыпочки, Алеша поднял над головой белый шар...

На минуту он застыл в равновесии на краю металлической стенки контейнера. Алексей вдруг оглянулся с опаской, боясь, что за спиной окажутся невидимые свидетели его преступления. Почему это было преступлением — он не мог объяснить, но чувствовал себя убийцей, заметавшим следы...

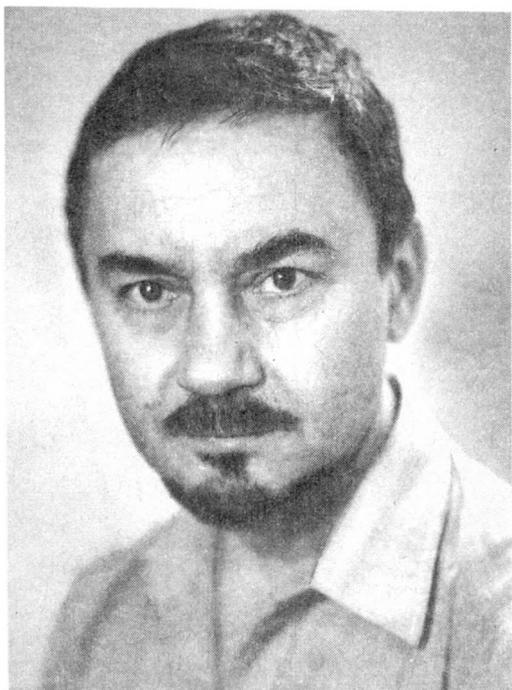
За спиной никого не было. Вытянув руки, он подтолкнул свой тюк — и тот глухо рухнул в ящик. Взял из сугроба снега, оттер пальцы.

В доме светилось лишь три окна. Все остальные были погружены в темноту.

Вечная память нашим близким, умершим раньше нас.

1989 г.





**Валерий
ИВЧЕНКО**

ДЖИНН

Сильный северный ветер гнал парус к родным берегам. Взлетая на гребни волн, люди видели скалы, прибой и пустынные пляжи.

С ревом катилась по палубе шхуны волна. И набегала вторая. Хлопал парус, обмякнув. Исчезало суденышко в брызгах и вновь поднималось над морем, откинув потоки воды.

Вдруг где-то рядом завывла сирена. За холмами набегающих волн, помахивая стволами орудий, показалось длинное серое судно. Засверкали красные вспышки, но попасть в парусник было сложно. Снаряды то уходили в степь, то бились в обрыв над пляжем.

Из хибарки, что прилепилась к скалам, услышав выстрелы, выбежал парень в телешашке.

Перед ним до самого моря расстился пляж, лежали плоскодонки, висели на шестах сети.

Парень побежал по пляжу, размахивая фонарем.

Подхватив парусник, водяная гора несла его прямо на берег.

— Держись! — кричал рулевой, вцепившись в румпель.

Его окатывала волна и уходила, открывая. Он стряхивал воду с лица и хохотал, оглядываясь назад:

— Ну давай! Лезь на камни!

Канонерка, боясь напороться на скалы, уходила в море.

— Салман! Правее держи! — закричал кто-то с носа шхуны.

Потом, вынырнув из-под паруса в прилипшей к телу мокрой одежде, человек кинулся на корму и вывернул румпель до отказа влево.

— Да знаю, Ян, я здесь вырос! — кричал Салман, лавируя в пене меж скал.— Родное селение! Вон, слева камень!

Вдоль левого борта мелькнула скала, вокруг которой, словно псы, подлетающие за мясом, прыгали вверх и вновь опадали волны.

— Сигнал! — закричал Ян.

Салман вспрыгнул на рубку и, цепляясь за ванты, стал всматриваться в берег.

— Это брат! — кричал он, качаясь.— Это брат мой Джамо! Он маячит!

Брат Салмана, парень в тельняшке, стоял на днище плоскодонки и размахивал над головой фонарем.

Море прибило парусник к берегу, и он, накренившись, лежал теперь на дне. Замелькали фигурки людей. Одни прыгали с наклонной палубы в воду и сразу проваливались в нее по грудь. Другие выносили из трюма длинные узкие ящики и клали на плечи тем, кто стоял за бортом.

Брат Салмана по колено в воде спешил им навстречу с другого конца пляжа. Он упал и, барахтаясь, поднял голову.

С палубы шхуны прыгнул последний... К берегу потянулись фигурки людей с ношей на плечах.

С обрыва по ним ударил пулемет.

Кто встал, замерев, кто рванулся назад, к накренившейся шхуне. Всех настиг пулеметный огонь.

Парень в тельняшке не успел добежать до брата. Он все еще барахтался в воде, и это его спасло. Его не заметили.

Кавалькада осторожно спустилась с обрыва. Храпя, вошли в воду кони, и, не слезая с них, всадники мусаватской контрразведки пистолетным огнем добились разбросанных волнами раненых моряков.

Все это видел, спрятавшись за скалу, рыбак в тельняшке.

...Позже, в лунном свете, он сидел перед убитым братом на пляже и шептал:

— Брат... Слышишь, брат?.. Что дома сказать, брат? — И он озирался вокруг, ужасаясь.

Рядом лежали товарищи брата — мертвые, мокрые. Набежала волна, тронула тело одного из них. Или он сам шевельнулся?

Рыбак наклонился, приложив голову к выпуклой, липкой от крови груди моряка.

У лежащего дрогнули ресницы.

— А, это ты... брат Салмана,— с трудом произнес он.

Рыбак, наклонившись, внимательно слушал.

— Там, на шхуне, спасательный круг. Я, наверно, умру, понимаешь? — Он сделал попытку привстать.— В нем николаевки, деньги, три миллиона... Астрахань просит горячее — нефть и бензин...

Луна забежала за тучи, и все погрузилось во мрак.

Джамо побежал в селение. Там он запряг лошадь в арбу, вернулся на берег и под покровом ночи увез раненого моряка в город.

Перед рассветом он был уже в крепости — старой части Баку. По узеньким улочкам, таким, что с трудом проходила арба, а небо над ними закрывали балконы, Джамо подъехал к своему старинному двух-

этажному дому неподалеку от дворца Ширваншахов.

Он открыл ворота и осторожно въехал во двор.

Потом поднялся на крышу и сверху оглядел улицу: не заметил ли его кто-нибудь?

Улицы были пустынные, и только на плоских крышах домов, спасаясь от жары, спали кое-где люди.

Внизу, ближе к набережной, сидела, прислонившись спиной к куполу бани, какая-то фигура, но сидевший смотрел в сторону моря и видеть Джамо не мог.

Успокоившись, Джамо спустился во двор и закрыл ворота.

Сегодня у мусульман был банный день, пятница.

Палтон Аббас Кули лежал на куполе бани и смотрел сквозь стекло вниз, поджидая добычу. Высокий, худой, в длинном приталенном пальто — он не снимал его ни зимой, ни летом и поэтому получил прозвище Палтон,— бандит наблюдал за тем, что делалось в бане. Это его сидящую фигуру заметил под утро Джамо.

В предбаннике разопревшие толстяки пили у бассейна чай.

В подвешенных на шнурах клетках пели канарейки.

В углу на каменной скамье ничком растянулся голый клиент, а на спине его танцевал босыми ногами жилистый массажист с полотенцем на бедрах. Клиент охал, мычал, стонал. Толстяки у бассейна звали его пить чай.

А в банном зале парился Эт-ага, божий человек. Бесформенный, похожий на тюк, он безучастно дремал на горячем мраморном изложье, а вокруг, исчезая в пару, сутились банщики.

Один, наклонившись к нему, шептал:

— Эт-ага... Это я, твой Мамед. Спинку хочу потереть.

— Потри,— соглашался тот.— Все мои косточки ломит.

— У тебя же нет косточек,— ворковал банщик, переворачивая Эт-агу на живот,— тебе только кажется.— И растирал шерстяной рукавицей спину.— Хорошо?

— Хорошо,— отвечал Эт-ага, прикрывая глаза.— Дочка твоя скоро замуж выйдет...

— Вай! — изумлялся Мамед, замирая.— Она же хромая!

— За хромого Али и выйдет... Внуков тебе народит.

— Внуков? — пугался Мамед.— Хромых?

— Почему же хромых? Нормальных... Ты три меня, три!

— Ай, спасибо тебе,— радовался банщик, растирая божьего человека.— Пятница —

мой любимый день. Еще что-нибудь предскажи, Эт-ага. Буду я твоей жертвой!

— Жертвами будем мы все... — отвечал Эт-ага, вздыхая.

— Нет! — остановил его банщик. — Молчи! Пожалея меня ради Аллаха. Иначе я сойду с ума. Рассказывай только хорошее.

— А плохое само придет, — подхватил Эт-ага. — Ополаскивай...

В это время послышались крики. В предбанник вбежал человек:

— Эй, мусульмане! Беда!

Толстяки повскакивали с мест.

Человек распахнул дверь парной:

— Скорей выходите на улицу! Этибар предсказал землетрясение! Начнется в двенадцать часов.

В бане возникла паника. Кое-кто бросился к вещам.

В это время Палтон, видя, что добыча ускользает от него, выломал в куполе окно и, повиснув на руках, прыгнул вниз. Не вынимая маузера из кобуры, он захохотал диким смехом, согнувшись в своем черном пальто, как вопросительный знак.

Канарейки умолкли. Лишь позывкивали армуды* в руках перепуганных толстяков.

— Ну? — грозно спросил Палтон, отсмеявшись. — Долго я вас буду ждать?

Голые люди, согнувшись, прикрывая простыней наготу, побежали к широкой тахте в углу предбанника, где они оставили одежду. Достав деньги и драгоценности, они покорно сложили все к ногам надменного Палтона. Бандит нагнулся и взял из кучи карманные часы.

— В двенадцать часов, вы сказали? У нас еще есть время.

Он приложил часы к уху и сладостно закрыл глаза.

Момент был удобный, но никто не пытался стрелять, хотя оружие было у многих.

В предбанник внесли Эт-агу.

Палтон, увидев божьего человека, пытался бежать, но был пригвожден его взглядом.

Слуги посадили Эт-агу на тахту и укутали одеялами.

Палтон корчился на ковре, пытаясь отодрать ноги. Край ковра завернулся, послышался треск; из ковра, как из раны, хлынула кровь. Бандит замер от ужаса и уже не пытался бежать.

— Заступись, Эт-ага, — простонал кто-то.

— Ай, мусульмане, — покачал головой Эт-ага, — он же трус. Почему вы его боитесь?

Полуголые люди молчали.

— Беда, мусульмане, придет, — продолжал Эт-ага, глядя не застывшего Палтона. — Этибар всегда все видит, но никогда

ничего не понимает. Надоело мне вас спасать.

Слуги подняли его и понесли к выходу. Хлопнула дверь.

Секунду спустя запели канарейки.

Палтон отодрал от ковра ноги, собрал дань и пошел к выходу. В дверях обернулся:

— Что, испугались? — и с хохотом вывалился вон.

Оставив раненого на попечении сестры, Джамо, не теряя времени, уехал в Бильгя.

Там он снял шхуну с мели и, пригнав ее в бакинскую бухту, поставил на якорь. Сам сел в ялик и погреб к семнадцатой пристани.

Не успел он причалить, как попал в облаву. Полицейский проверил документы и вернул. Легавые прочесывали пристань, ловили бродяг и под конвоем отправляли их на нефтепромыслы.

Из-под пристани рыжий детина выволочил на свет двух оборванцев. Те упирались, цеплялись за лодку.

— Ну? — швырнул он их на песок. — Что вы там делали?

— Я здесь живу, — угроמו сказал один.

— А ты?

— А я у него квартирую, — весело отвечал другой.

И тут же за эту невинную шутку получил от легавого в бок.

Джамо, шедший по пристани, остановился.

— Чего встал? Проходи! — рывкнул легавый, задирая голову. Курносое лицо его было похоже на кукиш.

Веселый бродяга, воспользовавшись моментом, скользнул, как кролик, под ногами и побежал, петляя меж лодок, прочь.

Легавый кинулся следом.

Первый так и остался сидеть.

— Что же ты не бежишь? — спросил Джамо.

— Куда? — усмехнулся тот.

— Совсем негде жить?

Бродяга покачал головой.

— На шхуну ко мне пойдешь?

— Пойду...

Так Федя нашел ночлег, а потом и работу.

Джамо вошел в крепость, когда фонарщик зажигал на стенах домов лампы.

Весть о том, что убили Салмана, облетела весь квартал. У ворот его дома траурно чернела толпа. Старики сидели на камнях у своих домов, курили трубки. Наклоняясь друг к другу, перешептывались, поглядывали на окна двухэтажного дома.

* Армуды — стеклянные стаканчики грушевидной формы.

Оттуда были слышны рыдания женщин. Джамо прошел сквозь толпу к воротам, кивая на слова сочувствия.

Вскоре совсем стемнело, толпа разошлась, и лишь одни старики, как стражи ночи, остались сидеть на камнях у своих дверей.

И тогда в ворота двухэтажного дома бесшумно проскользнула мужская тень. Впустив гостя, Джамо запер дверь на засов.

Аслан Султанов, одетый в китель морского офицера, сел за стол. Огляделся. В углу, рядом с лампой, шумел самовар, в нишах стопкой были сложены одеяла и подушки. Никакой мебели, кроме стола и нескольких стульев, в комнате не было.

Джамо налил гостю чай, придвинул блюдечко с колотым сахаром. Сам пить не стал, сел напротив.

— ...Их расстреляли на моих глазах. Весь экипаж. Тринадцать человек.

— Тринадцать?

— Одного мне удалось спасти.

— Где он сейчас?

Джамо поднялся и распахнул дверь в соседнюю комнату.

В широкое окно светила луна — светлый квадрат от нее лежал на кровати, спадая углом на пол.

Раненый матрос приподнялся на белой подушке, перебинтованная грудь вздымалась от дыхания.

Джамо принес фонарь, поставил на пол. — Ян, — сказал он. — Это наш человек. Через него идет связь с кавкрайкомом.

— Черноусов, — протянул руку раненый.

— Аслан Султанов, — ответил рукопожатием гость.

В это время на улице послышались крики. Джамо кинулся в соседнюю комнату, выглянул из окна.

В ворота их дома барабанили прикладами люди в военной форме.

Старики, поднявшись со своих камней, пробовали их успокоить.

— Кто? — шепотом спросил подошедший сзади Асланбек.

— Англичане. Надо немедленно уходить. Я позову соседей... — Джамо исчез.

Асланбек прошел в комнату раненого, распахнул над кроватью окно — оно выходило на плоскую крышу соседнего дома.

— Что такое? — приподнялся на локтях Ян.

— Облава. Лежите. — Асланбек подоткнул под матрац одеяло.

В комнату вместе с Джамо вбежали еще двое мужчин, подняли кровать, развернули, просунули в окно.

И вот уже четыре темные фигуры несут ее вместе с раненым по освещенным луной

плоским крышам, которые, словно ступени гигантской лестницы спускаются к самому морю, серебряному от бликов...

А ворота уже ломали. Шотландский офицер в клетчатой юбке и с ним трое солдат, разбегаясь, бросались на створы всем телом.

Шотландец шарил глазами по сторонам: чем бы еще ударить? Камень у дверей!

Он согнал сидящего на нем старика.

— Начальник, как можно? — возмутились другие старики, обступив шотландца. — У них в доме траур!

Из окон высывались разбуженные шумом соседи.

Два английских солдата, подняв над головой камень, побежали к воротам. Дубовые доски, привезенные прадедом с Волги, затрещали под ударами.

Верхнее окно двухэтажного дома распахнулось. В нем появилась бойкая молодка Сакина, сестра Джамо.

— Сакина! — увидев ее, закричали соседи. — Палтона зови! Этот юбочник по-человечески не понимает!

Шотландец в юбке, увидев в окне Сакину, закричал что-то по-английски.

— Бей! — завопили соседи, выливая сверху помой.

С крыш и балконов посыпался мусор и пепел. Улица внизу окуталась пылью, англичане хрипели, ругались и кашляли.

— Аббас Кули! — кричала Сакина, призывая Палтона.

И когда пыль осела, Палтон стоял уже под окном Сакины, на которую он давно «положил глаз» и хотел «украсть», если бы не ее брат Джамо.

— Твой ягенок пришел, моя розочка, — сказал Палтон, умильно глядя на Сакину. — Зачем звала? — ириво добавил он.

А в это время англичане нещадно долбили ворота.

— Где глаза твои? — закричала Сакина. — Не видишь? Дом мой ломают! Дом!

— Глаза мои — вот! — показал Палтон. — На тебя смотря. А где твой несчастный брат Джамо, который называет меня бандитом? Пускай выйдет вниз как мужчина!

— Нет его дома, нет!

— Тогда другое дело, — обрадовался Палтон. — Так бы сразу и сказала.

И он за шиворот схватил шотландца.

Вывавшись, тот показывал на Сакину и произносил какую-то длинную фразу на английском языке, из которой Палтон понял только одно слово: коммунист.

— Коммунист? — лишь на долю секунды задумался Палтон, краем глаза следя за тем, как англичане наводят на него оружие.

В то же мгновение Палтон упал под тяжестью навалившихся на него солдат, закатился под камень, непрерывно паля из маузера, — вначале выбил пистолет из рук офицера, а потом разбил в щепы ружья солдат.

Соседи визжали и улюлюкали, сверху сыпался пепел.

Солдаты бросились бежать по улочке вниз. Пепел осел. Бледный, обезоруженный шотландский офицер стоял перед Палтоном, не зная, что делать.

Палтон медленно поднялся из-за камня, угрожающе двинулся на него.

Тот попятился и, оглядываясь, пошел следом за солдатами, втянув от страха голову в плечи. Те поджидали на углу.

Улица выжидающе молчала.

В два прыжка Палтон нагнал шотландца и пнул его ногой в зад:

— Беги!

И офицер под вопли всей улицы побежал.

Мелькая в лунном свете между стволами деревьев приморского бульвара, четверо с кроватью вышли к морю — городской купальне и лодочной станции. За трояк здесь можно было нанять лодку, и кататься по бухте сколько хочешь.

Прямо с пристани они осторожно опустили кровать в пустую шлюпку.

Соседи, кивнув на прощание, исчезли во тьме. Джамо побежал к сторожу.

Тот спал в спертom воздухе будки, греясь керосинкой. Когда Джамо разбудил его и попросил лодку, сунув в руку червонец, сторож, улыбаясь, сказал:

— Больно поздно кататься решил. Наверное, с девочкой. — Он снял с головы фуражку, положил в нее червонец и снова надел.

Зевая, он вышел вслед за убежавшим Джамо и обомлел.

От пристани отошла лодка с железной кроватью на ней. На кровати кто-то лежал, а лодка скользила по бухте сама по себе.

Джамо и Асланбек не поместились в короткую шлюпку и потому плыли рядом, руками держась за борт.

Ночь была тихая, бухта — как черное зеркало. С кораблей англичан, что стояли на рейде, доносился бой склянок.

— Прибыли, — выдохнул Джамо.

Они подплыли к старой рыбацкой пристани со спущенными парусами. Джамо подогнал лодку к борту и постучал кулаком в деревянную обшивку.

Через борт перегнулась фигура, взглядываясь вниз.

— Федя, это я, Джамо. Спусти-ка штурмтрап. Только тихо...

В темноте он наткнулся ладонью на торчащие из досок щепки, отколотые пулями мусаватистов при налете в Бильяг.

Кровать с раненым подняли на борт, пустую лодку оттолкнули...

И вот, втягиваясь в клюз, поползла вверх ржавая якорная цепь, закрипела лебедка, на рукояти которой, кружась на баке, грудью налегли Джамо и Федя, и показались из воды лапы старого адмиралтейского якоря с налипшими на них комьями ила. По поверхности воды расплылось пятно черной мути. И рыбацкая лодка боком поползла в сторону берега. Федя сел за руль и выровнял шхуну. Джамо распустил парус, сунул в руки Феде конец шкота и спустился в кубрик.

Он подсел на койку к раненому моряку.

— Доброе утро, Ян. Тебе лучше?

— Да, Джамо. Боль прошла. Можно уже дышать. — Моряк вздохнул полной грудью и сел на кровати.

Стояло яркое, солнечное утро. В иллюминаторах прыгали блики.

— Еще денечка два поваляюсь и встану. — Ян виновато улыбнулся и поднял глаза на Джамо. — Когда идем?

— Первый рейс завтра. Ты с нами? — в голосе Джамо была слышна озабоченность.

— С вами, Джамо. Море все вылечит.

Рыбацкая лодка подходила к семнадцатой пристани. Федя, сидя у румпеля, изящно развернул шхуну в крутом галсе и потушил скорость, направив судно против ветра. Парус затрепетал и сморщился. Рыбацкая лодка закрипела бортами о деревянные сваи причала.

Домой Джамо возвратился, когда крепость еще спала. Из распахнутых окон домов доносились храп, кашель и стоны спящих людей.

Стараясь не шуметь, Джамо поднялся по деревянным ступенькам к себе на второй этаж.

— Брат, — певуче спросила из своей комнаты Сакина, — ты?

Присев на корточках, Джамо укладывал в матросский сундучок мыло, бритву, смену белья, каракулевую папаху. Снял со стены оставшийся от брата саз, на котором он так любил играть, провел по струнам. Инструмент печально отозвался.

Запахиваясь в платок, Сакина появилась в дверях.

— Уезжаешь?

— В Красноводск, — не оборачиваясь, ответил Джамо. — За солью.

— Палтона с собой возьми.

— Зачем мне нужен твой бандит? — в сердцах хлопнул крышкой сундука Джамо.

— Стреляет хорошо,— отозвалась Сакина невинно.— До Астрахани охранять вас будет.

— Кто тебе сказал, что мы идем в Астрахань? — опешил Джамо.

— Палтон,— улыбнулась Сакина.— Когда вы вчера с русским ушли, он от англичан нас защищал. Возьмешь?

— Посмотрим,— буркнул Джамо, лишь бы скорее отделаться.

Он взял сундучок, саз, стал спускаться по лестнице.

— Тогда я ему сама скажу,— решительно заявила вслед брату Сакина.

По семнадцатой пристани были проложены рельсы, и два амбала, выпятив зады, катили к рыбнице груженную бидонами вагонетку.

В конце пристани сидел за бочкой Палтон и в ожидании Джамо делал «мастырку» — набивал планом пустую гильзу от папиросы. Рядом лежал маузер.

Обгнав разгружаемую амбалами железнодорожную вагонетку, на пристани появился Джамо. Не отставая от него ни на шаг, следом двигались трое солдат англичан и шотландский офицер.

— Твоя шхуна? — спросил шотландец.

— Моя.

— Покажи валовую. Я должен осмотреть шхуну.

— Валовая на шхуне,— отвечал Джамо.

— Что везешь?

— Бензин.

— Рейс куда?

— В Энзели.

Так они дошли до бочек на пристани, из-за которых неожиданно вырос Палтон.

При виде его у шотландца так и упало сердце, но, вздрогнув, он шага не сбавил.

Палтон пошел навстречу, поигрывая маузером.

— А в крепости притворялся, что русский не знает,— кивнул он на шотландца.— Чего ему надо?

— Шхуну хочет проверить,— ответил Джамо и спрыгнул на палубу рыбницы.

— Ясно.— Палтон повернулся к шотландцу: — Иди гуляй, понял? Проваливай! А то будешь битым, как в крепости.

— Слушай, бандит! — закипел офицер.— Они коммунисты! — показал он на шхуну.

— Мы теперь все коммунисты.— Палтон ткнул шотландца дулом маузера в живот: — Беги!

Офицер, помня, как Палтон расправился с ними в крепости, засвистел в полицейский свисток, оглядываясь на «Глорию» — английский пароход, стоящий у соседней пристани. Пока он свистел, Палтон насадил на маузер кобур, превратив его в маленький

автомат. Как только свист прекратился, Палтон закатил шотландцу оглушительную оплеуху.

Солдаты кинулись на Палтона, но тот, не давая себя схватить, рухнул на пол.

Один из солдат, метаясь в лежащего, приложил к плечу приклад карабина.

— Сакина! — взвизгнул Палтон, в руке его дернулся маузер, и приклад разлетелся в щепки. Вторая пуля выбила из рук англичанина карабин, и тот упал в воду.

Над бортами «Глории» возникли головы английских моряков.

В крепости, услышав выстрелы, Сакина высунулась из окна. На лице ее блуждала гордая улыбка.

— Уж скорей бы он тебя украл,— вздохнул старичок, сидящий внизу на камне.

— Деньги копит,— вздохнула Сакина.

А Палтон в это время посылал пулю за пулей вслед удирающим по пристани англичанам.

Из «Крюгера», похватав карабины, как горох посыпались моряки.

— Сакина! — взвизгнул остолбеневший Палтон, опуская маузер.

Орава английских моряков, топя башмаками, бежала ему навстречу.

Палтон попятился, прыгнул на палубу шхуны и нырнул в трюм и пропал.

— Пошел! — крикнул Федя и выдернул чалку из кнехта.

И рыбница, дрогнув от радости, ринулась в море.

Огибая остров Наргин, они выходили из бакинской бухты.

За кормой, обняв бухту, то взлетая до рей, то падая вниз, качался, как в люльке, Баку. Ветер крепчал. Джамо возился с парусами, подтягивая концы.

Ян сидел за румпелем на корме и, блаженно улыбаясь, подставлял лицо брызгам.

— Пока берег виден, идем в Красноводск! — смеясь, кричал Ян. Ветер комкал, рвал и растягивал фразу.

— Как стемнеет, повернем...— отвечал Джамо.

Они замолкали и оглядывали горизонт. Шхуна шла ходко, носом взбивая волну и, отыгрываясь, бортами закручивая воронки. За кормой шипела белая вода.

Прошли остров Наргин. Слева рыжей полосой тянулся Апшерон, впереди глаза уже стали различать маяк острова Жилого.

— И чего это он за нами привязался? — оглянувшись назад, обеспокоенно сказал Джамо.— Идет прямо в кильватер.

За кормой шел следом катер береговой охраны, неожиданно появившийся из-за острова Наргин.

— Да он не за нами,— всмотрелся Ян.— Идет на Жилой.

И как бы в ответ на эти слова с катера долетели до них частые протяжные гудки. Это означало одно — требование остановиться.

— Вот тебе и не за нами...

Из кубрика выскочил Федя.

— Что надо делать?

— Выброси стаксель,— не оборачиваясь, приказал Ян.— А Джамо пусть поднимет бизань...

Шхуна, получив дополнительную тягу, резко увеличила ход.

Катер начал отставать, продолжая непрерывно подавать сигналы.

Высоко над островом Жилым, глядя в окно маяка, комендант острова кричал в радиопередатчик:

— Да, я их вижу, господин офицер! Прием!

— Откройте огонь по шхуне,— сипела трубка.

— Они далеко, господин офицер. Уходят в сторону Туркмении. Прием.

— Где катер береговой охраны? — спрашивал берег.

— Катер заходит за остров в укрытие. Барометр падает, надвигается шторм, господин офицер...

Ночью усилился ветер и засвистел в вантах, как будто тысячи невидимых существ слетелись к шхуне и, облепив мачты, пели на них, раскрывая ротки... У вершин парусов, пропадая и вновь появляясь, качались туда-сюда звезды. Из тьмы, набегающая как звери, бросались на корпус рыбницы волны и, рассыпавшись, отступали во тьму. Ветер буйствовал до полуночи и только к утру постепенно стих.

Была вахта Феде, когда открылся берег Туркмении, его желтые пески.

После шторма синяя твердая гладь Каспия растянулась до самого горизонта. Вокруг не было ни души, и только с пустынного берега смотрел на рыбницу столб маяка. Маяк мигал Феде длинными пучками света. Хлопьями света кружились над мачтами белые чайки. Перед рассветом небо все больше бледнело. Море пахло травой.

...Проснувшись, Ян и Палтон спустили на воду ялик, отошли на нем от шхуны. Шхуна, как королева, скользила впереди, за нею, как паж, на буксире шел ялик.

Ян варганил на примусе блины, мастерски подкидывая блин на сковородке. На шхуне разводить огонь нельзя, там бензин.

Палтон, развалившись, блаженно пьет чай, «зубает мастырку» и самозабвенно бренчит на сазе.

Тюлени высовывают из воды свои усатые морды, провожая ялик выпуклыми глазами. С усов у них капает, когда за кормой они вновь погружаются в море...

...Вдруг на рыбнице Федя вскакивает и что-то кричит, показывая рукой за парус. Из кубрика выскакивает Джамо.

В чутком ялике осторожно поднимается Ян, пытаясь разглядеть что-то невидимое там, за рыбницей.

— «Эвели-ина!» — эхом долетает до них крик Джамо.

Ян тушит примус, Палтон лихорадочно начинает выбирать буксир, подтягиваясь к рыбнице.

Упираясь ладонями в тугой парус, Ян протискивается на нос. В трех милях от них прямо на рыбницу надвигается военное судно.

Ян, повернувшись к друзьям, глядя под ноги, говорит:

— Увидят бензин — нам конец.

Наступило молчание. Никто не верил в возможность близкой смерти. Между тем судно неумолимо приближалось.

— Лучше к чертовой матери взорваться — и баста! — Ян поднимает глаза на товарищей.

— Взрывчатка у вас есть? — вдруг спрашивает Палтон.

Он кидается к румпелю и разворачивает шхуну прямо на «Эвелину».

— Каждый берет по гранате и слушает меня.— Палтон угрожающе вынимает из кобуры маузер.

Похватили из ящика дюжину гранат, стояли, смотрели на «Эвелину». Уже стали видны на ней военные двуколки, орудия в чехлах, пулеметы на борту. И видимо-невидимо белогвардейцев на палубе.

«Эвелина» стала подавать частые гудки с требованием остановиться. Но парусник несся прямо на них, и они свалили корабль вправо, чтоб увернуться от столкновения.

Федя кинулся к Палтону, оттолкнул его, отнял румпель. Рыбница, сделав вираж, пошла вдоль железного борта, скрежеща досками. Паруса ее, загороженные от ветра громадой «Эвелины», обвисли. С парохода на борт шхуны полетели «кошки». Рыбницу взяли на абордаж.

— Какой груз на шхуне? — спросили с капитанского мостика.

— Бензин, — отвечал, улыбаясь, Палтон.— Тысяча двести пудов.

— Боцман, — приказал в мегафон командир, — десять человек команды на рыбницу. А вы поднимайтесь наверх.

Джамо хотел уже было сзади незаметно подкрасться к Палтону, чтобы стукнуть его чем-нибудь тяжелым по кумполу,

как Палтон, подбрасывая на руке гранату, спокойно ответил:

— Подожди, дорогой, не спеши. Лезть на лодку не надо. А если хотите увидеть Аллаха — пожалуйста! Это я брошу туда, — и он показал гранатой в открытый трюм. Потом повернулся к товарищам: — Сорвите с гранат чеку.

Наступило молчание. Такого оборота не ожидал никто. Люди, сгрудившиеся у борта «Эвелины» и минуту назад чувствующие себя хозяевами положения, поняли вдруг, что жизнь их висит на волоске.

Первым опомнился командир.

— Кто вы такие? — уже без трубы в тишине спросил он.

— Что, испугался? — с издевкой спросил Палтон. — Все как один коммунисты.

— Да отпустите вы их к чертовой матери! — истерически выкрикнул кто-то на палубе.

— Боцман! — принял решение командир. — Снять кошки!

Но тут опомнился Ян.

— Стоп! — крикнул он, кидаясь к борту. — При первой попытке оттолкнуть рыбницу будет взрыв. Аббас Кули, — он рукой показал на антенну, протянутую между мачтами «Эвелины», — отрежь-ка им эту веревочку.

Четыре пули, выпущенные из скорострельного маузера, перебили антенную мачту и отбросили ее вместе с проводом за борт.

— Теперь, командир, вы остались без связи. Одно из двух: или смерть, или мы снимаем с пушек замки и уходим. У вас ровно минута.

— Молодец! — восхитился Палтон, извлекая часы на цепочке. — Настоящий гочи*! — и, раскачивая их, передал Яну: — На! Перед смертью дарю!

Ян захватил их в ладонь, взглянул:

— Тридцать секунд, командир... — Он повернулся к «Эвелине» спиной, приказал: — Две гранаты в трюм, две — в бидоны на палубе. Приготовились...

Все смотрели на Яна, а он — на часы. Поднял правую руку, чтоб ею взмахнуть. — Слушай команду... Пятнадцать секунд, десять...

— Я принимаю условие! — выкрикнул командир, перекрывая гул поднявшейся на палубе истерики.

Борт, близкий к рыбнице, опустел, а с противоположного с криками сыпались в море люди.

— Я принимаю условие! — кричал командир.

Паника охватила уже всю команду.

Кочегары бросили топки и вместе с матросами прыгали в воду.

— Палуба должна быть пустой! — кричал Ян. — Успокойте людей!

— Всем разойтись по кубрикам и каютам! — ревел в рупор командир. — Очистить палубу!

Прошло время, пока люди наконец не поняли, что взрыва не будет и надо уйти с палубы...

И вот наконец палуба опустела.

На борт «Эвелины» поднимаются Джамо и Палтон.

Федя остается у бидонов на рыбнице, Ян спускается с гранатами в трюм.

На «Эвелине» Джамо и Палтон снимают с орудий замки и бросают их за борт. В море вокруг корабля барахтаются паникеры.

Ян сидит в трюме у бидонов с бензином, каждую секунду ожидая выстрелов и прислушиваясь, что делается там, на палубе парохода. Вот наконец спустились, затопали по рыбнице.

Джамо обрезает кошки, отталкивает шхуну багром от железного борта, и скользят они уже от «Эвелины» прочь...

Утро застает их в астраханской пойме, заросшей камышом.

Федя лезет на мачту, оглядывая окрестности.

Слышен стук приближающегося движка. На рыбнице берут в руки шесты и, шурша камышами, выходят на открытую воду.

Там их ждет катер.

— Кто такие? — спрашивает бакинцев высокий и бородатый детина.

Федя еще с Баку побаивается таких верзил.

— Рыбаки мы, братишка, — начинает он осторожно. — А вы? Красные чи или белые? — придуриваясь, моргает он выгоревшими на солнце ресницами.

— Рыжие мы! — спрыгивает детина на палубу рыбницы и подходит к трюму.

Палтон кладет руку на маузер.

— Провоняли бензином насквозь, рыбаки! — улыбаясь, рыжий подходит к ним и пожимает руки. — Седьмой день уже ждем.

Потом бросает чалку Феде:

— Привязывай!

На катере с треском заводят машину, он разворачивается и тянет за собой рыбницу.

...И вот долгожданная Астрахань! Только прошли железный мост, и открылись за ним белый кремль на холме и широкая гладь реки. Бакинцы оделись, стоят на палубе.

Швартуются к пристани общества «Кавказ и Меркурий». Все причалы заставлены

* Гочи — бандит (азерб.).

так, что рыбнице негде приткнуться. Прижаты бортами широкие баржи, рыбацьи лодки, парусники... А над всем этим, как кресты, раскачиваются на фоне кремля мачты. Оттуда летят и снежинки...

Джамо отдает буксир, и катер, прощально рывкнув, уходит.

Спустя час из ворот кремля орава красноармейцев выкатывает легковую машину с открытым верхом. На заднем сиденье — мешки с продовольствием, буханки хлеба.

— Все! Хорошо, ребята! — кричит Ян за рулем. — Сама под уклон пойдет.

Федя и Палтон повисают с обеих сторон на подножках.

Улыбаясь, едут мимо госпиталя. Две санитарки закрывают ворота, за которыми виден двор, забитый телегами с ранеными.

Федя гордо смотрит на девушек с подножками.

— Смотри, какой сокол едет, — кивает одна на Федю.

— Да еще с хлебом, — оборачивается вторая.

— Не поделишься?

— Почему? Поделюсь, — тут же соскакивает Федя, выжидательно глядя на девушек.

— Приходи тогда в ту избу, — показывает санитарка в конец улицы. — Вон в ту, за зеленым забором...

Федя радостно кивает и бежит догонять машину.

Они скатываются по обрыву и останавливаются у пристани, где пришвартована рыбацкая. Полным ходом идет разгрузка. Красноармейцы стоят цепочкой, передавая друг другу бидоны с бензином.

— А оружие где же? — встречает их Джамо.

— А оружие надо еще отбить, — отвечает Ян, заливая бензин в машину. — Завтра пойдем на Ганюшкино, там, говорят, и оружие.

Вечереет. Во дворе госпиталя у старой часовни догорает костер. Две санитарки выносят к костру ворох солдатских шинелей и бросают их прямо на снег. Начинают прожаривать вшей. Они растягивают шинели над костром, переворачивая их то одной стороной, то другой.

Вши сыплются на угли, треща и ярко вспыхивая.

— О! Вот они, милые... — приговаривает Клава. — Пovyлезали.

Падает мелкий снежок. За стеной, в городском саду, каркают вороны. В окне операционной зажигают масляную плошку.

Аня вешает прокаленную шинель на сучок. Вдруг в тишине до них долетает стон.

Аня замирает.

— Ты слышала? — шепотом спрашивает она подругу.

— Да...

Обе смотрят в сторону часовни.

— Кар-р! — раздается над ними крик ворона.

— Чу! Проклятый, — шарахаются девушки, отмахиваясь от ворона на дереве.

Ворон неслышно улетает. В синеватом воздухе неподвижно висят вокруг них шинели.

— Сестра! — слышится зов из часовни.

— Батюшки! — вскрикивает Аня. — Это откуда?

— Мертвяк зазывает! — Клава решительно отбрасывает шинель и хочет идти к часовне, но Аня, взвизгнув, повисает на подруге:

— Не ходи! Мертвяк это! Точно, мертвяк! — жарко шепчет она, глядя расширенными глазами на дверцу часовни. — Мне крестна говорила, если грех на душе какой, покойники в темноте встают, вороны каркают, а петухов боятся. Родненькая, не ходи!

— А если живой, тогда что? — храбрится Клава.

— Был живой, был! Да в морг попал! Сейчас тело его и душа — в разные стороны! Вурдалак теперь это, вот кто! В шею вцепляются, кровушку пьют... Крестна мне говорила. Стой!

— Тогда мужиков позвать — пусть застрелят!

— Он уже раз застрелен!

Дверца часовни задергалась, кто-то пробовал открыть ее изнутри.

Анюта охнула и, крестясь, побежала к палатам:

— Свят, свят, свят! Сгинь, нечистая сила!

А Клава шагнула к часовне и откинула засов.

Дверь медленно, со скрипом ушла внутрь, и в темном проеме часовни возникла бледная фигура в кальсонах со всклокоченными волосами и стучащими зубами. Качнувшись, мертвец протянул к Клаве скрюченные руки, и оба они, мертвяк и девушка, повалились в снег.

Катаясь под дверь, всхлипывая от страха, Клава пробовала освободиться от его объятий, и тут подбежала Аня и тоже стала пинать мертвяка ногами.

— Бей его, Нюрка, тащи! Пропадаю! — стонала Клава.

— Души его, Клава!

— В голову бей! В висок!

Мертвяк, охая от ударов, поднялся на четвереньки и пополз прочь, но вскочившая Клава настигла его и тюкнула носком валенка в висок. Мертвяк повалился на бок и затих.

— Готов! — тяжело дыша, Аня запрохляла взмокшие волосы за косынку. — Ах ты, тварь! Зачем он вцепился в тебя?

— Загрызть хотел! — Клава села на снег и разрыдалась.

— Ну-ну! Успокойся, подруга,— Аня опустилась рядом, обняла Клаву за плечи.— Теперь уже не загрызет. У, гад! Хорошо ты его в висок!

Клава вытерла слезы, поднялась:

— Надо позвать мужиков, чтоб его снова туда...

— Клавочка! — вдруг испуганно начала Аня, глядя со страхом на борозду, которую проделал мертвяк в снегу.— След! Видишь, след от него?

— Ну и что? — растерялась Клава.

— А то, что он не мертвяк, вот что!

— А кто же?

— Живой он! Воскресший! Следы на снегу остались! Ой! — Аня от страха закрыла ладонью рот.— Мамочки! Мы, выходит, с тобою бойца убили...

Мертвый вдруг шевельнулся и застонал: — Сестра... укрой... озяб.

Санитарки подхватили бойца под плечи и поволокли к костру. Уложив на груди шинелей, они принялись растирать его снегом и бить по щекам.

Костер ярко вспыхнул, и раненый открыл глаза.

— Что за палату холодную дали? — забормотал он.— Одеяло стащили, лежу совсем голый.— Он приподнялся на локтях.— И как там другие лежат? Поднялся — от дверей по народу иду, ступить некуда.

— Ты, может, где ранен? — жалостливо спросила Анюта.

— Нет, сестричка, контуженый я.

— А фамилия как? — остановила подругу Клава.

— Мещеряков.

— А зовут?

— Александр,— он улыбнулся, посмотрел на Клаву.— А била меня зачем?

Клава смущенно вскочила и побежала в палату. Принесла гимнастерку, штаны, сапоги.

— На вот, одень. Чистое все.

Саша стал одеваться, безучастно уставившись в пламя. Пальцы не гнулись, гимнастерку застегнуть не мог. Клава села на корточки, стала обувать:

— Ногу давай! Теперь другую!

Саша встал, покачнулся. Он был высок, худ, белобрыс.

Клава обвила его рукой:

— Идти-то хоть сможешь? — и повела к себе.

— Спиртом его разотри! — крикнула Аня вдогонку.

В шинели, с винтовкой в руке Федя стоял на крыльце и стучал:

— Слышишь, хозяйка? Погреться пусти.

Я же знаю, за дверью стоишь.

Старуха, согнувшись, разглядывала гостя в щель. В избе была она одна.

— Открой, что ли, мамка! А то дверь ломать буду! — и Федя ударил по двери ногой.

— Кто там? — отскочила старуха.

— Сынок! Только что с фронта вернулся.

— Иди вон напротив, к соседям.

— Что же ты, сына родного не примешь? — спросил в дверь Федя.

— У меня сына не было. Ты обознался.

— Да откроешь ты или нет? — навалился плечом на дверь Федя.— Век, что ли, мне на морозе стоять?

— Нет в избе ничего! — закричала старуха.— Курей, индюков — всех пожрали! Носится где-то, воюет, воюет, а как жрать захочет, так лезет в избу! Иди воюй дальше.

— Курей твоих, мамка, не наши пожрали, а белые.

— Всех перевидала — красных и белых.

И жрать все хотели — и те, и другие.

— Значит, непустишь в избу?

— Не пущу!

— И сына не хочешь иметь?

— Не хочу.

Федя сел на крыльцо, огляделся. Перед ним лежал двор, через двор — деревянный сарайчик, рядом с сарайчиком — поленья. Блестел топор.

Федя поднялся, прошел к сараю, снял шинель, взял полено и начал рубить.

Старуха в избе побежала к окну. Федя рубил и поглядывал на избу. Летели щепки. Падал снежок.

Старуха взяла табуретку и устроилась у окна поудобней.

Федя собрал нарубленные дрова, снес их к окну и сбросил.

Старуха открыла окно — поглядеть, куда сбросил.

Федя рубил у сарая.

— Ты зачем сюда дрова сбросил? — закричала старуха.— Неси в сарай! — и поспешно захлопнула раму.

Федя опять снес дрова к окну и опять пошел к сараю.

— Я же сказала, куда носить! — приоткрыв окно, закричала вслед старуха.

Федя обернулся:

— Значит, непустишь в избу?

— Не пущу.

— А сыном признаешь?

— На кой ляд ты мне нужен? — всплеснула руками старуха.— Я куда велела дрова положить?

Федя огляделся в поисках подходящего полена.

— Слышь? — подсказала старуха.— Попробуй пенек разрубить.

Федя подошел к пню, крякнул и всадил топор с такой силой, что пень разлетелся.

— О! — согласилась старуха. — Рубить ты умеешь.

— Я же, мамка, бывший батрак. Есть у тебя керосин?

— Глянь в сарае... Эй! — спохватилась она. — А зачем?

Федя вынес из сарая керосин и облил дрова под окном.

— Да ты что? — обомлела старуха. — Спят, что ли?

— Революция, мамка, — развел руками Федя. — Все отнимаем, чтобы люди любили друг друга.

— Да какая тебе революция! — завопила старуха. — Люди добрые, куда же вы смотрите? Избу-то зачем чечь?

— Так изба и мешает признать во мне сына, — ответил Федя и зачиркал спичками. Вспыхнуло пламя. Старуха замерла.

— Последний раз спрашиваю — признаешь теперь за сына?

— Признаю, признаю. Ты спичку задуй!

— Скажи мне: «Сынок!»

— Сыночек! Сынок!

Спичка догорела и погасла. Федя медлил. Держал коробок в руках.

— Не стой здесь, замерзнешь, — тянулась к нему из окна старуха. — Спрячь руки в карманы. В избу заходи.

Федя усмехнулся, руку со спичками спрятал в карман.

— Ох ты и хитрая, мамка. Ну ладно... Он взял винтовку, шинель и зашел в избу. В избе он сел на лавку у стола, вытащил из вещмешка хлеб, сахар в кусках, соль и сало.

Старуха стояла, смотрела на стол.

— У тебя вон и хлебушко есть, — закачала она головой. — Так бы сразу и сказал.

Федя усмехнулся, скрутил самокрутку, закурил.

— Кури-кури, — забегала старуха. — Пусть хоть раз мужиком запахнет. — На столе появились капуста, огурчики. — Водочку пьешь?

— А то как же?

— Зря я тебя пускать не хотела. Ты мужик справный, запасливый. А у меня вон хозяйство, корова. Может, еще породнимся.

— Женишь меня на корове?

— Ну, — села за стол старуха, — вроде все приготовила. — Разлила по кружкам самогон, посмотрела на Федю: — Ну, давай теперь породнимся...

— Ты первая пей, — сказал Федя.

— Я тебя, сокол мой, поняла, — закивала старуха. Выпила первая, затрясла головой: — Ох, и вправду отрав.

Начали ужинать.

— Ты сам откуда? — спросила старуха.

— Из Баку, такой город слыхала?

— То-то, голос твой вроде нерусский...

И родители есть?

— Вот, встретил мамку, — засмеялся Федя.

— Дрова нарубил, — согласилась старуха. — А женат?

— А то как же? — похлопал Федя по винтовке. — Вот моя жинка.

— Ты свою жинку покуда на лавку положи. Тебе с ней, видать, еще долго ходить.

— До мировой революции, мамка! — Федя значительно поднял вверх палец.

— А вот соль я у тебя возьму, — жевала старуха. — Она нашей корове нужней. У неё от неё молоко прибавляется. — И подняла кружку: — Выпьем. А то выдыхается.

— А чего это ты петуха в доме держишь? — спросил Федя, кивая на рыжего кочета, который важно вышел из-за печи.

— Да кричит он, проклятый, — сердилась старуха. — Привлекает к себе.

— А ты его сзади подсолнечным маслом помажь, — посоветовал Федя. — Дело тебе говорю! Он так надуется, — показал Федя, — только захочет кричать, а воздух весь сзади и выйдет. — Федя сделал трубочкой губы и со свистом выпустил воздух.

В сенях хлопнули дверью. Федя востропнулся, потянул на себя винтовку.

— Да оставь свою бабу! — махнула рукой старуха. — Это девка пришла моя, внучка, Анютка.

— Стоп! — встал и Федя. — Девка, внучка, Анютка... Их трое? И баба!

— Одна! — показала старуха пьяному Феду палец. — Одна!

— Старая, значит, кривая, — глядя на сморщенный палец, бормотал Федя.

Морозный дух тронул в керосиновой лампе огонь, отчего закачались все тени. В избу вошла девушка.

— Ужинать, крестна, — сказала она, стягивая с головы платок. И растерялась, увидев Федю.

Тот сидел за столом, подперев рукой щеку, и, улыбаясь, кивал. Да, это была та самая санитарка, которая приглашала его в гости. Но сейчас она почему-то смутилась и, тоже кивая, хотела шмыгнуть за печку, но старуха воскликнула:

— Тыфу ты, Анюта! Ну-ка, постой!

Анюта у печки повернула голову.

— Совсем девка одичала! — всплеснула руками бабка. — Да подойди ты к нему, поздоровкайся!

— Да ничего, — сопел Федя. — Бывает. Мы с ней, мамка, знакомы...

— Руку подай! — приказала старуха.

И тогда Анюта засмеялась и протянула руку.

— Толоков, — представился Федя. — Федор Степанович.

— Вот так бы давно, — согласилась старуха. — Садитесь за стол.

Анюта сбросила с плеч пальтишко.

— У-у! У вас тут и хлебушко есть! И сахар!

И сало! — присела она к столу.

— Поздно приходишь, — рассердилась старуха.

— Раненых много. Случай был интересный, — рассказывала Анюта за едой. — Боец из морга воскрес. Клава к себе забрала...

— Раненый? — спросила бабка.

— Целенький! — радостно сообщила Анюта. — Контуженый только. Клава его проверяла, сказала — годится!

— Тогда мы найдем для тебя здесь еще кое-что, — сказал Федя, вытаскивая из вещмешка банку консервов. — Мясо говядины!

— То-то я вижу, он парень с башкой, — сказала старуха вчуже. И Феде: — Женить тебя надо, вот что. Молодой дури много. Хватит вам воевать-то. Свергли царя, и ладно.

Анюта покраснела, а Федя довольно засмеялся:

— Я его раз в Тифлисе видел, — рассказывал он, — царя-то. Маленький, рыжий, невзрачный такой. Мужик он был хилый, бессильный.

— И кому он был нужен? — удивилась Анюта. — Надо раньше было свергнуть. — Он глазунью любил, — заступилась старуха.

— Негодяем он был кроме этого! — в сердцах хлопнул по столу рукой Федя. — Угнетать он любил, вот что он любил! Эх, мамка! Что мне делать с тобой?

— А что я такого сказала? — испугалась бабка.

— А то, замечаю, этот старый режим тебя привлекает. Корова, хозяйство, изба. Вот она — твоя жизнь!

— Я свое прожила и при старом режиме, — отмахнулась старуха. — Теперь вы поживите. Что с вами случится, еще неизвестно.

В сенях захлопали двери.

— Это Клавка, — вскочила Анюта. — В гости прийти обещалась. С тем мертвяком.

— А зачем? — откинулся, морщась, Федя. — Сидели одни хорошо.

— Я встречу пойду? — улыбаясь, ждала Анюта. — А то люди пришли, неудобно.

— Черт их принес, а не сами пришли, — ворчала старуха. — Иди встречай.

— Ну как? Нравится девка тебе? — спросила она Федю, как только Анюта вышла.

— Нравится, девка хорошая, — тихо ответил Федя.

— Ну оставайся тогда. Жить будете, детки пойдут. Старость мою успокоишь...

— Хозявы! — в избу, в полушубке и валенках, ввалилась Клавка и уже с порога закричала: — Лавки сдвигай, свадьбу играть будем!

Следом за ней вошел Саша, все еще бледный, в длинной шинели, но уже с гармонью под мышкой.

— Вот он какой у меня! — показала Клавка на Сашу, который, услышав о свадьбе,

замер и теперь недоверчиво глядел на нее.

Клава захохотала:

— Питерский, на гармонии играет! — Схватила его за рукав, развернула: — Знакомьтесь! А что я сейчас расскажу! — продолжила она. — Ну, раздела я его, спиртом стала растирать, а он так вцепился, как я вот, и не пускает! «Влюбился в тебя», — хрипит. Доктор смеется, бойцы, а ему хоть бы хны! Садись! Шинель сыми! — и она стала сдергивать с Саши шинель, так что он закачался.

— Он же слабый еще, — жалостливо вступилась Анюта.

— Ты мне парня не порти! — топнула валенком Клавка. — У тебя вон свой есть! Садись! — толкнула она Сашу на лавку. — Играй! — сунула в руки гармонию.

Саша заиграл, заворуженно глядя на Клаву. Клава прильнула к Анюте и стала шептать:

— Ладный дружок у тебя... Как зовут?

— Федор Степанович.

— Плотный какой... Дай на ночьку взаимы, — засмеялась она. И опять зашептала: — Мой-то, мой! Сразу устался как! — И гордо сообщила всем: — Он стихи сочиняет! Поэт!

— Вот девка чумная, — восхищался Федя. — А ты чо, правда стихи сочиняешь?

— Сочиняю.

Федя посмотрел на него внимательно.

— Бабы брешут, они тебя в морге нашли? — тихо спросил он.

Саша кивнул.

— Умер, что ли?

Саша опять кивнул.

— Ну ты даешь, — откинулся Федя. — Первый раз говорю с мужиком с того света. Даже не верится. Ну и как там? Видел кого?

Саша опять кивнул:

— Видел. Кто-то мне кинул хлеб, а птицы склевали его.

Бабка охнула и перекрестилась:

— Господи Иисусе! Это он тебе хлеб подал!

— Нету бога! — хлопнул по столу Федя. — Как царя свергли, так и его. Сон это был.

Сон! Ну, скажи! — теребил он Сашу за рукав.

— Может, и сон, — кивал Саша.

— Понятно? — сказал торжествующе Федя. — Свидетель тебе говорит: бога нет!

— Бога нет, есть какая-то сила, — не унималась бабка.

— Ох, и упрямая ты, мамка, — Федя качал головой. — Вот кто. А ума совсем нет.

— У тебя его много. Дай умка в одном месте помазать.

— Ну-ка, дружок, станцую, — подскочила к Феде Клавка. — Саша, играй! — и закружила Федю в танце, притопывая валенками: — Не лед трещит, не комар пищит... Не зевай, Нюрка, отобью я его у тебя!

Ты чего? — удивилась она на Федю, который бросил ее, отошел.

— Да не умею я танцевать,— отмахнулся тот.— Я человек технический. По дизелям...

Клава хохотнула и продолжала топтать пол одна.

Из-за печи вылетел на середину избы взьерошенный петух.

— Эй, хозяйвы,— встала вдруг Клавка и оглянулась. Откинула ситец у печки.— Ай да Нюрка,— захохотала она.— Тихоня!

Анюта и Федя стояли обнявшись, и Федя целовал ее в губы.

— Бесстыжая ты! — вскочила старуха и оттолкнула Клаву.— Ты-то чего туда влезла? Твой вон сидит, на гармонии играет! А тебе чего надо? — И грудью пошла на Клаву: — Вставайте! Катитесь отсюда!

— Да ладно вам, крестна,— успокаивала Анюта.— Ну веселимся, танцуем.

— Нет! — бушевала бабка.— Чтобы духу ее здесь больше не было!

— Саша, вставай! — Клава влезла в полушубок, схватила шинель.— Одевайся! Пошли! До свидания этому дому,— козырнула она от двери,— пойдём к другому.

Анюта бросилась провожать.

Федя сел в углу на сундук и закурил. — Бесстыжая! — собирая тарелки, бабка все не могла успокоиться.— И как она дружит с такой!

— Хватит, мама, уже,— строго сказал Федя.— Пошумели, и ладно.

— Нет,— сразу сникла старуха,— я тебя, Федя, ни в чем не виню. Но она-то, она-то! Так прямо и липнет! Репей! Тьфу!

— И ладно! Все уже. Кончили,— сказал Федя и встал с сундука.— Давайте стелиться.

Он вышел во двор, забрался на поленья, которые все еще пахли керосином и сквозь щели ставен заглянул в избу.

Анюта уже вернулась и мыла посуду, а старуха стелила на сундуке. В изголовье положила две подушки. Анюта глянула, отвела глаза. Федя, стараясь не скатиться на дровах, осторожно спрыгнул на снег...

...Они лежали рядом, и Анюта шептала ему:

— Уедешь, забудешь меня. Правду скажи: я хорошая?

Федя ласково гладил ее по спине:

— Тела у тебя, как сливочная масла...

— Возьми меня тогда с собой. У тебя в Баку дом?

— Дом,— вздыхал Федя.— У самого синего моря. Рядом пляж городской, лодки. А в бухте яхта стоит на якоре...

— Будем кататься на ней, правда?

— Поплывем мы с тобой, Анютка, на остров Буянный марышкины яйца собирать, яичницу жарить из них...

— Я тогда крестну с собой возьму. Пусть она тоже на солнце погретется.

— Места много, пусть греется...

Под окнами остановилась машина и загудела.

Федя соскочил с сундука, выглянул в окно.

Ян сидел за рулем, рядом с ним развалился Палтон.

Запахиваясь в шинель, Федя вышел на крыльцо.

— Приехали? — спросил он небрежно, спускаясь к машине.

Анюта заплакала, бабка в дверях стала кланяться в пояс:

— Благодарствуем, батюшка! Приезжайте еще.

Федя сел на заднее сиденье и захлопнул дверцу.

— Анютка, не реви,— сказал он,— я тебе адрес пришлю.— И тронул Яна за плечо: — Поехали.

Они обогнали колонны солдат, которые шли на Ганюшкино, и растворились за ними в заснеженной темной степи. Машина с потушенными фарами шла в ночи, подпрыгивая на ухабах. Метель била в лицо и, пригибаясь от ветра, Палтон крикнул Яну:

— Слушай, замерз я! Где этот шайтанский склад?

— От Ганюшкино три версты. Потерпи, дорогой, скоро уже приедем...

Машину трянуло, резко подбросило вверх, а потом она круто скатилась в овраг. Ян, пытаясь вырваться, дал газ вперед, потом назад и застрял окончательно.

— Все! Приехали! — и полез из машины.

На дне оврага было тихо, неслышно падал снег, чернели кусты тальника.

Навалившись на дверцы, Ян, Палтон и Федя стали раскачивать машину взад и вперед.

Первым вспыхнул Палтон:

— Хватит! Устал я! Как карабахский ишак! — и отошел в сторону.

— Да подожди ты, давай разозлимся! — Ян сорвал с себя брезентовый плащ.— Лезь в машину! Газуй! — Бросив плащ под колеса, он снова налег на дверцу.

Взвыл мотор, плащ скомкало и выбросило из-под колес. Снова встали.

— Может, веток наломать? — предложил, оглядевшись, Федя.

— Тс-с! — вдруг замер Ян.— Слышите? Там кто-то едет.

— Наши.

— Нет. Конский топот. Это казачья разведка!

— Сюда едут!

— Плащ захвати!

— Маузер!

Бакинцы выскочили из оврага и залегли в кустах. Метель утихла, из-за туч показалась луна.

— Эх, следы на снегу остаются... Машина видна.

Палтон молча вытащил маузер, насадил кобуру...

Над холмом проплыла казачья папаха. Возник человек на лошади. За ним второй, третий. Кони шли, растянувшись в цепочку. Один конь захрапел чуть не над ними.

— Вишь, чуёт кого-то, — произнес чей-то голос.

— Раз-говорчики, — донеслось откуда-то спереди.

Отряд уходил во тьму.

Палтон, улыбаясь, сел, отцепил от маузера приклад.

— Дурни-дурни, — тихо смеялся Ян. — Каких сазанов упустили.

— Я бы живым не дался, — хорохорился Федя.

— А портфель мой? — хохотнул Ян. — Он бы тоже живым не дался? В нем мандат на оружие.

Они сидели в кустах, вглядываясь в темноту, куда ушел отряд.

— Эх, жизни! Будь ты неладна! — вдруг произнес кто-то сзади.

Бакинцы так и рухнули в снег.

— Это, братцы мои, разве жизнь? — продолжал тот же голос.

Из темноты над холмом выростал еще один всадник. В казачьей папахе, он ехал, покачиваясь на лошади. Почесывая бороду, он глядел в звездное небо:

— Эх, звезды! Христос вам воскрес! За что? За что, человеке, кружит тебя по полю? Нет покою ни днем, ни ночью. Эх, всем нам теперь ни за что пропадать. Эх, Семен, пропадать! — И казак снова задрал свою бороду в небо.

— Эх, Семен, пропадать, — как эхо, раздался вдруг тихий голос.

Казак встрепенулся, но не поверил.

— Потому что не знаешь, Семен, за что воюешь!

Казак встал как вкопанный. В двух шагах от него, на холме, в звездном свете, босиком на снегу стояла фигура в белом плаще с капюшоном.

— Христос воскрес! — отпрянул казак, срывая с плеча винтовку.

Из кустов, как пружина, выбросился Палтон, и оба они, казак и Палтон, повалились с лошади в снег.

— Что же ты? Христа убить хочешь? — кротко спросила фигура в капюшоне, в то время как Палтон приставил к виску казака маузер. — Не затем я явился сюда.

Федя стоял над лежащим, направив на него винтовку.

Ян величаво приблизился.

— Вставай, только тихо, — приказал он.

— А эти? — вопрошал удивленно казак, поднимаясь. — Эти черти откуда взялись?

— Апостол Петр, — Ян простер руку к Палтону, — и Гавриил, — простер он вторую. — Протяни, человеке, и ты длани к небу...

Палтон ошупал казака с поднятыми вверх руками.

— Ступай теперь вон туда, к машине...

Казак повернулся и, цепляясь за кусты, грузно полез в овраг, за ним, чуть отстав, спустились и бакинцы.

Казак, не веря глазам, уставился на машину.

— Оденьтесь, товарищ Ян, — сказал Федя, подавая Яну сапоги.

Распахнув балахон, Ян обувался.

— Ну-ка, давай, — понукал он, наматывая портянки. — Помоги нам. А то мы не вытащим.

— Эх, мать честная! — вдруг проснулся казак. — А я-то думал, и вправду... А вы, значит, красные?

— А ты, значит, белый? — откликнулся в тон Федя. — Вот и работай давай.

— Эх, все одно пропадать! — махнул рукой казак и полез под машину.

— Стой, стой, ты куда? — изумились бакинцы.

Казак под машиной крикнул, напрягся, и передние колеса оторвались от снега.

— Куда ставить-то? — спросил казак из-под задранной машины.

— Туда, туда! — замахал маузером Палтон. — Давай вперед! — и навалился на дверцу, толкая.

— Да вы мне мешаєте только, — осердился казак. — Суета! Стойте лучше!

И впрягшийся казак выволок задранную машину из оврага.

— Вот теперь опускай, — забежал вперед Федя. — Ну, силен ты, бродяга! Аж страшно! — суетился он, глядя, как казак выбирается из-под машины.

— А, — отмахнулся казак, — нужна кому теперь моя сила.

— Что так? — поинтересовался Ян.

— Жизнь вся идет прахом, вот что. Али не чуешь?

— Чую. Война.

— Да какая война! — возразил казак. — Страшный суд. Брат на брата идет. Всему божьему миру конец...

— Вы за буржуев идете, — вмешался Федя. — А мы зря никого убивать не хотим. А то бы давно тебя расстреляли. Да жалеем, что темный. Вот и воюем, чтобы тебя просветить.

Казак, устало опершись о лошадь, внимательно слушал, качал головой.

Взялся за повод, вздохнул. Оглядел всех троих.

— Хорошо вы меня Христом обманули... Вы же пулей меня бы не взяли. Да в суматохе такой. Пуля — вот! — показал им казак. — С ноготь мой... Ну, — вздохнул он, —

прошевайте. Слава Богу, что все обошлось. А то,— посмотрел он на Яна,— божий бы образ убил... Грех какой... — Казак тронул за повод коня и стал удаляться с ним в мерцающую звездами темь.

Палтон вынул маузер, глазами показал Яну на казака.

Ян отрицательно покачал головой.

Душа убитого Саши поднялась над скрюченным телом его, лежащим в снегу за разбитой телегой.

Долгим и скорбным взором душа осмотрела, прощаясь, степь, монастырь и овраг, куда после первой атаки скатились красные.

Рядом с Сашей лежал на снегу человек, глядел в небо.

— Кто ты? — пропела душа над мертвым.

— Я не знаю,— посвистывал ветер.

— Я не помню,— пошептывал снег.

Дальше чернели другие убитые, и душа закружилась по полю, вопрошая их:

— Кто вы? — роняла душа, пролетая.—

Красные? Белые?

— Не тронь нас...

— Не мучь нас...

— Нас уже нет,— вздохнула степь.

Вдруг с колокольни ударил набат, сдул с поля души, и хор голосов прынул вверх и рассеялся в небе.

И только одна душа Саши полетела туда, куда улетали звуки,— к чернеющему вдаль Ганюшкину.

Вот внизу промелькнул овраг, где засели красные, за оврагом машина, на сиденье которой спал Федя.

Душа спустилась к нему и шепнула в сон:

— Федя, это я, Саша...

Но Федя сквозь сон отмахнулся рукой:

— Саша, убили тебя. Дай поспать...

— Ты с Аней простишься? — спросила душа.

Федя во сне улыбнулся.

— А я не успел,— продолжала душа.— Спасай меня, Федя...

Но Федя во сне, уже злясь, перевернулся на другой бок:

— Чумной мужик! Никак помирить не хочет! — и опять засопел.

Тогда душа Саши отлетела от машины в степь — к телеге с телом, запорошенным снегом.

Мертвый вдруг шевельнулся, сел и, не открывая глаз, весь нажилившись, закричал:

— Федя, вставай! Это я, Саша!

Эти крики услышали все — на той и другой стороне.

Федя сразу проснулся, сбросил с себя шинель и осторожно выглянул из машины.

— Что ж ты молчишь, сволочь! — кричал с поля Саша.— Я же знаю, в машине сидишь! Живой!

— Живой, живой,— передразнил Федя.— А может, убили...

С угловой башни монастыря по телеге застрочил пулемет. Федя открыл дверцу машины и нырнул в овраг в окружение красноармейцев.

— Горластый дружок у тебя,— улыбнулся Ян.— Кто такой?

— Это Сашка-мертвяк, кореш мой,— озираясь испуганно Федя.— Никак помирить не хочет. Они его в морг положили, а он стучит: «Откройте, на том свете холодно!» Ну, бабы его отогрели. А я с его Клавкой плясал.

— Федя! — кричит с поля Саша.— Сдыхаю я, слышь? Помогите!

— Режет он мне сердце, ребята,— стонет Федя.— Он теперь думает, я из-за бабы его не хочу выручать.

И он высовывает голову из оврага:

— Держись, Сашок! Я приду!

Пулемет перекинул огонь с телеги на овраг. Федя скатился вниз.

— Убьют его, ребята. Ей-богу, убьют.

Ян пробовал успокоить Федю:

— Потерпи. Уже скоро атака.

— А если его сейчас убьют? — заметался Федя.— Ну сделайте что-нибудь! Аббас Кули! — кинулся он к Палтону.— Убей пулеметчика! Ну что тебе стоит?

— Он что там, один? — сплюнул Палтон мастырку.

— Ну прошу, понимаешь, прошу! — вцепился в его руку Федя.

Палтон нехотя вынул маузер, положил на шинель и прицелился.

— Пли! — рявкнул Федя.

Маузер дернулся, и пулемет на башне замолк.

— Сакина! — Палтон бережно вытер маузер о чужую шинель.

— Ура-а! — выскочил Федя на поле.

— Ура-а! — полезли за ним другие.

Степь ожила, задвигалась. Волнами неслись нападающие.

— Вон он, Сашок твой! — кричал радостно какой-то солдат, с винтовкой наперевес пробегая мимо телеги.— Живой!

И прежде чем вновь заговорил пулемет, они добежали до стен монастыря, навалились на ворота и, прорвавшись сквозь них, хлынули внутрь.

Спустя два часа из ворот монастыря выехали машина и две подводы, груженные ящиками с оружием.

На одной из подвод лежал раненый Саша, лошадью правил Федя.

— Ты посмотри, Федя, небо какое! Звезды колют глаза!

— Тихо, Саша, не время. Лучше о Клаве думай. Силы береги.

— Ошибаешься, Федя. Клава здесь ни при

чем. Я и без Клавы влюбленный ходил.
— Отчего?

— Я не знаю... Вот на телеге лежу и радуюсь. Как она по дороге едет. Снег вокруг. Ты сидишь.

— Парень чудной ты, вот что. Поскорей бы тебя Клавке сдать. А то бредишь.

— Ты говори, говори, я смеюсь.

— Чего это ты? — удивляется Федя.

— Ты вот сидишь сейчас рядом и дышишь.

А мне почему-то смешно. Вожжи держишь. Конь у тебя впереди. А мне почему-то смешно или радостно даже. Я людей полюбил, понимаешь? Все мы стали друг другу товарищи.

— Пропадем, если ссориться будем.

— Это верно, но мало, — искал и томился Саша. — Не знаю я, как объяснить...

— Ты, Сашок, не волнуйся. Я тебя понял, понял.

И телега, скрипя, уходила во тьму...

Все уже было готово к отплытию, когда Федя, гремя сапогами, спустился по трапу в кубрик. Бакинцы спали.

— Ну, нагулялся? — спросил его Ян, поднимаясь на койке. — Всех баб в Астрахани перепортил?

Федя довольно засопел.

Ян сел к столу, развернул карту Каспия.

— Слушай сюда. Отходим в час ночи. Идем не одни, с пассажирами. У острова Жилого, — Ян показал на карте, — нас встретит катер Асланбека. Я, Аббас Кули, пассажиры садятся на катер и едут в Баку.

— А оружие как же?

— После того, как мы у Жилого сойдем, вы повернете к Дуванному. Оружие спрячете там, под горой грязевого вулкана. Ориентир — тень вершины горы в семь часов вечера. Оружие с острова заберет Асланбек и ночью доставит в Баку.

По палубе рыбацкие застучали шаги.

— Вот они идут... Подъем! — рывкнул Ян на Джамо и Палтона.

И опять наш Ноев ковчег, именуемый рыбацкой, мерцает в море. На баке, растянувшись на солнышке, дремлют четверо пассажиров, а на юте у румпеля, сбившись в кружок, отдыхают бакинцы. Федя грустит, вспоминая Анюту. Палтон, привалившись к борту, перебирает струны саза. Ян поднимается и оглядывает горизонт: пуст ли он? нет ли судна? не видит ли их кто-нибудь?

Глядя на грустного Федю, Палтон отрывает от саза стонущий первый аккорд:

Я с самых ранних лет
Дышал семейным кругом,
Я ездил только раз

На праздник в Эрзерум,
Я старших почитал,
Был преданным супругом,
Пока не повстречал
Красавицу Ану...

Федя смущается: что это? намек на его любовь? А Палтон продолжает:

Она была женой богатого уруса,
Сама урусскою была моя Ану...

— Полундра! — вдруг кричат пассажиры с носа. — Прямо по курсу военное судно! Бакинцы вскакивают, бегут на бак. На ровной линии горизонта — прозрачный силуэт кораблика, а над ним — облачко дыма.

— «Дмитрий Пожарский», — взглядевшись, узнает Джамо.

— Опять то же самое место, — роняет Ян. — Траверз форт Александровский — порт Петровск.

— Уходим назад, — предлагает Федя.

— Какой смысл? — пожимает плечами Джамо. — Они начнут бить из орудий.

— Ветер сейчас жидковат... Не уйдем, — говорят пассажиры.

— Будь что будет, — принимает решение Ян. — Идем тем же курсом, как шли. Шхуна рыбацкая, поэтому лезьте все в кубрик. На палубе я и Федя. Захватят — будем драться. Аббас Кули, раздай оружие и гранаты...

Ян идет на корму и садится за румпель.

Перед ними вырастает судно. «Дмитрий Пожарский» — золотом горят буквы на его борту.

Можно проскочить и сзади, но рыбацкая делает вираж и идет наперерез.

Заинтересовавшись парусником, у борта собираются военные.

Ян снимает с себя купеческий картуз и начинает кланяться народу на судне.

— Помогите хлебцем! — кричит он. — Рыбаки мы, из Гурьева... Неделю по морю мотает...

— Водича вся кончилась, — канючит Федя вслед за Яном. — Терпим бедствие... Дайте поесть Христа ради, — он садится за брошенный Яном румпель.

Рыбница, догнав «Дмитрия Пожарского», притирается вплотную к его борту. Ян цепляется багром за клюз.

Из рубки выскакивает старпом.

— Куда же ты, сука, прешь? — орет он на Федю. — Пулю в живот захотел?

Топая сапожками, к борту подбегают еще казаки. Один поднимает винтовку и хлопает выстрелом по висящим на палубе рыбацким кальсонам.

Ян бросает багор и бежит к Феде. Сгребает его за грудки и трясет:

— Что ты делаешь, а? Дубина!

Рыбница отстает. Вот она уже за кормой

судна. Выпуклые палубы юта «Дмитрия Пожарского», как ложи в театре, полны зрителей.

— Так его! — травят казаки, свисая с сетчатых перил. — Бей его, мы поможем! По роже его! По кишкам!

— Да не жалей ты! — хрипят палубой выше. — Лупи ты чем попадай! Хозяин ты али тряпка?

— Прекратить драку! — раздается из рупора властный голос старпома.

Ян отталкивает Федю и поднимает на судно вспотевшее лицо:

— Православные! Креста на вас нет! Третьи сутки без хлеба.

— Сожри рулевого, — доносится хохот с юта.

За судном вспенивается бурун, и «Дмитрий Пожарский» быстро уходит вперед.

Тяжело дыша, Ян и Федя, стоя рядом, не отрываю от него глаз.

С кормы парохода долетает пронзительный свист. Там что-то бросают в воду. И сразу налетают чайки, садятся на волны, машут крыльями, кричат, клюют...

— Бросили хлеб нам, — роняет Ян.

Рыбница медленно приближается к птичьему гвалту. Так и есть: кто-то им кинул хлеб, а чайки склевали его.

— Саша в госпитале умер, — замороженно глядя на расклеванный хлеб, шепчет Федя.

На рассвете вдаль прорисовывается острый бугор с искоркой на вершине. На вахте стоит Джамо.

— Жилой, — будит он Яна, завернувшегося в старый парус.

Маяк еще горит, и четыре луча его, острые, как у прожектора, оббегают горизонт, шаря в светящем пространстве с каким-то мягким шорохом. Или это шуршат вокруг Яна волны?

Шхуна заходит с подветренной стороны Жилого и медленно скользит мимо. Из моря поднимается солнце, лучи его через водную гладь упираются в столб маяка, резко очерчивая его на нежно-зеленом небе. Маяк похож на железный термометр, вставленный в жерло вулкана. Вот шхуна вошла в тень Жилого, от воды потянуло прохладой, а от острова острым и пряным запахом.

— Чем это пахнет? — сладко зажмурив глаза, спрашивает Ян.

— Домом пахнет, — вздыхает Джамо. — Евшан. Запах нашей полыни.

Ян разглядывает остров в бинокль. Под горой грязевого вулкана видно несколько продолговатых строений, темные купы деревьев над ними. Все еще поблескивает маяк, хотя вокруг совсем светло.

— Это рыбачий остров?

— Здесь база Каспфлота, — отвечает Джамо.

— Военная?

— Топливная. Но есть небольшой гарнизон и пушечка.

— До Баку далеко?

— Три часа ходу.

— Знаешь, о чем я всегда мечтал? — говорит Ян, опуская бинокль. — Жить на таком вот острове, рыбку ловить, растить детей... И чтобы тебя никто никогда не трогал.

— Об этом мечтают все, — усмехается Джамо. — Да разве дадут?

— Не дадут, — соглашается Ян, не отрывая глаз от молчащего острова.

Высоко над островом Жилым, глядя в бинокль в окно маяка, комендант острова кричит в радиопередатчик, разговаривая со штабом в Баку:

— Да, я их вижу, господин офицер... Катер взял шхуну на бордаж... Пленных пересаживают на катер... Шхуна подняла парус и, наверно, идет в Баку.

— Ответьте, где катер, — сипит трубка.

— Они снялись с якоря и подходят к острову.

— На катере мало горючего. Прошу обеспечить соляркой. Прием.

— Господин офицер, выйду на связь в двенадцать. Иду их встречать. Передача окончена...

Причалили к старой, засыпанной грунтом барже. Их встречали солдаты, а по склону вулкана сбежал навстречу улыбающийся комендант.

Ян и Палтон отдавали швартовые.

— Я хотел бы связаться с Баку, — сказал Асланбек, выходя из рубки.

— Да-да, я все знаю, — закивал комендант. — Соляркой я вас обеспечу. Но связь теперь только в двенадцать.

— Хорошо, подождем, — посмотрел на часы Асланбек.

— Господа, — обрадовался комендант. — Приглашаю вас ко мне. Перекусите, отдохнете с дороги. Можно баньку затопить. Поверьте, нам будет приятно. А то мы здесь одичали, как робинзоны.

Приезжие переглянулись.

— Не с кем оставить пленных, — сказал Асланбек.

— Да куда они с острова денутся? — удивился комендант. — Заприте их в кубрик, и дело с концом.

— А катер угонят? — неуверенно возразил Ян.

— А мы их из пушечки — бах! — и готово, — засмеялся комендант. — Нет, серьезно,

если вы так опасаетесь, я поставлю часовых.

— Куда угонят? Солярки нет! — разозлился Палтон на Яна. — Думай сначала, потом говори! — хлопнул он себя по лбу и отошел.

Асланбек засмеялся:

— Ну хорошо. Уберите с причала солдат, чтобы к катеру никто не подходил.

Палтон решительно двинулся к кубрику:

— Я сейчас все сделаю, — и съехал по трапу вниз.

Послышался шум, топот ног и выстрел из маузера.

Появился Палтон:

— Пошли, — и первым полез с катера на причал. Оглянулся на Яна и Асланбека: — Лезьте! А то комендант обидится!

— Конечно, обижусь, — подхватил комендант. — Как это? Побывать на острове и не зайти в дом. Это как-то не по-людски! Ян и Асланбек перелезли с катера на причал.

— Будешь стоять вот здесь, — втолковывал Палтон островному солдату, размахивая маузером. — На катер не заходить, с пленными не разговаривать, остальные с причала все вон! Пошли!

— Вот и прекрасно, — говорил комендант, поднимаясь с гостями к дому. — Отдохнете, закусите, курочек можно зажарить... Хотите, барашка зарежем? — вдруг осенило его. — Сделаем шашлыкочек.

— Это лишнее, — отозвался Ян, идя сзади. — Чаю поьем и пойдем. Нам до вечера надо в Баку.

— Не слушай его, — обнял коменданта Палтон. — Он стесняется. Тебя как зовут?

— Дон Родионович.

— Вот и прекрасно. Режь! Давай шашлык!

Комендант распахнул ворота и побежал в глубь двора:

— Царапкин! Цецулин! Самсонов! Ко мне!

Ян укоризненно посмотрел на Палтона и покачал головой.

— Что? — вскинулся тот. — Устал я! Проголодался! Шашлык хочу! Две недели по морю мотались, мало?

— Как две недели? — на крыльце неожиданно появился комендант с плетеной корзиной в руках. — Вы разве не из Баку?

— Из Баку, — кивнул Асланбек, медленно поворачиваясь к Палтону. — Тебя комендант не понял.

— Во всем виноваты большевики, — насмешливо зыркнул на них Палтон. — Почеловечески жить не дают. Шашлыка поест. Две недели мотаемся, ловим кого-то.

— Господа, прошу к столу, — комендант вынимал из корзины тарелки. — Пока режут барашка, отведайте эти дары Жилого. Вот ежевика, морковка, редиска, петрушка, лук. Все свое, островное.

Они сидели за столом во дворе, обнесенном высокой каменной стеной. обросшей изнутри

ежевикой и виноградом. Кисти винограда свисали прямо над столом. Сквозь листву зеленого навеса пробивались во двор солнечные зайчики.

Палтон взял редиску и начал жевать. И тут же выплюнул ее на вымощенный кирпичами пол:

— Разве это редиска? Как деревянная. Спички жуешь!

— Да, жестковата, — смутился комендант. — Мы ее морской водой поливаем. Но у нас ее все едят... Попробуйте тогда виноград.

Палтон отщипнул одну ягодку, сморщился:

— Кислый!

— Я сейчас вас коньяком угощу, — комендант достал из корзины бутылку. — Поверьте, — говорил он, разливая коньяк по стаканам, — свежие люди для нас — это событие. Мы все новости только по радио слышим. Вот месяца два назад угнали из порта рыбницу. Повезли в Астрахань бензин. Я ее видел, мимо Жилого шла. А там их всех расстреляли.

— Кто расстрелял? — удивился Ян. — Кого расстреляли?

— Большевиков, — отвечал комендант.

— Кто расстрелял?

— Астраханские большевики.

— Откуда вы это знаете?

— Мне передали по радио.

— Странно, — заулыбался Асланбек и потрогал сидящего рядом Палтона. — Они привезли бензин, и их расстреляли. Это как-то не вяжется.

Палтон захохотал.

— А я вам точно говорю, что это так, — доказывал комендант. — Большевики — это страшные люди. Когда разойдутся, готовы сами себя убивать. А уж об окружающих и речи нет. Поэтому я и восхищаюсь вами. Это же надо такое! Захватить без единого выстрела большевистскую рыбницу!

— Давайте за это и выпьем, — предложил Палтон. — Из чего самогон? Очень крепкий.

— Так горит! — обрадовался хозяин. — Из этого вон винограда, — обвел он рукою двор. Чиркнул спичкой, самогон в стакане хлопнул и засветился. — О! Все семьдесят градусов. — Хороший у вас остров, — вздохнул Ян. — Хотел бы и я здесь жить.

— Так оставайтесь, живите. Остров у нас знаменитый. Здесь и Разин бывал — слышали? Он ведь отсюда княжну увез. Говорят, что и клад закопан на острове.

Во дворик вошел улыбающийся солдат с шашлыком на шампурах.

— Вот он и искал клад, — показал на него комендант. — Царапкин, искал?

— Искал, ваше благородие.

— Ну и как, нашел?

— Никак нет. Точные карты нужны, ваше благородие, — солдат раздавал гостям шам-

пуры.— Кроме свидетельства немца Кемпфера ничего нет.

Комендант захохотал от удовольствия:

— Видите? Немца Кемпфера! Он по науке ищет!

Солдат раздал шашлык и переминался у стола, ожидая приказа.

— Ну ладно, Царапкин, иди... Между прочим, отличный пушкарь,— комендант проводил глазами Царапкина.— Иной раз подышаешь со скуки, встанешь к окну и глядишь. Ага! Мартын на волнах качается. Царапкин, кричишь, давай бей! Царапкин пушечку свою наводит — шарах! — и от мартына только перья летят. И рыба вокруг верху брюхом плавает.

— И шашлык пахнет рыбой,— заметил Палтон, снимая с шампура мясо зубами.

— Так бараны на острове что едят? — Комендант развлекал гостей.— Рыбу, водородсли, газеты старые. Ну, и польнь. Чувствуете, мясо польнью пахнет?

— Хороший остров,— согласился Ян.— А как вы сюда попали?

— О, это длинная история,— погрузился комендант.— В пятом году здесь было извержение вулкана, и тот комендант, и дети его, и жена погибли. От них ничего не осталось. Деревья сгорели, солдаты, крыши. Стеклянная веранда сгорела,— показал комендант на свой дом.— Остров было не узнать. Море даже вскипело. Рыба сварилась, плавала брюхом вверх.

— Когда это было? — переспросил Ян.

— В пятом году. Как раз в революцию. Вначале взорвался Дуванный, а за ним и Жилой...

...Они поднялись к маяку. Асланбек вошел внутрь и закрыл за собою железную дверь. На ней была табличка, что маяк построен французами в 1890 году.

Отсюда был виден весь остров в кружеве прибора. Одни только кустики серой полыни покрывали его, как шерсткой. К югу от острова тянулась в море тонкая скалистая гряда, и от этого Жилой сверху напоминал сидящую мышку с хвостиком. На гряде стояли два пацана и ловили удочками рыбу.

— Мои сыновья,— показал комендант.

— А это кто? — увидел Палтон две женские фигурки, которые сидели, свесив ноги в маленький грязевый вулканчик.

— Жена и теща. Между прочим, целебная грязь. Помогает от отложения солей.

Чуть в стороне от маяка Ян увидел четыре креста. Они подошли поближе. На одной из могил была выбита надпись: «ДОН ИВАНОВ. УМЕР В 1905 ГОДУ».

— Как, вы сказали, вас величать? — вздрогнул Ян.

— Дон Родионович.

— А это кто? — Ян показал на могилу.

— Это я.

— Да, история,— сказал Ян глубокомысленно.— А зачем? Там же никто не лежит?

— Как же? Память надо оставить. О себе, о жене, о детях.

— А о себе-то зачем?

— Я после взрыва чудом остался жив. Сидел в маяке, прокалился там, как в аду. Вышел оттуда, решил жить сначала. Снова женился, завел детей. Солдат мне прислали, пушечку. Стал деревья сажать, виноград. Редиску опять посадил... Вы знаете, я все понимаю. Виноград кислый. Редиска дерет рот. Шашлык рыбой пахнет. Но смерть меня научила радоваться тому, что есть.

...Гости стали спускаться к морю. Сбоку шел комендант с корзиной в одной руке и бутылью коньяка в другой.

— Когда вы еще до Баку доберетесь,— говорил он, передавая Палтону корзину. Взошли на причал.

— Ну как? — спросил комендант часового.— Все спокойно?

— Смеются, ваш бродь,— отвечал солдат, кивая на катер.— Хохочут всюду над вами...

— Надо мной? — удивился тот.— Чего это они?

Катер взревел машиной и отошел от причала.

На старой барже, махая руками, стояли комендант и солдаты.

У скалистой гряды мальчишки с удочками тоже смотрели на отъезжающих.

На палубе катера был один Ян.

Под вечер шхуна подошла к безлюдному острову, издали похожему на ботинок.

— Дуванный,— улыбнулся Федя.— Я здесь с ребятами был, собирали мартышечьи яйца,— кивнул он на белых птиц, круживших над шхуной.— Сзади, за сопочкой, бухта.

А мартыны кружат над ними, тревожно кричат, сыпят сверху известковыми каплями.

В поисках бухточки шхуна огибает остров, входит в заливчик с зеленой прозрачной водой. Федя прыгает за борт и швартует парусник к скале. Виден желтый песок на дне, а над ним висит днище шхуны.

— Который час? — спрашивает он Джамо.

— Без четверти семь. Поспеши.

— Ничего, мы успеем.

— Место надо найти по тени, отметить.

Вершина грязевого вулкана бросает на равнинную часть острова треугольную тень, и там, где она кончается, Джамо и Федя роют в песке похожие на могилы ямы.

К вечеру мартыны угомонились, расселись по окрестным скалам и следят, как люди, неся на плечах длинные ящики, идут, волоча ноги, от рыбницы к берегу. Джамо и Федя закапывают ящики с оружием во

влажный песок. Федя вырывает куст тамариска и им, словно венником, разравнивает песок, чтоб не осталось следов.

— Ну что? — смотрит он на Джамо. — Пособираем мартышкины яйца?

— Поехали в город, бродяга, — смеется Джамо и кладет свою руку на плечо Феде. — Пошли, бездомный. Будешь жить у меня, «мартышкины яйца»...

Из-за сопки вытягивается неожиданно нос, рубка, корма длинного серого судна. Канонерская лодка! Скользя по инерции, она появляется вся перед ними, до жути реальная, влипшая в водную гладь.

Они метнулись в сторону — лишь бы успеть добежать до скалы! — но огонь пулемета достиг их быстрее.

Потом матросы канонерки поджигают рибницу и при свете пламени обходят остров. Не найдя ничего, не убрав даже трупы, отходят от острова к материку.

Жалобно покричали над островом встревоженные мартины, покружились и сели.

Федя был еще жив, когда из-за дальней скалы появилась Анюта, неслышно приблизилась и прошептала:

— Не лежи здесь... Вставай. Полетели... И он облегченно вздохнул и закрыл глаза.

Ночью, при свете Амбуранского маяка, катер подошел к Апшерону, и в темноте пассажиры из Астрахани попрыгали в воду и гуськом потянулись к берегу.

— Ну, — спрашивает Ян. — Пойдем потихоньку и мы?

После полудня им открывается остров, похожий издали на ботинок.

Палтон стоит у штурвала, Ян возится с машиной, Асланбек озабоченно рассматривает селение в бинокль.

— Как бы нас не заметили с берега, — роняет он. — У англичан там военная база. С этих гор остров виден как на ладони.

Катер заходит в бухточку. Черным скелетом торчат ребра-шпангоуты сгоревшей рибницы.

— Кажется, мы опоздали, — Асланбек сбрасывает газ. Катер мягко влезает носом на прибрежный песок и останавливается.

Острая тень грязевого вулкана лежит на острове, и в этой тени, на битой ракушке, вблизи от кустов тамариска чернеют тела Джамо и Феде.

Трое прибывших на остров молча приблизились к убитым.

Федя лежит на груди, уткнувшись лицом в ракушку, а пальцы на раскинутых руках скрючены — умирая, он рыл песок.

Метрах в трех от него лежит на спине Джамо, подняв к животу колени.

— Что я скажу Сакине? — Палтон схватился за голову, потом резко развернулся и пошел прочь.

Асланбек тронул товарища за рукав: — Пойдем, Ян. Семь часов вечера. Надо искать оружие.

Закрыли лица убитых платками и отошли на край тени. Никто почему-то не вспомнил о базе в Алятах, даже Палтон вытягивал из ям похожие на гробы ящики. Откидывали крышки, освобождая ящики от винтовок и пулеметов. В эти похожие на гробы ящики уложили теперь убитых товарищей.

В выкопанную яму опустили первый ящик-гроб. Убитый Джамо лежал в нем. Закрыли крышку. На ней была выжжена надпись: «В/Ч № 3393567. ПУЛЕМЕТ «МАКСИМ». ЮЖНЫЙ ФРОНТ».

А когда опускали Федею, с головы склоненного над могилой Асланбека слетела папаха.

Так же бесшумно, как и вчера, из-за сопки вышла канонерка.

— Сакина! — взвизгнул Палтон, скатившись в пустую могилу.

Сидя там, он лихорадочно насадил на маузер кобуру.

Асланбек кинулся за выступ скалы. Ян, лежа за пулеметом, камнем бил по коробке с лентой, безуспешно пытаясь ее раскрыть. В общем, от первых выстрелов с канонерки не пострадал никто, все успели укрыться.

Тогда нападавшие встали у берега и высадили на остров десант.

Когда Палтон, насадив кобуру, высунулся из ямы, человек семь солдат бежали от бухточки к ним.

— Эй! — кричал им Палтон, вырастая над ямой. — Скажи, чего надо?

Англичане, не останавливаясь, дали залп по Палтону. В руке Палтона дернулся маузер — раз, другой, третий! — и трое бегущих упали.

Ян все еще возился с пулеметной коробкой — заржавела!

Двое атакующих, добежав до Палтона, перепрыгнули через яму и оказались в тылу.

Одного ударил коробкой выскочивший из-за пулемета Ян. Второго прикончил Палтон. Атака была отбита полностью.

Трое английских солдат были убиты где-то на середине расстояния между бухточкой и ямами. Двое лежали тут же, у ям, во френчах, в коротких цвета хаки штанах и тяжелых бутсах с обмотками до колен. Тот, которого Ян ударил коробкой, еще дышал. От удара коробка раскрылась, и лента вывалилась на землю. Теперь, пользуясь затишьем, Ян вставлял ленту в пулемет.

Оставался один, который делся неизвестно куда, как думали обороняющиеся. В действительности не один он, а двое забежали в самом начале за сопку, теперь карабкались, невидимые, к вершине.

Ян окликнул Палтона помочь ему с пулеметной лентой. Не успел тот высунуться из ямы, как заработал пулемет с канонерки, и Палтон осел с перебитой, безжизненно повисшей левой рукой.

На канонерке поняли, что пулеметом их отсюда не выбить, и навели на обороняющихся пушечку. Тут же заработал пулемет Яна, и пули защелкали по щиту пушки, тусклыми лепешечками, похожими на монетки, осypаясь с щита на палубу. Щит гудел, но канонир оставался в безопасности.

Палтон сидел в яме, перевязывал руку и разговаривал с ней. Сквозь тряпку тут же проступала кровь.

— Не плачь, рука, — шептал он, — клянусь, я сейчас отомщу за тебя. — Он перевязал ее потуже, поцеловал на прощание и осторожно высунул голову из ямы.

Гулко разнесся по острову первый пушечный выстрел. Палтон с воплем выскочил из ямы и побежал, пригибаясь, за сопку.

Канонир посмотрел на остров в глазок, поменял прицел.

Второй снаряд разорвался в яме, где лежал за пулеметом Ян. Асланбек выскочил из-за скалы, хотел добежать до сопочки, но его на бегу подкосил пулеметный огонь.

С канонерки опять высадился десант.

Асланбек навел на них пулемет, открыл огонь... В тот же миг раздался выстрел из пушки, и из ямы взлетел султан песка,

Палтон осторожно выглядывает, видит пулемет, развороченную яму и понимает все. Он смотрит вверх, на вершину сопки.

Там, над кратером, на фоне неба появился англичанин. Палтон мгновенно выстрелил. Покачавшись над кратером, англичанин упал прямо в бурлящую грязь.

Палтон взбирается по сопке вверх, уже почти достигнув вершины.

В это время с другой стороны, карабкаясь на четвереньках, достигает вершины другой англичанин. Не успевает он выпрямиться над кратером, как Палтон, обезавший вершину по кругу, пинком сталкивает англичанина в грязь. Тот не успел даже разжать руку с гранатой, которую только что думал метнуть.

Тело его вслед за первым исчезает в бурлящей грязи. Неожиданно высоко над кратером поднимается столб грязи. Видимо, там, в глубине, разорвалась граната.

С канонерки полоснули по сопке очередью из пулемета. Палтон успел укрыться за стенкой кратера на вершине. Тогда медленно развернулся ствол пушки и черным кружком уставился в лоб Палтона.

А он, прислонившись спиной к сопке, уложив руку с маузером на ком сухой грязи, видел во всем мире только щель в щите пушки. И когда в ней появился глаз, когда щель перестала просвечивать, маузер в руке

Палтона дернулся.

Последнее, что увидел пушкарь, — это облачко черного дыма из маузера Палтона; дым влетел черной ниточкой в глаз и заполнил голову, и в этом дыме ничего уже нельзя было разобрать.

Бомбардир лежал на палубе канонерки лицом вниз в луже крови.

Вторым выстрелом с сопки Палтон закончил английского пулеметчика.

На канонерке завывла сирена, и, вращая колесо штурвала, рулевой стал разворачивать судно к отходу от острова.

Третья пуля Палтона пробила стекло рубки, и место у штурвала опустело. Не успевшая развернуться канонерка с разгона влезла носом в береговую скалу и легла на бок.

Добить остальных англичан, бегущих от канонерки в глубь острова было для Палтона делом техники. Остров был виден с сопки весь, англичане скакали вниз, как блошки на ладони. Ни одного свидетеля кровавой бойни не осталось больше на Дуванном.

Лишь кружились над морем мартыны и качались от ветра кусты тамариска.

Палтон осторожно спустился с сопки, взобрался по трапу на катер, встал за штурвал...

Когда катер был уже в миле от острова, страшный рев разнесся над волнами Каспия. Палтон обернулся.

Изрыгая грязь, над Дуванном ревел вулкан.

Вершина сопки отделилась и поползла вверх.

— Чэхэннэмэ*! — заорал Палтон в злобе.

Комендант и его семья сидели во дворике на Жилом, когда рвануло и там.

Виноградные листья тут же съезжились и вспыхнули.

Посыпались стекла, занялись деревянные переплеты веранды.

И запылал весь Жилой.

Заметались солдаты, жена, комендант, дети.

Появился откуда-то Ян, побежал от вулкана к воде, но упал на песок и вспыхнул. Рыба сварилась, плавала брюхом вверх.

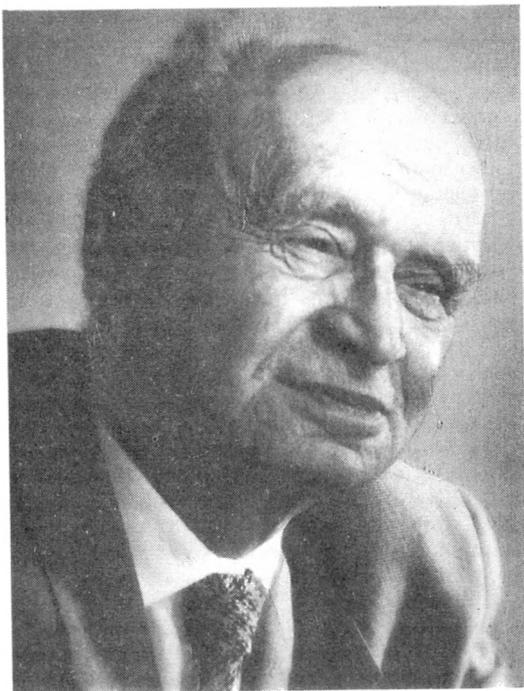
Казак промелькнул в дыму: «Семен, пропадать!» — и исчез.

Две санитарки кричали о помощи, тащили из пламени мертвых Сашу и Федю. Потом и они смолкли.

Из острова, похожего на ботинок, вырастал в небо дымный джинн.

1990 г.

* Чэхэннэмэ — к черту (азерб.)



**ИЛЬЯ
ВАЙСФЕЛЬД.**

КЕМСКИЕ НОВЕЛЛЫ

НЕНАПИСАННАЯ КНИГА
(Вместо предисловия)

Несколько слов о происхождении этих страниц.

На Карельском фронте я был корреспондентом фронтовой газеты «В бой за Родину», а позднее инструктором-литератором 7-го отделения политотдела сначала 26-й, а затем 32-й армии.

В газете существовал такой порядок: дней пять мы, корреспонденты, проводили в редакции, а остальные дни месяца — в частях. В частях же значительную часть времени проводили и инструкторы-литераторы 7-го отделения.

Возвращаясь, я обычно рассказывал товарищам о том, что видел, пережил, с кем встречался. Мои придуманные рассказы охотно слушали, и однажды, в день моего рождения, друзья преподнесли мне шуточный подарок: из розовой листовочной бумаги сброшюровали что-то вроде книги, в армейской типографии набрали обложку с моей фамилией и торжественным названием: «Кемские новеллы» (в Кемии находился штаб 26-й армии).

Фронтовая жизнь не оставляла ни времени, ни возможностей работать над книгой.

К тому же я не прозаик, а кинокритик. Прошло около сорока лет. И вспомнил я о ненаписанной книге. Те годы остались со мной — непоблекшими, живыми.

Вспоминаю некоторые особенности войны на Севере.

После вторжения немецких и финских дивизий в июне 1941 года и по октябрь 1944 года войска Карельского фронта вели оборонительную войну от районов южнее Петрозаводска до полуострова Рыбачьего, что севернее Мурманска.

Позиции против наших войск занимали подготовленные для войны в условиях Севера, закаленные в боях отборные части. По понятным причинам финны много легче, чем их союзники, переносили мороз, засасывающую вязкость болот, туманы, безлюдье. (Большая часть населения была заблаговременно эвакуирована). Немцы же постепенно теряли физическую форму. Сознание провала молниеносной победы, приближающаяся неминуемость поражения, словно эпидемия, охватывали немцев странной болезнью, получившей у них наименование «лавазука» — по первым слогам немецких слов «лапланд вальд унд зумпф колар»: «лапландское лесное и болотное помешательство».

Но этого мало — они создали свою карельскую легенду.

Вот она.

Давно закончилась война, но воевавших в Заполярье немцев никто не удосужился об этом оповестить. Попросту — забыли о них. Шли годы, но дисциплинированные немцы не двигались с места. И воцарилась среди них неизлечимая «лавазука»: они оди-

чали, обросли бородами, питались мелкой болотной дичью, позабыли человеческую речь. Через много лет и совершенно случайно кто-то вспомнил о них. Привезли в Берлин. И вот по улицам немецкой столицы, среди мирного населения, шествуют бородастые, полудикие, опустившиеся люди — свидетельство страшной катастрофы.

...Уже через много лет после войны я прочел мемуары немецкого генерала Гюнтера Блюменрита. Он писал об исходной ошибке вермахта — о недооценке силы духа и выносливости солдата страны, на которую они напали. «Русские не боятся темноты, бесконечных лесов и холода. Им не в диковинку зима, когда температура падает до 45 градусов по Цельсию... Психологическое влияние этой страны на среднего солдата было очень сильным. Он чувствовал себя ничтожным, затерянным в этих бескрайних просторах...»*

Война в пустынных районах Карелии и Заполярья (где, как у нас говаривали, одиннадцать месяцев зима, а потом все лето, лето, лето...) требовала не только военного искусства, но и особого напряжения всех психических, волевых, физических сил. Немецкий генерал, однако, пытался все свести к условиям погоды и климата. Действительность показала, что это была борьба социальных систем, образа жизни, философских концепций, которые формировали личность, ее психический и физический склад.

Когда я сейчас пишу эти строки, у меня возникает ощущение, будто я никогда не покидал ни Лоухи, ни Кестеньгу, ни Кандалакшу, ни Беломорск, ни Кемь, ни Ухту, ни Мурманск и все еще шагаю по скользкости и мокрети этих удивительных мест, ставших мне близкими. Я как будто и сейчас слышу звуки и тишину войны, а главное, будто попржнему со мною рядом мои товарищи-карельцы. Некоторые имена, названные в новеллах, — подлинны. Другие — вымышленные.

И в моей памяти возникают «крупные планы» человечности, непреклонной твердости, неброские северные проявления душевной силы — всего того, что не могла разрушить изнурительная война.

Вот из таких «крупных планов» и состоят эти страницы ненаписанной книги.

ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ

В госпиталь ложиться мне было совершенно невозможно. Предстоял выезд на Ребольское направление, в дивизию, где инструктор по «седьмой» работе капитан Козьмин. Но врач был неумолим:

— У вас фурункул на весь затылок. Нужны пивные дрожжи. А есть они только в госпитале. Ляжете на неделюку.

— Нельзя ли получить на руки?

— Исключено.

Рассказываю об этом моему другу капитану Клеманову. Такого рода критические ситуации обычно приводили в движение его способность к импровизациям.

— Пойдемте в госпиталь, все устрою, — сказал он.

Входим на территорию госпиталя. Клеманов просит меня постоять в сторонке, а сам направляется навстречу вышедшему из здания майору, начальнику госпиталя.

Через несколько минут ко мне приближается сияющий Клеманов. В руках у него предписание: выдать мне из госпитальной аптеки дрожжи. Все еще сияя, Клеманов спросил:

— Вы имели какое-нибудь отношение к фильму «Депутат Балтики»?

— Никакого. Впрочем... напечатал весьма положительную рецензию о нем.

— Ну, слава богу, хоть рецензия.

— ???

— Понимаете, я подошел к начальнику госпиталя и сказал: «Разрешите, товарищ майор, задать неслужебный вопрос?» — «Задавайте». — «Какой ваш любимый фильм?» Не колеблясь, тот ответил: «Депутат Балтики». Тогда я говорю, показывая на вас: «Смотрите, вот стоит автор «Депутата Балтики». А у него фурункул. Перед выездом на задание ему необходимы пивные дрожжи»...

ГОЛУБОГЛАЗАЯ АНЯ

Командование предложило политотделу армии подготовить листовки — обращение специально к офицерам немецких войск с предложением переходить в русский плен ввиду полной безнадежности затеянной Гитлером войны.

Листовки решено было отпечатать в одной из лучших тыловых типографий, располагавшей латинским шрифтом. Она находилась в Кировске, что на Кольском полуострове.

Меня командировали туда с задачей — прочитать текст после набора и тираж срочно доставить в штаб армии. Времени в обрез. К тому же дело придется иметь, в виде исключения, с гражданской типографией и, кроме того, в спешке — не пропустить ни малейшей ошибки. Словом, быть начеку.

Отнесся я к поручению бестревожно: кировская типография славилась высочайшим качеством работ — там блестящий мастер типографского дела.

В Кировск прибыл к вечеру. Город затемнен, случались авиационные налеты. Впрочем, темнота — привычное время в столице апативных разработок: начиналась полярная ночь.

* Роковые решения. Сб., Воениздат, 1958, с. 72—73.

Встретил меня Кировск снежной бурей. От вокзала до типографии добирался, держась за веревки, предусмотрительно протянутые вдоль улиц.

Вьюга, будто спущенная с цепи, все смешивала на своем пути. Моментами казалось, что земля взвилась в космическое пространство, небо опрокинулось, заняло непривычное для него место и все завертелось в немыслимой карусели.

Дыхание перехватывало от обезумевшего ветра и снежной злой пыли, смешанной с пылью земной.

С реальностью мира тебя соединяли лишь канаты — они, к счастью, оставались на своих местах.

Канаты раскачивались, как палубные крепления на судне, терпящем бедствие.

Природа Карелии по сравнению с этой преисподней казалась мирной, благословенной — там мы не знали ураганов, и даже ветер был не так зловещ, как в здешних местах.

Тут как будто человек попадал на другую, фантастическую планету, землянами еще не разгаданную. (Утром, когда все улеглось и природа сделала вид, что ничего не случилось, я прочитал на стене дома постановление горисполкома о борьбе со снежными заносами, заканчивавшееся словами: «действительно до 1 июля 1943 года»).

Огромный светлый, натопленный цех типографии в затемненном, заверченном ураганом городе выглядел островом спасения. Предстоящая встреча с мастером Иваном Степановичем обнадеживала.

Навстречу мне вышел усталый молодой человек маленького роста, светловолосый, приветливый. Мы поздоровались.

Выслушав меня, он спокойно, дружеским тоном и совершенно твердо сказал:

— Знаешь, ничего не выйдет. Ничего.

Помолчал, потом продолжал:

— Я две ночи не спал, понимаешь? Из цеха не выходил...

С трудом я скрыл состояние шока, в которое меня ввергло это заявление. Что будет с моим поручением? Какой вес могут иметь слова оправдания по поводу фактического провала командировки? И потом: как и, главное, когда я смогу оказать воздействие на непокорного мастера, от которого в данную минуту зависело все?

После паузы я спокойно ответил:

— Нет так нет. Давай тогда чай пить. У меня есть и чай, и сахар, и хлеб, и улыбка Черчилля (так мы называли колбасные консервы, присылаемые союзниками).

Вскипятили чайник. Принялись чай пить. Разговорились.

Иван Степанович родом с Кубани. Он рассказал, что с началом коллективизации попал

сюда. Никого родных не осталось. Теперь он уже полноправный. Член профсоюза, даже профорг. Видно было, что работать любит, работу знает досконально. Заполярный Левша.

— Все бы ничего, только вот беда,— закончил свой рассказ Иван Степанович,— с Аней.

— С какой Аней? Какая беда? — спросила я.

Оказывается, Иван Степанович влюбился насмерть. Не находил взаимности. Ему мерещилось, что стена непонимания рухнет, если он... преподнесет возлюбленной альбом.

— Вот посмотри,— протянул он прекрасный, хорошо переплетенный альбом.

Голубая бумага, твердый розовый переплет с тисненными изображениями цветов — все было редкостным, в военные дни — сверхуникальным.

— Иван Степанович, чего же недостает? — спросил я.— Преподноси.

— Не смогу. Стихов нет. Стихи нужны. А написать не умею. Вот в чем загвоздка.

Я почувствовал, что наступает мой звездный час. Что, если я, никогда не писавший стихов, вдруг сочиню? Иван Степанович станет другим. Преодолеет усталость. Придет второе дыхание.

Молчание.

— Скажи мне, друг, кто такая Аня, может, я напишу...

Иван Степанович засиял.

— Верно? — И мечтательно начал свой рассказ.— Глаза у Ани голубые... Голубые глаза...

На этом кончилось его описание. Больше ничего прибавить не мог.

— Что ж, попробую,— откликнулся я.

Склонился над верстаком, положив на него длинные узкие листы розовой бумаги.

Ивану Степановичу стало не по себе. Потоптавшись, он сказал:

— Где твоя листовка? Начать пока, что ли...

Я почувствовал, что холодею от стыда. Что, если ничего не выйдет?.. Позор!

Начну не со злополучной Ани, а с чего-нибудь нейтрального, скажем, с Хибинских гор. Впечатления от них, от лунной природы, потрясающих красок несущихся облаков захватывали воображение.

Лучшая форма для этого — белый стих, характерный для поэтического течения «кузнецов» и более для меня доступный.

Белые стихи сложились естественно. Потом перешел к виршам, не имеющим никакого отношения к Хибинам, варьюруя Гейне:

Я иду по зеленой дубраве
И солнце мне светит в лицо...

Мой потерявший критическое чутье ум примирился и с этим сочинением.

Тайком бросил взгляд на Ивана Степановича: усердно работает. Что-то про себя напевает, кажется...

Наконец дошла очередь до голубоглазой загадочной героини странного приключения. Каким-то чудом я штурмом взял и эту высоту.

Подозвал Ивана Степановича. Отдал ему, конечно, только одно произведение — посвященное Ане.

— Спасибо, друг, — Иван Степанович сдержанно пожал мне руку. И снова вернулся к работе.

...Поздно ночью я отбыл с листовками из Кировска к себе в 26-ю армию.

Прошло три месяца. Меня снова командировали в Кировск.

Вхожу в знакомый цех.

Бросив работу, навстречу бежит Иван Степанович. С ходу обнимает меня. Уже не сдерживая чувств, восклицает:

— Пушкин! Да ты, брат, Пушкин!.. Мы с Аней вместе. Вместе!

ДВЕ НАГРАДЫ

Генерал вручает разведчику орден за захват языка.

— Служу Советскому Союзу! — четко произносит разведчик.

Генерал прикрепляет орден на груди солдата. Тот... молчит. Потом нерешительно произносит:

— Товарищ генерал, разрешите спросить?

— Давай, сынок, — отвечает неожиданно по-домашнему генерал.

— Товарищ генерал, а можно разменять орден на две медали?

— Это еще что такое? — недоумевает генерал.

Солдат мнетяся, потом продолжает:

— Товарищ генерал, языка-то мы брали вместе с Васей, — солдат показывает на стоящего в строю друга. — А он ничего не получил...

...Через несколько дней состоялось награждение орденом Васи...

НЕТЕРПЕЛИВЫЙ АЛЕКСАНДРОВ

Наверное, свет еще не родил такого неполаду, как солдат-связист Саша Александров. Казалось, законы тяготения для него — не более чем условность, с которой он считается нехотя. Чаще всего он не шел, а летел, как будто едва прикасаясь к земле.

Однажды за какое-то прегрешение Александров попал на губу. А был праздничный день, октябрьская годовщина. Как и все фронтовые дни — тревожный, напряженный, но светлый, потому что есть праздники,

которые всегда с нами. Не сиделось грешнику на губе. И он нашел спасительное решение: две подружки-связистки помогли ему вынуть раму, Александров легко спрыгнул на землю и был таков. Через два часа вернулся, раму вставили на место. Часовой ничего не заметил...

Но мы знали и другого Александрова — сосредоточенного, живущего какой-то иной, нам недоступной жизнью: это были моменты, когда он выходил на связь. Ничто не могло его отвлечь, никаких соблазнов не существовало. Полное отключение от реальности, весь поглощен эфиром.

Чувствовалось, что Саша чего-то ждет. Чего?

Октябрь 1944 года. Линия фронта на всем его протяжении по всей Карелии и Заполярью была устойчивой уже третий год. Мощное наступление Советской Армии южнее нас, на Карельском перешейке, предвещало перелом и у нас, на Крайнем Севере. Перелом, подготовленный днями и ночами войны, испытанием на выдержку, стойкость, военное мастерство.

Рассветным утром 14 октября в сырой тишине землянки из-за перегордки, отделившей меня от связиста, вдруг раздался молодой торжествующий голос Александрова:

— А все-таки они не выдержали!

Я бросился к Александрову:

— Что случилось?

— Немцы побежали, понимаешь? Побежали! Приказ — преследовать по пятам, сниматься с места немедленно!!!

Мы выбежали из землянки...

Вот чего ждал нетерпеливый сверхтерпеливый Александров.

МЕЧТА ШИФРОВАЛЬЩИКА

Это был маленький, широкоплечий, необычайно подвижный человек с огромной копной рыжих волос над низким лбом.

Все в его облике было рыжее, не просто, а ярко, ликующе рыжее: шевелюра, брови, веснушки. Казалось, что даже в его светло-голубых глазах отражается рыжесть.

Говорил он обычно громко, увлеченно, размахивая руками.

Но военная судьба уготовила ему молчание. Никому ни слова о том, что он знал, о том, что узнавал ежедневно, ежечасно. Страшное испытание.

Он был шифровальщиком в штабе 32-й армии. Надежный, крепкий, храбрый.

Армию перебросили в Кировск для переформирования и отправки на Запад. Нас, шесть человек, поселили в большой комнате (после землянок она нам казалась гигантской) современной гостиницы.

Теперь он мог рассказывать о некоторых шифровках прошлого времени, о не существующем более расположении войск, давно выполненных приказах. Это была уже история. Не секретно, не сверхсекретно. Байки.

Хохоча, он рассказывал разные пустяки, сопровождавшие его сверхважную, напряженную работу. Веселые молнии его баек разряжали то напряжение, которым он жил все эти бесконечные дни войны.

Но шифровальщик Лева все же был глубоко несчастлив.

Он не переносил жизнь в городах. Любых — красивых или нелепых, новых или старых, больших и маленьких, знакомых или незнакомых. Ему больше по душе были просторы Заполярья, редколесье и низкое, но открытое небо где-то под Кандалакшей, чем замкнутость городских границ, чем правильные начертания улиц, дымы, закрывавшие небо.

Единственно, что он признавал в урбанистической реальности, — это... танцплощадки.

Танцевал он плохо, припрыгивал, не чувствуя ритма, наступал на ноги партнерше или тем, кто имел неосторожность приблизиться к нему, упоенно пляшущему.

Время переформирования кончалось, войска отправлялись снова в бой, как потом выяснилось, на Балатон, где немало полегло славных героев 32-й.

Перед отправкой Лева сказал мне:

— Знаешь, я бы все города убрал с лица земли. Оставил бы одни танцплощадки...

Больше я никогда не встречал его. Что стало с тобой, рыжий веселый человечек? Танцуешь ли ты еще или не суждено тебе было дожить до мирного часа?

НАСЛАЖДЕНИЕ ИСКУССТВОМ

Капитан Русанов любил поесть. Каждый раз с особой настроенностью. Одно дело — перед раздачей, другое — после еды.

И после еды ему чего-то не хватало, может быть, самой малости, хоть обломка печенья из допайка. Казалось, пресыщения Русанов не знал. Любой прием пищи в любой обстановке, даже в спешке, был для него, пусть и весьма упрощенным, но — церемониалом.

В литературе указывалось, что у племени зимбабве имеется только четыре обозначения цвета. На языке племени басса — только два. Но атласы цветов заключают тысячи наименований оттенков, не входящих в известный спектр. Спектр кулинарных воцелений Русанова был многотонален, каждое из них имело свой характер.

Капитан никогда не выставлял напоказ своих желаний. Это была его тайная страсть. Но от нас, его окружения, такое не скроешь. Мы обо всем догадывались.

Однажды на пути к обеденной раздаче прозвучал сигнал тревоги: немедленно двигаться вперед. Наступление! Кого-то надо оставить дежурным. Успеваем на ходу полусути, полусерьез попросить начальника 7-го отделения оставить дежурным капитана Русанова: он сумеет распорядиться уже разложенной едой. Затем он должен будет нагнать наступающие части. Начальник легко соглашается.

Наше движение было стремительным. Немецкое командование приказало своим частям быстро отступать, не принимая боя. Им предстояло грузиться на суда, чтобы отправиться в район Прибалтики на помощь своим окруженным частям.

Как выяснилось позднее, в части, участвовавшей в окружении немецкой группировки, находился мой брат Виктор, награжденный в этих боях медалью «За отвагу».

Через шесть часов на новый рубеж, на 101-й километр от станции Лоухи, прибывает Русанов. Доверительно, негромко спрашиваю его:

— Сколько обедов смог одолеть?

— Знаете, только одиннадцать. Потом отвалился. Больше не смог.

Через несколько дней, уже с утра, в Русанове произошла неожиданная перемена: он ничего не ел. Раздачу принимал, но оставлял нетронутой, сохраняя ее в землянке. Мы делали вид, что не замечаем перемены. За обедом и ужином — то же. Что произошло — выяснилось позднее...

Вечером на наш новый рубеж прибыла небольшая концертная бригада: три танцовщицы и их партнер — он же конферансье, был настроен очень бодро. Вышел на некое подобие импровизированного возвышения, весело задал нам вопрос и сам же на него ответил.

— Что такое танец? — спросил он. — Танец — это мысль, выраженная ногами. Сейчас вы это увидите.

На возвышение выбежали три совсем юные исполнительницы. Лица их были измучены — следы недоедания и хлопотной фронтовой гастрольной жизни. Русанов смотрел на них внимательно. Его одутловатое лицо рано пополневшего человека выражало нечто среднее между скорбью и сочувствием. Русанова меньше всего привлекало сейчас само искусство.

Сидевший рядом с ним пожилой солдат изумленно наблюдал зрелище, для него невестное: балерины в пачках и на пуантах. За всю свою многотрудную крестьянскую жизнь ничего подобного ему видеть не приходилось. Потрясенный, он поднялся во весь свой немалый рост, приложил руку к небритой щеке и с какой-то отрешенностью воскликнул, не думая о других, но его слышали все:

— Какие ляжки!

Легкий смехок прокатился по рядам. Только Русанов оставался сосредоточенным, непроницаемым. Что-то точило, точило его.

Вечером мы, несколько офицеров, встретились с артистами за грубо сколоченным столом. Девушки и их руководитель уплетали положенный паек: горячую треску с жареной картошкой и сладкий чай с черным хлебом. Когда они закончили трапезу, Русанов встал из-за стола и строго сказал:

— Так не едят. Мало, ребята. Нарботались, и силы ушли. Подкрепиться надо.

Он ушел и через несколько минут принес в котелках весь свой дневной рацион. Мы поняли, что он от него отказался, зная, что к нам, на наши болота, на наше нещадное комарье, приедут гости из мира искусства. К искусству он относился с трепетом. Русанов готов был и последнюю рубашку с себя снять, лишь бы тепло и сытно стало этим бледнолицым, вконец измотанным ребятам, так мастерски доказавшим, что танец — это действительно мысль, выраженная движением, вдохновением.

Не нужны были Русанову котлеты и каша и даже тресковый суп. Только сейчас, когда на лицах наших гостей появился легкий румянец, улыбнулся и Русанов. В этот вечер хореографического представления для него наступило мгновение высшего наслаждения искусством.

ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КНИГА

В ходе быстрого наступления наши части ворвались в лагерь советских военнопленных — в надежде их спасти.

Но лагерь был пуст.

Никого.

Неправдоподобная тишина.

Помню, что меня поразили проволочные заграждения, высокие, редкие, кажущиеся легкими. Сквозь них просматривалось все пространство опустевшего лагеря.

Мы быстро шли вдоль проволочного забора, видимо, недавно обновленного. На осеннем карельском солнце проволока ярко поблескивала, как бы скрадывая злобный облик этого страшного места.

После предосторожностей, из опасения нарваться на мину, вхожу в маленькое гнезущее мрачное помещение комендатуры.

И здесь тишина, пустота, следы быстрого бегства.

На столе — нетронутая большая казенная книга. Здесь регистрировались заболевшие и допущенные к врачу военнопленные. Все в этой книге прочно, незыблемо, упорядочено.

Готический шрифт, которым твердая рука бесстрастно выводила имена, фамилии, звания и характер заболевания военнопленного.

Медленно перелистываю страницы.

Фамилии и медицинские характеристики — в немецком начертании; чаще всего значилось: «анемия», «нервное истощение», «разрыв сердца», «перитонит», и снова: «анемия», «истощение»... А в отдельной графе следствие: «смерть», «смерть», «смерть»...

Лагерь был пуст. И одновременно — в моем воображении — населен десятками, сотнями людей, истерзанных и униженных, но не потерявших самих себя, своего достоинства, теми, кто принял смерть.

Видение вспыхнуло и исчезло.

В последний раз я взглянул на книгу. Я не умел плакать. Побежал к машинам, на которых двигалась пехота.

Мы шли дальше.

«НЕ МОГУ БЕЗ ВОЙНЫ...»

В результате наступления 26-я армия заняла рубежи на 101-м километре западнее станции Лоухи.

Я оказался в землянке вместе с капитаном Мишиным, отличным знатоком немецкого языка. Природа одарила его легким характером. Выдавало эту прекрасную черту все его поведение, выдавала и добрейшая улыбка как будто в чем-то провинившегося человека и редко покидавшее его чувство неловкости из-за непомерно большого роста. В работе Мишин был спокоен, четок, быстр, обязателен, но не более — полагал, что наши листовки и передачи на противника редко достигают цели. Зато в проявлении товарищества не знал границ.

Я имел неосторожность прикрепить над топчаном извлеченную из рюкзака фигурку — зайчика-боксеру, игрушку моих детей, пересланную сюда женой — Линой Войтковской. Заяц этот мало кого интересовал: висит и висит.

Осмотр нового расположения — в спокойный час — производил начальник гарнизона, ранее капитан, разведчик. В одном из рейдов он получил тяжелое ранение в голову. Поврежденную часть черепа заменили металлической пластиной. Однажды в походе, когда затмилось его сознание, без всякого повода он выстрелил в ни в чем не повинную девушку — санинструктора. Капитана разжаловали, лишили права носить оружие. Простился он и с орденами. Назначили на должность начальника гарнизона, достаточно далекую от боевой. Теперь бывший капитан казался безопасным для окружающих.

И вот он вошел в нашу землянку, и прежде всего ему бросился в глаза заяц. Лицо его мгновенно побagrвело. Глаза налились кровью. Он схватился за несуществующую кабуру и заорал, в упор глядя на меня:

— Сволочи! Труссы, зайцы! Пристрелю на месте! — и решительно двинулся ко мне.

Но оружия нет. Тогда он скомандовал ординарцу:

— Коля, тащи сюда пулемет, сейчас расстреляем этого гада!

Растерянный Коля не знал, что делать, застыл в оцепенении.

И тут вмешался Мишин. Он наклонился ко мне и шепотом сказал:

— Я старше вас по званию и все сейчас урегулирую. Немедленно уходите.— И уже тоном, не терпящим противоречий, резко добавил: — Немедленно!

Все улеглось. Пресловутого зайца я упрятал в рюкзак.

В нашем расположении капитан больше не появлялся.

Через несколько дней меня направили на один день с поручением во второй эшелон, за 15 километров от передовой. В поисках штабного отдела я по ошибке вошел в довольно вместительное помещение с очень плохим освещением. Нары в два этажа. Это была, как выяснилось, казарма офицерского резерва.

С верхней полки спрыгнула фигура — лицо различить было невозможно: темно. Когда фигура чуть приблизилась, я увидел, что это... тот самый капитан!

Понятно, ничего хорошего это не предвещало.

Но опасения оказались напрасными.

Он не шел — нет, он мчался навстречу мне.

С распростертыми объятиями.

Лицо его освещала счастливая улыбка.

Я думаю, что гоголевский Ноздрев в добрые свои минуты не испытывал такого воодушевления, какое выражал весь облик бывшего капитана.

С ходу он бросился ко мне, по-братски обнял, прижал к груди и прокричал:

— Друг! Как я рад тебя видеть!

Я взглянул на него не без опаски: откуда этот неожиданный прилив чувств?

Бывший капитан продолжал:

— Я ведь тогда сплеховал, не за того тебя принял. Ошибка вышла! Ты меня того... извини, что ли...

— А что стряслось? Что ты здесь делаешь?

— Понимаешь...

Он сник. В бессилии опустил прямо на земляной пол.

— Понимаешь, какая беда. Меня направляют в тыл, на Урал, работать в военкомате. Ну что я там буду делать?! Без табака, даже филичевого*... Пока не придушим этого Гитлера — я без фронта не могу...

Мой собеседник говорил сбивчиво. Рассказал о своем сожженном доме на Брянщине, о погибшей семье... Чтобы сдержаться, поднялся, обнял меня за шею и при-

жался лицом к моей выдавшей виды гимнастерке.

Помолчали.

— Мне говорят: психика. Совладаю я с этой психикой, ей-богу, совладаю. Ты им скажи там, в штабе, чтобы простили меня. Поможет, как ты думаешь?.. Не могу я без войны, не могу.

Я пообещал новому другу сегодня же доложить в штабе о нашей встрече и добавил:

— Ты не горюй, старина... В крайнем случае, не навеки же в военкомат. Отдохнешь и опять сюда, а?

Он посмотрел на меня, снова прошептал: «Не могу без войны», прижал к груди и быстро скрылся в глубине казармы.

ВИКИНГИ

Поляна, окруженная болотистым лесом. Полевой госпиталь. Высокая просторная палатка. Сквозь проем двери и широкие щели проникает майский, снежный, запляренный воздух.

Здесь 17 раненых.

Это норвежцы, наемники из СС-батальона. Все, что осталось от тех 500, что пытались штурмом прорвать участок нашей обороны. Отборные, белокурые, вчера еще уверенные в своей победительности.

Мне поручено их допросить.

Спросил у относительно легко раненного имя, фамилию, звание, часть. Потом задаю вопрос:

— Где остальные?

— Уничтожены огнем ваших пушек, огнеметов.

— Ожидали?

— О нет, нет! Это неопишимо, ужасно. Стена огня, стена...

Пленного пробрала дрожь. Бледное его лицо еще больше побелело.

— Что рассказывали о нас ваши офицеры, прежде чем бросить в бой? Только говорите, как было на самом деле.

— Говорили, что воевать будет легко. Русские — бородачи, деревня. Не умеют даже на лыжах ходить как следует. С трехлинейками. Сомнете их.

— Завербованные?

— Да.

— Сколько получали?

Пленный назвал большую сумму. Обмундирование, оружие — все высшего класса. И — обещание легких побед, богатых трофеев.

Я записываю ответы. Планшет лежит у меня на коленях, я приноровился писать на этом походном «письменном столе». Молчание.

И вдруг произошло то, чего я меньше всего ожидал.

* Филичевый табак — нелюбимый курильщиками.

Пленный приподнялся на койке и сказал: — Господин лейтенант! Разрешите обратиться с просьбой. От всех оставшихся в живых и еще способных носить оружие... Мы хотим вступить в королевский норвежский флот. Хотим бороться против Гитлера.

В моем неостывшем от кинематографа сознании пронесли кадры — блистательные! — из картины Пудовкина «Минин и Пожарский»: шведские наемники бодро вышагивают в войске своего короля. После разгрома шведов те же наемники, в таких же латах, в том же ритме и с той же готовностью вышагивают в войске своего вчерашнего врага...

Воюют там, где платят, где можно рассчитывать на то, что выживешь. Таковы и эти викинги?

— Что ж, передам вашу просьбу командованию, — ответил я. И ушел.

ШАФРАТ ОДИН, ДРУГОЙ...

Бледное осунувшееся лицо вконец измученного, опустошенного человека.

Облик с претензией на интеллектуальность. Такой мог читать Шопенгауэра, Гегеля. Очень молод — не более 22 лет.

На петлицах — знак СС. Офицер. Один из немногих оставшихся после разгрома нашими частями СС-разведотряда.

Поле боя усеяно трупами. Он, Шафрат, оглушенный взрывом, шатаясь, падая и снова подымаясь, идет, сам не зная куда, к своим или к нам. То перешагивает, то спотыкается об убитых и раненых. Стонов не слышит.

Теперь сидит перед нами — старшим лейтенантом административной службы Со-ней Фогельман (в дружеской среде мы ее называли Сошкой) и мною.

Мы допрашиваем.

Наша задача — как можно подробнее расспросить о системе подготовки офицерских кадров фашистской армии, о том, чему сейчас их учит действительность войны (о военно-тактических данных уже допросили в оперотделе 26-й армии).

Строжайшее предписание всем в седьмых отделах — не приукрашивать, не подлакиривать показания пленных, не преувеличивать их пораженческие настроения. Выявлять то, что есть на самом деле.

Спокойно, в строгой логической связи, с привкусом приват-доцентской самоуверенности Шафрат рассказывает, как складывалась биография будущего сверхчеловека. Чему и как учили. Как внушали превосходство над другими народами и расами, как планировали уничтожение, закабаление миллионов. В первую очередь коммунистов, славян, евреев, цыган...

Каждый из нас делает записи, пишем мы быстро.

И вдруг, когда пленный произносит нечто сверхподлое из всех наставлений, которые в немецком университете давали будущим эсэсовцам, рука моего товарища дрогнула. Лицо пошло пятнами...

Соня Фогельман была на пятом месяце беременности. Думала ли она, что первое ее дитя появится среди заполярных болот, когда идет тяжелейшая война, могла ли знать, что это будут двойняшки, прекрасные мальчики, и что она вместе со своим мужем, подполковником Диновым, уже в мирной, победившей Москве придет ко мне в гости?

Но сейчас — сейчас перед нею сидел человек, который призван был уничтожить все живое, в том числе и ее новую жизнь. А мы выслушиваем зловещие бредни и записываем то, что звучит чудовищно. Записываем, потому что в показаниях Шафрата было немало ценных подробностей о настроениях, системе подготовки и психологическом облике СС.

— Дайте пистолетом по башке этому выродку, — шепотом произносит Соня.

— Соня, — я склонился к ней, — держите себя в руках.

В заключение Шафрат сказал, что в фашизме разуверился и готов примкнуть к движению «Свободная Германия».

— Я могу писать листовки, могу быть диктором, могу обратиться с призывом к своим сослуживцам, — вдруг заторопился он, сразу утратив сосредоточенное спокойствие, академическую рассудительность.

— Хотите ли написать письмо родным о том, что вы живы, здоровы? — спросил я.

— Да, охотно.

Странное чувство испытали мы, когда пленного увели.

— Уж с очень большим удовольствием излагал он их взгляды, вы не находите? — спросила Соня.

— Прохвост, видимо, порядочный, этот интеллект, — откликнулся я.

— Да, — продолжала Соня, — но его письмо родным может подействовать. Распространять его надо бы в факсимиле, иначе не поверят.

Вскоре листовки с портретом Шафрата и его письмом были заброшены разведчиками в расположение дивизии СС.

...Поместили Шафрата в землянке под охраной солдата Александрова (о котором я рассказывал — «Нетерпеливый Александров»).

Когда утром Александров проснулся, он в изумлении обнаружил: дверь взломана. Шафрат в полурубке Александрова и с буханкой хлеба, взятой со стола, удрал (единственный случай в истории 7-го отделения). Ориентируясь по звуку летящих снарядов,

он направился к передовой, надеясь попасть к своим.

По приказу штаба армии была поднята тревога. Приказ: беглеца захватить живым.

Живым он и был пойман солдатом-казахом. Когда он увидел Шафрата, выскочил из секретра и накрыл его своим полубубком.

...Прошло около двух месяцев. Я допрашиваю пленного эсэсовца, выходца из Львова, фольксдойче (так именовали онемеченных представителей других национальностей, из числа которых рекрутировали и СС).

Допрос проходил в тылу, километрах в десяти от передовой, в небольшой сторожке, сохранившейся среди болот. Все в ней пропитано было сыростью. Мокрые стены, покосившиеся от старости скамейки.

Гимнастерка — влажная.

Вынимая носовой платок, я нечаянно уронила расческу. Она упала в щель между бревнами, на которых покоилась шаткая сторожка. Я заглянул в щель: темная неподвижная вода — болото. Повевало плесенью.

У пленного белесое лицо, белесые брови. Расчесанные на пробор, тоже выцветшие, стариковские волосы, хотя ему не более восемнадцати лет. Великоватый мундир висел на тщедушном теле нелепо, как на манекене не по размеру. Весь облик пленного внушал уныние. Он чувствовал себя вне опасности, но это ощущение внезапно обретенной жизни никак не отражалось на его лице. Все ему было безразлично.

На вопросы отвечал быстро, охотно, точно, всячески подчеркивая перед советским офицером, что он как-никак — славянин. Лишь по германским меркам его объявили фольксдойче, но он никогда не был и не будет немцем, хотя и позабыл язык своего детства — украинский.

Допрос подходил к концу. И тут мой взгляд упал на эсэсовские петлицы. Они неожиданно перешли в моем «монтажном» воображении на петлицы Шафрата. Наугад спрашиваю, не знает ли его пленный фольксдойче?

— Как не знать, — отвечал он, — Шафрат у нас служил. Не то убит, не то в плен попал.

— А кем он у вас был, каковы были его обязанности?

— Ведал русскими военнопленными при штабе полка. В его подчинении была служба подслушивания.

— Значит, он владел русским языком?

— Свободно.

Так предстал передо мной второй Шафрат, подлинный.

ОСТАВИВШИЙСЯ В ЖИВЫХ

Бой окончился.

На поляне, где только что все гремело,

кричало, стонало, на перепаханной минами, гранатами, затоптанной сапогами земле — мертвые тела немцев в зелено-серой форме, тех, что попали в засаду (их подсчитали — 37).

Теперь все недвижно и беззвучно.

Только незлой, неторопливый болотный северный ветер перебирает смятые, грязные обрывки штабных документов — знаки того, что еще несколько минут назад было для всего механизма немецкой войны олицетворением порядка, ясности, надежности. Поднимаю листок из какого-то наидания для солдат, читаю: «...немецкий солдат идет только вперед, сама история предназначила ему...».

Беззвучие...

На опушке, в окружении наших — несколько пленных. Отрешенность, придавленность, безысходность.

Один из них обращает на себя мое внимание. Тонкие черты иссиня-белого лица, большие толстые стекла очков без оправы. Всматриваюсь. Сначала — та же придавленность, оглушенность ужасом от наступавшего конца света — как и у остальных пленных. Потом его взгляд улавливает стремительно происшедшую перемену. Он оглядывает своих спокойных конвоиров. Поднимает голову: нетревожное заполярное небо. Спокойно, как будто спокойно. Он жив, невредим.

Меня не раз поражала способность немцев — пленных (только не финнов!) к резким, скачкообразным переходам от нечеловеческого страха перед возможной расправой к осознанию минувшей опасности: переход от ощущения конца всего сущего к внезапному пониманию своих... прав согласно параграфам конвенций, установлений, соглашений о военнопленных. Однажды пленному офицеру, ожидавшему, как ему казалось, расстрела, сказали, что ему дарована жизнь и — дали миску супа; потрясенный, он не мог прийти в себя от обрушившегося на него неожиданного счастья. Но как только офицер жадно поднес ко рту первую ложку супа, он спросил: «Это паек солдатский или офицерский?»

Вот и сейчас пленный в считанные мгновения пробежал неизмеримое пространство от светопрествления к своим правам.

— Господин лейтенант, — обратился он ко мне, переступая через труп своего товарища, — ваш солдат ударил меня по лицу, он не имел права согласно...

— Фамилия? Звание? Часть? — спросил я.

Пленный отвечал быстро, с готовностью, четко, щелкнув каблуками, став по стойке «смирно».

Я продолжал:

— Профессия?

— Учитель.

— Откуда родом?

— Из Австрии.

Пауза.

— Зачем пришли сюда?

Молчание.

— В бою вы стреляли. И в этого солдата тоже.

Молчание.

— Скажите ему спасибо,— продолжал я,— что он не прикончил вас.

Наши парни внимательно вслушивались в немецкие слова, многих слов не улавливали, однако — суть поняли.

Пленный продолжал стоять по стойке «смирно».

Взглядом я дал понять конвоиру, что разговор окончен.

— Иди, иди,— подтолкнул его солдат...

...Над полем боя спускались тусклые, тяжелые заполярные сумерки.

«ХОЧУ СПАТЬ»

Мертвое болото. Кочки, кочки, кочки... Тишина предрассветья.

Восемнадцатилетнему Феде Кононенко в секрете почудилось, что одна кочка зашевелилась, как будто становилась выше, выше. Заполярное видение? Но вот кочка снова погрузилась в болото. Снова — просто кочка.

Но через мгновение внезапно поднялась в человеческий рост. Часовой, не сбрасывая с себя маскировки, ползет навстречу непонятной цели.

Светлеет... Черное плоское небо становится серым. Видение приближается прямо к часовому. Ему хочется скрыться, зарыться в мерзлую землю, уйти от ночного наваждения. Но он, Федор Кононенко, сейчас на посту, должен оставаться невидимым, беззвучным, собранным. Даже ветке, прикрывающей окопчик секрета, не дано шевельнуться. Все в Феде напряжено до предела.

Внезапно над его головой пролетает какой-то предмет — один, другой. В полусерости они промелькнули как фантастические птицы, догоняющие одна другую. Часовой оглядывается: за его спиной автомат и диск.

Одновременно воздух оглашает отчаянный крик, на ломаном русском языке, видимо, зауценное:

— Здаю! Здаю! Здаю!!!

Только теперь Федя различает очертания того, что мерещилось ему кочкой непомерных размеров.

В последнем истерическом прыжке перебежчик падает рядом с окопчиком.

— Хенде хох! Встать! — хрипло, жестко, твердо прокричал часовой, наставив ствол прямо на своего опасного врага. Тот вскочил и молча поднял руки.

Перебежчик был маленького роста, похожий на подростка. Теперь Федя различил:

это был егерь из 7-й горной дивизии «Эдельвейс». Без оружия: он только что бросил.

Все его тщедушное тело в зеленой шинели, казавшейся серой на сером фоне неба, дрожало мелкой дрожью.

— Здаю,— повторил он, на этот раз совсем тихо, и упал ничком прямо в болотную землю.

Федя поднял его за шиворот, поставил:

— Но, но, стой, паразит,— проговорил он и, поддав врагу в спину, добавил: — Форвертс!

В 7-м отделении политотдела 26-й армии допросить перебежчика поручили мне. Уже было совсем светло, когда я добрался до боевого охранения. Серость неба размылась, исчезла. Проступила спокойная голубизна. Блиндаж командира роты находился у подножия сопки. Командир роты распорядился доставить перебежчика.

И вот он сидит прямо передо мной. Я смотрю на него и думаю: откуда у этого бледнолицего, сутуловатого, хилого существа взялось силы и находчивости, чтобы в промозглую темень найти проходы в минных полях и проволочных заграждениях, где все простреливается десятками стволов по обе стороны линии фронта, и бесшумно проползти? Редко кому это удавалось за многие месяцы позиционной войны на этом участке фронта. Но перебежчик, видимо, все рассчитал, все преодолел, и вот он здесь в ожидании своей судьбы.

Слабым голосом, но внятно и твердо он рассказал о своей части, характерах и намерениях командиров и о самом себе. Он, Курт (фамилию не помню), член коммунистической партии Австрии, рабочий завода электроаппаратуры в Вене, пошел в армию, чтобы найти путь для борьбы с нацизмом.

Я подробно расспросил Курта о его семье, о жизни в Вене до вторжения нацистов, о том, как он попал в «Эдельвейс». Все, рассказанное им, вызывало доверие. Его ненависть к фашизму была неподдельной. В сбивчивых, взволнованных показаниях была внутренняя логика. И ощущалась убежденность антифашиста.

Нелегко мне было прийти к этому выводу: ведь шла страшная война, а наша ненависть к тем, кто пришел сюда в зеленых шинелях, была всеохватывающей, пронизывающей всю нашу жизнь. Но Курт...

— Я готов поступить в распоряжение вашего командования,— сказал перебежчик,— чтобы отомстить за оккупированную Гитлером Австрию и за преступления, совершенные им против России.

Он помолчал и добавил:

— Это будет моя партийная работа.

Последние слова он произнес совсем ослабевшим голосом. Чувствовалось, что силы окончательно покидают его.

— Я доложу командованию о вашем желании стать в ряды антифашистских борцов,— сказал я. И после паузы спросил: — Есть ли у вас какие-нибудь просьбы сейчас?

Курт почувствовал, видимо, что настал час последнего решения, что ему, возможно, верить, и, собрав последние силы, прошептал: — Господин лейтенант, в эту ночь вы третий, кто меня допрашивает... Хочу признаться: очень хочу спать.

Когда конвоир увел пленного, я сказал командиру роты:

— Пусть пленный спит столько, сколько сможет. А мне дайте связь с политотделом армии.

...Несколько месяцев спустя, находясь на месячных курсах работников седьмых отделов в Москве, я узнал, что Курт на южных участках фронта честно выполняет свой долг.

НОЧЬЮ В 7-м ОТДЕЛЕ

По распоряжению начальника политотдела 26-й армии полковника В. П. Терешкина, всеми нами уважаемого, храброго и умного военачальника, меня командуют в штаб фронта, в 7-й отдел.

— Там узнаете, в чем дело,— напутствовал меня майор Самодумский.

Штаб находился в Беломорске, на окраине города. Прибываю ночью. Полное безлюдье, город спит. Издали доносится четкий шаг военного патруля. Силуэты деревянных небольших домов, мостов, пересекающих каналы, которыми изрезан этот город,— от всего этого веет чем-то бесконечно мирным, уютным, домашним, как будто не отражающим грозного времени. Но эта никем не описанная северная Венеция подвижнически выдержала испытания войны, отсюда исходили все нити управления фронтом от Заполярья почти до Карельского перешейка.

Вхожу в ничем не примечательный дом, в комнату дежурного. Напротив находится редакция. Здесь я не раз получал задания от строгого редактора подполковника Б. Павлова. Здесь меня учили газетному уморазуму.

Докладываю по форме.

Бледнолицый худощавый дежурный в непомерно больших очках склонил голову над рукописью. Гимнастерка слишком большого размера как-то неряшливо, по-штатски скрывала его фигуру.

Не дослушав рапорта, не поднимая головы от рукописи, он указал пальцем на стул и совсем не по-военному произнес:

— Садитесь, Илья Вениаминович. Понимаете, какая штука: в час дежурства перевожу «Песнь песней» с древнееврейского на

норвежский. А работа над норвежско-русским словарем почти закончена,— дежурный положил руку на папку, лежавшую на столе и только тут поднял голову и взглянул мне в лицо.

Это был Игорь Михайлович Дьяконов. Молодой ученый — историк широкой эрудиции, полиглот, занимался норвежским не из праздного любопытства: позднее, когда наши войска вступили освободителями на норвежскую территорию, он оказался незаменим для общения с населением.

Непротокольность поведения Дьяконова объяснялась не только его штатской заваксой и странностями характера, но также и тем, что мы с ним хорошо были знакомы, когда я служил в редакции «В бой за Родину».

Естественно, я поддержал начатый разговор, несколько необычный в этой обстановке и в такой час. Дьяконов продолжал: — Сейчас не до диссертаций. Но все же я задумал труд на слишком уж «современную» тему — из истории Среднего Царства в Древнем Египте. Основное содержание мне ясно, а места для цитат оставлю открытыми. Заполню их в мирные дни, когда вернусь в Ленинград.

Он задумался на мгновение, потом мягким, медленным движением отодвинул в сторону свидетельство своих несколько парадоксальных занятий и сказал:

— По распоряжению полковника Суомолайнена* вам надлежит выехать в лагерь военнопленных в город Череповец. Сейчас вас познакомят с материалами.

В Череповце мне предстояло встретиться с немецкими военнопленными 1941—43 годов. Предполагалось, что они напишут письма к немецким солдатам и офицерам, воюющим на Севере, в которых сообщат о том, что живы, и предложат своим соотечественникам последовать их примеру — сдаться в плен.

Майор Бергельсон познакомил меня с некоторыми документами, характеризующими тех, с кем мне предстояло встретиться.

— Возьмите эту фотографию,— сказал Бергельсон.— Портрет невесты военнопленного Вайса. Ему безынтересно будет взглянуть на нее.

В Череповце я вручил Вайсу снимок его невесты. Впечатление было ошеломляющим.

Перечитывал я и сохранившиеся документы. Запомнился отрывок из письма офицера СС домой, передающий его характер. Он пишет: «...В правом углу верхней полки книжного шкафа есть две пачки сигарет (одна початая) и полбутылки коньяку. Сохрани их. Две пачки сигарет верни Конраду — я ему должен».

* Полковник Суомолайнен — начальник 7-го отдела Политуправления Карельского фронта.

Когда мы вступили в поселок Кестенга (это было 10 сентября 1944 года), нас поразила обстановка комфорта, в которой жили офицеры теперь стремительно отступающей армии. Какие-то порошки от вшей с пронзительным запахом, крем для ног от потливости, тюбики, коробочки от паст, точилки для карандашей небесно-голубого цвета, ядовито цветастые рекламные брошюры. И над всем, на одном из окон, крупно, торжественно провозглашается: «Wir müssen und können» («Мы можем и должны»).

Эта самоуверенность — характерная черта мышления, распространенного в немецкой армии.

Любопытно, каковы эти солдаты и офицеры после месяцев, лет лагерей для военнопленных?

Снова встречаюсь с Дьяконовым. Но теперь уже ни слова о Среднем египетском царстве и «Песни песней». Теперь — только о 7-й горно-егерской дивизии «Эдельвейс» и о дивизии СС, к которым будет обращено письмо военнопленных из череповецкого лагеря. В моем блокноте сохранилось 16 фамилий тех, с кем тогда через несколько дней предстояло встретиться: Штумпф, Менге, Тратлер, Лангер, Кенглер, Енике, Тири, Кирхнер, Гиеде, Хармут, Мюллер, Фрай, Хозль, Гамбергер, Ревник, Рем...

Прошаюсь с 7-м отделом. И направляюсь к вокзалу, иду вдоль каналов, деревянной, удивительной карельской Венеции. Полдень. Светит неяркое, несущее тепло солнце.

ЛИНИЯ ПОДБОРОДКА

При поступлении в армию немецкого антифашиста Реннемана, сражавшегося в Испании против Франко, тщательно проверялась линия его подбородка: соответствует ли она арийским представлениям о непреклонности воли и преданности фюреру.

Указанная линия понравилась. Реннеман был зачислен в летную часть.

Под Мурманском он сдался в плен. Был направлен в Череповецкий лагерь военнопленных.

Здесь произошла наша встреча в парадоксальных для военного времени условиях.

Руководство лагеря устроило вечер, посвященный... трудовому соревнованию военнопленных. В помещении сидели немецкие эсэсовцы, австрийские горнолыжные стрелки из 7-й горной дивизии, испанцы из «Голубой дивизии», финские шоцкоровцы. Все — вчерашние, бывшие, для которых война закончена. Некоторые временно перекрасились, иные с готовностью подчинились неизбежности, третьи действительно возненавидели Гитлера и его камарилью. Но все участники вечера выглядели однозначно антифашистски настроенными.

Вечер начался маршем, посвященным трудовому соревнованию. Играли на примитивных, самодельных, весело пиликающих инструментах.

Вел концерт конференсье по всем правилам этого жанра. Солдатский юмор был доступен всем.

Я вглядывался в лицо Реннемана. Подбородок его действительно был жестковат, но характер Реннемана противоречил внешнему впечатлению. Вот кое-что из рассказанных им анекдотов.

— Какая разница между часами и положением немцев на Восточном фронте? Часы делают тик-так и двигаются вперед. Немцы на Восточном фронте двигаются назад и называется это так-тик.

Еще один анекдот.

— В подводной лодке едут Гитлер, Геббельс и Геринг. Лодка торпедирована, все пошло ко дну. Вопрос: кто спасен? Ответ: спасен немецкий народ.

Все понимают немецкий язык, все дружно смеются. В конце вечера, взявшись за руки, пели антифашистскую песню. Все пели по-немецки, но я заметил, что Реннеман пел по-испански.

Немецкие, австрийские и финские военнопленные, захваченные на Карельском фронте, охотно подписали обращение к своим соотечественникам с призывом кончать войну, переходить в русский плен. В их числе ефрейтор, которому я вручил фотографию его невесты, хранившуюся в 7-м отделе Политуправления фронта.

Это было 23 августа 1943 года, за год и девять месяцев до крушения гитлеровской империи.

НОГИ ПЕРЕВЯЗАНЫ ПРОВОЛОКОЙ

Ночной бой был скоротечным. Нападение немецких разведчиков из 7-й горной дивизии «Эдельвейс» было отбито.

Как только смолкли автоматы и пулеметы, вдруг забрезжил рассвет, рассеявший мглу. Он осветил ярко-серое небо, высохшее черно-зеленое карельское болото.

Тишина и рассвет сомкнулись. Тишина неживая: не слышно птиц, спугнутых человеком. Светлое сероватое небо — тоже чужое: каждое движение теперь на виду у той, враждебной, стороны, подстерегающей тебя каждое мгновение.

В отдалении вижу два неподвижно лежащих тела в темно-зеленой «эдельвейсовской» форме.

Медленно приближаюсь.

Один лежит на спине, его спокойное почти детское лицо обращено к небу. Застывшее выражение удивления.

Второй уткнулся лицом в землю, как буд-

то хотел в нее зарыться, скрыться, спастись от ужаса неизбежности.

Оба похожи друг на друга: юные оборвавшиеся жизни. Я подумал: близнецы. Из нагрудных карманов вынимаю солдатские книжки. Так и есть, фамилия одна, имена разные. Братья.

Только теперь замечаю, что произошло. Ноги одного туго перевязаны толстым надежным проводом, свободный конец в руке у другого солдата: он хотел перетащить тело убитого к своим. Но пуля сразила и второго.

Двое юных лежат под карельским небом, охраняемые тишиной умолкшего боя.

КАК ПОДНЯТЬ ТЯЖЕЛОЕ БРЕВНО

Длинное тяжелое бревно никак мне не давалось. Один конец подымаю и тут же опускаю, не хватает сноровистости. А времени мешкать нет. Идет строительство оборонительной линии на новом рубеже, все втянуто в дело, включая наше 7-е отделение и редакцию газеты «Красноармейский удар». Надо торопиться. Чем быстрее, ловчее, тем меньше шансов попасть под губительный огонь.

Заметив мое замешательство, подошел майор Левин, корреспондент армейской газеты.

— Так вы никогда не возьмете. Вот как надо брать, — сказал Федор Маркович.

Согнувшись, этот совсем не молодой человек легко подставил плечо под середину бревна, нашел точку равновесия, поднялся с колен и легко двинулся с ношей. Я последовал примеру Федора Марковича, и дело пошло споро. Разговаривать было некогда. В свободную минуту я спросил у майора, откуда у него такое умение.

— Как откуда?! Из лагеря. Там научили.

О беде Левина я узнал задолго до этого — в августе 1942 года, в день моего прибытия в распоряжение редакции фронтовой газеты «В бой за Родину». Главный редактор подполковник Павлов собрал работников редакции, чтобы заслушать мое сообщение о советских кинематографистах в дни войны. Среди слушателей был Юрий Герман, прибывший в Беломорск на несколько дней из Заполярья. Я обратил внимание на то, что один из участников был острижен наголо, как стригут заключенных. Это был Федор Левин. Только сегодня он получил свободу. В перерыве мы радостно обнялись.

Я познакомился с Левиным незадолго до войны, в бытность его главным редактором Комитета по кинематографии. Его глубоко посаженные добрые, необычайно добрые глаза как будто находились под защитой густых черных бровей. Когда он улыбался, улыбались и его глаза, они всегда ждали твоего

ответного взгляда. Злобливость была ему органически чужда. Но не со всеми он мог быть добр. Не со всеми, о них я еще скажу. При встрече с ними взгляд Федора Марковича становился замкнутым, казалось, пышные брови становились еще гуще, еще больше закрывая глаза, его сутулая спина опускалась еще ниже. За людей, способных на мерзость, он испытывал стыд. До войны я не раз беседовал с Левиным по сценариям и картинам «Мосфильма». Он всегда был искренен, прям, доказателен. Он любил многих мастеров кино, особенно близок был с Довженко. Но сердце Левина билось в одном движении с литературой его времени, а не с кинематографом, который он просто читал как человек отзывчивый на все талантливое и честное в жизни, в художественных поисках. Можно себе представить, каким праздником души были бы для Федора Марковича щедрые публикации нашей революционно мыслящей литературы прошлого и настоящего. Деятельность его в рамках Комитета по кинематографии стала невыносима с приходом туда в качестве руководителя Семена Семеновича Дукельского, до того работавшего в органах транспортного ГПУ в Воронеже. Для характеристики стиля поведения Дукельского приведу только один штрих. Председателю Комитета доложили о приходе режиссера такого-то. На что последовало кратко:

— Введите режиссера...

Дукельскому, этому малорослому человеку с черными усами, прикрывавшими щеки и требовавшими бдительного ухода, не была знакома улыбка. Он не знал, что такое сочувствие, понимание другого, душевный отклик. Это была цельная натура. Зло, причиненное этим посланцем Воронежа советскому кино предвоенной поры, еще требует исследования историком интеллектуальной жизни советского общества. Неудивительно, что вскоре последовал приказ Дукельского об освобождении Левина от должности и откомандировании его в распоряжение ЦК ВКП(б).

В редакции «В бой за Родину», где служил Левин, нашлись свои Дукельские. Это был относительно известный поэт, никогда не смотревший в глаза собеседнику, всегда превеличленно оживленный; не менее известный, плодовитый, но мало читаемый прозаик со стертým лицом, лишенным всех красок выразительности, кроме безмерной скуки; еще один член Союза писателей, который никогда ничего путного не написал, но которого я однажды, еще в мирные дни, встретил в профсоюзном доме отдыха, он был там преуспевающим массовиком-культурником. В своем тайном доносе они все трое обвинили свою жертву в пораженчестве. Левин был арестован и через полгода осво-

божден за недоказанностью обвинения, но в партии (он состоял с 1920 года) был восстановлен не скоро.

Его вернули в редакцию «В бой за Родину», затем он работал в «Красноармейском ударе», в 26-й армии. Именно там Левин мне преподал урок, научил ловко поднимать тяжелое бревно.

И все же обвинения продолжали ходить за Левиным по пятам. Отпадали одни обвинения, возникали новые, из-за них и затягивалось восстановление в партии. Левин поведал мне об одном разговоре со следователем: «Вот вы написали плохое о «Флагах на башне» Макаренко. А вскоре Макаренко умер. Вы — Дантес. Так же, как он убил Пушкина, вы убили писателя Макаренко».

В свободную минуту в редакцию «Красноармейского удара» приходили друзья Левина, чтобы послушать его. Рассказчиком он был неподражаемым. Я бы сравнил его по уровню дарования с Паустовским, Нилиным, Андрониковым. Подкупала непосредственность, чистота, неподкупность. Дорого ему это обходилось, в разной мере.

В политотделе все знали серьезную, вдумчивую Анну Каренину — она была в чине подполковника. Знали также, что она плохо, недоверчиво воспринимала скороговорку фронтовых шуток, забавных парадоксов. Все остерегались потревожить шуткой Анну Каренину, но не Федор Маркович. Смешливые истории, которые он рассказывал, ставили ее в тупик. «Что за этой юмористической импровизацией скрывается» — как бы задавалась она вопросом и с недоверием посматривала на Левина. Возможность толкования вкривь и вкось честнейших баек, да еще во фронтовой обстановке, беспокоила многих, в особенности его неизменную слушательницу, восемнадцатилетнюю цензоршу Олю Таранову. Она боялась, как бы чего не случилось с Левиным после лагеря. Только много позднее я узнал о причинах глубокой тревоги Оли.

Вскоре после войны, зайдя в контору «Мосгаза» на улице Пушкина (тогда Большой Дмитровке) в Москве, в одной бедно одетой болезненного вида женщине я узнал Олю Таранову. Она мне очень обрадовалась. Пригласила выйти на улицу. Оля надела легкое пальто. Вместо верхней пуговицы — заржавелая английская булавка. Видно, в конторе «Мосгаза» не бог весть сколько она получала. На мне была старая фронтовая шинель, теперь — без погон. Разговорились о Левине.

— Теперь я могу сказать все, — произнесла Таранова. — Мы в цензуре не подчинялись ни армейскому, ни фронтовому командованию.

В этот момент мы проходили мимо большого здания на площади Дзержинского.

Она указала на него:

— Только этому дому. Мне был дан строжайший приказ: по письмам контролировать идеологическую позицию майора Левина. Понимаете, как могло караться малейшее нарушение этого приказа. Но могу признаться, как только я находила строки, которые могли быть истолкованы не в его пользу, я потихоньку уничтожала все письмо. Будь что будет со мной. И пусть семья сходит с ума из-за отсутствия известий от мужа и отца, я в обиду нашего любимого Федора Марковича не дам...

Я крепко пожал ей руку. Мы расстались.

Левину я ничего не сказал об этом признании Тарановой.

Во время «космополитических» нападков на интеллигенцию: писателей, врачей, педагогов, партийных работников, герой гражданской и Отечественной войн Левин был лишен работы. Писал под чужими именами учебные сценарии и статьи, и на это жила семья. После партийной и гражданской реабилитации Левина мы снова увидели Федора Марковича на заседаниях Союза писателей. Снова читали его статьи. После всех потрясений он остался самим собой — не так это мало. Таким, каким я его знал в ту минуту, когда уверенно, легко он поднял тяжеленное бревно и без напряжения понес его. Подавая урок всем нам.

ПИСЬМО МОЖНО НЕ ОТПРАВЛЯТЬ

Девочка приподнялась на цыпочки, протянула худенькую ручку с зажатыми треугольничком пальчиками, но что-то необъяснимое, тревожащее остановило ее движение. Застыв в ожидании разгадки и не отрывая руки от почтового ящика, она медленно повернула голову. На противоположной стороне узкой потылихинской улицы стоял тот, кому было адресовано письмо.

...Я тоже не мог пройти мимо почты, мимо этого маленького существа. Сначала я обратил внимание на белую пикейную шапочку, покрывавшую ее голову, не прикрывавшую косички с вылинявшими бантиками, и во мне возникло какое-то странное чувство ожидания непредвиденного. Я остановился, всматриваясь в ребенка.

В эти удивительные, ни с чем не сравнимые секунды мы должны были узнать друг друга — моя старшая дочь Ляля, прожившая военные годы сначала в Алма-Ате, а потом в Москве, и я, в этот счастливый июльский день 45-го, когда я, еще в погонах, неожиданно возвращался домой, в Москву, на свою Потылиху. Приказание вернуться в Москву, в офицерский резерв, было столь неожиданным, что я не мог об этом известить семью.

И все же первым нарушает напряжение ребенок. Совсем тихо, все еще не веря самой себе, она тихо спрашивает полужнакомца:

— Папа?

Не сбрасывая с плеч тяжелый рюкзак и не произнеся ни слова, с протянутыми руками я иду ей навстречу. Препград нет, письмо можно не отправлять. Я прижимаю Лялю к груди. И оба молчим. Ставлю ее на пыльную мостовую. Спрашиваю:

— Как мама, Наташа?

— Дома. Мама сказала, что тебя можно ждать каждый час.

Молча пошли к дому, рукой подать. Пошли мимо старенького деревянного домика, где до войны ютилась семья рабочего Гунчикова, трое сыновей. Я спросил о них.

— Никто не вернулся.

Повернули на асфальтовую дорогу, которая вела к нашему дому, единственному пятиэтажному во всей округе. Дворовые ребяташки, игравшие в «классики», прервали иг-

ру. С интересом смотрели на появившегося человека в военной шинели с фронтовыми погонами. Особенно внимательно смотрела на меня белокурая девушка лет пяти. Я почувствовал, что каждый из них ждал отца. Все провожали нас взглядом, спокойно, быть может, радуясь чужому счастью. Только самая маленькая, белокурая девушка сорвалась с места, подбежала ко мне, прижалась лицом к пыльной шинели и радостно закричала:

— Папа! Папа!

Ляля что-то шепнула ей на ушко, как могла успокоила. Потом обернулась ко мне:

— Папа, ты не первый. Раз шинель, значит, может быть папа...

Перешагивая через ступени, поднимались на свой третий этаж, с нами шла белокурая девушка.



ЗАПИСКИ КОНФОРМИСТА, НЕ ДОЖИВШЕГО ДО ПЕНСИИ

— Вы меня не знаете, — сказал он. — Я разыскиваю Сергея, мне сказали, что он у вас.

— Ну я Сергей, — сказал Сережка.

— Ты? — сказал человек. — Неужели это ты?

— Дядя Федя?.. — неуверенно сказал Сережка. Они обнялись. — Это дядя Федя, — сказал мне Сережка, — папин друг по Бухенвальду.

По лицу дядя Федя текли слезы.

— Как же так, Серега, — говорил он, — как же так, ведь он моложе меня был...

Я почувствовал, как комок подступает к моему горлу.

— Вот, — сказал я Сережке и дал ему ключ от номера, — идите ко мне, я сейчас приду.

Они пошли по дороге. Сережка бережно поддерживал человека под руку, а перед моими глазами стояло улыбающееся лицо дяди Сережи.

...Он улыбался, когда я приехал к нему в больницу им. Ленина, куда его увезли с тяжелейшим инфарктом. Более десяти дней дядя Сережа чувствовал себя неважно, но ходил на работу и только отмахивался, когда Сережка и Вера, жена, уговаривали его пойти к врачу. Наконец вызвали «скорую помощь», потому что он потерял сознание. Его увезли в больницу и установили обширный инфаркт. Все десять дней дядя Сережа проходил на работу с инфарктом. Он улыбался, глядя на меня, и в его лице было что-то виноватое. Он чувствовал себя виноватым потому, что доставил столько хлопот родственникам и врачам. Всю свою жизнь дядя Сережа не болел и даже не ходил к врачам. Он умер на третий день. За два дня он подружился со всеми в палате, и там не стихал хохот от анекдотов и прибауток, которые дядя Сережа знал во множестве. Он умер ночью. Сосед его проснулся от хрипа, который дядя Сережа уже не мог сдержать, — он стеснялся будить соседей, чтобы они позвали сестру. Когда прибежала сестра, было уже поздно.

Хоронили дядю Сережу в яркий солнечный день. Во дворе фабрики на Садовой поставили гроб. Дядя Сережа лежал в гробу, и впервые его лицо было серьезно. Вокруг стояли плачущие женщины в белых халатах, а из окон домов, выходящих во двор, высывались любопытные жильцы.

В коридоре коммунальной квартиры, где жил дядя Сережа, толпились люди, потому что в комнату не могли попасть все желающие помянуть его. Первым взял слово высокий жилистый человек с суровым, будто высеченным из камня лицом. Он поднял стакан, зажатый в руке, на которой не было ногтей, и сказал весомо и твердо:

— Сергей Ярыгин безукоризненно выполнял все задания Организации. Выпьем за память нашего товарища. Пусть земля будет ему пухом. — Он медленно выпил стакан водки и сел.

Я заметил, что на второй руке у него тоже не было ногтей. Рядом с ним сидели два старика, по лицам которых текли слезы. Это были товарищи дяди Сережи по Бухенвальду, а человек без ногтей был руководителем подпольной организации, которая подняла восстание в лагере. Дядя Сережа рассказывал мне о нем с почитительным и я бы даже сказал боязливым восхищением. Этот человек поставил рекорд по побегам из фашистских лагерей. Каждый раз его ловили, избивали, допрашивали, привязывали на сутки к штыкам, которые впивались в его тело при малейшем движении. У него вырвали все ногти, выбили все зубы, тело его было испорчено шомполами. Но волю его сломить не могли, и, как только он вставал на ноги, он снова бежал. Он был живуч, как кошка. И немцы не убивали его из любопытства, они хотели увидеть, как он сломается и станет послушной скотиной. Наконец после двенадцати или шестнадцати побегов он попал в Бухенвальд. И тут фашистам показалось, что они добились своего: не было в лагере более дисциплинированного заключенного. Он подтверждал их теорию о том, что из любого человека можно сделать скота. И они

гордились им как созданием собственных рук, не подозревая, что этот человек создает Организацию, которая уничтожит их, как крыс, и что они будут убивать друг друга лопатами на краю ими же выкопанной могилы.

После войны трибунал, который осудил моего отца, приговорил Руководителя к смерти, которую заменили двадцатью пятью годами. Из советского лагеря он уже не бежал — бежать было некуда. Его выпустили из лагеря после разоблачения Берии, когда он приехал в родной Ленинград, из которого ушел восемнадцатилетним мальчишкой на фронт и где умирали от голода его родственники, начальник милиции, в которую он пришел прописываться, сказал, что Ленинграду такие, как он, не нужны и что его напрасно выпустили из лагеря, его, труса, сдавшегося фашистам в плен. Я не знаю, был ли начальник милиции на фронте. Думаю, что нет. Но Руководитель попал на человека, который знал, что такое война, и стал Героем на этой войне. Он попал на прием к комиссару милиции Ленинграда Соловьеву, и тот сразу все понял и написал на его заявлении: «Немедленно прописать».

— К начальству пролез, — криво ухмыльнулся начальник милиции, — через голову. Ну подожди, мы еще встретимся на узкой дорожке!

— Не советую, — спокойно сказал Руководитель, и это был дельный совет.

Теперь Руководитель сидел за столом между двумя плачущими стариками, которые были ненамного старше его, и сжимал обезображенными руками пустой стакан. Он не плакал. Но я чувствовал, что смерть дяди Сережи была для него частицей его смерти. В нем многое умерло за эти годы, и теперь я видел, как умирает еще какая-то часть. Часть его юности, часть его непримиримости, часть его торжества. «Сергей Ярыгин безукоризненно выполнял все задания Организации», — большого он сказать не мог.

И мне вдруг стало страшно. Страшно потому, что я попробовал представить себя его врагом. Я понял, как глупы и самонадеянны были немцы, решившие поставить на нем свой эксперимент и оставившие его живым. Как, впрочем, глупы были они, попробовав провести этот эксперимент с русским народом.

— Михалыч, — услышал я голос Саши, — давай, я схожу.

Фигуры Сережки и дядя Феда уже давно растворились в тумане. Я полез в задний карман и достал бумажник. Там было немного — рублей тридцать.

— Бормотуху брать? — спросил Саша.

— Нет, только водку.

— На все?

— Да, — сказал я. — И чего-нибудь закупить.

— Ты совсем обалдел, Михалыч, — сказал Саша. — Девушки из столовой тебе все дадут.

— Неудобно, — сказал я.

— Ну и дурак ты, Михалыч, — сокрушено сказал Саша. — Чего же неудобно, если к тебе человек приехал?!

...Я прибрал постель и спрятал в тумбочку некоторые забытые детали женского туалета. Сережка с дядей Федей стояли на балконе. Туман постепенно рассеивался, выглянуло солнце, и на фоне темно-зеленых елей засверкала золотом октябрьская листва деревьев.

Пришел Саша и принес пять бутылок водки и две глубокие тарелки с бефстрогановом и солеными огурцами, которые ему дали девушки на кухне. Мы уселись за журнальный столик, который я поставил против открытой балконной двери. Саша вежливо выпил рюмку и ушел. Мы молча сидели, потом дядя Федя налил водку в стаканы, игнорируя поставленные мною рюмки, и сказал:

— Ну что ж, помянем моего друга и твоего отца.

— И моего дядю, — сказал я.

— И вашего дядю, — повторил он. — Таких людей больше нет. Во всяком случае я не встречал. Я ему обязан жизнью. Да что — жизнью, я ему обязан честью, тем, что я человек, а не паскуда в человеческом образе.

— А почему ты не приехал на похороны? — спросил Сережка. — Я сам отправил тебе телеграмму.

— Ну, во-первых, я получил телеграмму через неделю после похорон. Я лежал в больнице, — он кивнул на свою неестественно вытянутую и вывернутую вбок ногу в ортопедическом ботинке. — Как только я встал на ноги, я сразу приехал. Вчера мы с Верой были на кладбище, а сегодня первой электричкой к тебе.

— Слушай, а как ты познакомился с отцом? — спросил Сережка.

— Это длинная история, — сказал дядя Федя. — Познакомились мы с ним в Бухенвальде, но история началась гораздо раньше. Ну да будет ему земля пухом!

Мы выпили и закусили огурцами и бефстрогановом из общей тарелки.

— История началась давно, — сказал дядя Федя, — пожалуй, весной двадцать девятого года. Жили мы в то время на Енисее. Село у нас было зажиточное, дома у всех крепкие, да и жили вроде одинаково, ну одни побогаче, другие победней, но никто не голодал. Работы для всех хватало. Отец у меня к этому времени работал в ЧК уполномоченным по нашему району. Он ходил в кожаной черной куртке и черной кожаной фуражке с наганом в желтой кобуре. Я им очень гордился и вступал в драку со своим другом — соседским парнишкой Петьюкой, который мне завидовал и обзывал отца лодырем. Отец

действительно хозяйством не занимался, и все делали за него мать и бабка, ну да и я. В остальном мы с Петькой дружили и вместе бегали на рыбалку, да и в тайгу с ружьишком хаживали. У Петьки в лесу была запрятана винтовка с боевыми патронами, и он попадал из нее белке в голову и мне давал пострелять, только чтобы я отцу не говорил. Я и молчал. Нас в деревне так и называли: Петька да Федька, и расставались мы только на ночь, да и то летом вместе на сеновале спали.

И вот однажды, по-моему, весной двадцать девятого года отец приехал из района и сказал, что завтра начнем раскулачивать «куркулей». Я не понимал, что такое «раскулачивать». Но на следующее утро приехали чекисты и стали ходить по дворам. Пришли они и во двор соседа. Его вывели из дома со связанными руками и разбитым в кровь ртом. Мой отец упер в спину соседа наган и столкнул его со ступенек. Потом из дома стали выходить заплаканные женщины, вышел и Петька. Отец произнес речь с крыльца. Я уж не помню, о чем он говорил. Но я очень гордился им, потому что видел, как его слушаются чекисты и как побаиваются односельчане. «Вот теперь, — думал я, — Петька не посмеет сказать, что мой отец лодырь. Небось, отец его сказал такое, вот и плюется сейчас разбитыми зубами».

Потом Петькино семейство и еще несколько семей с узлами и сундуками повели вниз к реке. Там у причала стояла баржа с буксиром, и на барже было уже много людей, но не наших. Когда Петька по трапу поднимался на баржу, он посмотрел на меня в упор. Я никогда не забуду этот взгляд.

— Мы еще встретимся, — сказал Петька, — встретимся с тобой и с твоим батькой. Мне было жалко Петьку, но я сказал:

— Давай, давай, иди, куркуль, мироед проклятый! Скажи еще спасибо, что я отцу про винтовку не рассказал.

Баржа уплыла под вопли голосящих баб. Отец стоял на берегу высокий, красивый, и только гуляли у него каменные желваки. Потом отца перевели в Красноярск, а затем мы всей семьей, заколотив избу, переехали в Москву, в четырехкомнатную квартиру с ванной. Бабушка скоро умерла от тоски по родным местам. А я стал учиться в школе, вступил в комсомол, стал комсоргом. Отец приходил домой поздно. Со мной он почти не разговаривал. И только ночью, идя в туалет, я иногда видел, как он сидит на кухне и пьет водку.

Я учился в школе для детей ответственных работников. Учиться было легко: учителя боялись нас больше, чем мы их. Всегда можно было сказать какому-нибудь учителю: «Вот я отцу скажу!..», и он тут же переставал читать тебе мораль и ставил хорошие отметки. Я был отличником в классе и

признанным оратором на всех комсомольских конференциях. У отца было уже два ромба в петлицах, когда я поступил в институт. В институте меня сразу же избрали комсоргом, и пошла замечательная жизнь. Учиться было несложно. К этому времени я насобачился говорить речи без всякой подготовки, и взрослые люди, даже члены правительства, аплодировали мне из-за стола президиума. В общем я был полон энтузиазма, и передо мной было светлое будущее. Но в тридцать девятом году отца и мать неожиданно арестовали.

Дядя Федя взял бутылку и трясущейся рукой разлил водку по стаканам. В комнате стояла тяжелая тишина. Не дожидаясь нас, он залпом выпил водку и стал зажигать спички. Спички ломались. Наконец он закурил «Беломор», глубоко затянулся и сказал:

— На этом кончилась моя «счастливая» жизнь. Через неделю в квартиру въехал человек, похожий на моего отца, только у него был один ромб в петлице. Он без стука вошел в мою комнату и сел на постель.

— Вот что, парень, — сказал он. — Если не хочешь оказаться там, где твои родители, забирай свои манатки, и чтобы духу твоего здесь не было. Даю тебе два часа.

— Что с родителями? — спросил я.

— Они не вернуться, — сказал он. — Это я тебе гарантирую. Врагам Советской власти пощады быть не может.

— Вот так, — сказал дядя Федя. — Петька и его семье отец дал на сборы тоже два часа. Так я узнал, что значит быть сыном врага народа. Меня выгнали из института, выгнали из комсомола, бывшие друзья брезгливо обходили меня как зачумленного, а бывшие враги неприкрыто радовались. И никто меня не жалел, никто. Первый человек, который пожалел меня, был твой отец. Выпьем за его память.

Мы выпили.

— Когда началась война, я был уже не сыном врага. Я сам был врагом. Я ненавидел комсомол, я ненавидел партию, я ненавидел все, я даже ненавидел себя. Единственного человека я жалел — Петьку. Теперь он остался единственным, кто когда-то любил меня. Отца к этому времени расстреляли, мать покончила с собой. Я пошел добровольцем в армию для того, чтобы при первой возможности сдать в плен, а потом мстить, мстить, мстить тем людям, которые с трибуны произносят речи и призывают нас к трудовому героизму, говорят о подвигах, о дисциплине, а сами только и знают, что сладко жрать, сладко спать и ничего не делать. Я хотел им мстить, потому что мне не удалось стать одним из них. Я, сын генерала, вдруг оказался на улице, я ночевал на чердаках и в подвалах, работал помощником бочкаря, таскал ящики и разгружал уголь. И я хотел

мстить. Ненависть переполняла меня.

В плен я попал под Киевом, как и твой отец. Но мстить я не мог. Черт его знает почему... Я сам удивлялся. Ну что стоило пойти и сказать, что ты ненавидишь Советскую власть и хочешь с ней бороться с оружием в руках. И ты получишь форму, хороший паек и будешь иметь возможность мстить. Некоторые так и делали и потом смотрели на нас, как на собак, забыв о том, что еще вчера они были такими же. Но я не мог заставить себя сделать это. Почему? До сих пор не знаю.

— Потому что вы — русский, — сказал я.

— Может быть, — устало согласился дядя Федя и налил водку в стаканы, — может быть, и потому, что я русский. Не знаю, но пойти служить немцам я не мог.

Так постепенно, кочуя из лагеря в лагерь, я попал в Бухенвальд. В общем-то Бухенвальд был лагерем «аристократов». Туда в основном отправляли тех, кто пытался бежать. Но я бежать не пытался. Я не знал, что мне делать. Я ненавидел всех. К этому времени легкая рана на моей ноге стала гноиться, она не заживала, и время от времени из нее вылезали кусочки кости. Это называется «остеомиелит». Тогда я этого не знал и очень боялся, что немцы убьют меня, если я не смогу ходить.

С твоим отцом мы оказались соседями по нарам. Но он уже был старожилом и состоял в Организации. Удивительное дело, как он мог поддержать людей, заставить их понять, что они люди даже здесь, в Бухенвальде. Он все время шутил, и постепенно люди вокруг него начинали улыбаться, хотя давно уже забыли, что такое улыбка. Я тоже забыл, что такое улыбка, еще в тридцать девятом году. Больше того, я ненавидел улыбающихся людей. Он сделал так, что я попал в лагерьный лазарет. Там был доктор-москвич, который не мог спасти всех, но людей Организации он старался спасти. Он был очень хороший врач, и даже немцы-врачи относились к нему с профессиональным уважением и не трогали больных, которых лечил он сам. Он спас многих, спас он и меня, хотя я и не был членом Организации.

Я стал им позже. Организация делилась на тройки, и каждый ее член знал только двоих, максимум троих. Это делалось для того, чтобы в случае провала можно было сократить до минимума число потерь. Я знал Сергея и Алексея. Кроме того, я догадался, что доктор связан с Организацией. Алексей тоже был москвич, и его тоже спас доктор, спас от голодной смерти. Немцы пошли на этот эксперимент потому, что их интересовало, можно ли безнадежного дистрофика вернуть к жизни минимальными средствами. Сотни людей в лагере умирали голодной смертью, но на единицах продельвали

подобные эксперименты, и как правило, эти люди оказывались людьми, нужными Организации.

Вообще Организация обладала в лагере даже большей властью, чем лагерная администрация. Она могла спасти нужного человека, потому что в ней состояли писаря, которые могли вместо одного отправить в крематорий или в филиал Бухенвальда «Дору» другого, переменить фамилию, номер и т. д. Могли с помощью доктора устроить нужного человека в лазарет, перевести из блока в блок, сделать так, чтобы человек затерялся и найти его было практически невозможно. Алексея спасли дважды. Один раз его, предназначенного для крематория, подменили другим, а второй раз его спас доктор, поставив на ноги.

Здесь, в Бухенвальде, я впервые после разлуки с Петькой понял, что такое настоящая дружба. Как хорошо и спокойно иметь друзей, на которых ты можешь рассчитывать больше, чем на самого себя, и знать, что существует еще множество неизвестных тебе людей, которые сделают все, чтобы спасти тебя, если ты попал в беду, потому что ты член тайного братства — Организации. Впервые я ощущал себя частью большого и сильного целого, и впервые я был по-настоящему счастлив.

Я, Серега и Лешка были больше чем братья. Нас связывала общая цель — уничтожить фашистов, мы были частью Великого Заговора. Трудно сказать, сколько раз, смертельно рискуя, мы изготавливали детали к самодельным пистолетам и к каким хитростям нам нужно было прибегать, чтобы достать хотя бы один патрон.

В ночь, когда американцы совершили налет на лагерь и разбомбили служебные бараки эсэсовцев, мы в крошечной темноте под непрерывный грохот рвущихся бомб собирали оружие с мертвых. Мы несли раненых на винтовках вместо носилок, и теперь Организация была вооружена и ждала часа, когда поступит приказ применить оружие. Немцы, между прочим, объявили, что в эту ночь при бомбежке погиб Эрнст Тельман, хотя тот был убит накануне в конюшне, и Сергей видел его труп. Как ни странно, это были лучшие годы моей жизни, потому что у меня была Цель и были друзья.

— А сейчас, — спросил я, — сейчас у вас есть друзья?

— Нет, — сказал он, — сейчас есть собутельники. Последний друг умер, поэтому я здесь.

— А Руководитель? — спросил я.

— Руководитель был другом Сергея, в то время я его не знал, не имел права знать.

Все это время младший Сережка сидел с открытым ртом, и я понял, что дядя Сережа рассказывал мне больше, чем ему, наверное,

потому, что к тому времени, когда Сережка родился и подрос, он уже устал от воспоминаний, а может быть, и хотел забыть их. Он незадолго до смерти подарил мне книжку с названием «Люди, победившие смерть». Это были воспоминания людей, состоявших в подпольной организации Бухенвальда. Там была его фотография и его воспоминания, очень скупые и сдержанные, непохожие на живые, окрашенные юмором рассказы дяди Сережи. На книге он написал: «Жизнь очень сложная штука — не забывай об этом».

Наступило время обеда, и я поднялся вместе с Сережкой в столовую. Официантки наложили нам полные тарелки закусок и всякой еды. Дядя Федя по-прежнему сидел, вытянув свою ногу в ортопедическом ботинке, и смотрел сквозь балконную дверь на улицу. На улице было очень хорошо: тепло и солнечно, и остатки вчерашнего дождя почти исчезли, только бетонный пол на балконе не совсем еще высох, и в комнате было прохладней, чем на улице. Я открыл третью бутылку водки и подумал, что самое время попросить Сашу сходить в магазин. Опьянения я не чувствовал, но меня была какая-то нервная дрожь.

— Ну и что дальше? — спросил Сережка, усаживаясь за журнальный столик.

— Дальше, — сказал дядя Федя и усмехнулся, — дальше я встретил Петьку.

Война приближалась к концу. Я уже давно был членом Организации и теперь сам руководил «тройкой» из вновь завербованных заключенных. По-прежнему моими лучшими друзьями были Сергей, Алексей и доктор. Подчинялся я Сергею. Но между нами никогда не было отношений начальник — подчиненный. Твой отец умел руководить людьми, оставаясь их другом. Это редкое качество, и даже в Организации не все обладали им в той мере, как твой отец.

Однажды в Бухенвальд пригнали небольшую партию новых заключенных. Я стоял у ворот, когда их ударами дубинок вгоняли в лагерь. Вдруг среди них я увидел Петьку. Мы узнали друг друга сразу, хотя не виделись пятнадцать лет. Петька ухмыльнулся так, как будто хотел сказать: «Ну вот мы и встретились!» А у меня внутри все похолодело. Я испугался не за себя. Я испугался, что не выдержу пыток в гестапо, потому что меня, сына генерала НКВД, будут пытать с пристрастием, и я выдам Сергея и Алексея, единственных людей Организации, которые знали больше меня. Я разыскал твоего отца и рассказал ему все.

— А ты уверен, что он выдаст тебя? — нахмурившись, спросил он.

— Не знаю, — сказал я, — но мы не имеем права рисковать.

— Это верно, — сказал Сергей. — Жди меня здесь.

Он ушел, а через два часа меня отправили в филиал Бухенвальда «Густловверке», а Петьку — в «Дору», это сделали люди Организации. Оттуда живыми не возвращались. Больше нам с Петькой свидетеля не пришлось. Так я и не узнал — хотел ли он выдать меня гестапо, или, может быть, я поступил так же, как когда-то мой отец, который отправил его семью практически на смерть для того, чтобы подстраховать себя в своей Организации и поставить лишнюю галочку в графе «раскулачивание»? До сих пор я этого не знаю, и это не дает мне спать по ночам. Ведь если я не пошел служить немцам после того, что сделали со мной, то и Петька мог не пойти. Ведь он тоже русский, и уж он ничем не хуже меня.

— А что дальше? — спросил Сережка.

— Дальше было восстание, потом пришли американцы, потом кончилась война. Потом мы поехали на Родину. Те, кто хотел, и те, кто мог.

— А были такие, кто не хотел? — спросил Сережка.

— Были, — кратко ответил дядя Федя. — Мы — Сережка, я и Алексей — уехали первыми, доктор остался долечивать дистрофиков и раненых. Это его и погубило. Когда через полгода, поставив на ноги несколько сот людей, он вернулся, его обвинили в шпионаже и закатали на полную катушку.

— Как так? — спросил Сережка.

— Так, — сказал дядя Федя, — как и Руководителя. Тому тоже вкатили на полную катушку, да и остальным руководителям дали кому больше, кому меньше. Нам повезло: мы были рядовые. Нас немного подержали в тюрьме и выпустили — меня, Сергея, Алексея и еще человек двадцать. Остальных убили.

— Зачем? — спросил Сережка.

— Для порядку, — сказал дядя Федя. — Люди, которые создают Организацию, — опасные люди. Поэтому те, кто просто попал в плен, получили десять лет, а те, кто из плена бежал, — двадцать пять лет. «Докажите, — говорили нам, — что вам не устроило побег гестапо. Вот из наших лагерей только уголовники бегают, а уж в гестапо работали профессионалы не хуже нас».

— Так и говорили? — спросил я.

— Да, так и говорили, — сказал дядя Федя. — Каждую неделю мы две ночи проводили в Большом доме, мы на Воинова, а москвичи на Лубянке, остальные уж не знаю где. Две ночи в неделю с сорок пятого по пятьдесят пятый год.

— И что вы там делали? — спросил Сережка.

— Писали автобиографию и подробно описывали, чем занимались в плену. Потом делали перерыв, и нас допрашивали, а потом мы снова писали.

— Зачем? — спросил Сережка.

— А каждый раз наши показания сличали, и если находили несовпадения, допрашивали и выясняли, а если все совпадало, было еще хуже. Говорили, что мы слишком хорошо вызубрили «легенду».

— Вас били? — спросил я.

— Нет, — сказал дядя Федя, — не били, но спать не давали, в шесть утра нас выпускали, и мы шли на работу.

— Дядя Сережа мне ничего об этом не говорил, — сказал я.

— А он и не мог говорить, — сказал дядя Федя. — Мы давали подписку о неразглашении.

— Зачем они это делали? — спросил Сережка.

— Работа у них такая. Под конец следователи выматывались побольше нас. Они все хотели, чтобы мы выдали кого-нибудь, тогда они могли бы поставить галочку. Вроде план выполнили и не зря им деньги платят.

— И вы никого не выдали?

— Мы — нет, нам некого было выдавать.

— А другие? — спросил я.

— Другие выдавали, — сказал дядя Федя, — чтобы отделаться и спать спокойно. — Он разлил водку по стаканам и, не дожидаясь нас, выпил.

— Значит, было кого выдавать? — спросил Сережка.

— Кого выдавать всегда найдется, — сказал дядя Федя. — Свою мать и отца тоже можно выдать. Был у нас такой герой — Павлик Морозов. Доктора тоже выдали — сказали, что он остался для того, чтобы получить инструкции от американцев и вылечить раненых для того, чтобы они могли не вернуться, а до этого он работал агентом гестапо, и поэтому немцы его не тронули.

— Кто же такое сказал? — спросил Сережка.

— Это особая история, — сказал дядя Федя и усмехнулся. — После ареста и расстрела Берии нас всех вызвали в Большой дом. Там мы впервые собрались — «люди, победившие смерть». Слышал, есть такая книжка?

— Слышал, — сказал я, — у меня она есть.

— В Большом доме нам показали Ленинский зал и комнату чекистов, раньше мы их не видели, хотя и ходили дважды в неделю. Перед нами извинились и сказали, что мы — Герои, что Родина нас не забудет и что мы можем гордиться тем, что мы участники бухенвальдского восстания, и что такого восстания история не знает со времен Спартака. Нам сказали, что теперь мы можем ехать куда хотим. Вот я и поехал в Москву навестить Алешку. Он жил в новом доме, в новом районе, в четырехкомнатной квартире. У него была замечательная жена и двое чудных сыновей — один до-

военный, а другой сразу после войны. Они все знали про нас, какие мы Герои и как мы изготовляли оружие для восстания, и как убивали фашистов. Алешка был начальником лаборатории, получал хорошую зарплату, ездил за границу, даже с женой — отдыхать в Болгарию. И я подумал: «Ну и прет же этим москвичам...» Нам для того, чтобы поехать в дом отдыха по профсоюзной путевке, нужно было спрашивать разрешение у следователей. Каждый раз, когда я бывал в Москве, я оставался у них ночевать, и дети расспрашивали меня о подпольной работе, о восстании, и я полюбил их, как родных.

В пятьдесят седьмом году нас с Сережкой нашел доктор. Он отсидел свои одиннадцать лет где-то под Ингой и приехал седой, беззубый, но веселый. Мы крепко выпили, и когда остались одни, я спросил: как же его посадили и за что? Я рассказал, что нас с Сережкой заставляли писать о нем все, до мельчайших подробностей, и по нашим записям ему нужно дать Героя, потому что он и есть Герой. А ему дали смертную казнь с заменой двадцатью пятью годами. За что?

— Представляешь, — дядя Федя ухмыльнулся, — я спросил: «За что?»

Доктор погрустнел.

— Не надо об этом, друзья.

— За что? — повторил я. — Десять лет мы с Сережкой писали каждую неделю, что ты — Герой.

— Вы — дураки, поэтому и писали десять лет, — сказал доктор. — Написали бы сразу, что я агент гестапо, и спали бы спокойно остальные десять лет. Алексей умней вас оказался.

— Алексей? — спросил я.

— Да, Алексей, — сказал доктор. — У него жена была беременна, и он хотел каждую ночь проводить дома, чтобы не волновать ее. Ведь не мог же он ей сказать, что ночи проводит не у любовницы, а в Большом доме.

— Откуда ты узнал про это? — спросил твой отец.

— Сначала мне дали прочитать дело, когда освобождали. Из него я узнал, что меня арестовали на основании показаний Алексея, потом некоторые граждане через год-два подтвердили эти показания, но предположительно, дескать — может быть. Самое обидное, что всех их я вылечил. Потом я нашел Алексея, и он, стоя на коленях, признался мне, что сделал это ради беременной жены.

— Вот сволочь! — сказал Сережка. — Да его убить мало!

— Это же сказал твой отец, но доктор сказал, что он не граф Монте-Кристо, и все равно обратно эти годы не вернешь, а начинать новую тюремную эпопею у него нет желания.

— Ну и что дальше? — спросил Серега.
— Дальше я перестал ходить к Алексею, когда приезжал в Москву, а туда я стал ездить часто. Через три года доктор умер от туберкулеза, который он заработал уже в наших лагерях. Себя он спасти не мог. И вот однажды, году в шестьдесят седьмом я вдруг встретил в Москве жену Алексея. Она и в Ленинград мне писала, спрашивала, почему я не захожу, а тут вцепилась в меня как клещ — пойдем да пойдем, дети по тебе соскучились, ну я и пошел.

Алексей стал белым как полотно, когда меня увидел. Но внешне он все был такой же молодой, уверенный, спортивный. Стол ломился от дефицита: финская колбаса, чешское пиво, шотландское виски. Дети были взрослые и бросились мне на шею. Я, пожалуй, не встречал таких счастливых и дружных семей. На пиджаке Алексея был бухенвальдский значок. Мы с Сергеем эти значки не носили, не носил его и доктор. А он, видимо, гордился этим значком, и гордились им дети. Когда мы выпили, Алексей успокоился, лицо его стало розовым и безмятежным. В голосе были покровительственные нотки. Он предложил мне переехать в Москву, обещая квартиру и непьющую работу. «Неужели ты не заслужил этого? — спросил он. — Не умеют у нас в Ленинграде ценить настоящих ветеранов».

И тут я не выдержал. Беззубое лицо доктора все время стояло перед моими глазами. Я слышал его кашель и видел его глаза, глаза очень больного человека, который изо всех сил старается, чтобы его боль никто не заметил. «Я не граф Монте-Кристо», — сказал он. А твой отец сказал: «Я убью его, если только встречу...»

Не помню, что я говорил, но помню лица детей, смотревших на своего отца-героя. Потом его жена бросилась на меня и закричала: «Замолчи, замолчи! Ты негодяй!» Я встал. «Убирайся!» — закричала она. Я вышел за дверь и услышал, как она звериному кричит: «Не верьте ему, не верьте ему!..»

Там, стоя на площадке, я понял, что я отомстил, что я убил счастье в этой семье.

— Но странно, — сказал дядя Федя, — я не испытывал удовлетворения. И наверное, она была права, когда кричала мне: «Ты негодяй!» До сих пор у меня перед глазами стоят лица детей. Слишком много лиц стоит у меня перед глазами, когда я прощаюсь в четыре часа утра.

Уже темно, когда мы шли на станцию. Дядя Федя загребал ортопедической ногой и стучал палкой. Он снова напомнил мне Слепого Пью, который принес «черную метку» Билли Бонсу.

— Прощайте, ребята, — сказал он. — Извините, если что не так, но должен я был выговориться, ведь, кроме Сергея, у меня никого не было, а теперь и его нет. После того случая в Москве я уехал в Сибирь, на родину. Никого из стариков в живых не было, но память о моем отце осталась — нехорошая память. Живу одиноко, хотя и «ветеран». Помирать пора. Всего-то и счастья у меня было — три года в Бухенвальде.

Мы обнялись и потом долго смотрели вслед электричке, пока не исчезли красные огоньки стоп-сигналов.

В сорок восьмом году я начал готовиться к поступлению во ВГИК. Это выразалось в том, что вместо школы я ходил в кино, потому что на «Индийскую гробницу», «Путешествие будет опасным», «Побег с каторги» и другие можно было попасть только на ранние зимние сеансы. На все остальные сеансы билеты скупали шайки перекупщиков, и нам, школьникам, они были не по карману.

Рано утром мы высаживались из набитых битком, замороженных трамваев у Большого зала консерватории или у кинотеатра «Гигант», где обычно проходили премьеры этих картин. Там уже загодя выстраивались очереди у касс с предварительной продажей билетов. Люди стояли, окутанные паром, по два-три часа до открытия касс, чтобы купить билеты на вечер или хотя бы на дневной сеанс. Но перед самым открытием у касс появлялись стайки мальчишек в морских бушлатах и кожаных летных шлемах. Они оттесняли от окошечек добропорядочных граждан, показывая им зажатые между пальцами бритвы или слегка тыча в бок финскими ножами, и скупали целые рулоны билетов, начиная тут же торговать ими втридорога в конце очереди.

Но на девятичасовой сеанс желающих было немного, и мальчики в бушлатах не вставали так рано, и поэтому в зале собирались в основном «мотальщики» — так назывались прогуливающие уроки. Оттаивая постепенно в теплом зале, мы восхищались подвигами Роберта Тейлора в «Последнем раунде», влюблялись в Дину Дурбин в «Секрете актрисы» и «Первом бале», испытывали странное томление при виде роскошных туалетов Сары Леандр в «Восстании в пустыне». Радовались роскошным декорациям, баритону Эдди Нельсона и живости Жаннетты Макдональд в «Таинственном беглеце» и «Двойной игре». Нас поражал суровый реализм Поля Муни в «Побеге с каторги» и в «Я обвиняю» и вызывали восторг приключения капитана Ярости в «Долине Гнева». Потом наши умы (это было несколько позже) завоевал Эррол Флин

в «Робин Гуде» и «Острое страданий».

Из советских картин этого периода запомнились «Сказание о земле Сибирской», «Падение Берлина», «Смелые люди», «Встреча на Эльбе» и «Весна». Начиналась борьба с космополитизмом, и на экраны выходили «Александр Попов», «Жуковский» и другие фильмы, в которых в скупой, назидательной форме доказывали приоритет России во всех областях науки и техники. Регулярно стали появляться постановления ЦК ВКП(б) по искусству: о журналах «Звезда» и «Ленинград», о кинофильмах «Большая жизнь», «Адмирал Нахимов», «Иван Грозный», об опере «Великая дружба».

По количеству портретов после Сталина и Берии на третье место вышел Жданов. Человек с одутловатым жабим лицом, в полувоенном френче, с маленькими гитлеровскими усиками. Оказывается, это он руководил обороной Ленинграда, а сейчас является крупнейшим специалистом во всех областях культуры и искусства. Только спустя много лет мы узнали, что Ленинград спас от бессмысленного уничтожения и организовал его оборону Георгий Константинович Жуков. Но к сорок девятому году имя Жукова было прочно забыто, а члены Ленинградского обкома, прошедшие всю блокаду, были расстреляны как враги народа. Только Жданова почему-то не расстреляли, и теперь он руководил искусством, каленым железом выжигал крамолу в виде Ахматовой и Зощенко, Эйзенштейна и Пудовкина. До сих пор не могу забыть замечательную фразу из постановления о кинофильме «Иван Грозный» (вторая серия): «...изобразил прогрессивное войско опричников, как банду насильников и убийц наподобие американского ку-клукс-клана».

В те годы я не пропускал ни одного фильма — ни советского, ни иностранного. Я был молод, здоров и полон любопытства. Теперь я понимаю, какое огромное количество киномакулатуры я посмотрел. Наступил момент, когда мы с моим другом Левой Житковым посмотрели все фильмы, находившиеся в прокате, а те, которые нам понравились, посмотрели раза по три-четыре. Так как картины выпускались не более одной-двух в месяц, Лева стал ходить на уроки, а я три раза в неделю в Публичную библиотеку, где я выбирал все книжки по разделу кино и честно высиживал по восемь часов в день. Теперь я прочитал бесчисленное множество литературной макулатуры, но среди всяких пособий по композиции, по обработке светочувствительных материалов, среди книжек, посвященных творчеству Довженко, Пырьева, Герасимова, Александрова, мне попадались иногда жемчужины. Одной из них была книга под названием «Основы кинорежиссуры» Льва Вла-

димировича Кулешова. В ней легко и весело, без важности и наукообразного тумана излагалось, как надо снимать кино. Потом я узнал, что эта книга была переведена почти на все языки мира. А еще спустя несколько лет я познакомился с ее автором, замечательным русским кинематографом, педагогом и человеком. Ну да об этом после.

С восторженным трепетом я проникал в тайны кинематографа, который до этого момента представлял для меня нечто единое и неделимое — как яблоко. Теперь я узнал, что кинематограф — это труд многих людей, и слагается он из многих составляющих: сценария, режиссуры, операторского мастерства, работы художника, актеров, комбинированных съемок, монтажа, записи музыки и звука. Книга Л. В. Кулешова послужила мне камертоном в моей дальнейшей кинематографической жизни, и я бесконечно благодарен ему за это. Тогда же я определил, кем хочу стать в кино.

Я неплохо рисовал и занимался во Дворце пионеров у замечательных педагогов С. Н. Левина и М. Р. Гороховой. Но моя фантазия значительно превосходила мои способности воплотить ее на бумаге, поэтому вопрос о профессии художника в кино отпал. Профессия кинорежиссера привлекала меня значительно больше. Но я, как ни странно, понимал, что это скорее дар божий, чем профессия. Этого дара я в себе не чувствовал. Я не чувствовал в себе возможности снять что-нибудь подобное «Жуковскому» или «Падению Берлина». Жизненный опыт, который частенько подменяет дар божий, тоже находился у меня в зачаточном состоянии. Поэтому после не очень продолжительного размышления профессия режиссера тоже отпала. Актером я не мог стать из-за хромоты. Оставался оператор.

На другой день я пошел во Дворец пионеров и записался в кружок фото и кино. На мое счастье, классным руководителем у нас была Дарья Михайловна Певзнер. Каким-то образом она узнала, что я не просто мотаю, а хожу в Публичную библиотеку и готовлюсь к поступлению в институт. Поэтому вместо того, чтобы выгнать меня из школы или хотя бы вызвать маму, она сделала свирепое лицо игрозила мне пальцем. Я продолжал посещать Публичную библиотеку, покончил со всей кинолитературой и перешел к книгам по истории изобразительного искусства. К моменту окончания школы я был весьма эрудированным мальчиком в области кино и изобразительных искусств. Кроме того, я по-настоящему увлекся фотографией и почти все время проводил в ванной при свете красного фонаря, так что на уроки времени у меня не оставалось и я делал их в основном на переменах.

В это же время я начал влюбляться в девочку, но, увы, безответно: почти все они были старше меня и я никакого интереса для них не представлял. Они предпочитали курсантов училищ имени Фрунзе или Дзержинского. Те ходили с черными палашами на боку, с золотыми нашивками на рукавах шинелей и форменок и были неотразимы. Единственное утешение состояло в том, что курсанты получали увольнительные по воскресеньям, и поэтому иногда в будни нам перепали торопливые, равнодушные поцелуи в парадных, где мы неумело добились благосклонности наших подруг после домашних вечеринок с танцами под патефон.

К этому же времени относится и мое приобщение к спиртным напиткам. Мой друг Юра Спиридонов был на два года старше меня, и поэтому он поступил в училище имени Фрунзе, когда я перешел в восьмой класс. Надо сказать, что я остался на второй год в седьмом классе и поэтому был переведен из 155-й школы (бывшего третьего реального училища) в 161-ю среднюю школу. Эту школу я полюбил, и меня в ней полюбили. Постепенно все мои друзья из 155-й школы, оставаясь на второй год, перешли в мою новую школу, и мы основали содружество второгодников из 155-й. Так вот, Юра Спиридонов получал в училище стипендию сто тринадцать рублей в месяц — сумасшедшие деньги по тем временам, и мы решили перепробовать все вина и крепкие спиртные напитки, чтобы чувствовать себя настоящими мужчинами. Его как ленинградца отпускали из училища в субботу вечером с ночевкой. В это же время отпускали и остальных, ухажеров моих девиц, которые были на несколько курсов старше Юры. Так что в субботу и воскресенье девушки забывали о нас напрочь, замороженные нашивками, палашами, клешами. И неразделенная любовь толкала нас на путь алкоголизма.

Мы с Юрой шли в магазин и обсуждали меню, которое нам предлагалось. Витрины были забыты ныне забытыми напитками: «Горный дубняк», «Зверобой», «Зубровка», «Кориандровая», «Спотыкач», «Рябина на коньке», «Бенедиктин», «Шартрез», «Голландский джин». Потом, сидя в моей комнате, мы пробовали напиток из дедовских хрустальных рюмок, оценивая его букет и рассуждая о женской неверности. По молодости нам больше нравились сладкие настойки. Но помня, что настоящие мужчины пьют крепкое, мы давились горным дубняком и зубровкой, с трудом проталкивали в себя голландский джин и очень быстро пьянели. В то время нам хватало бутылки на двоих. Чтобы достичь такого состояния сейчас, мне нужно выпить три бутылки одному. Поэтому я придумал название для

фильма о днях моей юности — «Когда бутылки были большими».

К этому же времени относится и наше повальное увлечение оружием. Леса на Карельском перешейке были набиты оружием и старым, проржавевшим, а иногда и почти новым, в хорошем боевом состоянии. Когда я жил на даче дяди Леши в Сестрорецке, мы по вечерам устраивали игры в казаки-разбойники. Днем мы в подвале выковыривали из патронов пули, заменяя их бумажными пыжками, а вечером гонялись друг за другом со «шмайсерами» и ППШ, «парабеллумами» и «вальтерами», ведя одиночный огонь холостыми патронами.

Однажды бабушка, прибирая мою комнату, шваброй выкатила из-под кровати две «лимонки» и один ручной гранатомет. После этого она произвела тщательный обыск, и вся моя коллекция оружия, а именно: «вальтер», «парабеллум», четыре гранаты, сотни две патронов, финки с наборными рукоятками, артиллерийский порох, ракетница и две шпринг-мины, была уложена ею в чемоданчик. Она отнесла все мое богатство на Никольское кладбище, к могиле деда, и утопила в пруду — там же, где она утопила в восемнадцатом году оружие, которое дядя-офицеры привезли с первой мировой войны и которое я страстно мечтал достать со дна Никольского пруда. Там были два маузера, несколько браунингов, манлихер, смит-вессон, бульдог. Наверное, бабушка поступила правильно, но каждый раз, когда я бываю на Никольском кладбище, подернутая зеленоватой ряской поверхность пруда оказывает на меня гипнотическое действие, и я думаю о лежащих под ней изделиях рук человеческих, таких красивых и надежных, к сожалению, предназначенных для убийства. «Кольт тридцать пятого калибра уравнивает всех», — говорили американцы. Но бандит всегда владеет кольтом лучше, чем простой труженик, потому что это его профессия, его ремесло. И тем не менее, когда я в детстве ощущал тяжесть кольта в кармане брюк, я не боялся, что меня могут унижить или оскорбить люди только потому, что они старше или сильнее меня. Вероятно, они это тоже чувствовали, и после той драки в 155-й школе меня никто не трогал, исключая мелкие стычки местного значения, где прибегать к оружию не было необходимости.

На чердаке нашего дома был устроен настоящий полигон. Дом был большой, и когда на выстрелы сбегались управдом и жильцы, мы мгновенно прятались по закоулкам чердака, стреляя из ракетницы по приближающимся к нам блюстителям порядка. Ракеты, шипя и разбрызгивая искры, металась по чердаку, и скоро перепуганный управдом махнул на нас рукой, и чердак

стал нашим постоянным клубом. Там мы курили, тренировались в стрельбе из моего пневматического ружья и из рогаток. Кидали в цель финки и рассматривали порнографические открытки.

У одного моего одноклассника еще дед начал собирать коллекцию порнографических открыток, на которых были изображены дамы в зашнурованных корсетах и кружевных панталонах, но чаще без оных. Некоторые фотографии относились еще к тому периоду, когда выдержка составляла по двадцать и более минут. Позы у дам были напряженные, а мужчины с нафабранными усами были настоящими героями, потому что вряд ли современные граждане смогут выдержать двадцать минут, не меняя положения тела, особенно находясь в подобной групповой композиции. По мере совершенствования фотографии качество снимков ухудшалось — они становились менее резкими, менее контрастными, но более волнующими, наверное, потому, что фотографу, часто случайно, удавалось поймать естественное выражение лица, которое невозможно было выдержать в течение двадцати минут на дагерротипе.

Впоследствии я заметил, что долго репетируемые сцены в кино выглядят холодно и не вызывают эмоций, в то время как актер, поставленный в условия импровизации, может в первом же дубле достичь того неожиданного результата, который потом повторить невозможно.

Спустя много лет я наблюдал в Финляндии школьников, которые заходили в сексшопы покупать жевательную резинку. Они спокойно проходили мимо журналов с такими фотографиями, от которых у меня и сейчас перехватывает дыхание и на которые я стеснялся смотреть в присутствии женщин. Они распечатывали свои чуингаммы и баблгаммы среди предметов удовлетворения блуда разных форм и размеров, как будто это была выставка карандашей в магазине канцтоваров. Их это не интересовало. Для них это не было тайной. Для них, когда они подрастут, половые отношения станут чем-то похожим на заботу о правильном пищеварении — не есть слишком много, но всегда вовремя и то, что надо. И я пожалел их, этих умудренных половым опытом маленьких финников, вспомнив своих товарищей на чердаке, напряженно рассматривающих портреты дам в корсетах и черных чулках и их партнеров с выпученными от напряжения глазами и лихо закрученными усами а ля кайзер Вильгельм.

Письма от отца приходили редко, они были написаны карандашом на серой, гру-

бой бумаге. Теперь половину писем отец посвящал мне. Он писал, что мне нужно больше читать русскую классику, а не увлекаться американской и английской литературой, изучать историю России и других народов, не поддаваться антисемитизму, так как становление еврейского характера обусловлено историческим развитием еврейского народа, разбросанного по всему миру, никогда не кичиться тем, что я русский, но и не забывать об этом. Отец писал, что хотел бы, чтобы я стал доктором, потому что это, пожалуй, единственная профессия, которая дает возможность помочь людям, не связывая помощь с политикой, но он бы не хотел, чтобы я женился на медичке, так как они излишне прагматично относятся к любви.

В письмах его было много цитат из Ленина, которые, на мой взгляд, в те времена звучали несколько странно, если не сказать контрреволюционно. Позднее, снимая «Республику ШКИД», я взял в ленинфильмовской библиотеке первое издание сочинений Ленина и был поражен количеством штампов, проставленных на томах. Начиная с тысяча девяносто тридцати пятого года на титульном листе стояли штампы: «Проверено»: «Проверено 36 г.», «Проверено 37 г.» Ленина проверяли до начала войны, потом возобновили проверку с тысяча девятьсот сорок седьмого года. Говорят, в пятидесятом году поступил приказ это издание уничтожить, но библиотекарь на свой страх и риск распоряжение не выполнила, и теперь я мог прочитать в конце каждого тома хронологию событий, происходивших каждый день в то смутное и великое время. Читая хронологию, я узнал о революции во много раз больше, чем за весь курс истории, пройденный мною в школе.

Я читал письма отца, как и положено хорошо воспитанному советскому школьнику читать письма предателя Родины, — я читал их, чтобы не обидеть мать. Потом письма перестали приходить. Отец был в лагере усиленного режима, где разрешалось писать два письма в год. Но вот уже год от него не было ничего. Мать снова плакала по ночам, а я испытывал облегчение — по крайней мере мне лишний раз не напомнили, что я сын врага народа. Потом я узнал причину молчания отца.

К дяде Пепе пришел начальник лагеря, в котором находился отец. Он пришел к нему поздно вечером. Начальник был в чине полковника МВД. Он устал от службы на Севере, хотя и обладал там неограниченной властью, и решил перебраться в Москву. Он хотел, чтобы дядя Пепя взял его в один из своих научно-исследовательских институтов на хорошую должность. Тогда в благодарность за это он облегчит участь отца,

переведет его на ослабленный режим, а впоследствии сделает так, чтобы отца расконвоировали, и он станет привилегированным заключенным и даже сможет выписать к себе семью.

— Поймите,— говорил начальник,— вынести даже десять лет строгого режима невозможно, а двадцать пять — лучше уж сразу повеситься.

Дядя Пепа в молодости был хорошим футболистом, поэтому он вывел полковника МВД на площадку и дал ему такого пинка в зад, что тот пролетел весь лестничный пролет, ударился головой о стенку и остался лежать на полу. Мария Николаевна рассказывала, что все мои дядья, офицеры царской, или, как ее теперь называют, Русской армии, никогда не подавали руки жандармским офицерам, за что имели неприятности от начальства. Не знаю, подал ли генерал-полковник Чечулин руку полковнику МВД прежде, чем нанести ему удар в задницу. Думаю, что нет. Ирина Вячеславовна говорит, что это было ужасно. Когда дядя Пепа закрыл дверь, предварительно выкинув туда шинель и фуражку полковника, он, несмотря на ее протесты, выпил целую бутылку коньяку залпом.

Именно после этого события отец и перестал писать совсем. Его бросили к уголовникам, которые избили его до полу-смерти, а потом посадили в карцер. Так что лихой футбольный удар дяди Пепы отрицательно сказался на лагерной карьере моего отца. Но он, узнав об этом, одобрил дядю Пепу полностью. Это произошло почти через десять лет.

Мы так и не узнали, предпринял ли начальник лагеря визит к дяде Пепе по собственной инициативе или это было расчитанной провокацией со стороны Берии, который незадолго до этого кричал на дядю Пепу: «Да я тебя в артиллерийских погребах в Сибири сгною...» Дядя Пепа не подписал доносы на своих начальников. Во всяком случае полковнику не повезло с нашей фамилией.

После ареста и расстрела Берии режим для отца был ослаблен. И тогда он как экономист взялся за логарифмическую линейку и подсчитал, что для содержания в лагере такого количества заключенных достаточно в три раза меньше обслуживающего персонала. Отец высчитал, что тогда кормежка заключенных существенно улучшится за счет сокращения воровства, а следовательно, они будут здоровее и смогут лучше работать. Эти свои соображения вместе с экономическими выкладками отец отправил в Кремль к Хрущеву. Письмо было перехвачено, и отца снова бросили к уголовникам, но те уже уважали отца за прямой и твердый характер и бить его не стали.

«Извини, Михаил»,— говорили они, ставя ему синяки, имитируя якобы проделанную работу. Потом отца вызвал к себе начальник лагеря, усадил его в кожаное кресло, предложил закурить и распорядился, чтобы принесли чаю.

— Михаил Петрович,— сказал начальник,— скажите, Петр Петрович Чечулин, генерал-полковник, не ваш родственник?

— Какое это имеет значение? — спросил отец.

— Встречался я с ним — серьезный мужчина,— сказал начальник.— А вот вы ведете себя несерьезно. Зачем вы написали это письмо? Разве вы не знаете, что Органы всегда правы, Органы не ошибаются?

— Я не знаю, как Органы,— сказал отец,— но начальников Органов до сих пор ставили к стенке: Ягода, Ежов, а теперь и святой Лаврентий.

Начальник побледнел.

— Зачем вы так, Михаил Петрович? Бывают ошибки...

— Вы хотите сказать, что ошибается Партия, а Органы правы? — спросил отец. Как он потом говорил, впервые в жизни он получил удовольствие от демагогии.

— Вы меня неверно поняли,— сказал начальник.— Партия никогда не ошибается, ошибаются люди, случайно затесавшиеся в Органы. С завтрашнего дня я перевожу вас на работу в контору. Только давайте договоримся — никаких писем.

— Не могу обещать,— сказал отец.— Как парторг, хотя и находящийся в заключении, а тем более как экономист я обязан заботиться об экономике государства. Пока у власти в Органах находился английский шпион, писать было бессмысленно. Теперь есть надежда, что письма в конечном счете дойдут до адресата.

— Товарищ Чечулин,— сказал начальник.

— Я вам не товарищ, гражданин начальник,— сказал отец.— Тамбовский волк вам товарищ.

Письма отца, которые бросили в ящики ЦК партии в Москве освободившиеся уголовники, дошли до адресата. В лагерь прибыла комиссия. В Центральном Комитете прислушались к советам отца — персонал лагеря был сокращен. Был уволен и начальник. Так мы и не узнали, удалось ли ему перебраться в Москву.

В 1951 году я закончил школу. Как ни странно, я был пятым — впереди были три медалиста и мой друг Лапшин. Меня допустили к конкурсным экзаменам для поступления во ВГИК. Свои фотоработы я выслал за полгода до начала экзаменов и в официальном конверте со штампом института получил уведомление о допуске к экзаменам.

На сэкономленные деньги я купил себе билет в экспресс «Максим Горький» — так назывался сидячий поезд, выходивший из Ленинграда в шесть утра и приходивший в Москву в двенадцать часов ночи.

Мама, немного всплакнув, смирилась с этим. За не очень долгую жизнь с отцом она поняла, что бороться с чечулинским упрямством бесполезно, поэтому собрала мне чемодан и узелок с продуктами на дорогу и рано утром пошла проводить меня на Московский вокзал.

Было прекрасное солнечное утро. Я закинул свой чемодан и узелок на багажную полку и вышел к маме. Она улыбалась, пытаясь сдержать слезы, и давала мне последние наставления.

— Имей в виду, — сказала она, — ты ничего не знаешь об отце. Я тебе ничего не говорила. Он пропал без вести.

— Но мы же ходили к нему на свидания...

— Этого никто не знает. Не могли же они в Москве знать, кто к кому ходит на свидания. Запомни, я все скрыла от тебя. Ты знаешь только то, что твой отец пошел добровольцем на фронт и пропал без вести. Как приедешь, остановись у Марии Николаевны, а потом обязательно зайди к дяде Пепе, он посоветует тебе, как быть.

Загудел паровоз, я обнял мать и прыгнул в тронувшийся вагон.

Начиналась моя самостоятельная жизнь. Около часа ночи я ввалился в квартиру Марии Николаевны, и она сразу погнала меня в душ смыть копоть от паровозного дыма. Все окна в вагоне были открыты настежь, поэтому не было душно, несмотря на июльскую жару. Всю дорогу многочисленное население вагона без конца ело и выпивало, докупая еду и выпивку на бесконечных остановках. Но, как ни странно, не было безобразно пьяных, не было скандалов. Царила атмосфера дружелюбия и терпимости, так свойственная русскому народу в недавнем прошлом и, к сожалению, начинающая исчезать сейчас.

Смыв с себя копоть, я попил чаю и улегся на белоснежное белье, постеленное на диване.

На стене над диваном висели портреты моих двоюродных братьев Пепы и Вовы, не вернувшихся с войны, и портрет дяди Гриши, который готовился к ней слишком активно, с точки зрения Органов, и, может быть, поэтому не дожившего до ее начала. Эти портреты укоризненно смотрели на меня, сына предателя, и я твердо решил, что если война когда-нибудь повторится, никогда не попадать в плен — лучше смерть. Моим детям не должно быть стыдно за меня.

Утром я поехал во ВГИК. Ехать было далеко — от Большого Новинского переулка (ныне несуществующего) до метро «Смоленская», потом до площади Революции и оттуда девятым троллейбусом до кольца на площади ВСХВ. Погода стояла прекрасная, и на голубом небе величественно сверкали нержавеющей рабочий и колхозница Мухиной.

Я вышел к мрачному серому зданию с бетонной колоннадой и высохшим фонтаном. Там одну половину занимала киностудия имени Горького, а вторую, поменьше, — Всесоюзный государственный институт кинематографии, предмет моих мечтаний. Здание показалось мне прекрасным, хотя теперь я понимаю, что оно не являлось чудом архитектуры. Я вошел в полутемный, прохладный холл и остановился в растерянности. В холле было пусто. Куда идти и что делать, я не знал.

Через несколько минут в холл вошел высокий человек в кителе и галифе, на груди его сияла Золотая Звезда Героя. Это был парторг института Саша Милюков — танкист, который первым форсировал Днепр. Сейчас он учился на сценариста. Он указал мне, куда идти, и сказал, что я пришел слишком рано, потом он посмотрел мои работы, похлопал по плечу, а узнав, что я из Ленинграда, сказал, что все ленинградцы, с которыми он воевал, отличные ребята, и жаль, что в институте их почти нет. Саша был прям, доброжелателен и честен. Наверное, поэтому он и стал Героем во время войны. Наверное, поэтому же он не достиг высоких постов и не сделал карьеры после окончания института в мирное время. Будучи главным редактором киностудии, Саша резал правду-матку в глаза начальству, пытался пробивать хорошие, на его взгляд, сценарии, а когда это не удавалось, запивал горькую или пускал в ход кулаки, за что и был понижен в званиях и лишен всех привилегий, кроме одной, которую у него никто не мог отнять, — привилегии Героя и фронтовика.

Тридцать четыре года спустя в коридоре Одесской киностудии я увидел высокого человека, опирающегося на палку. Лицо его было изрыто морщинами, шевелюра стала сивой, но на лацкане штатского пиджака гордо сияла Золотая Звезда Героя.

— Саша? — неуверенно спросил я.

Человек повернулся и, опираясь на палку, долго смотрел на меня. Потом он раскинул руки, и мы обнялись. Наши палки стукнулись в воздухе.

— Ты-то чего с палкой? — спросил Саша.

— Я-то с детства хромой, — сказал я, — а ты?

— Старые раны дают знать, — сказал Саша, — да и новых мне в душу насажали руководители искусства, мать их! Но Милюкова просто так не сломать. — И Саша через

тридцать четыре года снова объяснил мне, как и куда пройти для оформления на работу. Я приехал на Одесскую студию снимать фильм, потому что на родном «Ленфильме» для меня работы не было.

Часам к двенадцати холл ВГИКа был заполнен гудящей толпой абитуриентов. Здесь были старожилы, поступающие во ВГИК уже пятый год, и новички вроде меня. Старожилы были солидные московские ребята, одетые в модные пиджаки, с кожаными папками, в которых лежали прекрасные наклеенные на паспорт работы размером двадцать четыре на тридцать. В основном это были пейзажи с туманом, изысканные натюрморты и фоторепортажи о забегах по Садовому колыцу. Старожилы на зубок знали вкусы приемной комиссии. Ничего такого у меня не было. Работы мои были размером тринадцать на восемнадцать и наклеены в обыкновенный фотоальбом. Я почувствовал уныние, но твердо решил: поступать, как и они, даже если понадобится пять лет или больше.

В этой толпе я встретил еще одного ленинградца, с которым учился в 155-й школе до тех пор, пока меня оттуда не изгнали, — Сола Шустера, будущего режиссера и коллекционера. Ныне он, как и я, поступал на операторский факультет. Сол был медалистом, и у него были влиятельные родственники в кино, поэтому в отличие от меня он был абсолютно уверен в успехе. Несмотря на врожденный снобизм, Соломон был добрый парень и обещал проверить ошибки в моем сочинении, если меня к нему допустят после предварительных специальных экзаменов по теории и практике фотографии и коллоквиума.

Начался марафон экзаменов. Как ни странно, я набрал четырнадцать очков из пятнадцати и занял одно из первых мест. На коллоквиуме я блистательно рассказал, используя свои познания, почерпнутые в Публичной библиотеке во время мотания из школы, о русской батальной живописи, о французских импрессионистах и о том — тут уж я сообразил сам, — «как при помощи цвета решаются образы врагов в кинофильме "Падение Берлина"». Члены комиссии, пораженные моей эрудицией, поздравили меня с пятеркой, и я, ликующий, направился к двери, но был остановлен строгим голосом:

— Молодой человек, что у вас с ногой?

Я похолодел. Спрашивал декан факультета Анатолий Дмитриевич Головня — легендарный оператор, снявший «Мать», «Потомка Чингисхана» и «Адмирала Нахимова».

— Повредил на футболе, — сказал я. Это было полуправдой, так как, хотя мне действительно сломали ногу на футболе, но играл я уже будучи хромым, и болела она совсем не

в том месте, где был перелом.

— Немедленно забирайте документы! — сказал Головня. — Хромые операторы нам не нужны, вы не сможете работать. — Ему на ухо что-то зашептал Леонид Васильевич Косматов, который снимал «Падение Берлина», а сейчас набирал курс. Ему, видимо, понравилось мое объяснение по поводу решения в цвете образов врагов. — Леня, зачем человека мучить экзаменами? Дураку ясно, что он не пройдет медкомиссию, — сказал Головня и протянул руку. — Дайте мне вашу зачетку.

— Не дам! — сказал я. — Я сдам экзамены и пройду медкомиссию.

— Ну как хочешь, дэточка, — сказал Головня. — Мой тебе совет: иди в режиссеры, в сценаристы. Но оператором ты не будешь — это я тебе обещаю.

Анатолий Дмитриевич ошибся и честно признался в своей ошибке, сказав об этом с трибуны после моей защиты диплома. Не знаю, стал ли я хорошим оператором, но незадолго до своей смерти Анатолий Дмитриевич подарил мне свою последнюю книжку с надписью: «Александр Чечулину, настоящему кинематографисту, с уважением...» К этому времени я уже снял более пятнадцати картин.

Итак, я прошел специальные экзамены и был допущен к общеобразовательным. Устной литературы и истории я не боялся и легко сдал на пятерки. Но сочинение... Никогда за всю свою школьную жизнь я не получал за сочинение выше тройки, в основном же это были двойки, а иногда и единицы. Дважды я сдавал переэкзаменовки по письменной литературе и остался на второй год в седьмом классе, потому что допустил восемь ошибок. Теперь я с трепетом ждал этого экзамена.

Еще в Ленинграде наш золотой медалист Нарышкин дал мне толстую тетрадь с сочинениями на всевозможные темы.

— Только не вздумай писать что-нибудь от себя, — сказал Нарыга, — перепиши без ошибок и будешь в порядке. А то вечно тебя заносит не туда... — Нарышкину было виднее, как писать сочинения, — он поступал в Институт международных отношений, и учителя приходили в восторг от того, как этот чистенький, аккуратный мальчик, которого мы недолюбливали, раскладывает по полочкам «Бежин луг» или «Анну Каренину». Из «Бежина луга» я запомнил два пункта: 1. Как тяжело жилось детям до революции. 2. Как радостно и счастливо живут дети теперь.

Итак, засунув сборник сочинений Нарыги под рубашку, я отправился на экзамен. Мы уселись рядом с Солом Шустером и уставились на доску, на которой мелом писали темы сочинений. Не помню, какие были остальные темы, но одна из них была в тетра-

ди Нарыги: «Образ товарища Сталина в романе Алексея Толстого "Хлеб"». Я с облегчением вздохнул, незаметно вытащил тетрадь Нарыги и приступил к работе. Через сорок пять минут я закончил, механически переписав слово в слово все написанное Нарышкиным, и стал дожидаться, пока Сол закончит свой трактат о революционной лирике Маяковского. Чтобы не привлекать внимания экзаменаторов своим бездельем, я рисовал на чистом листе, вперемежку с парабеллулами и кольцами, дамские ножки с порнографических открыток, которые мы рассматривали на чердаке. Наконец Соломон закончил, бегом проверил свою работу и взял в руки мою. За пять минут он нашел в ней восемь ошибок — столько же я сделал в сочинении, из-за которого остался на второй год.

— Ну ты даешь, — сказал Сол, — пара тебе была бы обеспечена. — Он стал проверять сочинение второй раз.

Исполненный чувством искренней благодарности, я спросил:

— Сол, а можно я проверю твою работу?

— Валяй, — сказал Соломон, углубившись в мое сочинение.

Я стал проверять сочинение Сола, изо всех сил стараясь найти ошибки, чтобы хоть как-то отблагодарить его за мое спасение, наконец мне показалось, что в двух местах не хватает запятых, и я сказал ему об этом.

— Поставь, — отмахнулся Соломон, внимательнейшим образом вчитываясь в мою писанину.

На экзамене устной литературы старушка-учительница после того, как я получил пятерку, внимательно глядя на меня сквозь очки, сказала:

— У вас удивительное сочинение, никогда не думала, что по этому роману можно написать такое. Вам надо поступать в Литературный институт, молодой человек.

— Скорее, в Институт международных отношений, — сказал я. — Скажите, а там много ошибок?

— Ни одной, — сказала старушка.

В сочинении Соломона оказались две лишние запятые, он получил четверку. А я первый раз в жизни получил за сочинение пять.

Итак, я набрал двадцать девять очков из тридцати. Кроме меня столько же набрал сын директора института Боря Головня. Он был очень трудолюбивый и способный мальчик, и я думаю, что педагоги ставили ему высокие оценки с чистым сердцем.

Накануне мандатной комиссии меня поймал за ворот рубашки Анатолий Дмитриевич Головня.

— Ты еще здесь, дэточка? — спросил он.

— Да, — сказал я, — и я сдал все экзамены на пятерки.

Головня сочувственно покачал головой.

— А ты упрямый, — сказал он, — не слушаешь старших. Я ведь сказал тебе, что ты оператором не будешь.

— Буду! — упрямо сказал я.

— Становись режиссером, — сказал Головня. — Хочешь, я поговорю кое с кем?

— Нет, — сказал я, — я буду оператором.

— Ну-ну, — сказал Головня. — Жаль мне тебя, дэточка.

В тот вечер я ужинал у дяди Пепы. Все время, пока я сдавал экзамены, он терпимо относился к моему решению поступить в киноинститут, как к блажи, которая пройдет сама по себе. Однако, когда я рассказал ему о коллоквиуме и о том, что я отказался отдать документы, я впервые уловил в его взгляде некоторую заинтересованность. Теперь, подбирая куском хлеба соус с тарелки, он спросил меня:

— Почему такой грустный? Что-нибудь завалил?

— Нет, — сказал я, — все сдал: двадцать девять из тридцати возможных.

— Снайпер, — сказал дядя Пепя. — И много таких?

— Кроме меня еще один — сын директора.

— Какой проходной балл?

— Двадцать четыре — двадцать шесть.

— Так о чем грусть?

Я рассказал ему о разговоре с Головной.

— Когда мандатная комиссия? — спросил дядя Пепя.

— Завтра в двенадцать, — сказал я.

— Хорошо, — сказал дядя Пепя. — Иди спать и не волнуйся. — Неожиданно он положил мне руку на голову. — Да ты что, мальчик, сесть начал? Рановато. То ли еще будет! — Он дал мне подзатыльник. — Не волнуйся, я приеду завтра. Ты свое дело сделал, теперь моя очередь. Помни только одно — твой отец пропал без вести, и ты ничего о нем не знаешь.

— Я не умею врать, — сказал я.

— Так нужно, мальчик, — сказал дядя Пепя и погладил меня по голове. Рука дяди Пепы была покрыта экземой, но мне не было противно.

С десяти часов утра я уже метался около института. К подъезду то и дело подкатывали машины, и из них выходили люди, увешанные лауреатскими значками, — это прибывали ходатаи моих будущих сокурсников. Они важно выходили из машин и, небрежно похлопывая своих подопечных по плечу, направлялись в кабинет директора. В толпе абитуриентов шепотом произносилась фамилия приехавшего, а человек, ради которого он приехал, стоял с небрежным и отсутствующим выражением лица.

Без десяти двенадцать я в полном отчаянии выбежал на дорогу. Подъезд ходатаев прекратился, а дядя Пепы все не было. Ровно в двенадцать показалась огромная серая машина с черными крыльями. Она бесшумно затормозила около меня, и я влез в задний салон, обитый серым генеральским сукном и отделанный карельской березой. Машина завернула за угол и остановилась перед подъездом среди новеньких «Побед» и «ЗИМов».

— Где? — спросил дядя Пепа.

— На третьем этаже, в кабинете директора.

Дядя Пепа торопливо вылез из машины. Он был в генеральском кителе без орденов и орденских планок, но толпа абитуриентов моментально замолчала и уставилась на него.

— Жди здесь, — сказал он мне и пошел к институту. Шел он слегка грузно, но в нем чувствовалась выправка профессионального военного, прошедшего школу Русской армии, — органичное сочетание достоинства с непринужденной небрежностью... Толпа абитуриентов расступилась и пропустила его.

Дядя Пепа вернулся очень быстро. Он сел рядом со мной на сиденье в заднем салоне и сказал:

— Даже если нужно будет лечить, примут. Молодец — хорошо сдал экзамены. Приглашаю на ужин в ресторане. Что у тебя запланировано на вечер?

— Ничего, — растерянно сказал я.

— Значит, в восемь жду тебя дома, — сказал он. — А теперь вылезай и помни, о чем я тебе говорил.

Я вылез из машины.

«Майбах» медленно развернулся. Вдруг его задние колеса с визгом провернулись на асфальте, и он, набирая бешеную скорость, исчез за углом.

Меня вызвали на мандатную комиссию первым.

— Кем вам приходится этот военный? — спросил директор института, с удивлением глядя на мой потрепанный спортивный костюм и парусиновые туфли.

— Дядей, — сказал я.

— Родным?

— Да, — сказал я.

Владимир Николаевич Головня — директор института — когда-то хотел стать оператором, но жизнь и партия, членом которой он являлся, сделали из него чиновника. К счастью, чиновника честного, справедливого и, я бы даже сказал, доброго. Свою нереализованную мечту об операторской карьере он вложил в своего сына Борю, который стал отличным профессионалом и оправдал надежды отца.

— Есть ли у вас родственники в заключении? — спросил он, глядя на меня, и я понял, что он знает, и похолодел.

Но я помнил, что сказал мне дядя Пепа, и ответил, стгорая от стыда:

— Нет.

— Ну хорошо, — сказал директор и вызвал секретаршу. — Распорядитесь, чтобы врачу выдали мою машину, пусть свезет молодого человека на консультацию.

Седенькая старушка, ассистент профессора Краснобаева, к которому меня повезли на консультацию сразу после мандатной комиссии, осмотрев мое колено, откинулась на спинку кресла и сняла пенсне.

— Молодой человек, — спросила она, — почему вы не хотите стать режиссером?

— Потому что режиссер — это от Бога, — сказал я. — Это не профессия — это дар, а я хочу получить профессию.

Старушка обдумала мои аргументы, а затем повернулась к институтской врачихе, которая с почтением взирала на нее.

— Хорошо, — сказала она, — берите его, если надо будет — сделаем операцию.

— Вы думаете, он сможет? — спросила врачиха.

— Да! — резко сказала старушка. — Человек все может, если хочет. А он хочет, я это вижу. Не нужно ему мешать. Передайте Владимиру Николаевичу, что все будет в порядке.

— Хорошо, — сказала врачиха.

Так я стал студентом первого курса операторского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии.

Вечером я поднялся на лифте на девятой этаж дома на улице Горького, против Центрального телеграфа. Дверь мне открыла Ирочка — дочь дяди Пепы. Она училась в Институте иностранных языков, и ВГИК для меня, по ее мнению, был кимерой. Похоже, никто из моих родственников не верил, что я попаду в эту колыбель талантов и папенькиных сынков. Она чмокнула меня в лоб и сказала:

— Вот уж не думала, что ты поступишь в этот вертеп. Поздравляю!

Ирина Вячеславовна тоже поздравила меня и сказала:

— Я тебя очень прошу, последи, чтобы Пепа не напивался. В двадцать восьмом году он напился до такого состояния, что сказал извозчику не только номер дома, но и номер квартиры.

Дядя Пепа вышел из комнаты, застегивая китель.

— Куда желаете пойти, господин студент? — спросил он.

— Откуда ты знаешь, что я студент?

— Мне позвонили сразу после того, как ты прошел консультацию, — сказал он, — предупредили, что, возможно, тебе сделают операцию, но ты принят. Так что не волнуйся и

прекрати сесть. Итак, куда мы идем: «Араги», «Узбекистан», «Арагат»?

— Я полагаюсь на твой вкус.

— Хорошо, тогда в «Арагат», там неплохие шашлыки по-карски.

— Пепа, прошу тебя, не напивайся,— сказала Ирина Вячеславовна,— помни — тебе не тридцать лет!

— Дорогая, я в мундире, а генерал-полковник не имеет права показываться на улице пьяным.

— Знаю я вас, Чечулиных,— сказала Ирина Вячеславовна,— все вы гуляки и пьяницы!

— Но не без способностей. Набрал больше всех очков,— сказал дядя Пепа, показывая на меня.— Как не выпить по такому случаю? Утер нос всем сынкам, а ты говоришь — гуляки и пьяницы!

— Ладно, ладно,— сказала Ирина Вячеславовна,— вспомни своего отца, как спустил семьдесят тысяч за неделю.

— Я ему завидую,— сказал дядя Пепа.— Хотел бы я хоть неделю так повеселиться. Пойдем, студент,— он обнял меня за плечи и подтолкнул к двери.

Мы пешком прошли по остывающим от дневного жара переулкам и вошли в ресторан «Арагат», в зал, казавшийся бесконечным благодаря зеркальной стене. К дяде Пепе поторопился метрдотель. Он усадил нас за столик на двоих. Официанты искоса бросали на меня любопытные взгляды. Действительно рядом с солидным генерал-полковником я выглядел довольно странно в своем потертом коричневом костюме, сшитом четыре года тому назад навыворот и который сейчас был мне уже чуть-чуть маловат. Кроме того, на мне был крепдешинный галстук, который я считал по тем временам наивысшим достижением красоты и который почему-то вызывал несколько ехидное веселье у моих столичных тетюшек и сестриц. Но, судя по всему, дяде Пепе было в высшей степени наплевать на то, как я одет. Он обращался со мной как с абсолютно равным ему по чину и званию, и это уважительное отношение передалось и официантам. Нам вручили карточки, и я углубился в изучение меню.

В ресторане я был первый раз в жизни, а с национальной кухней не был знаком вовсе. Все мои познания в еде проходили под знаком голодного военного детства, где пределом мечтаний была гречневая каша с чайной колбасой, которую я запомнил еще с довоенных времен. Поэтому сейчас я с ужасом вчитывался в перечисление блюд, мне совершенно не знакомых. Наконец я рискнул и заказал холодную бастурму и суп босбаш ереванский. Дальше я струсил и решил играть наверняка: я заказал жареную свинину. Дядя Пепа оторвал глаза от карточ-

ки и мягко посоветовал мне взять шашлык по-карски. Но чечулинское упрямство взяло верх, и я настоял на жареной свинине, отложив радость от знакомства с карским шашлыком на несколько лет.

— Что будешь пить? — спросил дядя Пепа.

— То же, что и ты,— разумно ответил я.

— Принесите бутылку «Двина»,— сказал дядя Пепа официанту.

В нынешние времена дядю Пепу привлекли бы к уголовной ответственности, так как факт распятия коньяка со мной можно было бы рассматривать как растение малолетних. Но дядя Пепа очень внимательно наблюдал за мной и иногда наливал только себе. Я никогда не видел его пьяным, хотя на моих глазах он неоднократно выпивал по полторы бутылки коньяку. Он только веселел, как будто что-то мрачное и страшное в его жизни уходило прочь, и становился более разговорчивым. И тут обнаружилось, что дядя Пепа — интереснейший собеседник, знающий кучу вещей, о которых ты и представления не имел. Прекрасно знает литературу, историю, политику, международные отношения и, самое главное, имеет свой собственный, чечулинский взгляд на эти предметы, большей частью не совпадающий с официальной точкой зрения.

У него, как я выяснил позже, было несколько своеобразных хобби. Например, дядя Пепа в разговоре с кем-то на ходу придумывал какую-нибудь невероятную чушь из области международной политики и с важным видом сообщал ее как величайший секрет, а потом подсчитывал, через какое время «величайший» секрет придет к нему под видом «супервеличайшего» секрета от совершенно других людей, которые на полном серьезе будут доказывать, что эти сведения из абсолютно надежных и проверенных источников. У него была своя теория информации и дезинформации. Много лет спустя, общаясь со знаменитыми разведчиками во время съемок картины «Мертвый сезон», я убедился, что из дяди Пепы мог бы получиться классный разведчик, потому что в нем уживались глубокие знания предмета с чувством юмора и пониманием человеческой психологии.

Впоследствии беседы с дядей Пепой нередко ставили меня в тупик, потому что полностью шли вразрез с тем «патриотическим» образованием, которое я получал в школе, в комсомоле и в других официальных органах информации и идеологии. Порой, слушая вольнодумные рассуждения дяди Пепы, я ловил себя на мысли, что настоящий комсомолец и патриот немедленно сообщил бы об этом куда следует. Но, слава Богу, гены Павлика Морозова не были столь активны в моем организме.

На этот раз в ресторане предметом нашей беседы стала картина Михаила Чиаурели «Падение Берлина». Я блистательно осветил, как при помощи цвета решаются образы врагов в этой картине, а именно: в холодной сине-зеленой гамме, в мерцающем свете свечей, в полумраке и так далее. Я восхищался этой картиной и считал ее величайшим достижением советского послевоенного кино.

Дядя Пепя устало усмехнулся:

— Этот ваш Чиаурели — придворный либеллод и жулик, — сказал он. — Как ты думаешь, мог бы кретин, который изображает там Гитлера, повести за собой семьдесят миллионов немцев? Между прочим, культурная нация. И генералы были у них совсем не идиоты. Например, Гудериан — я был с ним знаком — не чета некоторым нашим маршалам.

— Но мы же победили, — растерянно сказал я.

— Победили, — сказал дядя Пепя. — Но какой кровью? Двадцать два миллиона жертв только у нас, а сколько поляков, югославов, англичан? А немцев только десять миллионов! Вот тебе цифры, а выводы делай сам. Нет, картина не только примитивная, картина вредная, потому что она сделана для дураков и в расчете на дураков. Ты правильно сказал о том, как решаются образы врагов — примитивно. Такая и вся картина. А чего стоит сцена, где эта девица целует руку Сталину? И как ему не стыдно, этому Чиаурели! Впрочем, видимо, стыд у него отсутствует с детства.

Спустя десять лет я сидел за столом в старинной петербургской квартире, заставленной дубовыми книжными шкапами. Шкафы были забиты богатейшей коллекцией порнографической литературы на всех языках. Для того чтобы пересмотреть ее, понадобились бы годы. Хозяин коллекции, бывший дипломат на пенсии, от безделья писал киносценарии, на этой почве мы с ним и познакомились. И теперь, сидя за бутылкой французского коньяка, он рассказывал, как Чиаурели выступал перед ними с воспоминаниями о том, как он снимал «Падение Берлина».

— Сталин просматривал рабочий материал, — говорил Чиаурели. — «Вот эта дура пусть мне руку поцелует».

— Мы все, — говорил бывший дипломат, — сидели полумертвые от ужаса — что же он несет, этот сукин сын?! Ведь только за то, что мы услышали такое, нас всех не сегодня завтра посадят. Это было после смерти Сталина, но Берия-то был еще жив.

Дипломат, историк по образованию, написал докторскую диссертацию о возникновении итальянского фашизма, но незадолго до

окончания работы у него изъяли все материалы и чудом не арестовали. С тех пор он и занялся коллекционированием порнографии, тем более что дипломатическая почта давала ему возможность перевозить всевозможные зарубежные издания без помех. А в глазах Органов подобная страсть, наряду с пьянством и тайными пороками, служила гарантией аполитичности и, следовательно, безвредности человека.

Изучив досконально маркиза де Сада, Захер Мазоха, Фрейда и других авторов, повествующих о темных уголках психики человека, бывший дипломат писал тем не менее сценарии идеологически правильные и потому неизмеримо скучные. Хотя в жизни был интересным собеседником и имел несколько неожиданный взгляд на общепринятые вещи.

— Сталин, — говорил он, — это гениальный человек. Сказать Чкалову, что самое дорогое для нас — человек, и посадить восемнадцать миллионов в лагерь мог только гений.

К кинематографу у дипломата также было несколько странное отношение.

— Помните, — говорил он, — был такой жутко смешной фильм «Радуга»? Там пленная партизанка всю картину пытается рожать. Кажется, ее играла Ужвий.

— Что же там смешного? — спросил я.

— Дело в том, — сказал дипломат, — что фильм снимался в Ашхабаде в сорокаградусную жару, и вместо снега насыпали нафталин, дикое количество нафталина извели. Партизанка рожала в тулупе, и, знаете, пот у нее был натуральный. Ужасно смешно, не правда ли? Второй раз я так смеялся только на картине «Рим открытый город».

— А там вы что нашли смешного? — спросил я.

— Ну как же! — сказал дипломат. — Там есть сцена, где коммуниста пытаются в гестапо с помощью паяльной лампы.

Я помнил эту сцену. Многим женщинам в кинотеатре становилось плохо, и они выходили из зала, не в силах смотреть дальше.

— Так вот, — сказал дипломат, — коммунисту суют в лицо паяльную лампу, и, если внимательно присмотреться, можно заметить, что артисту это не нравится. Ужасно смешно, не правда ли?

После этого разговора я вернул дипломату рукописный образец народной порнографии восемнадцатого века под названием «Тезисы философа» и предложил продолжить его творчество не в области киносценариев, которые, несмотря на свою идеологическую проходимость, на мой взгляд, не представляют ни малейшего интереса, а в области мемуаров, где ему есть что вспомнить и есть над чем посмеяться. Дипломат был обескуражен и обижен.

— Молодой человек, — сказал он, — в наше

время искренние мемуары пишут только идиоты, которые хотят закончить свою жизнь в лучшем случае в лагерной бухгалтерии. Неужели я похож на такого?

— Нет,— сказал я, обозревая в последний раз драгоценное собрание порнографии, к сожалению, столь мало исследованное мной.

Начались занятия во ВГИКе. Пожалуй, самым счастливым днем в моей жизни был первый день занятий. Был прекрасный солнечный день, когда мы впервые собрались вместе и гордо сфотографировались на фоне вывески «Всесоюзный государственный институт кинематографии».

Педагоги, которые читали нам лекции, были демократичны и остроумны. И только на лекциях по марксизму-ленинизму, которые читал нам слепой преподаватель по фамилии Козьяков, царил мертвящая скука. На задних партах играли в карты и в морской бой, а на передних просто спали, пользуясь слепотой преподавателя и снисходительностью его жены — женщины с трагически усталым лицом, несущим на себе след подавленных страстей.

Но самым замечательным были просмотры. В то время во ВГИКе было два просмотровых зала: большой, мест на восемьдесят, и малый, мест на сорок. В них я проводил большую часть времени. Я проникал на просмотры других факультетов и курсов, прятался за шторами, под партами малого просмотрового зала, а однажды меня спрятала под своей юбкой от бдительного ока Валентины Сергеевны Колодяжной прекрасная старшекурсница, киновед-сценаристка. К сожалению, наши отношения не развивались дальше, она просто оценила мою любовь к кинематографу. Перед всяким просмотром преподаватель истории кино В. С. Колодяжная громогласно заявляла:

— Чечулин, я знаю, что вы здесь,— выходите!

Но я не выходил и смотрел ленты Чаплина, Бастера Китона, Гарольда Ллойда, трясясь от беззвучного хохота, сквозь щели портьер или лежа на боку под передними партами. Валентина Сергеевна поклялась, что расправится со мной на экзаменах. Но после часового допроса с пристрастием вынуждена была поставить мне пятерку.

— Ладно, Чечулин,— со вздохом сказала она,— можете ходить на мои просмотры и не прятаться под юбками девушек.

Став студентом, я решил и жить по-студенчески. Забрав свой чемоданчик от Марии Николаевны, я переехал в студенческое общежитие на Клязьме, где первокурсники жили в огромной деревянной избе по шест-

надцать человек в комнате. Мы приезжали с занятий поздно, в десять-одиннадцать часов вечера, а вставать нужно было в шесть часов утра, чтобы успеть на электричку, автобус и поспеть к девяти часам в институт. С наступлением холодов жизнь в Клязьме становилась практически невыносимой. Все удобства находились во дворе, вода в рукомойниках покрывалась пленкой льда, а для того, чтобы узнать, какая погода на дворе, совсем не обязательно было подходить к окну. Достаточно было, не вставая с койки, вытащить кусок пакли, законопаченной между бревен, и посмотреть, что тебя ожидает.

Это была суровая школа, но она дала нам необходимую закалку на долгие годы нашей кинематографической жизни, в которой нам приходилось спать в пустынях, горах, тайге, есть из одного котла с сифилитиками, не мыться горячей водой месяцами, есть макароны с селедкой, кильки в томате с вермишелью и считать банку говяжьей тушенки с картошкой, сваренной в медном чайнике под ноябрьским холодным светом звезд на прибрежной речной гальке, величайшим деликатесом.

Клязьма была нашим первым шагом в кинематографический быт, который многим представляется связанным исключительно с гостиницами «Интурист», барами и ресторанами высшего класса. В Клязьме происходил естественный отбор, к сожалению, не среди папенькиных сынков и прочих бластных, которые продолжали жить в уютных московских квартирах. А среди тех, кто приехал учиться на свои медные деньги. Оставались самые живучие, самые преданные кино.

Среди папенькиных сынков естественный отбор тоже произошел, только позже и более мучительный. Рано или поздно наступало время, когда уже нельзя было отсиживаться за чужой спиной, и тут становилось ясно, ху ис ху — кто есть кто. До сих пор, приезжая в Москву, я встречаю пятидесятилетних модно одетых мальчиков, которые ездят на собственных машинах, живут в отдельных квартирах. Я встречаю их в ресторане Дома кино и очень редко на студиях. У них свой мир, свои взаимоотношения, свое презрительное отношение к людям, не входящим в их круг. Но объединяет их одно: они ничего не сделали сами и, вероятно, теперь уже не делают. Как ни странно, мне не жаль их, потому что я знаю, как тонко они чувствуют все, что касается их, и как беспощадно жестоки они могут быть по отношению к другим. Свои неудачи они объясняют интригами, невезением, чьим-то нерасположением, даже, наконец, системой, которая породила их и их родителей.

Мне всегда немного смешно и грустно соз-

навать, что элита партии, которая стремилась уничтожить систему классов, создала элитарные учебные заведения для своих детей вроде МГИМО, Иняза и других. К счастью, ВГИК все-таки продолжает выпускать талантливых людей. Но всегда поражает, как иные молодые люди вдруг сразу после окончания института получают постановки фильмов со сметами, которые не снялись и маститым мастерам, я уж не говорю об их однокурсниках, которые должны заработать право постановки картины многолетним трудом на ассистентском поприще. Ну да Господь Бог и Время все расставляют по своим местам.

Не выдержав естественного отбора Клязьмы (больше всего угнетало, что ежедневно нужно тратить пять-шесть часов на дорогу), я с одним из сокурсников начал поиски квартиры в Москве. Наконец нам удалось снять угол в центре Москвы, в здании, которого сейчас нет, а тогда там помещалось «Стереokino», еще раньше — гостиница «Континенталь». Огромный, длинный коридор освещался тусклыми сорокасвечевыми лампочками, по обе стороны в него выходили двери бывших номеров — ныне квартир. С удобствами дело обстояло неважно: на две уборные приходилось сорок комнат, и по утрам очередь около сортиров отбивала чечетку не хуже чем в Гарлеме. Но мы были согласны на все, лишь бы выкроить три часа на сон. Дорога от «Стереokino» до ВГИКа составляла всего пятьдесят минут, кроме того, на площади Революции было кольцо девятого троллейбуса, и можно было поспать от кольца до кольца.

Первый семестр я закончил с пятерками по всем предметам. Даже по марксизму я получил пять. Вероятно, это можно объяснить только тем, что остальные мои однокурсники знали предмет еще хуже меня.

Вообще с политическими предметами дело у нас обстояло неважно. Борьба с космополитизмом достигла наивысшей точки развития и коснулась многих наших преподавателей. Изучению брошюры И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» уделялось больше времени, чем всей истории американского кино, которой было отведено в два раза меньше времени, чем истории кино Румынии и Китая.

Все это вызывало у нас естественный протест. И мы, пребывая в дреме на политических науках, оставались после занятий на факультативные лекции и просмотры по истории кино. Изголодавшиеся без работы преподаватели западного кино С. Комаров и В. Колодяжная добровольно и бесплатно читали нам лекции и показывали фильмы. В результате факультативно мы просмотрели

значительно больше картин, чем было положено по программе, существовавшей до начала борьбы с космополитизмом. Так же как всякое ограничение продажи и употребления спиртных напитков ведет к повышению спроса на них, так и запрет на все западное вызвал у нас повышенный интерес к западному искусству и литературе.

На кафедре марксизма-ленинизма было два человека, лекции которых пользовались успехом у студентов. Один из них, Т. А. Авдеев, в прошлом депутат XVII съезда партии — съезда расстрелянных, — каждую свою лекцию начинал с краткого вступления.

— Политэкономия — это вам не колбаса, — говорил он, вероятно, вкладывая в это определение лишь ему понятный глубокий смысл.

Тихон Афанасьевич читал лекции под мухой и понимал, как его предмет нам не нужен и бесполезен, поэтому он был очень снисходителен на экзаменах и зачетах. Когда один студент-актер, впоследствии всю свою жизнь проигравший футболистом, на вопрос: «Что такое деньги?», продумав полчаса, доверительно сказал Авдееву: «Деньги — это все», Тихон Афанасьевич, задумавшись над такой формулировкой, с полной искренностью сказал: «А знаете, вы правы» — и поставил ему пятерку.

Второй преподаватель, крупный, красивый мужчина с мощным голосом, привлекал нас решительностью суждений и прямоотой высказываний. Он отстаивал свою точку зрения, которая заключалась в том, что в интересах мира мы имеем право первыми нанести ядерный удар и что мы совершили большую ошибку девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года, остановившись в Берлине, а не в Париже. На мой вопрос «Для чего нужна борьба с космополитизмом?» он ответил, загадочно глядя на меня в упор голубыми, чистыми глазами: «Многие считают борьбу с космополитизмом борьбой с евреями».

После этого некоторые мои сокурсники стали поглядывать на меня как на человека, скрывающего свою национальность. На его лекциях студенты не спали и слушали рассуждения о том, что нет такого человека, который бы видел евреев шахтеров, но зато все видели евреев, торгующих в комиссионных и ювелирных магазинах, или — тут он делал паузу — назовите мне кинорежиссера, который не был бы евреем? Когда ему называли Довженко и Савченко, он пренебрежительно махал рукой. Даже происхождение Пырьева и Герасимова, видимо, вызывало у него сомнение. Наконец мощный темперамент и агрессивность нашего преподавателя вызвали тревогу у институтского начальства, и он был с почетом переведен на работу в менее творческое учреждение, в нечто

вроде ВПШ. Мы устроили в складчину прощальный банкет, где в последний раз услышали его соображения о нашей внешней и внутренней политике, которые впоследствии частично подтвердились. В частности, он предсказал дело о врачах-евреях, он предвидел политику молодого тогда государства Израиль и так далее. К счастью, он ошибся в предсказании незамедлительности первого ядерного удара и его целесообразности для дела мира. После его ухода на кафедре марксизма-ленинизма снова воцарилась сонливая догматическая атмосфера, лишенная творчества и фантазии.

После каникул, которые я провел в дружеских пирушках со своими школьными друзьями и был утомлен стычками с милицией и армейскими патрулями, бессмысленными драками из-за девушек, которые никому не были нужны, в холлах гостиниц «Астория» и «Европа», поселился вместе с моим товарищем и однокурсником Толей Пушкаревым.

Толя приехал в Ленинград посмотреть Эрмитаж и Русский музей. Но через полчаса, стоя перед малыми голландцами, он с сожалением сказал мне:

— Слушай, тут ведь одни картины. А где же буфет?

На этом его знакомство с коллекцией Эрмитажа закончилось и началось знакомство с моими друзьями, которое увенчалось для них гауптвахтой. Толя как никто другой умел создать вокруг себя веселую, будоражащую кровь взрывоопасную обстановку, которая, как правило, заканчивалась хорошей дракой. Из драки он обычно выходил невредимым, в худшем случае с ободранными о чужие челюсти кулаками и оторванными пуговицами пальто. Моих же друзей, с окровавленными лицами и оторванными погонами, запикивали в патрульные машины.

За свою кинематографическую жизнь я заметил, что операторы лучше всего сходятся с летчиками и моряками, а мои школьные друзья чуть ли не все поступили в Военно-воздушную академию. Вероятно, это потому, что у тех и других работа ответственная и поэтому требует разрядки. Кроме того, среди людей этих профессий наименьшее количество подлецов. Подлецы не любят работы и не любят ответственности. Мои друзья, сидя на гауптвахте, с удовольствием вспоминали Толю и писали мне открытки с просьбой привезти его на следующие каникулы.

Итак, мы с Толей Пушкаревым поселились на Мало-Московской улице, в большом темно-сером доме, тянувшемся вдоль Ярославского шоссе почти две автобусные

остановки, и зажили жизнью, в которой не было никаких ограничений. В нашей комнате клубами висел дым, углы были завалены бутылками, которые мы сдавали, когда кончались деньги. За столом шла непрерывная игра в карты, а женщины менялись, как в калейдоскопе.

Хозяин нашей комнаты, тоже Толя, но по фамилии Толкушкин, работал корректором и большую часть своей жизни лежал в больнице. На ноге у него была язва, которая не заживала, потому что он пил. А пил он потому, что она не заживала. Как выбраться из этого заколдованного круга, никто не знал. И мы во время первых посещений в больнице, принеся ему апельсины и печенье, в конечном счете бежали за водкой, не выдержав его укоряющего взгляда. Постепенно, заботясь о его здоровье, мы прекращали посещения, и тогда дней через десять распахивалась дверь и на пороге появлялся Толкушкин в больничном халате и тапочках.

— Быстро заплати за такси,— говорил он,— и в магазин.

Я бежал вниз, оплачивал такси и покупал две бутылки водки. Это было как раз то количество, которое Толкушкин успевал выпить, прежде чем в дверях появлялись санитары с носилками. Они укладывали разомлевшего Толкушкина, закрывали серым байковым одеялом и уносили его под гневные очи К. Винцентини, лечащего врача Толкушкина, которая пыталась заживить его рану с помощью пересадки кожи и воздержания от алкоголя.

Лежа в больнице, Толкушкин от безделья соблазнял медсестер, а выйдя из больницы, прятался от родителей соблазненных и покинутых. Иногда родители часами просиживали в ожидании жениха, и мне приходилось занимать их разговорами и высказывать свои взгляды на будущую семейную жизнь Толкушкина. На выручку мне приходил Пушкарев.

— На каком месяце беременности? — деловито спрашивал он у родителей.

— Господь с вами,— махали руками старики.— Но она была девушкой.

— Мерзавец! — говорил Пушкарев.— И за него вы хотите выдать свою красавицу? Да разве вы не видите, что этот тип обречен умереть в больнице для алкоголиков?! На кой черт вам такой жених? У него же ни кола, ни двора.

— А комната? — спрашивали родители.

— Какая комната? — удивлялся Пушкарев.— Вот эта? Он получил за нее на десять лет вперед, а нам обещал переехать к жене. Вашу дочь случайно не Зина зовут?

— Зина,— растерянно подтверждали старики.

— Ну вот,— говорил огорченно Пушка-

рев,— проболтался. Так, значит, это он к вам собирается переехать. Слава тебе, Господи, может и образумится, хотя горбатого могила исправит.

Как правило, после такого разговора родители исчезали навсегда, а Пушкирев ставил на подоконник засохший фикус — это означало, что Толкушкин может вернуться домой: опасность миновала. Толкушкин появлялся в кожаном пальто и завязанной шапке-ушанке. Не снимая галosh и пальто, он ложился на свою кровать, застеленную бывшим когда-то белым пикейным покрывалом, и засыпал. Он мог проспать на одном боку до десяти часов. Настоялько было велико утомление, полученное в бегах от очередной невесты и ее родителей. К нам приходили друзья и девушки, мы пели и танцевали, а Толкушкин спал мертвым сном, аккуратно свесив с постели ноги в галошах. От шума его надежно защищала завязанная ушанка.

Через нашу комнату прошли толпы самого разнообразного люда. Все, кому хотелось выпить, или негде было переночевать, или было просто тоскливо, шли к нам. Иногда посетители начинали появляться в семь часов утра, и Пушкирев быстро и деловито обыгрывал их в очко (а играл он в очко бесподобно) и посылал в магазин за выпивкой. Меня он никак не мог сбить с пути истинного. Несмотря на все соблазны, я к девяти утра был в институте и аккуратно посещал все лекции, просмотры, делал все лабораторные работы. Приходил я домой поздно и заставал веселую выпивающую и орущую компанию, состоящую из будущих кинозвезд женского и мужского пола, будущих кинорежиссеров, художников, операторов, а также личностей неизвестных профессий, но, судя по жаргону, с возможным уголовным прошлым. Среди них Пушкирев чувствовал себя как рыба в воде, и никто из них не мог обыграть его в очко.

Сам Пушкирев поступил во ВГИК как бывший фронтвик, и, видимо, на фронте он был отчаянным парнем, судя по шрамам на его теле и губе, но о своих подвигах никогда не рассказывал и каждый день начинал так, как будто он у него последний. Наверняка этому он научился на фронте. Случалось, он проигрывал бывшим уголовникам последние брюки, но потом карта ломалась, и ошеломленные, недавно набитые деньгами игроки бежали в магазин и приносили на проигранные деньги штабеля бутылок, черную и красную икру и невероятное количество пельменей. В институт он ходил редко, но успешно сдавал все экзамены и зачеты. Каким образом — остается для меня загадкой, потому что я ни разу не видел Пушкирева с книгой в руках.

Со временем его начал тяготить факт моей целомудренности. Если не считать приключения с Зиной, когда мне было десять лет, все мои взаимоотношения с девушками ограничивались робкими поцелуями в парадных и прогулками в ЦПКиО. Представительницы прекрасного пола в дни моей молодости в вопросах нравственности проявляли завидную консервативность. Поцелуй для них являлся почти помолвкой, а о добром сожителе и речи быть не могло. Я стоял примерно на таких же пуританских позициях, и поэтому, когда к Пушкиреву и Толкушкину приходили девушки с ночевкой, я стыдливо ехал ночевать к Марии Николаевне, вызывая у своих товарищей естественное недоумение, постепенно переходившее в раздражение. Еще бы! Половые отношения, которые стояли у них в одном ряду с выпивкой, куревом и естественными отправлениями, я поднимал на некоторый романтический этаж.

Поэтому вскоре была задумана, а затем и осуществлена операция, ставившая целью лишить меня невинности, как физической, так и духовной.

К операции был привлечен еще один человек — оператор-старшекурсник по имени Алик. Это был низенький человек с маленькими, близко поставленными голубыми глазами, с аккуратным начесом на уже обширную лысину и непропорционально большим носом. Алик лучше всех во ВГИКе снимал пейзажи, особенно ему давались пейзажи с туманом и воздушной дымкой. Второй особенностью Алика был его необыкновенный успех у женщин. Я полагаю, что успех Алика заключался в умении подойти к женщине, как к пейзажу, и раскрыть в ней невидимые непознанному взгляду тайны, проникнуть за эту воздушную дымку или даже туман и увидеть и почувствовать там такое, о чем даже сами женщины не догадывались. Так как количество открытых Аликом женщин значительно превышало даже его незаурядные способности, он щедро делился своими подругами с друзьями. Причем происходило это без модных тогда комплексов и, как правило, устраивало все стороны.

В основном клиентура Алика составляли женщины, имевшие или собиравшиеся иметь в будущем отношение к власти. Никогда после я не имел столько знакомств с будущими юристами, прокурорами, судьями, адвокатами, редакторами и слушательницами ВПШ. Благодаря мудрости Алика, умевшего рассмотреть под броней официальной идеологии и судейским мундиром женскую чувственность и стремление если и не к любви, то к любовным отношениям, происходило замечательное объединение Искусства и Юстиции.

Эта способность Алика сыграла роковую роль в его собственной судьбе. После окончания ВГИКа он поехал на работу в одну из

союзных республик, снял два не очень хороших фильма, но зато сумел проникнуть в сердце доселе неприступной начальствующей дамы. На этом творческая карьера Алика закончилась и началась общественная. Он очень быстро стал заслуженным деятелем искусств, мужем Дамы и лауреатом премии Ленинского комсомола. Не знаю, за что он получил премию комсомола, насколько мне известно, про комсомол Алик ничего не снял. Впрочем, после женитьбы Алик, кажется, ничего больше не снял. Вероятно, Дама считала кино недостойной работой для своего мужа.

— Сегодня,— сказал мне однажды утром Пушкарев, лежа в постели и наблюдая за моими сборами в институт,— постарайся быть дома не позже восьми вечера. Придут девушки.

— Тогда я сразу поеду к Марии Николаевне.

— Дурак,— сказал Пушкарев,— девушки придут для тебя.

— По какому случаю? — спросил я.

— Узнаешь вечером,— сказал Пушкарев,— очень тебя прошу, не опаздывай и не оставайся на свои дурацкие просмотры. Водку и колбасу мы купим с Толкушкиным. И никого с собой сегодня не приводи. Понял?

— Ладно,— сказал я, хотя ничего не понял.

Вечером, когда я вернулся из института и открыл дверь в нашу комнату, вся компания была в сборе. Пушкарев, Толкушкин и Алик были при галстуках, а девушки в праздничных платьях. На их фоне я выглядел просто оборванцем в своем старом тренировочном костюме и американских солдатских ботинках, подаренных мне дядей Пепой. Две девушки были мне знакомы, они были открытием Алика и учились на юрфаке. Одна была светло-рыжая с зелеными глазами, ее звали Вера, вторая — томная тощая брюнетка, похожая на цыганку, звали ее Зина. Обе они несколько раз оставались на ночь с Пушкаревым и Толкушкиным.

Третью девушку я видел в первый раз. Это была крупная блондинка с мощными бедрами и торсом, не гармонировавшими с ее невинно-постным выражением лица. На груди ее темно-коричневого школьного платья был прикреплен комсомольский значок. Не хватало только белого накрахмаленного передника, и она вполне сошла бы за комсорга восьмых — десятых классов женской школы, но училась она так же, как и Вера с Зиной, на третьем курсе юридического факультета.

Мне налили полный стакан водки, и Вера поднесла гигантских размеров бутерброд с чайной колбасой. На столе стояли дефицитные по нынешним временам крабы, судак в томате, лосось в собственном соку и треско-

вая печень в масле — студенческая еда в те времена «холодной войны» и «железного занавеса». Я выпил водки, и тепло разлилось по моему телу. Все это время я ловил на себе какие-то странные взгляды девушек, они перешептывались между собой и прыскали от смеха.

Пушкарев включил притащенный откуда-то огромный самодельный магнитофон с тысячеметровыми кассетами, и, сметая все звуки, комнату заполнило вступление Гленна Миллера к фильму «Серенада Солнечной долины». Этот фильм крутили на всех вживовских вечерах в знак протеста против борьбы с джазом и космополитизмом.

Вера за руку вытащила меня на середину комнаты, и мы стали танцевать. Надо сказать, что танцевать я никогда не учился, и когда в школе меня пытались учить танцевать фокстрот или танго по системе шаг вперед, два шага в сторону, шаг назад, ничего хорошего не получалось. Я наступал дамам на ноги, и у меня начинала болеть голова от стремления запомнить порядок шагов. Но тут я, забыв про порядок, стал танцевать как Бог на душу положит и заслужил первый в своей жизни комплимент:

— Слушай, а ты здорово танцуешь!

Мы протанцевали два танца, а во время третьего Пушкарев выключил свет и Вера прижалась ко мне и стала бешено тереться о низ моего живота, кусая меня в подбородок и шею.

Меня начало трясти, как девять лет тому назад за чаепитием с Зиной. И, стараясь унять эту дрожь, я прижал ее к себе так, что у нее захрустели кости и отскочили пуговицы парчового платья, застегивающегося на спине. В ту же минуту я ощутил во рту ее язык, влипший в меня, как жало змеи.

И тут вспыхнул свет, ослепительный и беспощадный. Хохотали все. Добродушно ощерив выбитые на фронте зубы, ржал Пушкарев. Хлопая себя по коленям и откидываясь назад, хохотала Зина. Тихонько посмеивалась в кулачок девушка с комсомольским значком. Так же тихо прыскал, словно чихающий кот, Алик. Толкушкин, включивший свет, смеялся солидным бархатистым смехом. И — о ужас! — поддерживая свалившиеся бретельки платья, смеялась Вера. Она повернулась ко мне спиной, которую разошедшийся вырез платья обнажил почти до талии — под платьем не было ни лифчика, ни комбинации. Вера хохотала, мотая головой, и пыталась застегнуть платье на уцелевшие пуговицы.

Я стоял жалкий и растерянный, постепенно начиная понимать, что стал предметом розыгрыша. Пушкарев и Толкушкин вывели меня на лестничную площадку.

— Ну,— сказал Пушкарев,— решай — какая?

— Что решать? — растерянно спросил я.
— Ты что, не понял? — сказал Пушкирев. — Сегодня вечер потери твоей невинности. С кем бы ты хотел ее потерять?

— Я не хочу ее терять.

— Ладно, ладно, — сказал Пушкирев, — что мы слепые, что ли! Кончится тем, что ты женишься на первой попавшейся шлюхе и будешь хранить ей верность всю жизнь. Все-таки мы тебе друзья. Итак, выбирай.

— По-моему, ты уже выбрали за меня.

— Верка? — спросил Пушкирев и взглянул на Толкушкина.

— Да, — сказал я.

— Но... — сказал Толкушкин.

— Никаких «но», — сказал Пушкирев. — Все они знали, зачем идут, не девочки, да и потом, мне кажется, с ним Верке будет не хуже, чем с тобой, пусть попробует, а потом сама решит.

— Пусть потанцует с другими, — сказал Толкушкин, — может, они не хуже Верки.

— Ладно, — сказал Пушкирев, — надо выгонять Алика — он себе бабу не привел. Вот и пускай спит в ванной.

— Ты забываешь, что всех остальных привел он.

— Нужно было четырех — был бы больше выбор, — сказал Пушкирев.

— Он говорит, что у четвертой сегодня технические неполадки.

Дверь открылась, и на площадку вышел Алик.

— Девочки заждались, — сказал он. — Завтра рано на занятия. Какой-то обещанный предмет, который пропустить нельзя.

— Слушай, Алик, — сказал Пушкирев, — придется тебе спать в ванной.

— Почему?

— Ты же без женщины, мы тебя будем стесняться. А в ванной ты как раз один и поместишься.

— Там сыро, — заныл Алик, — и там мокро. А потом, нашли кого стесняться. Я лягу под столом.

— Бабы тебя будут стесняться, — сказал Пушкирев.

— Вот уж за это ты не беспокойся, — неожиданно спокойно сказал Алик, — меня они стесняются меньше, чем друг друга.

Мы вернулись в комнату, и я по настоянию Толкушкина протанцевал с Зиной и Мариной — так звали девушку с комсомольским значком. Во время последнего танца Вера выключила свет и с криком «Девки, по койкам!» прыгнула на кровать Толкушкина.

Алик молниеносно раскинул тюфяк под столом и забрался туда. А Зина не торопясь начала раздеваться в темноте, потом, голая, в раздумье постояла между кроватью Пушкирева и моим узеньким диванчиком и легла к Пушкиреву.

Мы с Мариной остались в темноте, тихонь-

ко покачиваясь под «Лунную серенаду» Глена Миллера. Марина со своим комсомольским значком и платьем школьницы вызывала у меня минимальные сексуальные желания, и коварство Веры подействовало на меня отрезвляюще. Похоже, что женщины, предоставляя нам «право выбора», заранее распределили наши и свои роли.

— Ну что ты стоишь, Марина? — сказала Верка.

— Ложись, — сказала Зина. — Ты зачем сюда пришла?

Марина отошла от меня и села на диванчик.

— Раздевайся, — сказала Верка. — А вы, молодой человек, помогите девушке, небось мне все пуговицы расстегнули.

Мы лежали с Мариной на узком продавленном диване и слушали кошачью возню на соседних койках и мерный храп Алика, доносившийся из-под стола. Было неудобно и стыдно. Возня прекратилась довольно быстро, и мы услышали насмешливые пожелания спокойной ночи.

Марина лежала на спине с закрытыми глазами, внешне спокойная и безразличная. И вдруг я вспомнил Усть-Вымь, Зину, сдерживающую с себя рубашку, ее круглые белые груди с темными пятнами сосков, большой мягкий живот и запах, исходивший от нее, запах желания. Теперь этот запах исходил от Марины. И я почувствовал, как забилось мое сердце, гулками ударами отдавая в голову. Я приложил ухо к груди Марины и услышал стук такой же гулкий и учащающийся. Она не спала.

Она не открыла глаз и потом, когда я лежал на ней, раскрывалось только ее тело, и я входил в него суетливо и неумело, вызывая удивленную женскую переключку соседних коек. Мужики уже храпели вовсю, а женщины сидели на постелях и смотрели на наш ходивший ходуном диванчик. Но я уже не обращал на них внимания, теперь я понял механизм любви. Медленно и расчетливо, сдерживая себя, я доводил до судорог это большое тело, но глаза ее так и не открылись ни разу, а губы не произнесли ни одного слова. Я ни разу не сомкнул глаз за всю ночь, а Марина ни разу их не разомкнула. Тело ее принимало меня каждый раз со сдержанной жадностью, бесстыдно раскрываясь все больше и больше, а лицо не меняло своего равнодушно-постного, сонного выражения. Теперь я понимаю, что всю ночь Марина жила со мной только телом, душа ее отсутствовала, так же, впрочем, как и моя.

...Вера и Зина проснулись и начали полуголые носиться по комнате, прыгая в постель друг к другу, вызывая этим недовольное ворчание ребят. Мне нужно было вставать в институт, но я стеснялся одеваться при них. Марина спала крепчайшим сном, открыв рот и слегка похрапывая. Теперь она вызывала у

меня легкое чувство брезгливости. Все попытки девушек разбудить ее кончились безрезультатно. Наконец я, отбросив стыд, оделся под их любопытными взглядами. За ночь их отношение ко мне переменилось. На их глазах я из мальчика стал мужчиной, и снисходительная покровительственность умудренных опытом женщин сменилась уважительным отношением равных.

Мы позавтракали остатками вчерашнего ужина и, оставив спящую Марину и троих спящих ребят, вышли в морозное февральское утро на Ярославское шоссе.

— Ну как, мужичок, понравилось? — спросила Вера и, не дождавшись ответа, засмеялась. — Да я вижу, что понравилось. Приходи к нам, понравится еще больше. Только пьяницам своим не говори. — Они со смехом побежали через Ярославское шоссе к остановке троллейбуса.

Весь день в институте я проходил как во сне не потому, что не выспался, а потому, что тот физический голод, который, как мне казалось, я удовлетворил за ночь, проснулся во мне с удвоенной силой. Я видел перед собой лицо Марины в полумраке — спокойное, с закрытыми глазами. Чувствовал ее тело, засасывающее меня ритмично и неумолимо, как засасывают под микроскопом простейшие микроорганизмы необходимую им пищу. И желание, притупленное годами воздержания, вспыхнуло во мне с необычайной силой. После четвертой лекции я увидел в коридоре Пушкирева.

— Укатал ты девочку, до сих пор не может проснуться, — сказал он. — Войны на тебя не было, черт здоровый!

— Она еще там? — спросил я.

— Там, — ответил Пушкирев. — А тебе все мало?

Я уже не слышал его.

Когда я влетел в комнату, Толкушкин и Марина сидели за столом и держались за руки. Постель Толкушкина была застелена с таким необыкновенным старанием, что напоминала постель, готовую принять новобранцев. От постно-равнодушного выражения на лице Марины не осталось и следа. Оно сияло счастьем и любовью. Судя по всему, их ждала долгая счастливая жизнь. В этой жизни я был лишним. Я понял, почему за всю долгую ночь Марина ни разу не открыла глаз. Я повернулся, тихо закрыл за собой дверь и поехал ночевать к Марии Николаевне.

Спустя двадцать лет я сидел на террасе Дома творчества кинематографистов в Пизунде. В баре неожиданно оказалось шотландское виски марки «Bells», и теперь я каждый раз брал бутылку и полный стакан льда и, доливая виски в стакан, слушал шум прибора и смотрел на верхушки сосен,

торчавших выше девятого этажа Дома творчества.

Теперь у меня было время обдумать свою жизнь и поведение, так как впервые за свою кинематографическую жизнь я оказался без работы и догуливал свой последний отпуск из шести накопившихся за последние годы. Предыдущие пять месяцев я провел в Репино, где у меня тоже было время подумать, но ничего путного я придумать не смог. Дело в том, что я вступил в конфликт с властью в виде райкома партии, сделал я это чрезвычайно глупо, по мнению некоторых моих друзей, но о совершенном не жалел, хотя лишился возможности выезжать за границу, да и остался без работы.

Из бара на веранду вышли две блондинки с прическами, напоминавшими мне прическу секретаря райкома, которая не выпускала меня за границу. Похоже было, что всех начальствующих дам причесывают на один манер. Я уже третий день наблюдал за этими блондинками, вызывавшими нездоровый сексуальный интерес местного населения. Они были потрясающе вульгарны, и та, которая постарше, вызывала у меня какие-то смутные воспоминания, но где я ее встречал, я так и не мог вспомнить. Когда-то давно, в детстве, мне нравились женщины этого типа: полные, ярко окрашенные, с вытравленными пергидролью взбитыми волосами, распространяющими запах духов, они были для меня воплощением тайны и порока и заставляли утченно биться мое неискушенное сердце.

— Простите, пожалуйста, — сказала старшая, — мы с подругой подсчитали, что вы выпиваете уже пятую бутылку за пять дней. Вам не скучно пить в одиночестве?

— Вообще-то скучновато, — сказал я. — Может, составите мне компанию? — Я встал, усадил обеих дам и пошел за льдом и стаканами.

— Как вы можете пить эту гадость? — спросила старшая.

— Я люблю ее, — сказал я, — но если вам не нравится, можем взять что-нибудь другое.

— Аня, — сказала старшая, — принеси шампанское.

Когда я попытался встать, она удержала меня за рукав:

— Мы привыкли сами платить за себя.

— Но я к этому не привык.

— Когда мужчина платит, это дает ему право надеяться на нечто большее.

— Я и хочу надеяться.

— На что, например?

— Ну хотя бы на танец.

— Это в пределах наших возможностей, — сказала она и положила мне руку на плечо.

Из бара доносилось что-то похожее на

блюз. На веранде мы были одни, и не успел я обнять ее, как она прижалась ко мне со значительно большей страстью, чем можно было предположить по ее наружности. Бедра ее терлись о мои с опережением ритма раза в три. И тут я вспомнил, откуда я знаю ее. Это она в день потери моей невинности с криком «Девки, по койкам!» прыгнула в кровать к Толкушкину. С тех пор она сильно располнела и, естественно, не стала моложе.

— Вера? — спросил я.

— Откуда вы знаете мое имя?

Я поцеловал ее со всей возможной имитацией страсти.

— Ого! — сказала она. — Ай да киношник! В каком ты номере?

Я назвал номер.

— Немного посидим для приличия, — сказала она, — а потом ты спускайся к себе. Я приду.

...Войдя ко мне в номер, она деловито заперла дверь на ключ, встала на колени и начала расстегивать мне брюки.

— Ну вот, — сказала она, — а теперь мы будем делать все, что хочешь, долго и не торопясь. Только не помни мне прическу.

Мы действительно долго занимались любовью, стараясь не помять ее прическу. Почему-то, разговаривая со мной, она обращалась к нижней части моего тела. Когда я спросил, почему, она сказала:

— Это единственно стоящее, что есть у мужчин, только за это я вас и люблю. Остальное женщины делают лучше.

— Ты что, лесбиянка? — спросил я.

— А ты что-нибудь имеешь против?

— Да нет, — сказал я, — просто я никогда не имел дела с лесбиянками.

— Лесбиянки ревнивые, — сказала она, — а я не ревнива. Хочешь, я пришлю к тебе Аньку?

— Да ты что думаешь, я железный?

— Если мы с Анькой возьмем тебя в работу, станешь железным.

— Нет уж, избавь, — сказал я.

— Анька мужиков не любит, но если я попрошу, для меня сделает. Хочешь?

— Нет, — сказал я, — ты мне нравишься больше.

— Я уже старая, мне скоро сорок три, а Аньке двадцать восемь.

— Мне тоже сорок, — сказал я.

— Для мужиков это не возраст. Хотя мужики теперь пошли дерьмо — пьяницы и импотенты. Вон у Аньки муж не может, а со злости ее бьет. Она первые дни на пляж стеснялась ходить.

— А кто ее муж?

— Большой начальник. Дерьмо собаачье.

— А ты тоже начальник? — спросил я.

— Как ты догадался?

— По прическе.

— Я прокурор, — сказала она.

Я засмеялся.

— Чего ты смеешься? — сказала она. — Я хороший прокурор. Я добрая. Я, если можно, людям зла не делаю.

— А взятки берешь?

— Конечно, — сказала она, — какой прокурор не берет взяток?

— А я-то думал, бывают, которые не берут.

— Дурачок, — сказала она, — а еще киношник. Таких прокуроров никогда не было и не будет.

— А чем ты берешь взятки?

— А всем, что дают, кроме борзых щенков: и деньгами, и любовью, и шмотками. Мне нужно делиться.

— С кем?

— С начальством.

— Разве у прокурора есть начальство?

— Это у Кони не было, да и то по просьбе царя пришлось в отставку уйти.

— И начальству ты взятки даешь?

— Пока была молодой — спала с ними. А сейчас уже нужно подумать об эквиваленте.

— И со многими ты спала?

— Да со всеми, кто хотел и кто мог. Я женщина на передок щедрая. Ты, наверное, заметил?

— Да, — сказал я, — давно заметил.

— Как давно? Мы здесь всего пятый день, и ты первый, с кем я здесь переспала.

— А местное население?

— Боюсь подхватить что-нибудь — что-то публика ненадежная.

— А ты замужем?

— Конечно.

— И как на это смотрит муж?

— А никак, — сказала она, — он плавает на сухогрузе и спит со своими буфетчицами и официантками.

— Он что, повар?

— Капитан, — сказала она. — Видишь, какой на мне бюстгальтер и трусики? Это из магазина для шлюх в Лондоне. Возбуждают? Ты еще скромный парень. А то есть такие, чего только не заставят вытворять, иначе у них не получается. Хочешь, я сделаю что-нибудь?

— Да ты вроде уже все сделала...

— Ну уж все!.. Я сделала все, что люблю, а есть еще то, что я люблю не очень, но если хочешь — сделаю.

— Не надо.

— Хорошо, только осторожней с прической.

— Да плюнь ты на свою прическу!

— Не могу, — сказала она, — у женщины моего возраста и положения прическа должна быть в полном порядке. Сам говоришь — я похожа на начальника.

— На шлюху ты похожа.

— Не хами, милый.

— Я не хамлю, на мой взгляд, лучше походить на шлюху, чем на начальника. Что, вы туда банки консервные засовываете?

— Некоторые засовывают, а мне пока своих волос хватает. У меня свой парикмахер, а здесь мы с Анькой отстояли часа четыре, даже на обед опоздали. Придется спать сидя. Не закрывай дверь, утром я приду.

Она ушла, и я заснул как мертвый, но в шесть утра она снова была у меня, и опять мы старались не испортить ей прическу.

— Слушай,— спросил я,— у тебя есть постоянный любовник?

— У меня их много,— сказала она,— но постоянных человек шестнадцать.

— И Анька?

— Не только она.

— Ты гигант.

— Бабий век короткий, вот я и стараюсь, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.

— А дети у тебя есть?

— Запомни, сынок,— сказала она,— я прокурор. Поэтому у мужчин меня интересует только то, что ниже пояса, а если заводить детей, то нужно интересоваться еще кое-чем.

— Кто же тебе так в душу нагадил?

— Слушай, ты что — проповедник? Я в свою душу никого не пускаю. А потом, душа прокурору противопоказана. Ты что, никогда не имел дела с юристами?

— Имел,— сказал я,— правда, это было давно.

— Мы как врачи,— сказала она,— мы смотрим на все трезвым взглядом, нам не до дурацких иллюзий. Очень тебя прошу, не помни мне прическу.

— Господи,— сказал я,— тебе нужно любовника парикмахера.

— Не волнуйся,— сказала она,— дома у меня их несколько.

— Заведи здесь.

— Я уже сказала, я боюсь что-нибудь подхватить.

— А со мной ты не боишься?

— Нет,— сказала она,— ты внушаешь доверие, и потом у меня такое ощущение, что я тебя давно знаю. Мне с тобой даже поговорить приятно. Обычно я с мужчинами говорю только в присутственных местах.

— Я тоже в присутственном месте поговорил с женщиной, у которой прическа, как у тебя,— сказал я.— С тех пор я не выезжаю за границу.

— Наверное, ты говорил откровенно?

— Да,— сказал я.

— Ну и дурак! — сказала она.— С нами можно говорить откровенно только без

свидетелей, потому что положение обязывает. Я тебя умоляю, не испорть мне прическу!

После завтрака я пошел на пляж и, расстелив подстилку, улегся под зонтик. Вскоре на пляже появились Вера и Аня. Как близнецы, они горделиво несли свои прически. Величественно раскланиваясь по сторонам, они подошли к моему зонтику.

— Здравствуйте,— сказала Аня,— мы вам не помешаем?

— Нет,— сказал я,— если мы договоримся не портить прически.

Аня удивленно посмотрела на меня и на Веру, которая засмеялась. Видимо, прическа не фигурировала в рассказе о ночных приключениях.

— А вы злой,— сказала Вера и погрозила мне свежаманикюрным пальцем. Ногти на ее ногах были такого же цвета — ярко-красного,— как и губы. Несмотря на довольно бурную ночь, она выглядела веселой и свежей, куда более свежей, чем Аня.

Женщины разделись, и я увидел на белом, незагоревшем теле Ани едва заметные желтоватые пятна — видимо, это были остатки следов семейной любви и нежности. Мы лежали под зонтиком, и разговор втроем как-то не клеился. Вдруг в конце пляжа появились трое импозантных мужчин, одетых в ослепительно белые рубашки, темные костюмы и сверкающие штiblеты.

— О, Господи,— сказала Вера,— кажется, твой сукин сын все-таки дозвонился до своих гагринских друзей. Кончился отдых, Анюта, начинается сладкая жизнь. Вот мерзавец! Ну я-то старая курва, с меня как с гуся вода, но жену хоть бы пожалел. Ведь эти коблы нас замучают.

Три джентльмена, плотоядно оскаливаясь, приближались к нам. Это была ненавистная мне смесь всех мерзких качеств замечательного грузинского народа: самодовольство, спесивость, павлинье любование своими мужскими достоинствами было крупными буквами написано на их выбритых до синевы улыбающихся лицах.

— Да, девушки, не случайно вы вчера сделали такие прически,— сказал я.— Теперь они вам сильно пригодятся. Берегите их.

Джентльмены остановились около нашего зонтика. Одеты они были в дорогие костюмы, но не совсем по сезону.

— Вот вы где, наши красавицы! — сказал старший по возрасту и, видимо, по положению, потому что двое других обходились с ним подчеркнуто уважительно и даже шли на расстоянии пары шагов от него. Рот его был набит ослепительными про-

тезами, наверное, сделанными из бриллиантовой крошки. В галстук торчала скромная, но дорогая бриллиантовая заколка, а в манжетах безукоризненно накрахмаленной рубашки сверкали бриллиантовые запонки. В добавок его благородная полуседая голова была обильно смазана бриллиантом и причесана лучшим парикмахером города Гагры, а может быть, и Тбилиси. Двое мафиози, сопровождавшие его, были классом пониже, но тоже достаточно изысканы.

— Собирайтесь, мои красавицы, шашлык уже заждался.

— Может, вы поедете с нами? — сказала Вера, обращаясь ко мне, голос ее звучал неуверенно.

Мафиози осмотрели мои гэдээровские плавки, старые джинсы, висевшие на крючке под зонтиком. Лица их одновременно изобразили вежливое, слегка презрительное восточное гостеприимство.

— Конечно, конечно, мы будем рады принять уважаемого друга наших друзей. Места всем хватит.

— Я полагаю, — сказал я, — что вряд ли украшу ваше общество. Надеюсь, джентльмены не дадут вам скучать.

— Насчет этого не беспокойтесь, — авторитетно заявил главный, — такие девушки скучать не будут. Мы не позволим.

Дамы натянули на себя халатики и, сопровождаемые завистливыми взглядами женской половины пляжа, важно удалились навстречу наслаждениям.

Этот вечер я провел на террасе бара в одиночестве. Бутылка «Bells» была моим единственным собеседником. Глядя на верхушки сосен, озаренных заходящим солнцем, я перебирал в памяти то, что случилось за последние полгода. Я вспомнил, как в Одессу, где я снимал «Воздухоплателя», прислали анкету, которую я должен был заполнить для того, чтобы ехать в Финляндию снимать фильм о Ленине, который дал ей самостоятельность. Благодарные финны решили увековечить это в кинематографе. Я не в первый раз заполнял анкеты и подробно писал, по какой статье был осужден мой отец и по какой статье его выпустили из заключения после расстрела Берии и начала «оттепели». Но сейчас, сидя в Одессе, я забыл номера и названия этих статей и написал просто: «Отец добровольно пошел на фронт в 1941 году, попал в окружение и в плен. Во Франции бежал из лагеря и до изгнания немцев с территории Франции сра-

жался в маки, потом в августе 1945 года добровольно вернулся в Советский Союз, был репрессирован и после разоблачения шайки Берии реабилитирован в 1956 году».

Мне казалось, что это исчерпывающий ответ, тем более в первом отделе есть мои предыдущие анкеты, в которых подробно указаны все статьи и пункты, по которым он был осужден и реабилитирован. Но когда я приехал из Одессы, меня вызвали в Смольный, и там маленький человек с бегающими глазами вежливо попросил меня позвонить отцу и выяснить все подробности. Затем он демонстративно вышел из кабинета, оставив меня наедине с телефоном и листом бумаги, на котором я должен был записать данные об отце.

— Откуда ты звонишь? — спросил отец. — Из Смольного? Ну-ка, позови их к телефону, и я расскажу им, зачем я делал революцию и почему десять лет просидел в советских лагерях. Делать им там нечего! Паразиты проклятые! Одного Романова свергли для того, чтобы теперь второй там сидел?

— Папа, я полагаю, что это не ускорит мой отъезд в Финляндию, — сказал я. — Но, если ты настаиваешь, я могу попробовать.

— Ладно, — сказал отец, — записывай, — и продиктовал мне все статьи и пункты, по которым отсидел.

Сразу же, как только отец повесил трубку, в дверь вошел человек с бегающими глазками. Он был очень бледен.

— Я вас очень прошу, — сказал он, — вам еще предстоит много ездить за границу, запишите эти данные, чтобы не беспокоить папу каждый раз.

— Но они же записаны во всех моих предыдущих анкетах.

— Такой порядок, — сказал человек. — Тут уж ничего не поделаешь.

Потом он повел меня по ленинским местам в Смольном. И я ощутил дыхание Истории. У меня перехватило горло, когда я увидел маленький столик с телефоном, на котором были написаны Декреты о мире и земле. Я смотрел на две узкие железные кровати, застланные тонкими одеялами, на которых проводили короткие часы отдыха Ленин и Крупская. На одной из таких же кроваток спала Ирина Вячеславовна, жена дяди Пепы.

(Окончание следует)

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Валентин Черных

О СЦЕНАРИЯХ И СЦЕНАРИСТАХ

Конечно, это обидно

По-видимому, талант у человека заложен в генах. Впервые я почувствовал талант в противнике, когда стал заниматься боксом. Я подлезал под канаты, обменивался первыми ударами с противником и уже чувствовал: он сильнее, он с лучшей реакцией, упорнее, хотя такой же дилетант, как и я, такой же начинающий боксер.

Я выдерживал бой, иногда даже выигрывал, но всегда понимал: этот станет боксером, хуже, лучше, но боксером, а я не стану. У меня для этого недостаточно таланта. Я никогда не буду драться, как он. Конечно, я и тогда, в юности был неглупым малым: я думал, планировал бой, пытался найти слабые стороны противника, а он в это время меня бил. Для него бить, уклоняться, мгновенно реагировать было естественным занятием. У него был талант. Он даже не прилагал для этого особенных усилий. Получалось — и все. Он даже не думал, почему получается. У таланта должно получаться легко. Конечно, совершенствуя произведение, и талантливые писатели работают помногу, но эта работа доставляет им удовольствие. Правда, графоманам литературная работа тоже доставляет удовольствие...

Человек должен быть счастлив, если у него есть хоть к чему-то талант. Я неплохой водитель, предусмотрительный, даже надежный, потому что не рискую. Но когда я сажусь в машину рядом с водителем и по тому, как он трогается, тормозит, обходит, мгновенно реагирует на маневры впереди, сзади, сбоку, я даже не понимаю, просто чувствую — это талантливый водитель, и как бы я ни старался, я так никогда водить не смогу. Так и в литературе — всегда есть кто-то талантливее тебя. Конечно, это обидно, но ведь можно радоваться и за других, как радуешься хорошей погоде, красивой женщине и умной собаке, просто потому что они есть, они с тобой рядом.

Сценаристы и писатели

Художественные руководители объединений «Мосфильма» рассказывали про-

катчикам о фильмах, которые снимаются. Пересказывали в основном содержание. Прокатчики с мест спрашивали:

— Кто режиссер? (Если забывали назвать режиссера.)

Однако ни один из них не спросил: «Кто сценарист?»

Но вот точно так же собрались книгоиздатели и книготорговцы. Книгоиздатели информируют о книгах, которые они выпустят в ближайшее время. Торговцам, разумеется, интересно, над чем работает писатель (т. е. содержание книги), но все-таки самое важное для них — писательские имена. В литературе имя писателя — гарантия (комплишен бонд), марка. В кино гарантия — имя режиссера. И что бы ни говорили сценаристы, что сценарий — первооснова кинематографа, что с них начинается кино, главная гарантия все-таки режиссер, и бессмысленны споры о главенстве, которые идут уже не одно десятилетие, ибо главный тот, кто обеспечивает гарантии.

Сценарист-архитектор

Если сценариста можно сравнить с архитектором, то режиссер одновременно и строитель и распределитель кредитов. Исходя из своих возможностей: эстетических, финансовых, вкусовых, из свойств характера (упорен или слабоволен), он все равно построит фильм, который хочет, но чаще всего тот, который может построить. Самый великолепный проект (т. е. сценарий или план) — только эскиз. И о сценарии всегда будут говорить только как о проекте, из которого получилось или не получилось киносооружение, т. е. фильм. В памяти людей остаются и будут оставаться имена великих архитекторов, даже если их проекты не состоялись, но великие сценаристы в памяти людей не остаются.

Молодые сценаристы

Во ВГИКе я веду занятия по мастерству кинодраматурга, хотя правильнее их было бы назвать «занятиями по ремеслу», потому что мастерство приходит после долголетней самостоятельной работы, а ремеслу учат.

В мастерскую мы обязательно приглашаем ведущих, наиболее известных, наиболее интересных на данный момент сценаристов. У нас выступали А. Гребнев, А. Гельман, Э. Володарский, П. Финн, О. Агишев, Н. Рязанцева. Наибольшее впечатление на сту-

дентов произвел Э. Володарский, хотя говорил он не очень внятно и связно, просто пересказывал случаи из своей практики. Он не теоретизировал, а рассказывал о технологии создания сценария. Как стыкуются ситуации, как свинчивается из сцен эпизод, т. е. как можно собрать табуретку из драматургических деталей. И студентам показалось это наиболее интересным.

И мне много лет назад во ВГИКе казалось, что главное — это понять несколько технологических операций, и я тут же начну писать сценарии, которыми заинтересуются все студии страны. Молодые всегда нетерпеливы в своем прагматизме и убеждены, что если они изучат несколько главных приемов, все остальное уже не так существенно. Всего только несколько приемов. Так примерно готовят десантников в армии. Несколько приемов защиты и нападения отрабатываются до автоматизма. Несколько приемов — не больше. Современный бой скоротечен. Или выживешь, или погибнешь. Когда наступает масса, кто-то выживает, кто-то погибает. Так обычно происходит и со сценаристами. Овладевшие несколькими приемами тоже выживают, но в основном только в средствах массовых коммуникаций: на телевидении, на эстраде, на радио. В кино уже реже, в литературе — никогда. Но сценарист сегодня профессия массовая, почти как инженер. Сценариев нужно в год десятки, а может быть, и сотни тысяч: сценарии телепередач, радиопередач, сценарии рекламных роликов, видеоклипов, сценарии документальных, научных фильмов, видеофильмов, пропагандистских фильмов, сценарии массовых представлений, праздников, свадеб, похорон и т. д. Сценаристы, как десантники, скоротечно вступают в борьбу, иногда выигрывают, чаще проигрывают, залечивают неудачи и снова вступают в конкуренцию с другими. Иные живут безбедно, но таких немного. Большинство бедны, постоянно озабочены добыванием пищи, но почти каждый уверен: это все временно, вот он заработает денег, сядет на два года, напишет гениальную пьесу, роман, сценарий и станет известным и богатым. Но этого почти никогда не бывает...

Ни дня без десятки

Несколько лет я работал на Центральном телевидении в редакции информации. Среди репортеров были потенциальные романисты, театральные драматурги, киносценаристы. Но никто из них так и не написал ни романов, ни пьес, ни сценариев. Каждый день они делали или интервью, или очерки, или репортажи. Каждый день они

были заряжены на один сюжет: найти, снять, смонтировать и выдать в эфир. Цена полуминутного сюжета чуть больше десятки. Они считали, что если они не заработают эту десятку сегодня, то день прожит зря. И так каждый день и всю жизнь. Если раньше они верили, что наступит день и они напишут свой роман, то сейчас у одних скоро уже пенсия, чего уж тут менять жизнь, другие уже умерли...

Эксперимент

Каждый год мастер — кинорежиссер, сценарист, оператор, киновед набирает себе учеников на вступительных экзаменах во ВГИКе. Ученики же не могут выбрать мастера. Ученики конкурируют между собой, у мастера нет конкурентов. Это недемократично. Должен быть выбор как с одной, так и с другой стороны. Если мастер выбирает студентов, то и студенты должны выбирать мастера, то есть у кого бы они хотели учиться.

У нас в мастерской четыре педагога. На третьем курсе мы решили ликвидировать эту несправедливость (к тому же студенты уже хорошо знали: кто есть кто) и предложили студентам выбрать одного из мастеров, с которым им хотелось бы заниматься. Естественно, мы хоть и немного, но поволновались: выберут или не выберут? Но результат выбора меня и озадачил и разочаровал. Студенты предпочли мастеров, которые их хвалили. Я же думал, что все будет наоборот. В любом деле, и в творческом тоже, нужен оппонент, тот, кто с тобою не согласен. В противоборстве отстаиваются аргументы. Я, когда со мною не соглашались, всегда находил наиболее удачные решения. Я ясно и четко просчитывал варианты, когда сопротивлялся. А когда хвалят, сопротивляться не надо. Похвалы расслабляют и укачивают. Через два года они закончат институт и начнут конкурировать со всеми сразу и к этому надо быть готовыми. Они же оттягивали этот неприятный момент. Пока же они хотели, чтобы их хвалили и гладили, совсем как в начальной школе: главное, чтобы поставили отличную отметку...

А может быть, они правы...

Меня выбрали двое: А. Новотоцкий и Ю. Дамскер. Мне нравилось, как они пишут. А. Новотоцкий — физик по профессии — точен, обладает логичным, аналитическим умом. Ю. Дамскер — наблюдательна, иронична, у нее удивительный слух, запоминает и передает тончайшие оттенки речи. Мне с ними было интересно. Я радовался каждой их находке, я их хвалил. И они выбрали

меня, может быть, почувствовав мое равнодушие к их работам. Может быть, они и правы. Невозможно общаться только с оппонентом. От этого устаешь. Хочется, чтобы тебя любили, тобой интересовались: даже в отношениях мужчины и женщины совсем необязателен взаимный интерес, для начала необходим интерес хотя бы с одной стороны...

Отличие сценариста от писателя

Писателю необходимо два неперенных и обязательных качества: талант и работоспособность. Сценаристу необходимо то же самое, но и еще несколько качеств и черт характера, без которых он не может выжить в кино.

1. Драматургическое видение мира, каким обладают театральные драматурги.

2. Владение сюжетом, в чем наиболее сильные авторы детективных романов.

3. Умение писать коротко, как это делают авторы рассказов.

4. У сценариста очень много от журналиста. А это значит, надо уметь заметить только-только нарождающиеся тенденции в обществе и воплотить их в драматургической форме. Роман об экологии может появиться через десятилетие, а фильм уже завтра. Но фильм С. Герасимова «У озера» уже забыт, хотя и появился на десятилетие позже «Русского леса» Л. Леонова, который актуален еще и сегодня.

5. Сценарий должен быть инвариантным. Свой замысел сценарист должен изложить в нескольких вариантах, потому что написанный сценарий в отличие от повести или романа никогда не бывает окончательным. Необходим вариант, учитывающий видение режиссера на первоначальном этапе работы, и последний вариант, над которым все еще продолжает работать сценарист,— монтажная сборка, когда сценарий в последний раз перестраивается в своем замысле с учетом результата съемок.

6. Сценарист должен знать хотя бы основы режиссуры, операторского и актерского мастерства, чтобы, защищая свой замысел, отстаивать его профессионально.

7. Результат труда, скажем, книга у писателя, зависит от него самого, от его таланта, работоспособности. Результат труда сценариста, т. е. фильм, это все-таки итог работы десятков людей: режиссера, оператора, художника, актеров, специалистов по комбинированным съемкам. У писателя процесс работы — интимный. Сценарист — человек публичный: его работа проходит на обсуждениях, просмотрах, на съемках, в монтажных, на людях, и к этому, хочешь ты этого или не хочешь, надо привыкать.

8. У писателя неудача — это личная его неудача. Неудача фильма к сценаристу очень часто не имеет никакого отношения. Есть замечательные сценаристы, у которых нет ни одного замечательного фильма, снятого по его замечательным сценариям. Если сценарист переживает каждую неудачу фильма как трагедию, ему лучше в кино не работать: надолго его не хватит. Приходится отряхиваться и идти дальше. А это тоже свойство характера. Но даже самые умные сценаристы при неудаче чаще всего оправдываются, объясняют, каким был сценарий и каким получился фильм. Только наиболее мудрые просто вычеркивают этот фильм из своей жизни. Если постоянно помнить о всех неудачах, в кино невозможно работать дальше.

Коммуникабельность

Издательствами и литературными журналами руководят редакторы, чьи программы известны и меняются редко, чаще всего при смене редакторов. В кино тоже существуют редакторы, но их влияние незначительно. Главный арбитр и покупатель — режиссер. Учитывая, что у нас нет института литературных агентов, сценаристу придется быть собственным литературным агентом. У нас несколько издательств и два десятка литературных журналов, и минимум 700—800 кинорежиссеров, и столько же примерно режиссеров на телевидении, которые снимают фильмы или готовятся к съемкам. Сценарист вынужден знать режиссеров поименно, знать их творческие возможности, их привязанности, их недостатки. Кроме того, сценарист должен следить за появлением новых режиссерских имен. Необходимо находить режиссеров, вступать с ними в контакты, уметь заинтересовать их своим замыслом, т. е. необходимо быть коммуникабельным. Это свойство характера, которое к таланту вроде бы не имеет отношения, но без этих качеств очень трудно работать в кино. Во всем мире давно произошло разделение. Коммуникабельные люди со способностями к прогнозированию занимаются работой литературного агента, сценаристы пишут. У нас же, как в натуральном хозяйстве при феодализме: сценарист сеет, убирает, выпекает, продает...

Лица

Больше четверти века я прихожу во ВГИК. Вначале студентом, теперь преподавателем. Сменилось уже несколько поколений студентов. Но мне кажется, что я вижу одни и те же лица. Я вижу актерские лица, усредненно правильные, на них прият-

но смотреть. Иногда характерные: вот молодая Н. Мордюкова, а в этой что-то от Л. Гурченко, есть модернизированный В. Шукшин, более высокий, более спортивный, более модный. И режиссеры нынешнего поколения своей замедленностью или своей стремительностью похожи на тех, каких я знал двадцать лет назад. Иногда я думаю, что существует генетический отбор тех, которые хотят и могут работать в кино. Во ВГИКе одни лица, в военных училищах другие, а лица в торговом институте отличаются от лиц в сельскохозяйственном. А может быть, прошли века, а разделение осталось. Были и есть хлебопашцы, купцы, воины, управляющие, художники... а сейчас почти сформировались и кинематографисты.

Фактор времени

Я поступил во ВГИК в 26 лет. До этого поработал на судостроительных заводах в Риге и Сталинграде, отслужил в армии авиационным механиком на Дальнем Востоке, был журналистом в трех газетах на Колыме и в Крыму, редактором в «Фитиле», режиссером на Центральном телевидении. Первый фильм, в котором я принимал участие как сценарист, вышел на экраны, когда мне исполнилось 37 лет. Сегодня у большинства сценаристов выходят фильмы до тридцати лет. По нынешнему счету первый фильм в тридцать — некоторое опоздание. Я же потерял лет десять, как минимум, потерял окончательно. Можно ссылаться на знание жизни, опыт, который никогда не пропадает, но даже имея и знания, и опыт, я уже никогда не буду иметь этих десяти лет. Некоторые считают раннюю профессионализацию писателя опасной и предостерегают от нее, но поздняя еще опаснее, потому что непоправима. И если считать, что на пьесу, сценарий, повесть уходит около года, я уже никогда не напишу десяти сценариев, два из которых могли бы стать лучшими в моей жизни...

Горькая закономерность

Есть гении, чьи работы почти все или гениальны, или талантливо. И в тридцать лет и в семьдесят. Таковы П. Пикассо, Л. Толстой. Но в творчестве, если ты не гений, а только обладаешь способностями, существует горькая закономерность. Художник или писатель за свою жизнь создает одно, ну два запоминающихся произведения, на большее обычно у него не хватает возможностей, все остальное уже течет в потоке усредненности, и с этим приходится мириться, но никто еще с этим не смирился...

Старение

С возрастом мы становимся мудрее, но с возрастом угасает способность к творчеству. Мне тяжело и грустно разговаривать со стариками, которых я помню удачливыми, полными сил, тогда они влияли на развитие кинематографа. Сегодня их не ставят и даже не читают. Это суровая и горькая реальность, через которую проходят все поколения. Читая сценарии стариков, составленные из блоков, которые были когда-то открытиями, а нынче просто расхожие стереотипы, я всегда думаю: когда же подобное произойдет и со мною? Что это произойдет — абсолютно точно, только когда? Так, читая сводки об авткатастрофах, не веришь, что подобное может произойти и с тобою. Ведь многим удается этого избежать. Все ведь курят, но не все же заболевают раком? Конечно, кое-какая надежда остается, но очень небольшая...

Слишком тяжелая работа для мужчин

Я читаю сотни сценариев в год. Примерно по два сценария в день. Сценарии в основном средние или плохие. Иногда я бунтую. Не читаю по нескольку дней. На столе поднимается стопа. Все равно придется читать. И от этого тоскливо. Ведь так много прекрасных книг, которые я не успел прочитать и уже не успею. Но это плата за государственную службу, на которую я согласился. Если хочешь получать удовольствие от искусства, не служи в искусстве, т. е. не занимайся той черновой ежедневной работой, которая в основном не доставляет удовольствия. Из сотни прочитанных сценариев лишь один может стать открытием. Для такой нудной работы надо быть подвижником. В кино таких совсем немного, но они есть. Например, Ф. Гукасян в Ленинграде, Л. Голубкина в Москве. Почему-то это в основном женщины. За последние годы я мужчин в этом деле почти не встречал. Наверное, это слишком тяжелая работа для мужчин.

Чудес не бывает

В кино никому не известные режиссер и сценарист никому и не нужны. Надо доказывать свою необходимость. Сценаристу проще, режиссеру труднее. Но если появилась первая удача, тобой начинают интересоваться. Правда, еще не все и не везде. На многих киностудиях выжидают. После второй работы способности подтверждаются (или не подтверждаются), и тогда начинаются предложения. Вот здесь

и выявляются уже не способности, а характер, не поддаться предложениям сомнительным, выбрать только тебе необходимый сценарий или отдать сценарий тому режиссеру, в которого веришь. Среди режиссеров есть те, кто ни разу не поддался соблазну: например, Г. Панфилов, В. Абдрашитов, Э. Климов, М. Хуциев... Среди же сценаристов я не знаю ни одного, кто устоял перед соблазном. Все успокаивают себя: завтра я напишу еще более интересный сценарий и отдам самому гениальному режиссеру. Все немного верят в чудо: а вдруг получится? Но в кинематографе, как в кинологии: при спаривании породистой собаки с непородистой всегда получается убудюк. Я знаю многих талантливых сценаристов, которые не запомнились замечательными фильмами. Они просто писали, не очень думая о том, что из этого получится:

А. Горохов, сценарист очень способный и к тому же один из лучших профессионалов в нашем кино, был потрясен, когда, участвуя в конкурсе на замещение места руководителя сценарной мастерской, был забаллотирован ученым советом института. Мотивы отказа: фильмов достаточно известных нет. А ведь по его сценариям поставлены десятки картин, некоторые из сценариев, которые я читал, были просто великолепными. Но он так и не устоял от соблазна не торопиться, подождать именно того режиссера, который необходим только для этого сценария и которому необходим только этот сценарий. В юриспруденции, как известно, незнание законов не освобождает от ответственности, в кино то же самое...

К сожалению, из двадцати фильмов, в создании которых я участвовал как сценарист, я выиграл только в двух, во всех остальных, даже предвидя заранее результат, я все-таки не удержался от соблазна, каждый раз надеясь: а вдруг повезет, вдруг получится... Но не повезло, не получилось... Чудес не бывает.

Сценарист — писатель второго сорта

Кино — одно из самых молодых искусств, и потому смотрело и смотрит до сих пор на другие искусства снизу вверх. Кино не верит в своих пророков, предпочитая пророков со стороны: из живописи, театра и особенно из литературы. Американцы для сценарной основы в основном используют литературу. Бестселлеры покупаются, что называется, на корню. В литературе индивидуальность писателя есть главная ценность. В кино над сценарием все чаще работает несколько сценаристов, это тоже неверие в индивидуальность и

личностные особенности кинематографического писателя. В советском кинематографе за последние десятилетия сформировался целый пласт талантливых литераторов-сценаристов, но режиссура по-прежнему застыла в охотничьей стойке, ожидая выхода очередных номеров литературных журналов. Не пропустить, застолбить, хотя рядом на студиях лежат сценарии кинематографических писателей, и более интересные, и более профессиональные.

Я это испытал на себе. Первый фильм по моему сценарию вышел через шесть лет после окончания ВГИКа. Я был, существовал, писал сценарии, их читали, но договоров не заключали. Чтобы сценариста заметили, нужен фильм, а фильма не было, сценарии же неизвестных авторов режиссеры обычно не читают. Мне, правда, повезло, мой сценарий «Человек на своем месте» прочитал режиссер Алексей Сахаров. Он меня и ввел в кинематограф. В это же время, еще до выхода фильма, я опубликовал в «Юности» повесть, и ко мне тут же стали поступать предложения с киностудий, вероятно, по принципу: он — не только сценарист, он, оказывается, и писать умеет. Я успел опубликовать еще несколько рассказов, но работа в кино заняла уже все время, и я перестал писать прозу. И это было одной из самых больших ошибок, которые я совершал в своей жизни. Мои ошибки — это только моя судьба, ибо и до меня были более способные, более талантливые литераторы, которые, приходя в кино, ломали свои судьбы. Сегодня происходит то же самое... Если ты остаешься в кино, то сразу становишься писателем второго сорта. Тебя даже не принимают в Союз писателей, потому что, по мнению многих, ты из писателя превращаешься в поставщика литературного материала для режиссера. Этот стереотип существует давно, и все попытки киносценаристов его разрушить ни к чему не привели. Когда я вступал в Союз писателей, меня принимали туда как театрального драматурга, хотя все мои пьесы — это всего-навсего инсценировки написанных мною киносценариев.

Борис Васильев писал сценарии и считался просто профессиональным сценаристом. Опубликовав же повесть «А зори здесь тихие», в основе которой был сценарный замысел, сразу стал известным советским писателем, и теперь каждая его повесть, каждый рассказ экранизируются.

Александр Червинский долгое время был подающим надежды сценаристом. Но вот

несколько сценариев, которые не пошли в кино, были поставлены в театрах и сделали А. Червинского одним из самых популярных театральных драматургов страны.

Александр Гельман начинал как сценарист, но только благодаря театральным постановкам, в основе которых были сценарные замыслы, он стал основоположником производственной, а если точнее, политической драмы в нашей театральной драматургии.

Сценарист создает произведение, которое ставится один раз. Неудача режиссера — это и неудача писателя. Практически не бывает, чтобы по одному и тому же сценарию были поставлены два фильма, пьеса же может быть поставлена в сотнях театров, и часто бывает сразу несколько удачных постановок.

Я думаю, что если бы Евгений Григорьев писал не только сценарии, но и повести и романы, советская литература имела бы мощного, страстного писателя, резко выделяющегося среди современных писателей.

Я не вижу ни одного писателя в нашей литературе, равного Александру Миндадзе по четкости и непримиримости выражаемых им идей. Я уверен, что если бы наши кинематографические писатели еще работали бы и в литературе, а не только в кино, наша современная литература была бы несколько иной: более четкой, более читабельной, более интернациональной, потому что сценарист овладевает тем особым образным мышлением, которое понятно каждому человеку на земле: ведь кино по сути своей интернационально. Но кино забирает почти все время литератора, и он все больше становится профессиональным кинематографистом и все меньше писателем. И надо выбирать. Если литератор приходит работать в кино, то он должен знать, что добровольно переходит в сферу обслуживания. И еще он должен понять, что в кино нет своих пророков. Пройдя в кино все этапы, я снова возвращаюсь к прозе, потому что в литературе рассказ, повесть, роман — это то, что может писатель и чем он ценен. А в кино — то, что может кино, — это фильм. А фильм — это всегда режиссер...

Старый мастер

Теперь я встречаю Е. И. Габриловича только в Доме ветеранов. Он с трудом идет из комнаты в столовую. Но по-прежнему первое, что он у меня спрашивает:

— Валя, какие новости? О чем пишут сегодня?

Его интересуют В. Мережко, А. Червинский, О. Агишев. У меня такое ощущение,

что он высчитывает лидера в сценарной драматургии, который его вытеснит. Я говорю:

— Евгений Иосифович, вы по-прежнему вне конкуренции.

Он посмеивается, возражает, но не очень настойчиво возражает. Мы оба знаем: сегодня еще нет сценариста, которого можно было бы поставить впереди него и по опыту, и по значимости, и по авторитету в нашем сценарном сообществе.

...Снова встречаемся через несколько месяцев:

— Какие новости? О чем пишут сегодня?

Может быть, это интерес старого шахматного мастера, отошедшего от турнирных боев, который получает удовольствие от правильных прогнозов. Или последняя попытка выиграть, как он много раз выигрывал в непрерывном полувековом соревновании среди сценаристов. Выигрывал или просто так получалось? Но просто так ведь ничего не получается. Я думаю, он хорошо считал и в молодости. Хотя в кино у него молодости не было. Первый свой сценарий написал, когда ему было далеко за тридцать. В этом возрасте ничего случайного не бывает. В советском кино уже появился «Великий гражданин», соцреализм создавал возвышенно-романтические характеры. Конкурировать здесь было невозможно, можно было только стать в один строй со всеми и создать нечто еще более романтическое и более возвышенное. Он не захотел, или не смог, или уже тогда понял, что это бессмысленно. Может быть, именно поэтому его первые сценарии «Последняя ночь», «Машенька», «Мечта» были об обычных людях, не героях, и здесь он выиграл... И даже в «Коммунисте» герой — не комдив, как Чапаев, не член правительства, не нарком Максим, а обыкновенный кладовщик. Правда, сын кладовщика в «Нашем современнике» — уже директор крупного строительства, но это скорее исключение из того правила, которое он вывел в молодости и придерживается по сегодняшний день. Я никогда не спрашивал его, просчитывал ли он варианты в конкурентной борьбе, а борьба ведь была. Можно ее назвать и соперничеством: сценаристов становилось все больше, а количество фильмов не только не увеличивалось, а уменьшалось.

Большинство сценаристов и писателей отвергают расчеты в творчестве. Как пишется, так и пишется, что называется, ни прибавить, ни убавить. Конечно, каждый из нас может только то, что он может. Но Л. Толстой собирался написать роман о декабристах (может быть, только сегодня пришло время такого романа), а написал «Войну и

мир». Пережив поражение в Крымской войне, он чувствовал, что надо написать о победе, это можно назвать по-разному. И предвидением, и расчетом.

Я помню, как радиокомитет через репродукторы внедрял бодрые песни, а молодые люди предпочитали грустного Б. Окуджаву. Конечно, людям всегда интересно про героев и про подвиги, но невозможно только про героев, людям еще интересно и о людях таких же, как они сами, но очень сильных и не очень красивых. Старый мастер умел предвидеть этот интерес, но предвидеть — это ведь просчитать.

Он писал и о Ленине, но все-таки больше о Ленине — человеку, а не о вожде, он писал о коммунистах, но не о руководящей роли партии. Он писал для Ю. Райзмана и М. Ромма, и это было надежно и выгодно. Но он писал и для молодого Г. Панфилова, что на первый взгляд было и не очень-то надежно, однако оказалось, что и тут надежно и выгодно. А когда возрос интерес к мемуарам, он написал несколько книг мемуаров. По-моему, старый мастер — талантлив, если сумел прожить такую большую жизнь в кинематографе и ни разу крупно не проиграть, потому что рассчитать свою судьбу — это тоже талант. Дано очень немногим...

Несколько рецептов из поваренной книги сценариста

Все люди хотят счастья, чтобы все хорошо кончалось. Всем нравятся счастливые концы. Только есть несколько «но», которые зритель не принимает:

1. Зритель не любит, когда герою незаслуженно сопутствует удача (говорят, дуракам везет), но большинство — не дураки, а остальные дураками себя не считают.

2. Зрители хотят справедливости. Если вначале было трудно, а в конце повезло, это всегда радует: каждому ведь бывает трудно, но каждый мечтает, чтобы ему повезло.

3. Зрители не любят слишком праведных (правильных), потому что каждый неправилен, только по-своему, поэтому слишком положительный герой раздражает. Герой должен ошибаться, как ошибается каждый человек.

4. Есть люди, которых любят все, но таких мало, таких практически нет, поэтому если героя любят все, он никому не интересен.

5. Добродетель должна быть вознаграждена, иначе зачем быть добродетельным? Но против добродетели должна выступать недоброжелательная сила, мощная и коварная, тогда добродетель может победить, даже потерпев поражение. А еще лучше,

если вначале она потерпит поражение, но потом все равно победит. Этого ведь так хочется всем...

6. Если наступило время безверия, и герой ни во что не верит, он неинтересен зрителям, потому что вокруг и так все не верят (а верить хочется). Значит, герой должен не верить, как все, и верить, как немногие, ибо вера без сомнений — это неправда, поэтому неинтересна...

Эти и еще 217 рецептов сценаристу совсем необязательно применять в своей работе, но знать и помнить о них хорошо бы...

Писатель, который не написал ни одной книги...

Валентин Ежов — талантливый драматург кино. Я это пишу без всяких оговорок: не один из талантливых, а просто талантливый. У него безупречное чувство драматургической формы. Роман может быть и в пятьсот страниц и в семьсот. Конечно, сюжет, события в романе тоже ограничивают его размеры, но для романа плюс-минус семьдесят страниц не имеют существенного значения. В сценарии — семьдесят страниц описаний и диалогов. Каждые «лишние» строчки — метры пленки, на которые затрачивается время и которое ограничено полутора часами фильма. За эти полтора часа надо рассказать все. И еще надо не только помнить, но и выполнить обязательные условия, которые формируют зрительское восприятие зрелища. Не позже, чем через 10—12 минут после начала, должен наступить первый пик. Если этого не происходит, зритель, в лучшем случае, теряет интерес, в худшем — встает и выходит из зала. Следующий пик должен наступить не позже 25 минут, а к 60 минуте страсти должны достигнуть пределов повествовательного кипения. Только после этого начнут развязываться все завязанные ранее узлы. Могут быть, конечно, передвижки, но зрительское восприятие работает по своим биоритмам, которые выработались веками. Не учитывать их невозможно. Поэтому каждый эпизод выверяется и даже не пишется, а выписывается, выстраивается. При построении сценария перебор вариантов не менее сложен, чем при разыгрывании шахматной партии. Ежов замечательно играет и в шахматы, и в шашки. Я, например, ни разу у него не мог выиграть. Я не знаю ни одного шахматиста, который бы писал сценарии, но все наиболее профессиональные наши сценаристы — хорошие шахматисты. Сценарист — это особое свойство ума и врожденное чувство формы и ритма. Может быть,

именно поэтому хорошими сценаристами становятся поэты, способные экономно рассказать на малой площади о глобальном.

В. Ежов филигранно владеет сценарной технологией, я был много раз тому свидетелем. Замыслов, интересных и оригинальных, у него десятки. Он их рассказывает режиссерам здесь же, в коридорах киностудии, на кинематографических сборищах, за ресторанным столиком. Режиссер загорается, и замысел уже становится и его замыслом: во всяком случае, режиссер в это уже верит. Назавтра замысел уточняется, оформляется в заявку, режиссер становится соавтором. Ежову не жалко: ведь режиссер вроде бы участвовал в работе, а если не участвовал, то наверняка будет участвовать, а если режиссер не может писать, то думать-то он все-таки может. Писание, вернее, строительство сценария — дело тяжелое, а вдвоем, если не легче, то хотя бы веселее...

Часто Ежов работал и работает сразу над несколькими сценариями с режиссерами и коллегами-сценаристами. Иногда это его замыслы и сюжеты, а очень часто режиссеры и сценаристы буквально прибегают к его помощи, когда в сценарии не могут свести концы с концами. И он сводит, придумывает, перестраивает. Он участвовал в создании более пятидесяти фильмов как сценарист.

Шестидесятилетие мастера было решено отметить выпуском тома его сочинений. И тут выяснилось, что у Ежова почти нет сценариев, в которых он был бы единственным автором. Сценарии «Баллада о солдате», «Белое солнце пустыни» и другие стали классикой советского кино, но в титрах фильмов стоит нестолько имен.

Всегда говорили и говорят: чтобы оставить след на земле, надо вырастить дерево, родить сына и достроить дом. Ежов это делал многократно. Во всяком случае, домов он построил несколько, оставляя их женщинам, которые были рядом с ним во время строительных работ. Но у писателя, как у всякого творца, особенные притязания на память. Писатель должен оставить после себя, если не собрание сочинений, то хотя бы книгу, может быть уверенным, что эту книгу переиздадут многократно; у сценариста такой уверенности никогда не бывает, так же, как у крестьянина. Крестьянин, собрав зерно, знает, что из этого зерна испекут хлеб, который люди купят к обеду. Но хлеба надо много. И крестьянин каждую весну снова и снова закладывает зерно в землю, не думая ни о славе, ни о памяти, которую он оставит потомкам. Если писатель думает о славе, он не должен даже близко приближаться к кинематогра-

фу: самое большое, на что может рассчитывать — на известность в кинематографических кругах. Кто не верит, можете спросить у Валентина Ежова, он подтвердит...

Влияние литературы на кинематограф

Чтобы родилась и оформилась национальная кинематография, нужно, чтобы появился хотя бы один, а еще лучше если несколько крупных национальных режиссеров. Но бывают и исключения. На мой взгляд, киргизский кинематограф родился от писателя Чингиза Айтматова. И хотя первые крупные картины сняли в Киргизии русские режиссеры А. Сахаров, А. Кончаловский, Л. Шепитко, в основе этих фильмов была проза Айтматова. А потом выросла уже целая плеяда талантливых киргизских режиссеров, но лучшие их фильмы опять же опирались на прозу Айтматова.

По-моему, огромное влияние на формирование узбекского кинематографа оказал сценарист О. Агишев. Татарин по национальности, узбек по воспитанию, овладевший богатством великой русской культуры и пишущий по-русски, он, работая с молодыми тогда талантливыми узбекскими режиссерами Э. Ишмухамедовым, А. Хамраевым, создал вместе с ними особенный мир узбекского кино: и сентиментальный, и жесткий, и наивный, и сложносплетенный по интриге, где вестерн сцеплен с мелодрамой, а притча с бытовыми подробностями. Агишев ввел в сценарную литературу нескольких молодых талантливых узбекских писателей. И может быть, поэтому, живя четверть века в Москве, он не может расстаться с узбекским кинематографом, а узбекское кино не может обойтись без него.

Такому интернационализму можно завидовать, но подражать ему невозможно, потому что на это надо положить всю жизнь. Правда, это можно объяснить и по-другому. Творец, часто боясь конкурировать с равными себе в центре метрополии, остается на окраинах: там он всегда первый, а здесь, в центре, свою конкурентоспособность надо доказывать каждый день, не каждый готов на это тратить и силы и время. Но есть и еще одна правда. Сегодня в кинематографе понятия метрополии и окраин очень сильно сдвинулись. И слава кинематографа метрополии очень часто складывается за счет киргизских, узбекских, грузинских «окраин...»

Сценарий и жизнь

Сегодня многих кинематографистов, которые работали в тридцатые годы, упр-

кают в приспособленчестве. Сегодня-то мы знаем, какие это были годы: с голодом, нищетой, репрессиями. А на экране «Светлый путь», «Трактористы», «Богатая невеста», «Веселые ребята»... Что это — запланированный обман? Выполнение указаний партаппарата: высветлять, лакировать?.. Конечно, спрос определяет предложение. Можно и не указывать впрямую. Можно отбирать из предложенного, отдавать предпочтение одним и не пускать других, что, конечно, широко применялось в культурной политике. Но это объяснение было бы слишком простым...

Я знаю тридцатые годы по рассказам матери и по фильмам. Рассказы моей матери, дочери раскулаченного псковского крестьянина, и пырьевские фильмы о российской деревне ни в чем не стыкуются. Жизнь одно, кино — совсем другое. Но моей матери и тогда, и сегодня нравятся пырьевские и александровские картины. Нынче критики выстраивают схему: партия говорила «надо!», художники отвечали — «есть!» Зрители дружно с плакатами маршировали в кинотеатры. Колонны с плакатами — конечно, извращение. Но все-таки потребность в таких фильмах была у всех. Все хотели передышки, хотя бы на экранах. Всем хотелось забыть кошмар реальности. Партийные аппаратчики или верили, или хотели верить, что так когда-нибудь будет, и художники, составляя свои кинематографические прогнозы, тоже верили или хотели верить: закончится же когда-нибудь эта жизнь и будет другая, веселая, счастливая и сытая. Поэтому в самые голодные годы в кинематографических «Кубанских казаках» столы ломались от обилия замечательной еды. И зрители шли на эти фильмы, некоторые смотрели их по десятому раз. И потому, что фильмов выпускалось мало, и потому, что эти фильмы нравились. Можно давать любые указания, всячески поощрять художников, но если зритель не пойдет в кинотеатры, все усилия будут напрасными. Я убежден, что когда люди идут смотреть кино — это всегда сговор, осознанный или неосознанный, между властью предержащими, которые поощряют такие фильмы, художниками, которые делают такие фильмы, и зрителями, которые хотят получить за свои деньги именно такие фильмы. Спрос определяет предложение. Можно это назвать не сговором, а потребностью забыть, отвлечься, побыть хотя бы два часа среди другой жизни. Во время войны наши кинематографисты не создали ни одного правдивого фильма о войне. И потому что не разрешали, и потому, что правда была слишком трагичной и горькой. По-моему, этой правды не хотели не только власть

предержащие, этой правды избегали художники и этой правды явно не хотели зрители. На фронте предпочитали смотреть (если это удавалось) довоенные фильмы из прекрасной жизни, которой никогда не было. В тылу смотрели фильмы, где наши всегда побеждали (когда наши почти всюду терпели поражение), это вселяло надежду.

Сегодня можно только предполагать, что было бы, если бы то отрезвление, которое мы переживаем, наступило бы лет на пять-десять раньше. И в 1940, а не в 1990 году у нас начали бы выходить фильмы о тех ужасах, которые только что пережили наши отцы и деды. Ломались бы они в кинотеатры, чтобы посмотреть на свою жизнь, осмыслить, почему они не сопротивлялись, предавая рядом живущих, не защищая ни детей своих, ни жен, ни мужей, в чью вину они не верили?

В наши дни время правдивого анализа вроде бы наступило. И что же? На первых фильмах, уже почти правдивых, кинозалы были почти полными. А жизнь снова становилась все хуже, беднее и даже страшнее при почти полученной свободе. И кинотеатры стали пустеть: люди не хотели смотреть правду про себя и свою жизнь.

Я сам был свидетелем следующей сцены. В кинозале показывали новый фильм И. Гостева «Беспредел». Фильм жесткий, даже жестокий. Все действие происходит в тюрьме. Фильм смотрели кинопрокатчики. И вдруг раздался женский возмущенный голос:

— Сколько можно! Уже третий кинорынок сидим в тюрьме. То была женская тюрьма, то детская, а теперь мужская!

Прокатчики не хотели смотреть про тюрьму. Они выражали не только свое мнение, мнение своих зрителей они знали достаточно хорошо, и оно подтвердилось, когда «Беспредел» вышел на экраны: особого зрительского ажиотажа не было. Зрители тоже не хотели правды о тюрьме: и те, которые уже отсидели, и те, которым еще предстояло отсидеть. Зрители хотели забвения. Пусть неправда, но приятная. Спрос определяет предложения. Прокатчики сегодня предпочитают покупать мелодрамы и комедии. И кинематографисты забеспокоились. Если раньше невыгодно было снимать фильмы, которые не нравились начальству, то теперь, при хозрасчете, невыгодно снимать фильмы, на которые не идет зритель.

Одесская киностудия объявила конкурс на лучший сценарий. Во ВГИКе вывесили объявление с условиями конкурса. Но в конце объявления была приписка: «Сценарии из жизни интердевочек, наркоманов, рэкетиров, истории преступлений из времен Сталина и Берии не предлагать», т. е.

не предлагать самое жестокое и неприятное, что было в нашей жизни. Так что по-прежнему в кино одно, а в жизни —

несколько другое, и это все зависит не только от кинематографистов...

Владимир Машуков

«СТРАНА-ПОДРОСТОК»

Что такое молодая кинодраматургия и существует ли вообще она? Оглядев ряды недавних выпускников ВГИКа, вполне молодых людей, пишущих сегодня сценарии, следует признать, что молодая сценаристика есть, по меньшей мере в распорядках возраста. Она представлена если не именами в звонко-сенсационном или устойчиво-почтительном их значении, то во всяком случае произведениями, обладающими не только серьезными профессиональными достоинствами, но и внутренней общностью. И все же что-то мешает назвать эту драматургию молодой. То ли нежелание поддаться детской болезни непреходящих классификаций, где в затылок просто кинодраматургии (читай — высокопрофессиональной и мастерской) должна дышать драматургия молодая — сменщица славных художественных опытов первой. Тогда, при таком пересчете на первый-второй, можно предположить и существование драматургии мудрого старчества, еще более мощной и замечательной, ибо ее опыты старше, совершенней в практически-ремесленном смысле и житейски многостороннее. Армейский этот развод ввалился в искусство из политической действительности, где стройными колоннами, строго друг за другом шагали партия, комсомол и пионерская организация.

А может быть, смущает душу отчетливо предвидимая суровая судьба молодой кинодраматургии с редкими и частными прорывами в фильм, а вернее всего, при сегодняшних коммерческих страстях — без всяких прорывов? Или устойчивость внутреннего чувства горечи и усталости, слишком тяжелого и глубокого, чтобы быть естественным для молодости, растворенного в сценариях молодых по возрасту драматургов? Скорее всего для простоты и удобства рассуждения лучше назвать ее новой драматургией, хотя и это определение столь же условно, как и «молодая»: бурное сочинение «крутых» боевиков (а пишутся они преимущественно молодыми) вряд ли можно назвать молодой сценаристикой, да и новой тоже, ибо стремительные и нервные ее действия больше связаны с отловом мига финансовой удачи. Тем не менее в

стороне от этого потока существует целая плеяда талантливых и не очень талантливых, но для этого ряда характерных и по-своему замечательных произведений сценарной литературы, где в самом деле прослеживается нечто новое в мироощущении не столько сценариста-творца, сколько в мироощущениях общества, переданных героями и сюжетными обстоятельствами этой условной «новой» драмы. Это и есть самое существенное, что она дает, и новизна ее истинна лишь в той степени, в которой ею верно переданы оттенки, особенности, извивы и колебания современных настроений — так сказать, социально-нравственная дрожь страны.

Насколько же нова «новая» киносценаристика и в каких конкретностях проявляется ее новизна?

Прежде всего — в отборе героев. Еще совсем недавно героем был или председатель колхоза, или выломан из городской службой полунинтеллигентной среды (чаще всего московско-ленинградской), в табеле от крупного начальника до рядового проектировщика, или строитель не обязательно начальствующий, но даже в образе простого рабочего обнаруживающий начальственные черты дидактики так называемой борьбы. Он был начальник хотя бы потому, что был герой. Он поучал всем ходом своего сюжетного существования. Неважно, как: за или против. Его социальное положение было очерчено определенно и твердо, и даже юный герой любовной драмы обладал четким социальным лицом представителя советской молодежи и при всей смутности этого понятия обладал, по меньшей мере в воображении кинокритики и социальной психологии, определенными устойчивыми чертами. В сущности, он был многовариантной Ниной Андреевой и так же не мог поступать по принципам. Или не смел? Борьба составляла содержание его экранного бытия: боролись за что угодно — за прогресс в любых его формах, за «свою любовь», за устроительство в личной жизни, за достойное со стороны общественной пользы ее место («мучительный поиск смысла жизни»).

Само по себе состояние человеческих противоборств с обстоятельствами или перевоплощенными в отрицательные персонажи противниками прогресса или любовного воссоединения — дело обычное, если бы оно не сопровождалось в фильмах навязанностью проблемного направления — инго-

да ловко и умело сокрытого, иной раз произвольного, но все равно безошибочно ощущаемого зрителем. В этой связи вспоминается один отрывок из «Опавших листьев» В. Розанова. Вот он:

«Необыкновенной глубины и тревожности замечание Тернавцева, года 3 назад. Я говорил чуть ли не об университетах, о профессорах, может быть, о правительстве и министрах.

Он меня перебил:

— Пустое! Околочный надзиратель — вот кто важен!

Он как-то повел рукой, как бы показывая окрест, как бы проводя над крышами домов (разговор был вечером, ночью):

— Тут вот везде под крышами живут люди. Как и е люди? Как они живут? — никто не знает, ни министр, ни ваш профессор. Наука не знает, администрация не знает. И не интересуется никто. Между тем, какие люди живут и как они живут — это и есть узел всего; узел важности, узел интереса. Знает это один околочный надзиратель — знает молча, знает анонимно, а в состав его службы входит — все знать, «на случай»; хотя отнюдь не входит в состав службы обо всем докладывать. Он знает вора — он знает проститутку — он знает шулера, человека сомнительных средств жизни, знает изменяющую жену, знает ходы и выезды женщин полусвета. Все, о чем гадают романы, что вывел Горький в „На дне“, что выводят Арцыбашевы и другие — вся эта тревожная и романтическая жизнь, тайная и преступная, ужасная и святая, находится, „по долгу службы“, в ведении околочного надзирателя...»

Насколько я понимаю, новая сценарная литература (да и не только одна она) более всего пытается стать таким «околочным надзирателем» — не для службы, понятное дело, а с целью познания этого «ужасного и святого» мира, где ужасы могут встречаться не только в экзотическом бытовании бомжей, проституток, воров, но и во вполне благонамеренно-обыденном. Равно как и святость.

Само по себе появление в сценарной литературе бомжей, алкоголиков, люмпенов, лимитчиков, лагерных малолеток и воспитанников интернатов, диссидентов, т. е. тех, кого можно было бы назвать по прежнему счету сосребышами и даже грязью «подлинной» жизни, не является безусловной новостью, ибо их существование достаточно широко уже укоренено в литературе. Однако следует заметить, что в кинематографе присутствие этих лиц часто помещено в сюжеты того же дидактически-проблемного или сентиментально-нравоучительного свойства («Бомж», «Ин-

тердевочка», «Трагедия в стиле рок» и пр.). Сюжет остается обкатанно-известным, а легкое свободомыслие таких фильмов состоит лишь в том, что в них выведены неизвестные (вернее, спрятанные) доселе фигуранты действительности, однако в виде экзотического ее выморoka. Некое подобие редких особей социального зоопарка, отгороженного от нормального жизнеустройства. Проблема для героя заключается в том, как к норме вернуться. При этом чудится, что более всего она занимает автора, а не героя: это он бьется за то, чтобы его вернуть или хотя бы приблизить.

В новой кинодраматургии те же самые бомжи, бродяги, проститутки столь же обыкновенны, как уличные прохожие. Они так же погружены в будничные подробности жизни, другое дело — какова сама жизнь: нормальна или безумна? Но какой бы она ни была, главная их задача и цель — вырваться из нее, разбить засовы, а если не удастся — искромсать устои. Они не устают ворошить угли, чтобы вызвать огонь. Значит, новизна не в героях, а в иных взаимоотношениях между ними и действительностью, с одной стороны, и между героями и авторами — с другой.

Героев всегда предписывалось любить. Авторы следовали этому завету с рвением женихов. Тайное любовное отношение своим героем чувствовалось даже тогда, когда того заносило: любовались темпераментом, мощью самовыражения, экстравагантностью поступка. Любят своих героев или не любят авторы новой сценаристики — вопрос пустой, ибо ее творческая потребность основана на изменившихся подходах, другом взгляде — трезвом, не скрывающем ни низости желаний, ни убогости бытия, пошлости рассудка или мелкости чувств. Трезвый этот взгляд прожжен состраданием, но бывает, что и сострадания нет, а есть холоднолюбопытственное разглядывание. Однако и тогда непременно ощущается еще одно, может быть, самое важное. Герой новой сценаристики — человек не только страдающий, но особенно и остро нуждающийся в защите. От людей ли, от мира, от самого себя. Господь, как известно, всегда на стороне гонимых. «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» («Евангелие от Луки»).

Кто же еще из людей может защитить на земле гонимых, как не художник? Кто еще должен их называть, явить свету?

Новая сценаристика об этом догадывается. Ничего поучающего нет в ее героях, как ничего поучительного в их судьбе, кроме концептуальных причин, заставляющих

ее рассматривать. Одна состоит в том, что ее герой — человек, съехавший со своей почвы: крестьянской, пролетарской, семейной и, таким образом, с особенной полнотой испытывающий на своей шкуре все свирепые жизнетрясения общественно-политических переделов. Даже в том случае, когда его социальное положение названо, то и тогда оно не имеет равным счетом никакого смысла. Если в недавней кинодраматургии герой поступал по логике своего общественного назначения (генерал как генерал, председатель как председатель колхоза, отставной функционер в полном соответствии с психологией своей среды), то поступки нового героя никак не соотносывались с его публичным местом. Оно, впрочем, все чаще вызывает едкую насмешку, направленную не на сословие как социологическую данность, а на трескуче-напыщенный перебор главных и неглавных.

Передовой рабочий Коняев — герой сценария Т. Ваулина «Будь и думай!» — заложник и жертва забойных понятий пропаганды. Он потерял место в жизни, ибо в цехе произошел с ним несчастный случай. Но неожиданно приобрел нечто иное — внутренний голос. Что-то вроде душевной щекотки, назойливой и неприятной. Выплюнул Коняев инвалида родной завод, где он был знатным бригадиром, Героем, Депутатом и членом художественного совета местного театра. Словом, была «жизнь, богатая на подвиг», по точному определению генерального директора: как не использовать до конца ее суеки? И поехал Коняев агитпоездом для демонстрации ее примеров на митингах и встречах с трудящимися. Однако вскоре случилось так, что поезд встал в голой степи, потому что неизвестно куда и непонятно почему ушел тепловоз, и бороться пришлось не за высокие и бессмертные цели — урожай, план, показатели, а за пустячное: как не помереть с голоду, выбраться к людям, словом — выжить. Кто пропал, кто разбежался — Комиссар, Военрук, Поэт, Электрик, лабухи рок-группы. Остался один Коняев да зудящий внутренний голос коняевского естества, единственно человеческого сущего, что в нем есть, не прикрытого орденами, сословным чином, завесой кличек-званий, которыми система отделяет своих любимцев от прочего люда. Оказывается, опора только в нем, в естестве.

У маскарада, затеянного Э. Резником в сатирической фантазмагии «Кокосовые пельмени», тот же смысл: высвобождение человеческого естества. Его освобождение начинается буквально. Герой сценария, местный забулдыга, волею случая попадает в баню вместе с генералом, прибывшим на маневры. После помывки генералу захоте-

лось выпить. Каждому понятно, не военный секрет, что за бутылкой он сам не идет, а гонит забулдыгу. Но тому бутылку никто не дает. Тогда, проявив воинскую смекалку, решают переодеть его в генеральский мундир — уж в нем не признают. И точно: швейцар ресторана вроде бы и углядел в генерале знакомого, но бутылку дал. Тем временем генерал начал беспокоиться — как бы не уплыла его форма с документами — и вызвал милицию. Ясно, что милиция забрала именно его, человека без документов, подозрительно назвавшегося генералом. Герой с раздобытой бутылкой, увидев, что генерала уводит милиция, ударился в бег. В бегах он оказывается на маневрах и принимается в них участие, попадает в лапы странного прапорщика, который запанибрата с самыми высокими армейскими чинами, потому что сын маршала, а мнимый генерал полюбился ему по части выпить, закусить. И т. д. и т. п. В хороводе подмен, то и дело возникающих в сюжете, маски переходят от одного персонажа к другому, житейские повороты тоже прихотливо-случайны. Основательно и несменяемо лишь одно — человеческая суть. Как бы ладно и крепко не клеилась маска на лицо, суть всегда выявится. Новая кинодраматургия вообще пытается смотреть на жизнь в непосредственном виде, какой бы она ни была: корявой, перекрученной, дурной или святой, или совсем пропащей.

...Студент ВГИКа, учебного заведения, в высшей степени благородно-гуманистического, пишет сценарий (об этом есть упоминание), но это не главное. Важнее, что он готовит побег из тюрьмы для своей мимолетной подруги, раздобывает оружие, участвует в грабеже, переживает недолгое счастливое упоение любовью и волей, погибает от ножа убийцы. Преступление вытекает самым естественным путем из всего строя жизнеуложения, ибо оно пропитано преступлением во всех отправлениях, государственных, внесоциальных, личностных: как уцелеть в такой «поварне»?

Что остается делать в тюрьме, серая тень которой таится в каждом закоулке действительности, как не пытаться вырваться из нее любым путем, пускай даже преступным? Исход — ужасный, и он далеко не для всех, хотя как сказать: довольно взглянуть на кавказский и среднеазиатский окаемок страны, где идет накопление выходов такого рода. Так и для героя истории, рассказанной П. Луциком и А. Саморядовым в сценарии «Дюба-дюба» («Киносценарий» № 5—6 с. г.), преступление — единственный выход, ибо только таким образом он может выявить себя как свободная личность. В стране оглушительных парадоксов оно становится одним из способов обрести свободу.

Кто такая Аля К., чей «принципиальный и жалостливый взгляд» запечатлела в своем сценарии Р. Литвинова («Киносценарии» № 6, 1989 г.)? Никакого значения не имеет то, что она работает в «полуподвальном помещении» — либо в больнице, либо в поликлинике. Важнее всего то, что она медленно и неотвратимо умирает: еще один путь к свободе самовыявления, столь же нечеловеческий, что и первый. В этом мире ничуть не удивляет то, что подруги Али К. и даже родная мать воспринимают это сползание в могилу как нечто совершенно обиходно-нормальное, может быть, понимая «немой мыслью» (выражение Мандельштама) неотвратимую логику такого выхода. Куда деваться Але К., как не в смерть?

Каким еще образом, как не через убийство, может вырваться на свободу солдат из сценария И. Лощина «Караул» («Киносценарии» № 1, 1989 г.)? К свободе отчаянно рвется божжи — герои сценария И. Агеева и С. Белошникова «Избери себе жизнь, чтобы жить» («Киносценарии» № 6, 1989 г.), ибо вербовка загнала их в куда худший лагерь, чем все существующие ныне зоны, так сказать, в концентрированный концлагерь. Свободы очищения правды от нагромождения лжи добиваются студенты из сценария А. Алиева «Билет в Красный театр, или Смерть гробокопателя» (предполагается опубликовать в 1991 г.), но даже тайная мысль о свободе подавляется палачеством, вошедшим в плоть и кровь власти, выражаемым в обработанных веками видах: лютопалаческом — плеть да дыба (Шешковский в сценарии В. Карева «Катарсис» — «Киносценарии» № 3, 1988 г.), глумливо-хозяйском (сотрудники КГБ в сценарии И. Бутыльской «Не время коммунаров?» — «Киносценарии» № 4 с. г.), ириво-политическом (милицейский майор в сценарии В. Клетнича «Свобода на баррикадах» — «Киносценарии» № 3 с. г.).

Первая и главная тема новой сценаристики — судьба несвободной личности, рвущейся к свободе, вернее — к своим представлениям о ней. Можем ли мы наверняка сказать, что Андрей, герой «Дюба-дюба», точно ее добивается, и верно ли нами поняты экзистенциальные его рывки? Их подпочва слишком размыта и зыбка: то ли он и впрямь хочет вызволить из тюрьмы Таню, попавшую туда, по его убеждению, несправедливо, и тем самым позыв свой к справедливости утолить, то ли переносит свои детективные сценарные попытки обратным ходом в действительность: гамлетовская «мышеловка» на варварский лад. Проявления своеобразного — в скифском преобразовании — некоего подобию гамлетизма нынче распространено. Гамлетизма без Гамлетов. Советского. Он не филосо-

фичен. Вопросы «быть или не быть?» для него не существует, ибо он связан не с раздумьем, а с решительным и бесповоротным действием. Вопрос решается сразу: или определено «не быть!», или столь же определено «быть!». Но в том и другом случае, в резко утвердительном или разрушительном, он несет в себе — отрицание, ибо и утверждение таит в себе все тот же зачаток уничтожения. Прежде всего — его самого. Это гамлетизм какого-то обиходного рода, хотя и широко проявляет себя в гражданской деятельности, ибо направлен на действие, немедленно и прямо ведущее к практическому переделу. Его свойства связаны с эффектом долготерпения до известного «жареного петуха». Покуда он как всегда неожиданно не появляется с поклевом в столь же известное место, в рыхлых завязях долготерпения накапливается гниль обид, предубеждений, составляются образы обидчиков, копится ненависть. У молодых раздражение приходит быстрее и стремительнее наступает взрыв.

Значит, суть не только в палачах. Герой новой драмы — свободный закабаленный человек. «Вечный жид» отечественного беспутья. Появился новый тип людей с ярко выраженной волевой (воля как усилие характера) установкой на вызов, направленный куда угодно, в любую сторону: на государственные структуры, на своих близких, на инородцев, на общество в целом, на самое себя, как это произошло с Алей К. То есть яростная воля к своеволию.

Бунтующий человек вчерашнего сюжета воевал во имя какой-то цели, пускай ложной, но, по его представлениям, высокой и истинной. Бунтующий герой новых историй бунтует во имя самого бунта, ибо цели у него нет. Разве что расколотить, как чайную посуду, взорвать бессмыслицу этой жизни: детская истерика, приводящая лишь к тому, что жизнь со всеми ее абсурдами уцелевает и продолжает идти так же бессмысленно и нелепо, как и шла раньше, но уже без героя. Но может быть, она не так уж и бессмысленна? Есть же святой наивный смысл в упорстве коммунаров и есть возможность преобразования у студентов-гробокопателей!

И чем же вожделение свободы лучше иных вожделений, плотских, низких, если оно уводит в гибель тела и души и сеет смерть окрест?

«Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» (Соборное послание Святого апостола Иакова).

И к свободе ли несутся герои новой кинодраматургии? Свободы ли ищет Саша Швец — героиня сценария А. Криницкой «Я хочу спросить...» («Киносценарии» № 2, 1988 г.), или Катя Перцова по прозвищу «Лафа» из сценария А. Высоцкого «Катя,

Маша, Света и Наташа)? Может, они жаждут чего-то иного — воли?

«Воля, — писал в статье "Россия и свобода" русский философ Георгий Федотов, — есть прежде всего возможность жить, или пожить по своей воле, не стесняясь никакими социальными узами, не только цепями. Волю стесняют и равные, стесняет и мир. Воля торжествует или в уходе из общества, на степном просторе, или во власти над обществом, в насилии над людьми. Свобода личная немыслима без уважения к чужой свободе; воля всегда для себя. Она не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо... Русский идеал воли находит свое выражение в культе пустыни, дикой природы, кочевого быта, цыганщины, вина, разгула, самозабвения страсти-разбойничества, бунта, тирании».

Новая кинодраматургия перенесла своего героя в другой круг подходов к бытию, где фигуранты, подопытные мыши политических лабораторий остаются все же людьми с причудливо исковерканными ощущениями морали и с человеческими неистребимыми потребностями, пускай даже искаженными. Душа человека кажется душой полуслепца, нащупывающего палкой выход из тьмы подземелья. Полуспящий разум, смутные прощупывания нравственных законов и мощнейшие подъемы чувства,двигающего его к действиям, бурным и отчаянно-непредсказуемым настолько, что он, кажется, все время стоит на краешке обрыва к пропасти безумия или животного инстинкта.

Мимо меня по эскалатору метро звероватым скоком вниз летят трое ребят (казанские? чебоксарские?), на бегу у одного — быстрый, по-вольчьему огляд на публику, потом, на платформе юркий проскок через толпу — в вагон. Похоже на то, как мечется из-под резца синевато-ледяная занозистая стружка, выдавая бешенство взрезаемого металла. Ребята уезжают, оставляя после себя тревожное чувство неизвестной опасности, подстерегающей — кого? Их, нас, страну? Мы все зарезаны действительностью.

Человек в новой драматургии — существо метафизическое, живущее в метафизическом времени. «Торжество голого метода над познанием», возмущавшее Мандельштама, кончается: новая кинодраматургия подсознательно пытается стать внетелодолгической. Невозможно со всей строгостью методических подходов анализировать человека, чьи движения психики вызваны всполохами непредсказуемого чувства. Допустим, что он понятен, ясна логика его поступков, но тогда неподвластна здравому рассуждению действительность, в которую он погружен, ибо она не столько

абсурдна, сколько нормально-абсурдна: насильственно-выморочное, противоестественное принимается в ней за природно-исконное течение. С этой точки зрения алогичными, нелепыми, наивными, безумными кажутся такие человеческие особи, как юные коммунары И. Бутыльской, полуплюмпен и веселый свободолобец Виля Б. Клетинича, Летев — блаженный выходец из психиатрической лечебницы, обнаруживший себя среди других более здоровым и нравственно-ясным, поскольку он оказался единственным в истории, рассказанной А. Криницкой в сценарии «Осколок "Челленджера"» («Киносценарии» № 3, 1989 г.), человеком веры в доброту мира и людей. Вера, можно сказать, собачья, если вспомнить благородную и чистую верность собак, недаром Летев их обихаживает в лаборатории: какую еще работу доверить полудиоту? Но кто более безумен — человек или мир? Или оба вместе: кто же его еще создает таким, как не человек? Те, кто его задал и соорудил таким, каков он есть, известны; мертвые и живущие понине в здравии и благодати государственных щедрот, зловещие учредители и воплотители разбоя. Ими живо интересуется публицистика и историки, но в художественном повествовании они вынесены за скобки. А в мире, давно уже существующем как обиходная данность, иной люд, попроще, мучается, ломает свою и чужие жизни, колотится о тюремные стены, чтобы, взломав одну, уткнуться в другую.

Социально объяснима обыденность северного поселка: сумасшествие одиночества, пьянства, драк, резни, загаженности не только бытовой, но и нравственной, душевной. Непонятно приятие этой жизни как единственно нормальной. А самое удивительное то, как в ней сохраняется огонек человечности и доброты, тлеющий, иной раз вспыхивающий то в одном, то в другом персонаже сценария Н. Филипповой «Края далекие» («Киносценарии» № 1 с. г.). Каким образом на краю метельно-разгульной ночи удерживается героиня-хирург? Чем она спасется? Может быть, чувством долга, который, признаться, более похож на долг мученика, не столько ясно осознанный, сколько погруженный в глубины инстинкта?

Спасаются, кто как может. Герой комедии М. Мареевой «Отшельник» («Киносценарии» № 5 с. г.) на манер эрдмановского самоубийцы закрывает себя в наглухо отгороженной от всего квартире, но спастись от карнавальных безумств политического круговорота ему так же, как и герою пьесы Эрдмана, не удается. Но спасается Танька самым простым — здравым смыслом, трезвым разумом. Не имеет значения, что у Таньки нет ни сил, ни возможностей повлиять трезво-народным, здравым своим

умом на причудливо-верченые ходы политических загулов, важно начать спасаться, и в этом смысле герой новой кинодраматургии начинает действовать как человек стихийно-экзистенциальный, опирающийся на личностные ощущения и личностные осуществления. То есть так или иначе, удачно или неудачно, терпя крах или все-таки чего-то добиваясь, он действует как человек личностной свободы. Дается она ему трудно, кровью, с провалами в истерику, в гибельные побеги, ибо это человек советский, обладающий рядом характерных для этого людского психологического новообразования признаков. В новой кинодраматургии перед нами начинают появляться первые сцены драмы народного сознания, разыгрываемой в надрывно-мучительных условиях его слома — от несвободы к потребностям высвобождения. Весьма возможно, что это пролог «экзистенциальной революции», о которой писал Вацлав Гавел. Ее перспектива, на его взгляд, в виде ее следствий «представляет собой в первую очередь перспективу нравственного преобразования общества, то есть радикального обновления непосредственного отношения человека к тому, что я именую «человеческим порядком», (и что не может быть заменено никаким политическим порядком). Новый опыт бытия, обновление связи человека со вселенной, по-новому понятая «высокая ответственность», вновь найденное внутреннее отношение к близнему и к человеческому сообществу...».

Путь этот тернист, особенно для нас. Когда-то Маяковский назвал молодое советское государство страной-подростком, имея в виду не только его возраст от октября 1917 года:

«А моя страна —
подросток.
Твори, выдумывай,
пробуй!»

Метафора должна была передать молодой напор творчества и созидания, в основном индустриального, пиршество технических выдумок, кипение строек. Но метафора оказалась шире и емче толкования, отправленного к определенному историческому моменту. Поэт нечаянно угадал то корневое и глубинное, что определилось тогда в общественном сознании и является существенной и распространенной его частью сегодня. Метафора пришла в наше время иной поверткой смысла. По раскладам социальной психологии страна действительно оказалась подростком со всеми или, по меньшей мере, многими признаками императивов подростковой психики, феноменально резкими перепадами настроений, сильных желаний и одновременно — столь же сильных отталкиваний, перекачкой от

одних взглядов к другим, часто противоположным, какой-то вечной обиженностью, максималистскими искушениями грубых, рубленных решений в обсуждении вопросов бытия, чувством приниженности и — рядом с ним, в нервическом, раздирающем душу сплетении, — мощной тягой к самовозвеличению, удовлетворяемой, как правило, за счет других.

Среди многих синдромов подросткового сознания важнейшим является синдром Отца с драматическим смещением самых противоречивых чувств по отношению к нему: рабской покорности, холуйского ожидания его Слова — с одной стороны, с другой — бурного его отрицания и внутренне-бессознательной тяги к его уничтожению, к «торжественному убийству отца», по выражению Фрейда (З. Фрейд «Тотем и табу»). Отец может проявляться в любом образе: пахана, вождя, председателя колхоза, директора завода, министра, руководящей организации в виде партии и государства, или, как сейчас пышно говорят, державы, забывая о том, что держава может быть не только противоположной, но даже враждебной народу. В последний раз в полном своем, монолитном виде она была при Сталине, ибо держава — всего лишь государственные институты, а не народ.

От Отца ждут покровительства, защиты и подачек, более того — он вообще формирует жизнь по тем или иным принципам порядка. Это может быть порядок концлагеря — установленного распределения общественного продукта, где некоторый перекокс в сторону получения привилегий тоже входит в систему порядка, ибо есть паханы, шестерки и просто шпана. Словом, порядок — это организованность бытия и быта, определенная кем-то. Не нами.

В новой кинодраматургии курьезы общественного сознания подхвачены и развернуты в череду образов. Синдром Отца переплощается как в прямом выражении, так и в выворотном. Саня Швец — героиня сценария «Я хочу спросить...» — как раз выворотный вариант, ибо, поставив крест на родной семье, она положила самой себе быть и отцом, и матерью, и бабкой. Да и как не положить, коли мамаша всю жизнь мечтает перейти из филармонии в оперу, папаша в Политиздате «отрывные календари выпускает, облысел от напряжения, какую песню на листок первого января поставить: „Интернационал“ или „Вихри враждебные“?» А лучшая из них — бабушка, профессор, торчит в пустыне на испытаниях установки по перегонке соленой воды в пресную: задача во имя счастья и процветания человечества. Тираном, учредителем порядка, железно-неотступчивым за ним надзирателем Саня становится

ся и в спецПТУ, однако вымученно-отчаянное это отцовство слишком непосильно для нее. Оно противоестественно, невозможно для ломкой ребячьей психики. Не пустыня засасывает Саню (гибель в пустыне — внешняя сторона сюжета), а условия безжалостно-беспечной этой игры, поставленные перед ней жизнью и развитые ею самой.

Играют все, но дети играют слишком всерьез. Есть странный привкус полудетской-полувзрослой игры, некой творимой на людях легенды в том, как они ходят, держатся, устрашают врагов, в их подчеркнутой независимости и отделенности, в их манере общения и разговора с другими людьми. Но все это спадает в моменты драматического слома, и они становятся снова детьми, брошенными, обиженными, несчастными. Умирая, Саня рвется в материнское чрево. Двадцатитрехлетний Олег («скелет, обтянутый стариковской кожей», — таким он видит себя в зеркале), брошенный матерью в раннем младенчестве, прошедший через зубодробительные нравы воспитательного дома, делает из себя упорно и последовательно холодно-отчужденную, спокойно-мощную машину из костей и мяса. Но куда ему деваться, куда идти, когда все начинания жизни разваливаются и сама она рваниной расплывается под руками, как не на могилу столь страстно ненавидимой им матери? (сценарий Ю. Короткова «Седой»). Ощущение трагически замкнутых оборотов безродной жизни настойчиво передается самыми разными произведениями новой драматургии. Ася — героиня сценария А. Селимовой «Ведьма» — поступает работать на АТС, поселяется в общежитии, из окон которого видны корпуса больницы, а когда после передыжки коммунального общежитского жития попадает в психушку и пытается ночью из нее бежать, что она видит из коридорных больничных окон? Белое здание АТС с горящими полосами этажей. На одном из них — общежитие. От него не деться, когда исчезают святые и вечные понятия рода, отца, матери, дома, обращенные в мистическую тень, когда от реальности отцовского предназначения остается один лишь синдром. Его эффекты устойчиво живы.

Автор очерка о подростковой преступности спрашивает: «Для кого мы делаем перестройку? Не ровен час все наши выстраданные демократические завоевания захотят забрать себе повзрослевшие, хорошо накачанные мальчики с самодельными бомбами и обрезамми. Не страшно?»*. Страшно, но возникает другой вопрос: кто это мы? Вероятно, политики, журналисты, эконо-

мисты, писатели и прочее, то есть отцы перестройки, которую мы творим без участия того самого поколения, о благе которого так печемся (его деятельную сопричастность мы загады устраняем), с тем чтобы вручить результаты в готовом виде. То есть мы опять завоевываем для них счастье. Совершенно справедливо, что при такой разбивке поколений на создателей-творцов и потребителей последние могут использовать результаты реформ не совсем так, как предусматривалось или же предписывалось отцами. Что в общем-то они и делают.

Тотальное подавление самостоятельного разума и поступка привело к тому, что образовалось общество не то что без единого мировоззрения (про это и говорить нечего), но и лишенное пестроты глубоких, фундаментальных личных и групповых мировоззрений, без противоборства которых нет настоящей, полноценной духовной жизни. Создалась психологическая грандиозная общность разновозрастных подростков.

Недавно по телевидению рассказали историю о том, как некий социолог пытался разыскать в Ленинграде атеистов, чтобы поговорить с ними о новых взаимоотношениях с Церковью. В Ленинграде атеистов не оказалось — все назывались верующими. Понятно, что атеисты из Ленинграда не исчезли — они есть, но так же очевидно и то, что верующими в одночасье не становятся, ибо Вера — это мировоззрение, выращиваемое годами жизни, сомнений, надежд, отчаяний, размыслений. Интимный и длительный акт самотворения. Но, может быть, все эти годы они были тайно верующими? Что-то я сомневаюсь. Полагаю, что они — жертвы двумысленного сознания, раздвоенного между: «вот это принято, и я должен этого гласно держаться на людском миру» и скрытной опаской: «а вдруг есть иное, действительно истинное?» А скорее — еще проще: дань новой моде. Так или иначе, но то, что мы принимаем за мировоззрение, зачастую есть система ощущений, иногда более определенных, иногда менее, расплывчато-смутных, в другом случае — упрямо сосредоточенных на предубеждении против кого-то или чего-то или на принципах. Да что говорить о мировоззрении, когда мы присутствуем при упадке сознания вообще, когда сознание заменяется инстинктами агрессивного самосохранения, сбойки в стаю для лучшей самообороны, то есть инстинктами первичными, первобытными. Полузвериными существами кажутся ребята из казанских, чебоксарских, набережночелнинских банд, и не только они, а люди куда старше, не впадающие в столь яркие действия криминальной зоны (хотя в умеренной или малой степени

* Сальникова. Л. Детские игры. — Огонек, 1990, № 32.

она так или иначе присутствует в жизни почти каждого советского человека), но сознательно или подсознательно следующие инстинкту ошестившегося самообережения. Инстинкты разыгрались с особенно острой силой потому, что Отца вдруг не стало. Теперь уже ни в каком образе. Молодежи драма его исчезновения коснулась менее всего. Она уже давно потеряла мистическую почитительность перед его образом и попала в другое состояние — жестокой и беспросветной безотцовщины, которая есть антиномия отцовского синдрома, полная тайной тоски по нему, ибо подсознательная тяга за кого-то или за что-то держаться неистребима для человеческого сознания. Произошла резкая стычка между этой потребностью и видимым отсутствием того, за что или за кого можно было бы держаться. Образовавшаяся пустота переживалась настолько страстно, что скоро привела к отчуждению от общества, разрыву родственных, внутрисемейных связей (вспомним, что Отечество и Отец одного корня), одряхлелости чувств, бессилию скептического опыта, цинизму, старчеству души. В стране множество молодых людей, но исчезло состояние молодости с ее порывами к правде, свободе, свету и разуму. Ушла вечная проблема отцов и детей как двигатель диалектического противоборства двух смен, а значит, развития жизни. Оба мира существуют отстраненно друг от друга и по отношению друг к другу равнодушны. Участие некоторой толики молодых людей в гражданственном движении ничуть не убеждает и не приводит к умеренно-восторженной удовлетворенности. Общество рассыпалось в гонках за достижением частных практических целей, но крошево личных целей не складывается в общую. Действительно не время коммунаров, как справедливо заметила И. Бутыльская. Но не есть ли побег в отчуждение и саморазрушение еще один из признаков подросткового инфантилизма? Дробность ближних целей, в том числе и политических, без всякого сомнения, с точки зрения мерцающего невдалеке будущего крайне необходимых, важных, не приводит, однако, к ощущению того, что есть достаточно осознанное дальнейшее будущее. Напротив, возникает тревожное впечатление, что оно как бы не планируется, не входит в круг предположений. Найдется ли для него опора? И в ком? Боюсь, что никакие нравоучительные усилия общества не могут привести, как и всякое воспитательное насилие, к потребности у молодежи гражданственно-осознанных чувств, вкуса к высшим целям свободно и разумно выявленной жизни, которая есть самопознание и самосотворение души. Именно тогда, из этих частных целей и

возникает единая, высшая цель — самопознание и самосознание народа как части мира, части космоса Божественного разума. По всей видимости, оборот к будущему должен происходить через возврат к исторической культуре, воплощенной в исторических формах быта, традиций, нравственности, взаимоотношений духовности, нравственных заповедей. Короче говоря, к культуре самой жизни как святой данности, в значительной степени сейчас растерянной, вбитой в пыль, развеянной в могильном прахе. Но о каком трепете перед ценностью жизни можно говорить, когда мир завален трупами убитых и замученных, растерзанных и распятых, когда смерть стала дюжинной подробностью, как всякая другая бытовая частность?

Еще как-то сохраняется мистически-одухотворенное отношение к тайне смерти у детей. В сценарии Д. Воронкова «Мemento мори» («Киносценарии» № 6, 1989 г.) погибшего парня хоронят дважды: первый раз его дворовые друзья, таясь от взрослых, впервые испытывая тоску перед грозной неминуемостью исхода, таинственности сокрушения жизни; второй раз его хоронят взрослые, и там все ритуально-обязательно, по заведенному обиходу.

Но вот другой поворот темы смерти в сценарии Н. Беляева «Вчерашний снег», где двое подростков убивают одноклассника, в сущности, на спор: завел их другой товарищ, все талдычил — «слабó да слабó», вот они и доказали, что не слабó. Однако прежде, чем убить по-настоящему, убивают душу. С нее и начинают, как начали ее гробить у героя сценария О. Кавуна «Уроки в конце весны», проведя его, малолетку, в хрущевские еще времена, в пору хлебных волнений, через адские опыты тюремной камеры. В наивную юность эту душу уже не вернуть, но дай ей Бог хотя б воскреснуть к добру, человечности и жажде истинной жизни.

Новая кинодраматургия есть драматургия перехода общества от подростково-хлипкого состояния к зрелому, сценарная проза промежуток с его драмами, срывами, болезнями. Она тоже мечется между несвободой и свободой в своих профессиональных поисках, в борениях между новым своим содержанием и новыми формами, которые найти пока не удастся. Пока она держится где-то между прозой и кинематографом и не может окончательно пристать ни к тому, ни к другому берегу. Иной раз она действует в слишком буквальных «формах» самой жизни в ущерб художественно-драматическому образу, который есть сгущение и убыстрение сюжетов действительности. Новая драматургия сохраняет

внешне генетические черты киносценария: зрелищную осязаемость письма, монтированную дробность сцен и эпизодов, но не дает ощущения абсолютно четко заданной ориентированности на экран. В то же время сценарии часто не дотягивают до уровня высокой прозы по языковой живописи, плотности и емкости текста, тем более что современная проза, в равной степени как и драматургия, обладает достоинствами мощно драматизированного сюжета, осязаемостью описания, порой куда более ярко-выпуклого, чем в ином киносценарии. Таким образом, привилегия специфики для кинодраматургии вряд ли существенна, существеннее найти такой словесно-зрительный, монтажно-драматический эквивалент, который неотвратимо приводит только к одному — к фильму. Может быть, как раз это положение промежутка и стало одной из причин развода между кинодраматургией и кинематографической практикой.

Новая кинодраматургия страдает излишествами повествовательности, которая проявляется не в подробно-описательных ремарках (как раз этого нет), а в сугубо повествовательных принципах традицион-

ного подхода к сюжету. Сценарии кажутся более рассчитанными на чтение, нежели на перевоплощение в пленке. Впрочем, глубинная сторона противоречия между сценарием и экраном заключена более всего в принципиальной семиотической знаковой разнице между двумя системами: сценаристикой как родом литературы и кинематографом, чья природа совсем другая. Противоречие это не может быть устранено никогда, его можно только снять, смягчить путем компромисса, ибо искусство сценариста — прежде всего искусство общения. С режиссером — в разработке сюжета. Или со зрителем, что означает понимание его потребностей и надежд. Впрочем, может быть, появился новый вид сценарного творчества, рассчитанный более на чтение, нежели на экран. Почему бы и нет? Совершенно верно то, что сценарист в фильме — поденщик, подевший сюжетов и историй, но равным образом справедливо и то, что он имеет право чувствовать и полагать себя писателем, а сценарий выбирает как наиболее естественную и удобную для него литературную форму самовыражения, которая ничуть не хуже и не ущербнее других.

Аэлита Романенко

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВРАНЬЯ

**Заметки с Всесоюзного
кинофестиваля молодого кино
«Дебют» (1990 г.)**

Перед тем как погаснуть, человеческое сознание охватывает весь круг прожитой жизни. Прежняя жизнь, лишенная естественного течения времени и представляющая в новом свете, была мучительна для тех, чья совесть отягощена дурными поступками, кто не устоял и не сумел воплотить отпущенный ему дар, не прожил полноценную человеческую жизнь.

Но и в обыкновенной, повседневной реальности человек способен пережить нечто подобное, хоть и без ореола торжественного финального акта. А если человеку только 30 или около того, но уже ясно, что судьба не сложилась и не сложится, а он сам не виновен в этом или только отчасти, если нет энергии что-то изменить, тело молодо, чувства обострены, но душа надорвана и нет веры, то подоб-

ное «проживание» жизни приносит постоянную и ничем не заглушаемую боль.

Если бы не случай, эти двое из фестивального фильма «Панцирь» (реж. Игорь Алимпиев) никогда бы не встретились. В них все несхоже. Один преследует; другой, украсивший на пари мешочек монет, преследуем. Несхожи характеры, привычки, пристрастия. Один медлительный, с тягеловатыми чертами и вечно опущенными глазами. Ему трудно произнести даже несколько слов. Другой нервный, подвижный, контактный. Один ушел из семьи, живет в узенькой, как пенал, комнате. Ему не дано выйти за круг самых мрачных впечатлений, захламленных дворов-колодцев и жалких коммуналок. Короткое забвение он ищет в водке и тяжелых снах. Другой нежно любит отца и тонко переживает красоту рассветного города, похожего на восьмое чудо света. Но в итоге они вцепились друг другу в горло. Захлустывающая ненависть и выплески агрессии пугающе несоизмерены с поступком.

Что же с ними происходит? С ними и другими молодыми людьми, с которыми нам доведется встретиться в этом фильме? Что происходит с бывшими одноклассниками, которые, как и много лет тому назад, собираются вместе, но сейчас их сиделки напоминают гнездо испуганных бурей птиц, когда они жмутся, словно ищут защиты друг у друга? Странное это веселье вечеринок, какая-то пародия

на встречи шестидесятых. Как у Чехова: жуют, болтают, веселятся, потом вдруг чья-то неосторожная реплика, и все разбивается вдребезги. И вот уже веселье становится точно судорожным или похожим на сдерживаемые рыдания. Но все делают вид, что ничего особенного не произошло. Жизнь продолжается.

В сущности, перед нами групповой портрет детей поколения шестидесятых, их различие социальное, интеллектуальное, индивидуальное не имеет значения. Дамоклов меч висит над каждым. Герои фильма принадлежат к интеллигентному кругу, но речь в нем идет не только о них. Документальные вставки об обездоленных и потерявших себя людях создают широкий контекст жизни, делают чувство разочарования тотальным.

Картина «Панцирь» куда более горькая, чем нашумевшая «Легко ли быть молодым?». Там даже разрушительный мальчишеский бунт, неприятие лжи и равнодушие старших не только пугали, но и обнадеживали. Да и сама лента заканчивалась, как мы помним, кадром любительского фильма — синим морем надежды.

Финальный кадр в «Панцире» придает реплике героя: «Нас ждет катастрофа» — силу непреложной истины. Но и без него это ощущение создает вся атмосфера фильма. Летучие образы, рожденные под сознанием героев, сны, фантазии, образы воспоминаний давних лет, может быть, полудетских впечатлений — все говорит об одном — пограничном состоянии. Слова «я хочу умереть» лишь частная фиксация этого. Кадр новорожденных, жалких в своей голизне детенышей становится в фильме символом щемящей беззащитности.

Контекст отечественного и мирового кино ощущим в каждой второй работе молодых режиссеров. Но они пришли не с ученическим портфелем. Нередко мальчишки по возрасту, они явились с выстраданной концепцией жизни и с чувством личной свободы, без которой, как известно, нечего делать в искусстве. Вот откуда в их фильмах, если так можно сказать, юная мудрость.

Мы привыкли уже видеть на экранах групповой портрет молодых людей из потерянного поколения. Иногда в зловещих черных красках, в сумерках чердаков и подвалов или, напротив, в подсветке дискотек, с аккомпанементом рок-музыки и милицейских звонков. В картине режиссера Серика Апрымова «Конечная остановка» герои, похоже, не знают ни об одном из соблазнов большого города. Здесь, в ауле, по старинке проводятся все те же районные соревнования.

Сюжетные перипетии не отвлекают на-

шего внимания. Из реплик мы узнаем, что любимая девушка, не дождавшись солдата, вышла замуж, родила ребенка. Существует еще какой-то абонент в Алма-Ате, которому можно позвонить даже глубокой ночью, но кто это, так и остается невыясненным. Готовится какая-то свадьба, глубокой ночью привезут перепуганную насмерть невесту и жениха в порванной одежде. Машина колесит по темным улицам, пытается отыскать неизвестных обидчиков. Но мы так и не узнаем, чем закончилась эта драка, кто оказался действительно виновником, как пережила смерть мужа женщина в забаррикадированном домике. Так поезд проходит мимо станции и провинциальных домишек, в каждом течет своя жизнь, но какая в отдельности — не важно, потому что вагон все равно пройдет мимо и всем про эту жизнь давным-давно известно.

Оборваны многие сюжетные концы и начала, но целостный образ этой жизни все-таки складывается, потому что, повторяясь, эпизоды как бы накладываются друг на друга.

Аул точно отрезан от мира. Бедные дома, нищая обстановка. В любой момент здесь может вспыхнуть драка, выплеснуться загнанная внутрь тоска. Люди хлопчут, ревнуют, женятся, ищут преступников. И в то же время в этом мало жизни, это какая-то инерция, привычка, жизнь, из которой ушло что-то главное. Есть такой грустный термин «усталые города». Здесь перед нами усталая жизнь. Кажется, что у всех здесь одна и та же физиономия, одно и то же выражение — векового терпения, неприкаянности и унылой обреченности.

Герой не может принять эту обескровленную, скудеющую на глазах жизнь. Но и подняться до чувства личной ответственности за эту заброшенную землю он, судя по всему, не сможет. Остается одно — бегство.

Название фильма «Конечная остановка» приобретает второй смысл, становится емкой метафорой. Ехать действительно дальше некуда. Дальше только катастрофа.

Подумалось: неужели на две сотни коротких и полнометражных дебютов, снятых после 5-го съезда кинематографистов, объявленного историческим и революционным, не найдется хотя бы одной ленты, где жизнь была бы ключом, а герои заражали бы неказенным оптимизмом? Разумеется, рассчитывать на то, чтобы при этом была изображена наша сиюминутная реальность, обыкновенная повседневность, было бы слишком наивно. Другое дело, если будет иметься в виду

наша отпускная жизнь, когда и глаз и душу радует южный пейзаж, а до начала осенних будней еще далеко.

Трое бомжей или бичей зарабатывают себе на хлеб и беспаспортную жизнь в не слишком северной стороне. Реальные бомжи, которых сегодня так часто показывают в ленинградской программе «600 секунд»: жалкие, спившиеся, раздавленные социальной машиной люди. Волосы, не знающие расчески, одежда, принимающая один и тот же оттенок от вечных ночевков в подвалах и на чердаках. Потерянность или наглость в движениях и взгляде. Настоящие языы некапиталистического мира! Впрочем... Впрочем, киношные бомжи — это ведь совсем другое дело. Их беседы за костерком в духе известной жанровой картины про охотников согреты теплым юмором, их речь (естественно, без крепких выражений) почти изыскана. Жизнь, как в кино, развивается по известным кинематографическим и литературным канонам. И все здесь выглядит допустимым, даже то, что один из героев прыгает вместо каскадера через мчавшуюся на бешеной скорости машину. Бичи — это так, маска, антураж. Главное, что перед нами настоящие джентльмены, лишь волей слепого случая одетые в лохмотья, но не ставшие от этого менее благородными. Отдать свою долю заработанных денег напарнику, который в этом больше нуждается (тот, конечно, благородно откажется), для них нормальный и легких поступок. Традиция соединяет фильм «Трое» (реж. Александр Баранов и Бахитжан Килибаев) со множеством фильмов, в том числе американских. Все ходы, отмычки, приемы завоевать зрителя хорошо знакомы. Но дружелюбие и оптимизм героев действительно заразительны. Авторы создают атмосферу игры в известные мифы, но при этом исключают иронию. Мы начинаем верить в существование героев, несмотря на придуманность мизансцен и картонность декораций. Заставляя принять правила игры, авторы убеждают нас в том, что ненадежен и зыбок как раз мир злых, жадных и несправедливых людей. А победит рано или поздно детское простодушие и доброта. «Жить не обязательно, плыть необходимо», — написано было на обложке одного левого чилийского журнальчика, выходявшего в самые мрачные годы. Этот девиз как нельзя лучше передает установку и позицию авторов.

И все-таки, аплодируя успеху фильма, признаемся, что эта приятная тропинка в цветущих лугах не могла стать столбовой дорогой молодого кинематографа. Она проходит далеко в стороне от этих мест.

Современное молодое кино не любит

ни бурных драм, ни китчевых историй, ни эффектных эксцентрических комедий, ни детективов, ни модных политических портретов. Сегодня оно нередко склоняется даже к вполне традиционным формам киноповествования, его привлекает «тихий драматизм» жизни, который так замечательно умело передать искусство шестидесятых. Но сами проблемы ставятся, естественно, куда смелее, сюжетные коллизии отбираются бесстрашнее.

Молодой солдат не стал стрелять в убегающего преступника, прицелился, взял на мушку, но на спуск не нажал. Теперь ему грозит трибунал.

В фильме Игоря Черницкого «Ивин А.» это событие становится центральным. Недавно мы считали, что такое невозможно ни в жизни, ни в кино, ведь совсем недавно киноистории об армии были все кроены по одному образцу и завершались бодрыми маршами или песенками, похожими на них. Не то теперь. Впрочем, режиссера занимает не столкновение воинского долга и христианской морали, а те человеческие мотивы, что стоят за этим спором и желанием склонить провинившегося на свою сторону. Какие бы саркастические реплики не бросал подполковник, прибывший из штаба, какие бы не метал молнии, а все равно сквозь его солдатский жаргон проглядывает обыкновенный страх: не легло бы на часть пятно, не пришлось бы им всем отвечать за этого глупого парня? А тому и стоит все-навсего написать на бумаге, что так, мол, и так, испугался, отвлекся, когда стоял на вахте, дрогнул прицел, ну и дальше в подобном роде. А наивный паренек откладывает ручку: нет, писать неправду он не станет. Ведь действительно не мог выстрелить.

Подполковнику хочется нецензурно выругаться, губы беззвучно движутся, на щеках желваки. А тот, упрямый, твердит свое.

Лейтенант из пересидевших свой срок смотрит на парня во все глаза. Разве такое бывает?

До сих пор жизнь лейтенанта была ясной, как четко расписанная уставная служба. Взят преступник на прицел — стреляй без всяких разговоров. Любая прописная мораль в устах его звучит удивительно лично, а услышанное на последнем политзанятии произносится как непреложная истина. Но земля и мир оказались шире пространства, ограниченного забором воинской части.

Все реже на лице лейтенанта улыбка, все меньше он шутит. И вот уже категоричность и прямолинейность водителя, докладывающего о своих подозрениях, раздражают до крайности. Злиться начинает лейтенант. А на кого? Ему еще не

совсем ясно. Курит, дергается, нервничает. Почти силой заталкивает арестанта в кузов, за решетку. Двое смотрят друг на друга сквозь железную сетку. «Что же теперь, рапорт и на гражданку?» — бормочет вдруг сам себе под нос лейтенант. По уставной службе он наверняка отвезет этого славного парня в трибунал. Только как же он после этого будет жить?

Понимают ли до конца создатели фильма «Ивин А.», какого героя они вытасили? Ведь от того, куда будут направлены автоматы таких лейтенантов, какой переворот произойдет в их сознании, зависит судьба любой замечательной идеи.

В лентах молодых режиссеров мы видим как бы разные ипостаси одного и того же человеческого типа, встречаем все новые штрихи к его портрету. В картине «Похищение» в герое нет еще демонических черт, это интеллигент, неудачник, замученный безденежьем, лишенный возможности работать и жить по-человечески. То, что он похищает ребенка, не подготовлено сценарным ходом, но сама готовность, быстрота, с какой герой решает на дикий поступок, не удивляет и не коробит. Очевидно, здесь ухвачена жизненная логика определенного характера, человека, загнанного в угол и потерявшего ориентиры. Он не пытается сопротивляться — слишком неравны силы. Так появляется тип человека, приспособившегося к любым штормам житейского моря, научившегося лавировать между его волнами. В фильмах фестивалю мы встречаем его то здесь, то там в потертой курточке, свитере или плаще, в вязаной шапочке или шляпе, надвинутой на самый лоб. Чаше без документов и определенной профессии, хотя легко догадаться, что за плечами его и высшее образование. Вообще в нем есть жизненная тертость, бывалость. Заметны следы тяжелых неудач или передерг. Его выдает горловой смехок, усмешечка с сомкнутыми губами, быстрый взгляд — знаем, мол, не проведете. Понимаем с полуслова, с полувзгляда, ироничен, способен на искры добра и благородные поступки. Способен и на дурные. Он может прихватить на ходу арбуз из чужой машины, а разбив, не испытать ни угрызения, ни сожалений. Натянуть на себя чужую кожаную куртку, сесть за чужой харч в любом месте, хотя бы и под открытым небом. И это все при отличном знании манер воспитанного человека.

В фильме «Сиз-ким-сиз» (реж. Джахонгир Файзиев) герой выглядит сначала каким-то чудиком или проходимцем с замашками клоуна. Правда, он называет себя врачом и даже показывает прибор для

иглоукалывания. Но легко допустить, что в заднем кармане брюк у него лежат документы, не имеющие ничего общего с профессией эскулапа. Он философ этой жизни, социолог и психоаналитик. Он ничему не удивляется. Связь времен оборвана, нарушены пространственные предствления. Бродит по степи таксист, посланный на уборочную. Милиционер с гиканьем древнего кочевника въезжает в комнату дежурного. Блюстители порядка заняты тем, устоит ли на месте яйцо, ничем не закрепленное на столе. Капитан госбезопасности выглядит беспомощным ягненком и безбилетником, а ревизия и подсчет процентов убранного хлопка напоминают известную игру в крестики-нолики. Возможно, и тут мы имеет дело с людьми не одной профессии. Жизнь похожа на цирковое представление в степи под открытым небом, где актеры и зрители все время меняются местами. В этой клоунаде на фоне остальных персонажей герой выглядит даже, пожалуй, единственным человеком со здравым смыслом. В фильме не упомянуты имена Рашидова и участников хлопкового процесса. По смыслу фильм куда шире, чем события, случившиеся в одной республике.

Еще совсем недавно героем экрана был бунтующий и эпатурующий мир сытых подросток, юный певец, собирающий толпы восторженных зрителей, взрывной молодежной массы. «Мы ждем перемен» — рефрен молодежного гимна лучше всего передавал их состояние. Сегодняшними тридцатилетними эти слова воспринимаются лишь строкой романтической поэзии. Они не то чтобы лишние люди с приставкой «нео», но уж во всяком случае не любимчики, не сыновья, а пасынки. Оттого так невеселы их групповые и одиночные портреты. Они считают время — упущенным, а себя — несостоявшимся поколением. Так ли это на самом деле, скажут впоследствии историки, а пока это самочувствие старит их до срока, до времени. Поседевшие, живущие на разрыве «аорты» их отцы-шестидесятники кажутся куда более молодыми.

Для тех, кто мучал в «сороковые-роковые», поэт нашел точные слова: «В них были вера и доверие». О поколении тридцатилетних так не скажешь. Сказали они о себе сами, горьковато и строго: «Нас нельзя обмануть». А надежда? Если они не заслужили «света», то, может быть, все-таки надежду? Об этом фильмы хранят молчание. Этот молодой кинематограф не хочет лгать.

НАШИ АВТОРЫ

АЛЛАХВЕРДОВА НИНА ГРАНТОВНА. Закончила Высшие курсы сценаристов в 1972 г. (мастерская И. Ольшанского). Автор сценария художественного фильма «Музыкальная смена» (1988 г., реж. В. Левин), а также сценариев документальных фильмов «Идущие впереди» (1974 г., реж. И. Венжер), «Композитор Арам Хачатурян» (1976 г., реж. В. Чикин), «Вода живая», «Наше слово» и «Жил-был Матвей» (1985, 1985, 1986 гг., реж. В. Левин.) В альманахе «Киносценарии» опубликованы сценарии «Пионерка Мэри Пикфорд» (1977 г., № 1, в соавт. с Е. Григорьевым) и «Прощение о помиловании» (1987 г., № 3).

АРАБОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1954 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1980 г. (мастерская Н. Фигуровского и Е. Дикова). По его сценариям режиссер А. Сокуров поставил фильмы «Одиноким голос человека» (1978 г.), «Скорбное бесчувствие» (1986 г.), «Дни затмения» (1988 г.), «Спаси и сохрани» (1989 г.), «Круг второй» (1990 г.), режиссер О. Тепцов — «Господин оформитель» (1988 г.), «Посвященный» (1989 г., по сценарию «Ангел истребления», опубликованном в журнале «Киносценарии», № 3, 1989 г.), режиссер А. Добровольский — «Сфинкс» (1990 г.). В журнале «Киносценарии» напечатаны сценарии «Silentium» (№ 1, 1987 г.), «Вечное движение» (№ 2, 1988 г.). Автор сценариев «Две танцовщицы» (1984 г.), «Крейсер» (1984 г.), «Николай Вавилов» (1987 г., совместно с С. Дьяченко), «Присутствие» (1990 г.) и др.

ВАЙСФЕЛЬД ИЛЬЯ ВЕНИАМИНОВИЧ (род. в 1909 г.). Закончил факультет литературы и искусства Московского государственного университета в 1930 г. Доктор искусствоведения, профессор кафедры кинодраматургии ВГИКа. Президент Ассоциации деятелей кинообразования СССР. Автор книг: «Козинцев и Трауберг. Творческий путь» (1940 г.), «Мастерство кинодраматурга» (1961 г.), «Крушение и созидание» (1964 г.), «Завтра и сегодня» (1968 г.), «Так начиналось искусство кино» (1972, 1989 гг.), «О современном кино» (1973 г.), «Наше многонациональное кино и мировой экран» (1975 г.), «Искусство в движении. Кинопроцесс: исследования и размышления» (1981 г.), «Кино как вид искусства» (1983 г.), «Вопросы кинодраматургии» (один из авторов и составителей, 6 сборников, 1954—1974 гг.) и др.

ИВЧЕНКО ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ (род. в 1940 г.). Закончил физический факультет Азербайджанского государственного университета в 1963 г. и сценарный факультет ВГИКа в 1970 г. (мастерская К. Парамоновой). Автор сценариев документальных и научно-популярных фильмов «Будни Абдумуратовых» (1971 г., реж. Н. Азимов), «Вернулся солдат с фронта» (1977 г., сцен. и реж.-пост.), «Кельбаджарские старики» (1981 г., реж. М. Рыбаков), «Путь» (1990 г., реж. Т. Скабард; под названием «Почетный председатель» опубликован в журнале «Киносценарии», № 6, 1989 г.).

ЛУЦИК ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ — см. «Киносценарии» № 5 с. г.

МАШУКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (род. в 1936 г.). Закончил историко-филологический факультет Хабаровского педагогического института в 1960 г. и Высшие курсы сценаристов в 1969 г. (мастерская К. Славина). Автор сценариев документальных фильмов «Земляки» (1971 г., реж. А. Караваев), «На берегах Амура» (1972 г., реж. В. Македонский), «Там, где бродят амурские тигры» (1974 г., реж. В. Василенко) и др.

ПУЖИЦКИЙ ЯН (род. в 1948 г.). Закончил сценарное отделение Высшей государственной школы театра, кино и телевидения им. Леона Шиллера в Лодзи в 1980 г. Автор сценариев фильмов «Случай Петра С.», «Великий Шу» (1989 г., реж. С. Хеньчинский), соавтор сценариев «Отец Кольбе», «Контрабандисты».

РОМАНЕНКО АЭЛИТА РОМАНОВНА. Закончила филологический факультет Благовещенского-на-Амуре педагогического института в 1957 г. Старший научный сотрудник ВНИИ киноискусства. Автор книг «В мире сказочном и реальном», «Слово в фильме», «Элем Климов и Лариса Шепитько» и статей по проблемам советского кино.

САМОРЯДОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ — см. «Киносценарии» № 5 с. г.

ЧЕРНЫХ ВАЛЕНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ (род. в 1935 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1967 г. (мастерская И. Вайсфельда и Н. Фокиной) и Высшие курсы режиссеров телевидения в 1968 г. Автор сценариев художественных фильмов «Человек на своем месте» (1973 г., реж. А. Сахаров), «Собственное мнение» (1977 г., реж. Ю. Карасик), «Пробивной человек» (1978 г., совм. с А. Борным, реж. О. Фиалко), «Храбрый портной» (1979 г., реж. Н. Спириденко; опубликован в альманахе «Киносценарии», вып. 2, 1979 г.), «Вкус хлеба» (1979 г., совм. с А. Лапшиным, Р. Тюриным и реж. А. Сахаровым), «Полет с космонавтом» (1980 г., реж. Г. Васильев), «Москва слезам не верит» (1980 г., реж. В. Меньшов), «Мещенат» (1981 г., реж. В. Рубинчик; опубликован в альманахе «Киносценарии», вып. 2, 1981 г.) «Культпоход в театр» (1983 г., реж. В. Рубинчик), «Выйти замуж за капитана» (1984 г., реж. В. Мельников, «Киносценарий», вып. 1, 1984 г.), «Договор с судьбой» (1985 г., совм. с реж. А. Малюковым; опубликован в альманахе «Киносценарии», вып. 1—2, 1985 г.), «Верным останемся» (1988 г., совм. с реж. А. Малюковым) и др.

ЧЕЧУЛИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ — см. «Киносценарии» № 4, с. г.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «КИНОСЦЕНАРИИ» ЗА 1990 ГОД

СЦЕНАРИИ

- АЛЛАХВЕРДОВА Н.— Чеснок, лук и перец. № 6.
АРАБОВ Ю.— Круг второй. № 6.
АФНАСЬЕВ Н.— Симкург-Г. № 4.
БЕРГМАН И.— Змеиное яйцо. № 4.
БОРОДЯНСКИЙ А., ШАХНАЗАРОВ К.— Царевубийца. № 5.
БУТЫЛЬСКАЯ И.— Не время коммунаров? № 4.
ВУЛЬФОВИЧ Т.— Бенапы. № 2.
ГАБРИЛОВИЧ А., СЛУЧЕВСКИЙ С.— Дворы нашего детства. № 4.
ГРАБАЛ Б.— Поезда под особым наблюдением. № 3.
ИВЧЕНКО В.— Джинн. № 6.
КАРМАЛИТА С.— Жил отважный капитан. № 2.
КВИРИКАДЗЕ И.— Румяный Дон Жуан плачет. № 1.
КЛЕТИНИЧ Б.— Свобода на баррикадах. № 3.
КЛИМОВ Г.— Вымыслы. № 3.
КЛИМОВ Г., КЛИМОВ Э.— Преображение. № 4, 5.
КУРАЕВ М.— Семь монологов в открытом море. № 1.
ЛУЩИК П., САМОЯДОВ А.— Дюба-дюба. № 5, 6.
МАРЕЕВА М.— Отшельник. № 5.
ОНОПРИЕНКО Е.— Чаклун и Румба. № 2.
ПАРАДЖАНОВ С.— Саят-Нова. Исповедь. Лебединое озеро — зона. № 1.
ПОКОРНАЯ Н.— Не рыдай меня, Мати. № 5.
ПУЖИЦКИЙ Я.— Великий Шу. № 6.
РИЗИН Л.— «Миссионеры». № 2.
САПГИР Г.— Симуург-II. № 4.
СОЛЖЕНИЦЫН А.— Знают истину танки! № 1.
СОЛЖЕНИЦЫН А.— Туняец. № 3.
ТУРСУНОВ Е.— Мытарь. № 5.
ТЮРИН Р.— Пост № 1. № 4.
ФИЛИППОВА Н.— Края далекие. № 1.
ХОДЖАЕВ Ф.— Смех под солнцем. № 4.

ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО КИНО

- ПАВЛЕНКО П., ЧИАУРЕЛИ М.— Падение Берлина. № 2.

МЕМУАРЫ, ВОСПОМИНАНИЯ

- ВАЙСФЕЛЬД И.— Кемские новеллы. № 6.
МЕТАЛЬНИКОВ Б.— Война. Одна на всех, но каждому своя... № 2—3.
ФРЕЙЛИХ С.— История одного боя. № 3.
ЧЕЧУЛИН А.— Записки конформиста, не дожившего до пенсии. № 4—6.

ПУБЛИЦИСТИКА

- КРЕМНЕВ Г.— Взгляд с Запада. № 1.
ЮНГ К.— Диагноз для диктаторов. № 2.

ПУБЛИКАЦИЯ

- ФРАНК С.— Мертвые молчат. № 5.

КРИТИКА

- МАШУКОВ В.— «Страна-подросток». № 6.
НЕХОРОШЕВ Л.— Свет во тьме. № 3.
РОМАНЕНКО А.— Десять дней без вранья. № 6.
СОБОЛЕВ Р., СОБОЛЕВ Е.— Зубр белого движения. № 4.
ШМЫРОВ В.— Кино и цензура. № 3.

ТЕОРИЯ

- АЛЬБЕРА Ф., ЯМПОЛЬСКИЙ М.— История кино в контексте кинотеории. № 1.
БОГОМОЛОВ Ю.— Кино между автором и зрителем. № 5.
ЧЕРНЫХ В.— О сценариях и сценаристах. № 6.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

- Что такое русское кино. № 1.
Нужен ли кинематограф в эпоху перестройки? № 4

1р.20к.
70434

6

КИНОСЦЕНАРИИ

1990